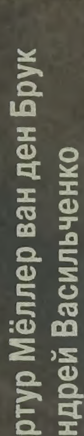
МИФ о вечной империи и третий рейх

Артур Мёллер ван ден Брук
Андрей Васильченко



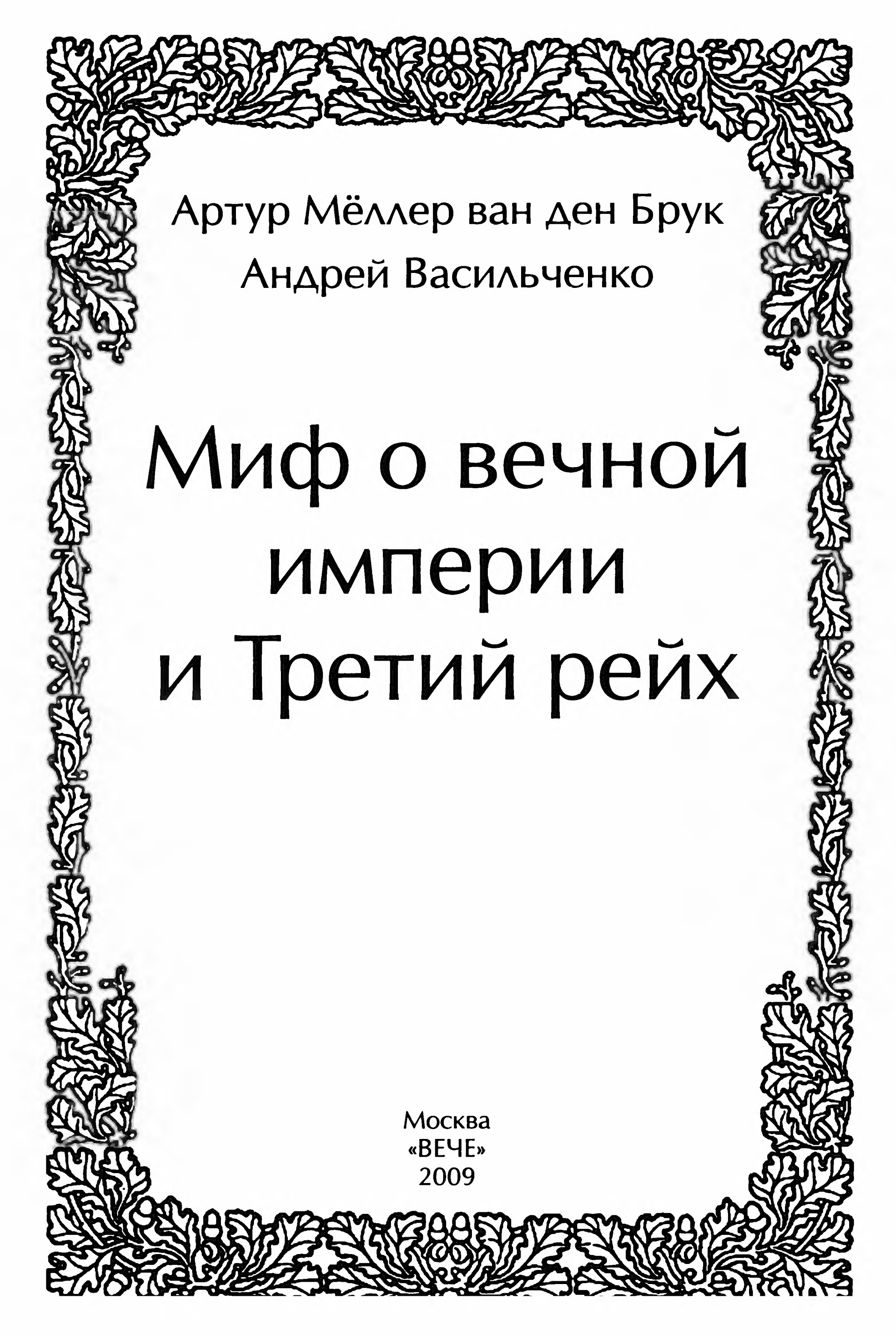

Артур Мёллер ван ден Брук
Андрей Васильченко





МИФ
о вечной империи и третий рейх

Ariana Mystica



Артур Мёллер ван ден Брук

Андрей Васильченко

Миф о вечной империи и Третий рейх

Москва
«ВЕЧЕ»
2009

ББК 71.05
М47

Перевод с немецкого А.В. Васильченко

А. Мёллер ван ден Брук, А. Васильченко

М47 Миф о вечной империи и Третий рейх / Артур Мёллер ван ден Брук, Андрей Васильченко. — М. : Вече, 2009. — 368 с. : ил. — (Ariana Mystica)

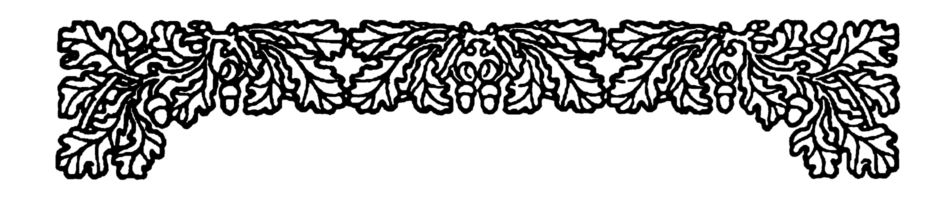
ISBN 978-5-9533-3554-6

Эта книга отвечает на экзотичный, но закономерный вопрос: почему Третий рейх был назван именно так, а не иначе? Программный труд немецкого философа Мёллера ван ден Брука, который вы держите в руках, как раз и произвел на свет имя самого зловещего режима XX века! И тем не менее автор, покончивший с собой в 1925 г., не был ни идеологом фашизма, ни его предшественником. Крайне правая политика и мистический национализм плюс мечта об истинно народном социализме, — вот что определяет суть этой необычной книги, по-своему истолкованной в свое время как нацистами, так и теми, кто им противостоял.

ББК 71.05

Moeller van den Bruck, Arthur. Das Dritte Reich

ISBN 978-5-9533-3554-6



А. Васильченко

МЁЛЛЕР ВАН ДЕН БРУК И НЕМЕЦКИЙ РЕВОЛЮЦИОННЫЙ НАЦИОНАЛИЗМ

БИОГРАФИЯ МЁЛЛЕРА ВАН ДЕН БРУКА

23 апреля 1876 года в вестфальском городке Солинген, в семье Мёллеров, родился единственный сын, которого назвали Артуром. Его отец, Оттомар Виктор Мёллер, был членом строительного совета этого городка. Относительную известность он получил благодаря тому, что в свое время спроектировал современную тюрьму, где один надсмотрщик со своего служебного места мог обозревать камеры всех заключенных. Своим именем Артур был обязан увлечению отца философией Шопенгауэра, что считалось признаком хорошего тона в те времена в немецком обществе. Но сын никогда не разделял философских пристрастий своего отца. Позже он вообще отказывался ставить свое имя на титульных страницах книг, ограничиваясь одной фамилией.

Семья Мёллеров происходила из тюрингского города Эрфурт. После реформации из нее вышло множество лютеранских пасторов. Впервые родные места покинул дед Артура. Его сын, отец Артура, стал военным. Он принимал участие в военных кампаниях 1866 и 1870—1871 годов. Но позже он проявил тягу к искусству и стал архитектором. Именно благодаря своей новой работе он познакомился со своей будущей женой, которая была дочерью директора строительного совета в городке Дейтц, располагавшемся неподалеку от Кёльна. Молодая девушка отличалась необычайной красотой, которая Эльзе

ван ден Брук досталась от ее испанских предков. Один из них, испанец по происхождению, переехал в Германию в начале XVIII века. Артур, глубоко чтивший свою мать, со временем взял двойную фамилию Мёллер-Брук. Находясь в Париже, он переделал ее на голландский манер — Мёллер ван ден Брук.

Большую часть детства Артур провел в Дюссельдорфе, куда переехали его родители после рождения сына. Это время было красочно описано Эддой Мазе, первой женой Артура Мёллера ван ден Брука (после развода она выйдет замуж за драматурга Герберта Ойленберга). Артур был талантливым ребенком, поэтому родители надеялись, что их сын станет офицером или юристом. Но школьные учителя были другого мнения. Их не устраивало плохое поведение непоседливого мальчика. В итоге Артур оказался исключен из гимназии.

Эдда Ойленберг с шутливой серьезностью вспоминала, что Артур определял тогдашнее состояние общества как допустимо отвратительное. Сам же Мёллер пытался вести себя как аристократ. «Он одевался в высшей мере изысканно и собирал вокруг себе таких же, как он, внутренних аристократов, на которых могли произвести впечатление его поведение, его манеры, его речи. Он с удовольствием рассуждал об английских джентльменах и законодателе мод Георге Бруммле; для какой-то газеты он даже написал трактат об этом своеобразном явлении». В те дни Мёллер действительно пытался выглядеть изысканным и утонченным. Многие из знакомых сравнивали его с актером Рудольфом Форстером. Но на традиционных дружеских вечеринках Артур предпочитал отмалчиваться, глубоко погруженный в свои мысли. Здесь он больше известен не своими манерами, а тем, что неоднократно прикладывался к бокалу с вином. Он чувствовал закат мира, к которому привыкли его родители. Вслед за этим миром уходила культура целого столетия. Мёллер, наслаждаясь, наблюдал за проводами этой культуры. Спектакль кончался — пора было опускать занавес. Вместе со своей супругой в те дни он переводит произведения Бодлера, Даниеля Дефо и постигает духовный мир творчества Эдгара Алана По. Над его письменным столом висела картина Фелиции Ропс «Танец смерти», на стенах квартиры можно было видеть репродукции Обри Бердслея и Яна Торупа. Глубоко уважавший Наполеона, Артур поместил рядом с книжным шкафом черный платок, к которому была прикреплена копия посмертной маски «революционного императора».

В те дни Артур проявлял неподдельный интерес к модернистскому искусству и эстетствующей литературе. Его эссе и доклады не раз цитировались в берлинском «Обществе современного искусства». Один из таких вечеров его члены в характерной манере провели на Потсдамском мосту. Не исключено, что в это время Мёллер пытался по-

пробовать себя в роли поэта. Но стихи, вышедшие из-под пера Мёллера, не дошли до нас. Возможно, что, недовольный своими творениями, их уничтожил сам автор.

Между тем жизненные силы покидали Мёллера, который беспечно прожигал свою жизнь. Его поведение устраивало далеко не всех. Неудивительно, что он вступил в конфликт с закостеневшими устоями немецкого общества. Это было одной из причин того, что в 1902 году он покинул Берлин и направился в Париж. Поступок во многом спонтанный и стремительный. Эдда Ойленберг писала в своих мемуарах: «Мёллер ван ден Брук, желая разорвать наши отношения, которые он считал фатальными, направился в Париж».

Но Париж не принес желаемого успокоения. Дело даже не в том, что у Артура быстро закончились деньги. Для него финансовые трудности вообще никогда не играли особой роли. Фрау Ойленберг как-то написала, что ее новый муж Герберт находил необходимые средства, чтобы вытащить Артура из нищеты. Пожалуй, самым удивительным обстоятельством было то, что Мёллер скрылся в Париже именно в тот момент, когда Эдда ждала ребенка. Сын Артура, которого назвали Петером Вольфгангом, родился в декабре 1902 года. От своего отца он унаследовал нелегкий характер и приступы гнетущего молчания.

Артур Мёллер, оказавшись в Париже, собирался перебраться в Америку. Но ему пришлось отказаться от этой затеи. В Париже он прожил четыре года. В те дни его ближайшим другом был Франц Эверс. Во Франции Артур Мёллер вел жизнь больше подобающую клошарам. В какой-то момент ему удалось познакомиться с сестрами Люси и Лесс Кэррик. Те в свою очередь знакомят талантливого молодого человека с Дмитрием Мережковским. Именно от этого русского писателя Артур узнает о творчестве Ф.М. Достоевского. У Мережковского он взахлеб читает произведения Достоевского, только что вышедшие в мюнхенском издательстве «Пипер». Эта встреча стала судьбоносной для Артура. Сквозь всю жизнь он пронесет в своем сердце творчество русского гения. Но это далеко не все — через некоторое время одна из сестер, Люси, становится второй женой Мёллера.

Париж стал важнейшим этапом в жизни Артура Мёллера. До этого он пребывал в художественной среде, которая, несмотря на модернистскую ориентацию, принципиально дистанцировалась от последних достижений науки, техники, новых общественных явлений. Оказавшись в Париже, который шагнул в XX век, Артуру пришлось участвовать в бурных политических дискуссиях, которые касались важнейших политических событий современности. И тут ему пригодились его способности, дабы изложить собственное понимание Германии. Один из современников писал по этому поводу: «Это было время русско-японской войны, время предшественников русской ре-

волюции. Бульвары были переполнены политическими призывами, но Мёллер, казалось, проявлял классическое немецкое безразличие ко всему этому энтузиазму относительно развития политических событий. Он уже чувствовал приближение мрака. Русская революция потерпела поражение. Французская политика ориентировалась на создание совместно с Россией Антанты. В то же время Германия осознанно и бездумно шла навстречу своей судьбе». Но именно в Париже Артур заинтересовался политикой.

В 1906 году Мёллер перебирается в Италию, где почти год живет у своих друзей Теодора Дойблера и Эрнста Барлаха. Мёллер на всю жизнь сохранил дружеские отношения с этими двумя представителями искусства. Результатом его пребывания в Италии стало появление книги «Итальянская красота». Это были не традиционные для того времени путевые заметки, а серьезное произведение, которое пыталось усмотреть в итальянской живописи, архитектуре, скульптуре результат народного воздействия. Эту модель он начинал с этрусского периода и заканчивал Ренессансом.

Мы не упомянули одну из возможных причин поспешного бегства Артура в Париж. Это было нежелание Мёллера проходить воинскую службу в рейхсвере. Но со временем его перестала устраивать перспектива быть дезертиром. Из Италии он обращается в соответствующие органы с просьбой зачесть ему в качестве смягчающего обстоятельства написание ультрапатриотического произведения «Немцы». Как ни странно, но его просьба была удовлетворена. В 1907 году Артур Мёллер вернулся к себе на Родину. Его военная служба, которую он все-таки должен был пройти, закончилась достаточно быстро. Мёллер был демобилизован по состоянию здоровья. Он поселился в Берлине, но дома он появлялся крайне редко. Оседлой жизни он предпочитал путешествия по Европе. В 1910 году он вновь посетил Италию и Париж, откуда направился в Лондон. В 1912 году он направился в балтийский регион, Россию, Финляндию. Затем он исколесил всю Австрию. Буквально накануне начала мировой войны ему удалось посетить Данию и Швецию.

Война стала глубочайшим потрясением для Артура. Именно она сыграла решающую роль в формировании его политических взглядов. Но прежде чем Мёллер окончательно отказался от литературы и зарубежных поездок, он написал прекрасное произведение — «Прусский стиль». В нем не осталось ни следа от прежних взглядов. Книга полна мрачных предчувствий. Но, несмотря на это, основным тоном «Прусского стиля» были ура-патриотические настроения, охватившие германское общество в 1914 году. Проникнутая пафосом грядущей войны, эта работа носила исключительно культурно-исторический характер.

Когда началась Первая мировая война, Мёллер был призван в ландштурм, ополчение третьего запаса. Он с трудом выносил тяго-

ты казарменной жизни. Осенью 1916 года он оказался в госпитале. С трудом вылечившись, Мёллер был переведен благодаря стараниям своего старого друга Франца Эверса в только что созданное Людендорфом зарубежное управление при верховном командовании. Военное поражение Германии и ноябрьская революция поставили крест на всех работах, которые удалось сделать Мёллеру в последние годы войны. От депрессии его спасли старые друзья. Он встречался с ними в рамках одного литературного кружка, где после войны присутствовали только Мёллер, Теодор Дойблер и Франц Эверс. В первый послевоенный год местом их встреч стал винный погребок на площади Оливера. В определенные часы для них был даже зарезервирован отдельный столик. Со временем к ним стали подтягиваться новые люди. Пауль Фехтрер, приведенный в этот кружок лично Мёллером, в своих мемуарах описывал эти «симпозиумы» следующим образом. Их постоянным участником в какой-то момент стал поэт Ганс Гримм. Но Мёллер, все больше и больше погружавшийся в политику, со временем перестал посещать «понедельничный кружок», где после революции оказалось множество известных и талантливых людей. Со временем многие из них перешли в «Июньский клуб», созданный Мёллером ван ден Бруком вместе с другими младоконсерваторами. Примечательно, что очередным местом сбора «понедельничного кружка» стало кафе «Земляная лестничка», где собирался костяк «Младогерманского ордена» во главе с Артуром Марауном. «Младогерманцы» наложили свой отпечаток на «понедельничных». В определенный момент в числе посетителей оказались Эдгар Юнг и Альберт Хаусхофер (старший сын генерала Карла фон Хаусхофера — одного из создателей геополитики). Оба эти деятеля в свое время решились открыто выступить против Гитлера — оба были убиты нацистами. После «ночи длинных ножей», когда 30 июня 1934 года Гитлер избавился от множества своих противников, в том числе Эдгара Юнга, «понедельничный клуб» самораспустился. Фехтер писал по этому поводу: «В Третьем рейхе существование клуба не имело никакого смысла. Мы упустили почву из-под ног».

Если говорить о ранних работах Мёллера ван ден Брука, то они восприняли импульс, который рождался в подобных кружках. Они, как и его политические публикации, по сути, рождались с спорах с друзьями. Это не были идеи, выдуманные за столом, работы Мёллера ван ден Брука отражали реальные настроения, царившие в немецком обществе в те смутные дни. Они отражали боль и надежды его современников. Тот же Фехтер писал об Артуре: «Его страстная натура, в которой с годами обострялась повышенная нервозность, сделала Мёллера неким медиумом, посредником, что стало судьбой для многих духовно одаренных людей того времени».

Осенью 1924 года Мёллера ван ден Брука свалил с ног тяжкий нервный недуг. Психическое здоровье писателя стало вызывать опасения у его близких. В итоге Артур оказался в психиатрической клинике. Находясь в состоянии глубокой депрессии, 30 мая 1925 года Мёллер ван ден Брук покончил с собой. На его похоронах почти никого не было. Ни одна из крупных газет не обратила внимания на его кончину.

РАБОТЫ ДОВОЕННОГО ПЕРИОДА

Читая литературу о Мёллере ван ден Бруке, невольно ловишь себя на мысли, что большинство авторов считают его ранние работы каким-то недоразумением, абсолютно случайным явлением. Возможно, такая точка зрения опирается на мнение самого Мёллера, который после войны презрительно отзывался о своих ранних произведениях, не придавая им никакого значения. Он очень сильно сердился, когда в разговорах кто-то упоминал о них. Одному читателю он написал в ответном письме: «Могу ли я начать с просьбы? Оставьте мою прошлую литературу в прошлом. Предайте ее забвению». Но по ряду причин я не могу обойти стороной эти ранние публикации Мёллера ван ден Брука. Они могут наглядно продемонстрировать трансформацию политических взглядов Артура Мёллера. Повышенное внимание уделю литературным, художественным и культурно-историческим аспектам этих работ. Попытаюсь показать, где в его работах виден отпечаток времени, так сказать, колорит эпохи, который остался не только в душе автора, но и на «физиономиях» многих его современников.

Эссе о наследии Фридриха Ницше

Многочисленные публикации Мёллера ван ден Брука можно поделить на три группы, которые тесно связаны между собой хронологическими рамками. Но для вычленения этих групп придется обратиться все-таки к проблематике работ. В первую группу вошли те работы, которые касались литературы и проблем искусства. Во вторую — статьи, затрагивающие мировую войну. В третью — работы, посвященные проблемам военной политики.

Если говорить о первой группе работ, то нас интересует серия публикаций, датируемых 1896—1912 годами, которая посвящена искусству и литературе (исключение составляют статьи, посвященные немецким драматургам из «рейнланда»). Этим ранним выступлениям Мёллера, собранным и распространенным журналом «Современная литература», еще не был присущ дидактический характер, который они приобрели несколько позже. В этих работах не стоит пытаться искать те проблемы, которые сформировали специфическое мировоз-

зрение Мёллера ван ден Брука. В них нет тем, которые остро волновали его после войны. Но даже беглый взгляд на одну библиографию этих небольших работ показывает, с какой искусностью Мёллер производил отбор авторов, на которых он решил остановить свой взгляд, уделить им внимание. По форме и содержанию первые работы Мёллера больше напоминали очень изысканные фельетоны, но их все-таки правильнее называть эссе. Эти эссе были некой «артподготовкой», которая позволила ему позже создать свою первую книгу, о которой мы поговорим отдельно. Пожалуй, нет необходимости подробно изучать все эти небольшие произведения. Во многом они повторяли друг друга. Обратим внимание лишь на те статьи, которые позволяют наглядно продемонстрировать увлечение молодого Мёллера идеями Фридриха Ницше.

Насколько потрясли Мёллера книги Ницше, прежде всего «Так говорил Заратустра», можно увидеть уже из первых строк статьи «О современной драме». В них он называл эту работу великого немецкого философа «величайшей книгой столетия», а самого Ницше — «величайшим из всех психологов». Ницше, находившийся по ту сторону добра и зла, стал «вторым плодом познания», так как позволил избавить культуру от устаревших понятий «долга и искупления». «Сильный человек, цельная натура нуждается в том, чтобы стать сверхчеловеком! Сверхчеловеком, в котором бодрствует живой индивидуалистический порыв уничтожить все существующие ценности и создать свои собственные», — писал Мёллер в статье «Лирика Рихарда Демеля». В других статьях Мёллер смело заявлял своим читателям, что воспитать сверхчеловека вполне выполнимая задача. Среди прочих, кто мог бы это сделать, он указывал на предтеч «культуры будущего», которую узрел великий Ницше. Увиденную философом величавую культуру претворяли в жизнь такие поэты, как Рихард Демель и Лиленкорн. Им Мёллер приписывал свое понимание прогрессивности — «продвинутые позиции, которые свободны от морали психофизиологического понимания человека».

Как известно, Ницше всегда восхищался эпохой итальянского Возрождения. Он, не уставая, превозносил силу и величие Ренессанса, что в свою очередь вело к искаженному пониманию этого культурно-исторического явления. Вслед за Ницше Мёллер приветствовал наступление эпохи, которая должна была стать «возрождением Ренессанса». Ницше возлагал вину за угасание Возрождения на христианскую церковь. Ненавистная ему «мораль сострадания» в итоге полностью дискредитировала Ренессанс. Мёллер подобно прилежному ученику полностью воспринял эту мысль. Отвергая «мировоззрение морали», он видел в многовековом христианском прошлом лишь бессилие и нервное истощение. Всю историю современности

соответственно он воспринимал как борьбу двух начал: морально-христианского и фатально-современного. В своей критике христианства Мёллер нередко прибегал к ницшеанской аргументации.

Как-то Ницше заметил, что жизнь и искусство во многом противоречат друг другу. Эта мысль стала центральной темой во многих ранних статьях Мёллера ван ден Брука. В одном из своих эссе он даже вынес эту тему в заголовок: «Противоречие — современная жизнь и современная литература». Когда Мёллер требовал, чтобы литература перестала быть «забавным искусством особого рода», то это полностью соответствовало ницшеанскому прославлению жизни. Литература должна хотя бы в силу своего характера обращаться к жизни, чтобы ее энергия вызвала к жизни неожиданную жизнь и новые конструкции. Но тут находилось определенное противоречие — «рабочий тип», которому принадлежало будущее, отворачивался от «партийного типа» декадентских писателей.

Прошло какое-то время, и Мёллер ван ден Брук дистанцировался от ницшеанских идей. Пожалуй, это было нечто большее, чем простой отказ от некритической привязанности и подражания Ницше, который пытался компенсировать собственную слабость прославлением идеалов брутальной силы и энергичной жизни. Это было большим, чем отказ от холодной стилистики Ницше, которая, отметим справедливости ради, оставила глубокий след в произведениях Мёллера ван ден Брука. На самом деле Мёллер пронес через всю жизнь позаимствованное у Ницше стремление к примитивности, к изначальности, к определенной безусловности. Именно эти качества положили начало сценическому эксперименту, стартовавшему на рубеже веков.

«Варьете». Утренняя заря нового искусства?

Монографию Мёллера ван ден Брука, посвященную варьете, можно рассматривать в определенной мере как документ в высшей степени типичный для того времени. По собственному признанию, это произведение было для Мёллера попыткой «культурного драматизма», которая должна была обобщить воедино опыт всех театральных форм. Обобщить при помощи исторических методов.

Произведение Мёллера мало походило на работы того времени, посвященные варьете. Большинство из них писали серьезные литераторы и исследователи театра. Когда я назвал книгу Мёллера типичную для того времени, то подразумевал, что она имела некий курьезный оттенок. Неудивительно, ведь писал ее «сектант» от искусства. В те годы варьете имело несколько значение, нежели сейчас. Сейчас с этим словом ассоциируется посредственная акробатика и прочие развлекательные номера, преподносимые невзыскательной публике. Для Мёллера

и его современников варьете было чем-то изысканным, связанным с «Литературной сценой» в Берлине или «Одиннадцатью палачами» в Мюнхене. Артур Мёллер сам попытался дать определение этому культурному явлению: «Варьете кажется мне манерой игры, старой как род человеческий; совокупностью всего того, что примиряется с человеческими радостями, которые пробуждаются ото сна каждый раз, когда человечество вступает на новую стадию развития. Варьете — это все то, что дал людям Дионис. Но это не искусство, так как варьете вообще не может являться искусством». Небесспорное утверждение, первая часть которого слишком размыта, а вторая опирается на сомнительную аргументацию. Впрочем, сам Артур Мёллер на протяжении всей книги приводил множество доказательств того, что во времена социальных переломов, когда шло зарождение новых общественных формаций, некие элементы варьете просто переполняли театральные подмостки. В данной ситуации нас интересует не то, какими историческими методами пользовался Мёллер, не истинность его утверждений, а то, что он предвидел наступление принципиально новой эпохи. Примечательно, что симптомы наступления нового времени он почувствовал во времена, которые принято называть вильгельмовской эпохой. Этот период отличался не только мессианским восторгом по поводу технического прогресса, но и признаками повсеместного кризиса. Буржуазия наслаждалась плодами процветания, в то время как интеллектуальные круги бурлили. Именно там возникали новые идеи, но там не верили в прогресс. Мёллер писал о пагубности веры в прогресс. Остановимся на том месте, где Артур Мёллер писал о «глубочайшем отвращении», которое постоянно переполняло его. Автор даже не пытался скрыть своего презрения к сытому самодовольству. Он не верил, что прогресс приведет к расцвету культуры. Именно тогда Мёллер предложил делить людей на «старых» и «молодых». «Молодое человечество» не понаслышке знало об отвращении к обществу — это было яркое протестное чувство. «Старые» тем временем по инерции были оптимистами, прогресс становился их новым Богом. По мнению Мёллера, прежде чем «молодое человечество» одержит повсеместную победу, должен наступить некий переходный период. Именно в это смутное время повсеместно будет господствовать стиль варьете. Но рано или поздно «молодое поколение» должно обнаружить нелепость этого стиля (и тут он оказался полностью прав). Мёллер делал даже смелое предположение, что варьете не удастся заинтересовать публику, и что оно трансформируется в некое подобие народного театра.

Несколько позже Артур Мёллер написал, что «дети», увлеченные Ницше, околдованные темпераментной музыкой Бизе, посещающие варьете, в какой-то момент должны собраться вместе. Целью их сбора должна была стать возвышенная игра актеров. Но это предсказание не

сбылось. Постепенно место варьете занял кинематограф, который не менее успешно эксплуатировал «наивные культурные инстинкты». Рихард Демель писал по этому поводу Мёллеру: «Насколько возможно я наслаждался Вашей книгой о варьете. Огромнейшее спасибо! Ее главная идея попала прямо в точку, она уже достойна занесения в классическую теорию искусства. Только мне кажется, что Вы несколько погорячились, когда предположили, что из народного духа или неистовых форм жизни (варьете) рано или поздно вылупится великая форма обуздания (искусство). Здесь народный дух как бы увязывается воедино со смыслом варьете. Но народ всегда хотел “хлеба и зрелищ”, а искусство порождало конфликт отдельных индивидуумов».

Работу Мёллера о варьете нельзя считать историческим произведением. Его вычурные аргументы нередко обходили стороной очевидные факты. Да и сам стиль книги не был выдержан в каких-то определенных рамках. Работа Мёллера стала «памятником», воздвигнутым в честь варьете — явления периода смены эпох, стиля, которого стали придерживаться многие известные поэты и актеры. Варьете знаменовало собой время эксперимента в театре. Началось оно в 1889 году на «Свободной сцене» в Берлине. Экспериментальное новаторство было поддержано Ведекиндом, Вольцогеном, Райнхартом и Хилле. По этой причине книгу Мёллера можно вдобавок ко всему рассматривать как некое гротесковое порождение «театральной революции» 1889 года.

Много позже сам Артур Мёллер писал в одном из своих писем, недовольно вспоминая свое произведение: «Гротеск стиля варьете, несмотря на чаяния, мало соответствовал манере Ведекинда. Он не смог выйти за рамки чего-то среднего между позерством и зарождавшимся тогда кино. Но прежде всего он остался духовно вторичным явлением». Мёллер сам осознал, что многие из его ранних теоретических построений не выдерживали никакой критики.

Но по ходу повествования мы увидим, что ранние эссе Мёллера и его «Варьете» были взаимосвязаны с теми идеологическими компонентами, которые позже сформируют его специфическое мировоззрение. Уже на рубеже веков его деятельность была выражением протестных настроений, которые возражали против сотрудничества искусства и буржуазного общества. Этот протест был для Мёллера проявлением врожденных инстинктов, прославлением жизни в стиле Фридриха Ницше.

«Современная литература»

Первое объемное произведение Артура Мёллера, как ни странно, вышло в виде серии тоненьких брошюрок, которые появлялись на свет в течение трех лет — с 1899 по 1902 год. Кроме Ницше, в этих книжечках

рассматривалось творчество многих поэтов — современников Мёллера: Германа Конради, Детлева фон Лилиенкрона, Арно Хольца, Йоханнеса Шлафа, Рихарда Демеля, Макса Хальбе и многих других. В те дни Мёллер интересовался почти всеми проявлениями искусства. Судя по переписке с поэтами и изложениям его бесед, для Мёллера это было очень продуктивное время. Он пожинал творческий «урожай» на поле истории, поэзии, драматургии. Не всегда его работы были удачными. Многие из них выглядели поверхностными и бесцветными. Но, с другой стороны, то, что журнал «Театр Францез» (о нем речь пойдет ниже) в свое время считал плоской проходной работой, поверхностным периферийным явлением в литературной жизни, в настоящее время представляет огромный интерес. Взять хотя бы то же «Варьете» — ведь, это фактически единственная работа, которая дает возможность познакомиться с ранними представлениями поэтов, которые потом стали классиками немецкой литературы. 24-летний Мёллер поставил перед собой титаническую задачу — засвидетельствовать в вечности свою эпоху. Он сразу же отказался от рационального пути познания. Он решил окунуться в чувства, дабы самому проникнуться поэзией, о которой он писал. Овладение материалом шло по эстетическому пути. Да и самое его произведение было построено на принципе «подсматривания», на что Мёллер сразу же обратил внимание в своей рецензии: «Эти небольшие интересные заметки произведут на вас впечатление в тот момент, когда вы неожиданно обнаружите, что стали их героем».

Современники Мёллера догадывались, что наступление нового, XX века, пройдет под знаком Фридриха Ницше. Для самого Артура он стоял в начале нового, пока еще не познанного развития общества. Первый «томик» своей работы Мёллер посвятил пересмотру всех существовавших ценностей, показав эпохальное значение этого мыслителя. Если говорить о значении Ницше, то нужно заметить, что духовно-исторические проблемы, поставленные в его произведениях, до сих пор активно дебатируются. В работе Мёллера поражало то, что он еще при жизни Ницше решился сформировать в отношении его трудов ясную позицию, которая во многом продолжала критические замечания ранних эссе. На этот раз Мёллер был однозначно согласен с критикой Ницше. Но при поиске аргументов против «вильгельмовского духа» Мёллер опять оказался невольно зависимым от Ницше. «Едва ли имеется избитая фраза, которую не пытался бы анализировать Ницше. Он беспощадно находил язвы общества, из которых тек яд, вгрызавшийся в костный мозг современного человечества». Но все-таки Мёллер пытался дистанцироваться от некоторых произведений немецкого философа (прежде всего «Заратустры»), критически противопоставляя им положительное видение будущего. Уже в те дни он называл идею о «сверхчеловеке» «гигантским пустым сим-

волом, неимоверно возвеличенным фантомом». Мёллер полагал, что «Так говорил Заратустра» возник из чувства слабости: окружив свое произведение «золотым блеском», Ницше не мог не понимать, что прославление силы, о котором так часто говорил Заратустра, могло возникнуть только при условии бессилия. Мёллер полагал, что «Заратустра» стал для Ницше не чем иным, как «огромным самообольщением, великим самообманом». Но другое замечание Мёллера еще глубже по своему смыслу: «Воодушевление, которое Ницше черпал в своем творчестве, по сути было фальшивым, прикормленным, надуманным: он лгал относительно себя самому себе». По этой причине Мёллер рисовал Ницше как предшественника, как дозорного новой дикости, которая уничтожит старую культуру. «Одна из тех трагических натур, которая обречена жить на границе двух эпох и искать опору на этом разломе». В качестве самой большой заслуги Ницше Мёллер приводил тот факт, что «именно с него немецкая грамматика нашла свое новое выражение».

В другой части своей работы Мёллер обратился к фигуре Лилиенкрона, красноречиво назвав ее «Возрождение жизни». Диалектически Мёллер противопоставлял Ницше и Лилиенкрона: Лилиенкрон инстинктивно угадывал то, что Ницше пытался найти при помощи интеллекта. Для Лилиенкрона имели значение только чувства, для Ницше — разум, который он потерял под конец жизни. Хочу заметить, что, несмотря на то что Мёллеру удалось убедительно провести это противопоставление, но все-таки кажется сомнительным, что Лилиенкрон мог быть равноценным противоположным полюсом для Ницше. Едва ли стоит говорить, что отечественному читателю это имя вообще ничего не говорит, хотя в свое время Лилиенкрон считался очень успешным автором. В его работах перед нами мог бы предстать неведомый сегодня мир — мир чувств и ощущений общества, находившегося на переломе XIX и XX веков. Сам Мёллер видел в Лилиенкроне некий «Прототип временного темперамента»: «Сегодня, может быть, наличествуют тысячи людей, таких как он. Должны наличествовать! Больше не было такого человеческого типа, который бы тысячами был возлюблен самим временем».

Самой интересной частью этой работы являлась четвертая, которая называлась «немецкий нюанс» и была посвящена Арно Хольцу и Герхарту Хауптману. Говоря о увлеченных спорах относительно теорий Арно Хольца и Йоханнеса Шлафа, Мёллер невольно передавал свою неприязнь к модным натуралистичным представлениям и вере в технический прогресс. Мёллер говорил о творческом принципе в искусстве, одновременно отвергая голый натурализм, и «копировальный принцип», который больше подходил для фотографии или документального кино. Но вместе с тем неубедительность теорий

А. Хольца Мёллер описывает следующими словами: «Здесь имеется сила, но она направлена по ложному пути; вероятно, это тот случай, когда она спонтанно прорывается сквозь идею фикс».

Еще одна «брошюрка», вышедшая в 1900 году, была посвящена исключительно творчеству Рихарда Демеля. Вначале Мёллер констатировал, что все предшествующее и обошедшее его стороной литературное развитие он всегда воспринимал относительно негативно, что было «в определенной мере исторически обоснованным». В частности, его всегда не устраивала несбалансированность формы и содержания.

«Это поэт может либо захватить врасплох материалом, либо вы его так и не сможете одолеть из-за формы изложения». Таким образом, книга как бы являлась вопросом, поставленным перед читателем. Демель, напротив, словно предложил не только ответы на многочисленные, остававшиеся открытыми вопросы, но и в известном смысле синтез, который брал корни в литературных противоречиях XIX века. В «силовом поле» «Современной литературы», где на различных полюсах располагались Ницше и Лилиенкрон, Мёллер расположил Демеля где-то посредине. Нынешние исследователи литературы всегда были признательны Артуру Мёллеру за то, что он оставил в истории контуры фигуры Демеля, хотя и несколько утрировав ее. Мёллер писал о нем: «Можно сказать, что он был и профиль, и анфас нашего культурного развития». Десятая брошюра «Современной литературы», «Молодая Вена», обращалась к австрийским поэтам. У Мёллера существовало очень сильное предубеждение к Австрии вообще и Вене в частности. Он ошибочно полагал, что для всей венской литературы характерен некий «феминизм», а вся Австрия характеризовалось недостатком индивидуальности. «Современная литература» не была шедевром. Это был манифест, который пытался запечатлеть дух времени. Опираясь только на чувства, Мёллер хотел обрисовать мировоззрение, которое приходило на смену старой эпохе. Да и в ранних произведениях Артура Мёллера нас интересуют не их литературные достоинства, а то, как он видел свое переломное время.

«Немцы». Германский Плутарх?

Книга Артура Мёллера «Немцы» появилась на свет в вестфальском издательстве Брунса без указания даты выхода. В этой большой работе Мёллер попытался вывести некую типологию людей, сыгравших значительную роль в немецкой истории. При написании работы Мёллер отказался не только от традиционного прусского вида описания истории, но и от попыток как-то психологически обосновать свою типологию. Он попытался описать национальную историю в целом. В то время Мёллер уже однозначно оценивал себя как немецкого национа-



листа. Именно этим объясняется, что он решил обратиться к национальным корням. Позже он писал о роли, которую сыграли «Немцы» в формировании его новых воззрений. «В течение трех лет я занимался совершенно другими вещами. Но на место "Литературы" пришла жизнь. Я был немцем, живущим за границей. Именно там я увидел различия в национальностях. Я чувствовал, что предстояло большое столкновение. Результатом этих ощущений стали "Немцы". Я бы характеризовал их как подготовительную книгу. Как учебник. Как книгу, которая должна была воспитывать нацию отстаивать свои права. Как книгу, являющуюся осмыслением предназначения истории».

Как-то друг Мёллера Ганс Шварц заметил, что «Немцы» предоставили Артуру шанс стать кем-то наподобие «немецкого Плутарха». Однако Мёллер так и не смог достигнуть этой высокой цели. Если судить по содержанию, то эта книга выстроена в точном соответствии с математико-архитектурными формами. Однако при ее прочтении возникает мысль, что подобная форма была чем-то излишним. Частые пересечения, многочисленные излишние повторения и скучные отступления только подтверждают подобный вывод. Сама стилистика «Немцев» была далека от идеальной. Наставления, которыми Мёллер грешил в ранних работах, здесь приобрели просто тенденциозный характер. Неудивительно, что она не получила широкого отклика у читателей. Но на это имелась и другая причина: накануне Первой мировой войны немецкая публика жаждала тевтонского ура-патриотизма, а не выдержанного исторического анализа. Если Мёллер пытался доказать «Немцами» что-то великое, то ему это не удалось. Возможно, потому, что ему не хватало исторических знаний об эпохах, которые он описывал. Не стоило забывать, что он традиционно пытался опираться на интуицию, а не на четкие знания. Но думаю, что исторический анализ был не самой главной задачей Мёллера — он был нацелен на озарение и мифологизацию. Он говорил о том, что для создания новых форм мало отказаться от предыдущих, для этого необходимо войти в контакт с Вечностью. Подобная картина была широко распространена в Веймарской республике среди националистов. В 1928 году Ганс Шварц написал, что эпиграфом к «Немцам» могла бы стать следующая фраза: «Сегодня мифология вытесняет историю. Мифическая правда имеет несомненное преимущество перед исторической действительностью». О чем-то подобном в 1921 году писал и сам Артур Мёллер: «Мир все больше и больше становится мифическим... Астрология правильнее астрономии. Алхимия вернее чем химия. Метафизика надежнее физики». В «Немцах» Мёллер возвел в систему выдвинутую как-то мюнхенским «космистом» и мистиком Людвигом Клагесом формулу: «Дух как противник души». Иррационализм начал формироваться в сфере искусства и литературы, но затем он стал

прокладывать себе путь в политику. Но Мёллер никогда не попадал под власть иррациональных мечтаний. В главе «Современность, терпящая неудачу» он вновь повторил мысль, высказанную в «Варьете»: он презирал буржуазию. Но теперь вместе с ней он питал отвращение и к утопическим преобразователям мира, и к пессимистам, бегущим от жизни в потустороннее. «Только аутсайдеры и отставшие в развитии жаждут жить вчерашним днем». Он смело резюмировал: «Эпоха Возрождения была прекрасна. Рай также был прекрасен... Но сегодня мы думаем об этом без зависти, так как это — наш час».

Наряду с обсуждением «прославленных» достижений цивилизации Мёллер восхищался сокровенной мечтой об объединении всех немцев, которую осуществил Бисмарк, хотя и в «малонемецком варианте». Но могло ли это стать предпосылкой для процветания искусства, как это было в Англии при королеве Елизавете и во Франции во времена Людовика XIV? У Мёллера не было оптимизма по поводу единения на основе достижений цивилизаций. Говоря о развитии Германии в XIX веке, он написал такую фразу: «За вершинами семидесятых годов следовала равнина восьмидесятых и нынешний отлив». И далее продолжал: «Это была огромная, жестокая, безобразная антитеза, которая открылась дома между энергичной батальной картиной и мирной карикатурой — на смену героям пришли обыватели и карьеристы». Схожим образом он смотрел и на страшнейшие просчеты государства, которые состояли в том, что оно не обращало внимания во всей полноте на социальные вопросы. Государство даже не намеревалось решать их, хотя приближение изменений в обществе было очевидным. И как в таких условиях можно было ожидать появления нового искусства? Основной задачей ему виделось органически соединить ценности, выработанные раньше, с требованиями, которые диктовала современная цивилизация. Но увы, Мёллер видел, как пошлость захватывала немецкие города, превратившиеся в сплошную стилистическую мешанину. Истинная красота подменялась полуфабрикатами. Мёллер высказывал надежду, что новая культура родится после краха, который был неизбежен. По его мнению, Германия была «колоссом на глиняных ногах»: сильная в политическом и военном отношении, она была слаба в культурном смысле. Мёллер утешал себя, что сквозь эклектику официального искусства, протежируемого кайзером Вильгельмом II, пробивались молодые силы, которым он и посвящал свои работы.

Протестуя против всего, что было связано со словом «буржуазия», Мёллер невольно позиционировал себя как представитель поколения, которому были чужды пафосное фразерство о могуществе прогресса и поверхностный позитивистский оптимизм. Но вместе с тем он не мог отрицать, что объединение Германии не было бы возможно без технических достижений.

«Театр Францез»: шовинизм в искусстве

Работа о французском театре была небольшой брошюрой, точная дата написания которой до сих пор не известна. Она вышла в одном из томов серии «Театр», издаваемой Карлом Хагеманом. Как уже следует из названия, эта книжка обращалась к истории французского театра. Мёллер прослеживал ее, начиная с XIV века до эпохи Бомарше. В те дни Мёллер не скрывал своей антипатии к Франции. Эта страна была для него самой сутью «запада», отрицательное отношению к которому он позаимствовал у Достоевского. Сам французский театр для Мёллера был порождением низменных потребностей, а именно стремления к сенсации. Нелепость французского театра он объяснял национальным складом самих французов. Говоря о Расине как типичном представителе этого направления, Мёллер употреблял следующие фразы: «дешевое кокетство», «жалкая сентиментальность», «женоподобно», «свойственная скудость», «дешевый триумф». Комментарии, как говорится, излишни.

Итак мы рассмотрели наиболее значимые ранние работы Артура Мёллера. Их характер менялся: это были и фельетоны, и дидактическая литература, и культурно-исторические работы. Можно ли на основании этого назвать Артура Мёллера фельетонистом, историком культуры и искусствоведом? Только первая из трех характеристик не вызывает никаких возражений. Но фельетоны — это не та сфера деятельности, которая прославила Мёллера. Мне он видится тем типом литератора, который движется по размытой границе, которая пролегает между искусством и наукой. Я обратил внимание на этот не самый важный аспект, так как после войны Артура Мёллера сложно было однозначно отнести как к разряду писателей, так и к разряду политиков. Он продолжал балансировать между различными сферами, идя по линии, видимой только ему.

ИСТОРИЯ «ДВИЖЕНИЯ КОЛЬЦА»: ПЕРВЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПОПЫТКИ МЛАДОКОНСЕРВАТОРОВ

Символ кольца

«То, что сегодня по всем переулкам дует революционный ветер, что левый либерализм не только исполнен трусливым страхом, но и в духовном плане поставлен на колени, что упрямое мышление немецкой бюрократии пропитано новыми идеями, что начинается определенно

настойчивое мышление немецкой бюрократии, что официальная политика, как равно и чопорные газеты, претендующие на широкий круг читателей, оказались отвергнутыми, — все это заслуга духовной жизни и интеллектуальной воли, которые даже не мыслимы без упоминания вышеназванных трех организаций». Эти слова были написаны в августе 1932 года Эдгаром Юлиусом Юнгом. Под «вышеназванными тремя организациями» он подразумевал «Союз немецких студентов», «Июньский клуб» и «Немецкий союз защиты пограничных и зарубежных немцев».

Что общее Эдгар Юнг увидел в этих различных на первый взгляд объединениях, которые не теряя своей самостоятельности, тем не менее были подведены под общий знаменатель? Так как речь шла не о партии, не о жестко структурированном союзе, мы вряд ли сможем увидеть общность в программных установках и организационных формах. Однако, если бы смогли заглянуть в Берлин по адресу Моцштрассе, 22, то обнаружили бы, что это здание использовалось в качестве резиденции всех этих трех организаций. Однако вряд ли было бы справедливо, если бы мы сконцентрировали внимание на этом локальном центре. Можно было бы подробно изучать народно-консервативную работу, которая велась кружком, сложившимся вокруг Артура Мёллера ван ден Брука. Но в данной книге мы изберем другой путь.

Во вступлении к третьему изданию «Призыва Юнга» Макс Хильдеберт Бём предлагал историю каждого движения, сгруппировавшегося вокруг Мёллера («Кружок солидаристов», «Июньский клуб», «Политический колледж» и т.д.), описывать в целом как историю «Ринг-движения», «Движения кольца». Мысль собрать всех национально мыслящих немцев под символом кольца принадлежала Генриху фон Гляйхену-Русвурму. По образцу английских джентри он предпринял попытку сформировать элитную организацию будущих лидеров Германии. Кольцо было выбрано в качестве символа этого союза, так как оно означало сохранение спокойствия в сложных условиях. Кольцо должно было символизировать общее, объединяющее начало, которое предполагало существование различных независимых сегментов. На практике это должно было выразиться в многочисленных контактах между собой людей, собравшихся под знаком кольца. В Ринг-движении должны были оказаться наиболее значимые люди, проявившие себя в самых различных сферах: политике, экономике, общественной жизни, науке, искусстве, журналистике. В итоге подобное строение движения гарантировало, что в нем не могли бы взять верх ни отдельные политические программы, ни отдельные личности, ни отдельные партийные или общественные структуры. Кольцо могло существовать только при условии взаимосогласия и сотрудничества различных «сегментов».

В одном из агитационных материалов говорилось: «Никогда не было даже намека на то, что политические, экономические или отечественные организации, составляющие Кольцо, выступали друг против друга. Цель, которой следует Кольцо, состоит вовсе не в организационном охвате широких масс и отдельных социальных групп. Для Кольца интерес представляют только личности, которые осознанно сохранили внутреннюю независимость несмотря на свои политические и профессиональные обязательства, и готовы вместе с другими разделить ответственность за общее дело». В 1993 году Клемперер писал по этому поводу: «Наше общее обозначение "движения" должно было показать тот факт, что, несмотря на очевидные различия между людьми, все мы были преданы идеям молодежного движения и духа 1914 года». Подобные связи между различными структурами, составлявшими Кольцо, внешне нашли свое выражение в газете «Совесть», печатном органе «Июньского клуба», который, начиная с 1920 года, выходил с изображением кольца. Позже «Клуб господ» переименовал ее в «Кольцо».

Написать историю Ринг-движения отнюдь не простая задача. О подобных трудностях еще в 1933 году предупреждал Макс Бём: «Наше движение, в действительности, не станет легкой задачей для историков, так как все программные и документальные, все соответствующие конкретные источники будут лежать в стороне от действительности». Кроме этого возникала еще одна сложность — большая часть документального материала, касающегося истории Ринг-движения, либо бесследно пропала, либо была уничтожена. Поэтому предлагаемая вниманию читателя краткая история Кольца вовсе не претендует на полноту изложения, она всего лишь открывает страницу, которая неизвестна даже отечественным историкам.

Истоки в военной пропаганде

Антанта гораздо раньше, а самое главное, успешнее (нежели немцы) стала использовать пропаганду как одно из эффективнейших средств ведения современной войны. После того как немецкая армия нарушила нейтралитет Бельгии, военные части союзников не просто начали боевые действия на территории этой страны, они прикрывались Лигой Наций и высокопарными фразами об освобождении этой европейской страны. Военная пропаганда англичан и французов состояла не только из правительственных меморандумов, но и заявлений авторитетных политиков. Одновременно с этим в парижской бульварной прессе началась целенаправленная кампания, которая по заказу руководства союзников красочно живописала «зверства» немцев. На фоне этих агиток даже немецкие ура-патриотические

статьи казались банальными и скучными. В самой Германии военные круги посчитали ниже своего достоинства распространять подобные пасквили про своих противников. В итоге сложилось туманное, противоречивое, а самое главное, неофициальное общественное мнение относительно того, зачем Германия ведет военные действия. Вместо однозначных заявлений и декларирования программных целей войны германская сторона беспрерывно провозглашала, что она против своей воли была вынуждена вступить в войну, дабы сохранить свой суверенитет и отстоять свои права. Планомерная, грамотно управляемая военная пропаганда была нацелена, как правило, на нейтральные зарубежные страны, но вовсе не на собственный народ, дабы служить делу его сплочения. Организация пропагандистских акций задерживалась бесконечными спорами относительно полномочий той или иной структуры. Когда же агитационные мероприятия стали удачно реализовываться, то было слишком поздно.

Так кто же занимался военной пропагандой? В начале войны при министерстве иностранных дел Германии было создано «Центральное ведомство зарубежной работы», чья деятельность ограничивалась обзором иностранной прессы (прежде всего стран противников) и написанием брошюр, ориентированных на нейтральные страны. Весной 1917 года эти функции перешли в руки управления информации МИДа Германии. Начальником управления был назначен шеф пресс-службы рейхсканцелярии Дойтельмозер. Не прекращавшаяся ни на минуту в годы Первой мировой войны борьба между министерством военных дел и Генеральным штабом привела к тому, что в июле 1916 года военные создали собственное пропагандистское подразделение — «Военное ведомство зарубежной работы», которое, естественно, никак не координировало свою деятельность с дипломатическими структурами. В мае 1918 года эта структура «в целях более ясного подчинения и компетенции» была переименована в «Отдел внешних связей высшего командования». Начальником отдела внешних связей был назначен генерал-майор Хефтен. Но реальная работа затормаживалась. Лишь 28 августа сотрудники «Военного ведомства зарубежной работы» влились в состав «Отдела внешних связей высшего командования».

Если говорить об Артуре Мёллере, то он оказался в составе «Военного ведомства зарубежной работы» осенью 1916-го, в чем ему помог Франц Эверс. 29 августа 1916 года Эверс писал своему другу: «Витт Хё[1] требует тебя. Возражений быть не может. Хё получил задание от генерального штаба создать центр по ведению военно-пропагандистской деятельности, ориентированной на нейтральные страны. Речь идет о регулярной обработке важных книг, брошюр и т.д.». Оказавшись в

[1] Капитан Витт Хё был начальником отдела кадров «Военного ведомства зарубежной работы».

«Военном ведомстве зарубежной работы», Мёллер работал вместе с Вальдемаром Бонзельсом, Гербертом Юленбергом, Гансом Гриммом, Фридрихом Гундольфом и многими другими.

Написание брошюры «Права молодых народов», которая вышла в Мюнхене в 1919 году и с которой начался путь Мёллера как политического публициста, было задумано им во время работы в «Отделе внешних связей высшего командования». Формирование основных идей было спровоцировано меморандумом генерала Хефтена, в котором он предписывал перейти в политическое наступление. Однако прежде чем Мёллер закончил эту брошюру, произошли события, которые сделали ее написание бессмысленным. Западные державы перехватили инициативу в свои руки, а президент США В. Вильсон предложил свои знаменитые 14 пунктов по достижению мирного соглашения между воюющими странами. Когда Мёллер дописывал последние строки этой небольшой работы, программа Вильсона потерпела крах из-за сопротивления англичан и французов. Удивительно, но в качестве эпиграфа к «Правам молодых народов» Мёллер взял несколько измененные слова Вильсона: «Моя программа не содержит ничего, что унижало бы величие Германии». Мёллер вспоминал, что Германия в соответствии с предложением Вильсона попросила о справедливом перемирии и доверчиво обратилась к американскому президенту с просьбой выполнить свои обещания. Но Вильсон не смог реализовать свою программу. Условия перемирия, несмотря на авторитет Вильсона, не были соблюдены. Так что нет ничего удивительного, что по мере написания брошюры Мёллер подготавливал аргументы для полемики, которую он позже развернет на страницах «Совести» и в своей главной книге «Третий рейх». Разочарование Артура Мёллера было гигантским. Его брошюра уже фактически была переведена на английский язык и готова к печати. Но его труды не пропали даром: ее текст гулял в армейской среде, вызвав большой резонанс. Брошюра Мёллера стала выражением общегерманского разочарования.

Здесь мы впервые сталкиваемся с универсальной, но очень противоречивой теорией Мёллера о существовании «молодых народов». Позже она стала базой для теоретической подготовки сотрудничества России и Германии, которое должно было реализовываться в рамках так называемой восточной ориентации младоконсерваторов. Союз, заключенный между «молодыми народами», должен был противостоять Лиге Наций, тесно связанной с западными державами — странами-победительницами, которые представляли собой «старые народы». Мёллер подчеркивал, что «молодые народы» проиграли мировую войну и оказались угнетенными. Условия нового мирного существования ставили под угрозу само существование «молодых народов». В теории «молодых народов» отразились бурные эмоции

и переживания, которые Мёллер испытывал после поражения своей страны.

Ноябрьская революция 1918 года положила конец деятельности состава «Отдела внешних связей высшего командования». Ганс Гримм так описывал конец отдела: «Я с ужасом вспоминаю тот день, когда после полудня посетив казармы, увидел первые аресты офицеров, которые совершили восставшие рекруты. Два часа спустя руководство нашего ведомства заявило: “Господа, расходитесь по домам”. Когда Мёллер ван ден Брук и я остались, то получили приказ: “Всем присутствующим направиться по домам!”»

Хотя Мёллер ван ден Брук очень недолгое время служил в ведомстве военной пропаганды, но именно там он сформировал основные контуры идеи о «молодых народах». В этом отношении сей небольшой эпизод оказал непропорционально огромное влияние не только на жизнь Мёллера, его публицистский стиль, но и на всю идеологию «Июньского клуба». Необходимо подчеркнуть, что другой основатель клуба, Генрих фон Гляйхен-Русвурм, подобно Мёллеру, в годы Первой мировой войны работал на военную пропаганду. Руководимый им «Союз немецких ученых и деятелей искусства», насчитывавший более тысячи работников умственного труда, в годы войны сотрудничал и с «Военным ведомством зарубежной работы», и «Отделом внешних связей высшего командования». Соответственно Гляйхен был хорошо знаком с Дойтельмозером и Хефтером. И наконец, надо упомянуть в этой связи и Макса Хильдеберта Бёма, которому военное руководство в 1918 году поручило перебраться в Швейцарию и отслеживать там печатные издания противников, дабы планировать контрмеры. Добавим к этому, что именно Бём познакомил Гляйхена с Мёллером ван ден Бруком. Итак, три незаурядных человека, создавшие «Июньский клуб» в годы Первой мировой войны, работали в ведомствах, занимавшихся военной пропагандой. Все они также принадлежали к группе, которая стремилась достигнуть мира с западными державами, а не покорять их, на чем настаивали шовинисты из так называемой отечественной партии.

«Объединение национальной и социальной солидарности»

«Объединение национальной и социальной солидарности», или «солидаристы», как называли себя члены этой организации, было творением барона Генриха фон Гляйхен-Русвурма. В годы войны фон Гляйхен работал в Генеральном штабе, а затем в министерстве сельского хозяйства. Свои организаторские качества он проявил на посту секретаря «Союза немецких ученых и деятелей искусства», который

был основан как представительный орган немецкого интеллигенции в 1914 году. Именно в этом союзе барон завел многочисленные знакомства, установил важные политические связи, которые позже с выгодой использовал при создании «Июньского клуба» и «Клуба господ». После поражения Германии в мировой войне и крушения монархии он издавал в Страсбурге «Европейскую политико-экономическую газету», которая прекратила свой выход после появления семи номеров. Озлобленный этой неудачей он перебирается в Берлин, где пытается заинтересовать своими политическими планами влиятельных личностей и некоторые политические круги. Как уже говорилось выше, именно он предложил план Кольца. Но фон Гляйхен, имевший аристократическое происхождение, вовсе не планировал создавать Ринг-движение, его прельщала мысль о создании объединения элиты, которая была далека от работы с политически растерянными народными массами. В качестве образца для подражания он хотел взять английские политические клубы.

В октябре 1918 года на базе «Немецкого общества 1914 года» он создает «Объединение национальной и социальной солидарности». Эта организация едва ли насчитывала больше 20 человек, но среди них оказались те, кто позже стал играть важную роль в лагере младоконсерваторов: Эдуард Штадтлер, Адольф Грабовски, Иоахим Тибуртиус, Цезарь фон Шиллинг. В феврале 1919 года «солидаристы» приняли собственную программу, которая венчалась громким лозунгом: «Новое государство, новая экономика, новое содружество народов». В ней они заявили о себе как о революционерах, но вместе с тем принципиальных противниках большевизма, как идейных врагах парламентаризма и антилибералах. Повышенный интерес «солидаристов» к социальным реформам позволил установить контакты с Адамом Штегервальдом, председателем христианских профсоюзов. Посредником при налаживании этих контактов был «солидарист» Франц Рёр, одновременно являвшийся членом этих профсоюзов. Штегервальд оказал очень сильное влияние на «солидаристов», особенно на Эдуарда Штадтлера, с которым позже его связывали теплые дружеские отношения.

Среди «солидаристов» мы могли бы заметить несколько важных персон: Брахта, служившего в министерстве внутренних дел, а также Франца фон Папена, которому позже судьба уготовила участь стать имперским комиссаром Пруссии. Последний, кстати, всегда поддерживал тесные связи с Генрихом фон Гляйхеном. Несмотря на свое незначительное число, «солидаристы» были чем-то большим, нежели политической сектой, которыми была тогда наводнена Германия. «Объединению национальной и социальной солидарности» с первых же дней существования Веймарской республики удалось оказывать

влияние на могущественную «Антибольшевистскую лигу», создателем и руководителем которой был «солидарист» Эдуард Штадтлер. Штадтлер так описывал появление Кольца: «Из кого возникло новое движение? С одной стороны, из нашей группы "солидаристов", с другой стороны, из руководимого мною антибольшевистского бюро, и наконец, из множества младоконсервативных элементов, которые тянулись к нам со всех сторон. Именно они снабдили нас консервативно-социалистической, или национально-социальной этикеткой».

«Антибольшевистская лига»

Эдуард Штадтлер[2] был более талантливым организатором, нежели Генрих фон Гляйхен. Он родился в Эльзасе, в мелкобуржуазной семье. Некоторое время жил во Франции. Его судьбу изменила встреча с профессором Мартином Шпаном, который вырастил из юноши убежденного немецкого патриота. Штадтлер был выдающимся оратором, обладавшим гигантской силой внушения. При необходимости он мог стать изворотливым демагогом. Свою политическую деятельность Штадтлер начал в партии Центра, ряды которой он покинул в 1918 году из-за острых разногласий с Матиасом Эрцбергером, лидером левоцентристов. С этого момента он являлся непримиримым противником центризма вообще и Эрцбергера в частности. В 1917 году он попал в плен к русским войскам, откуда его освободила Октябрьская революция. Во время Брест-Литовских переговоров Эдуард Штадтлер являлся неофициальным пресс-секретарем немецкого посольства в Москве. После возвращения в Германию Штадтлер считался крупнейшим немецким экспертом по «русскому вопросу» и большевистской политике. Как бы ни относились к Штадтлеру те или иные политические деятели, но у него нельзя отнять одного таланта — его аналитических способностей. По возвращении к себе на Родину он первый провозгласил большевиков, пришедших к власти в России, не союзниками Германии, которые облегчили ей участь и позволили воевать на один фронт, а ее потенциальными врагами, способными в любой момент вызвать массовые беспорядки, крушение немецкой монархии и военную катастрофу. Его слова оказались пророческими. Проникнувшись осознанием опасности, которая исходила от большевизма, Штадтлер тотчас после возвращения из России начал искать контакты с известными политиками и представителями немецкой экономики. Он надеялся заручиться их поддержкой в борьбе против деструктивной идеологии, которая рисковала взорвать изнутри истощенную Германию. Его первыми союзниками стали члены органи-

[2] Эдуард Штадтлер – родился в 1881 году, в 1945 году попал в плен. Его следы теряются в СССР.

зации, созданной Генрихом фон Гляйхеном. Но это вряд ли можно было назвать политическим успехом. Куда большее значение имела его встреча с Карлом Хельфферихом, которая состоялась 28 ноября 1918 года. Хельфферих, подобно Штадтлеру, ненавидел Эрцбергера, а потому всячески пытался помочь своему новому союзнику в осуществлении его планов. Однако эта поддержка должна была быть тайной, так как это могло скомпрометировать Хельффериха в глазах широкой общественности. А самое важное, новые революционные власти могли закрыть его предприятия. Тем не менее он организовал встречу Штадтлера с представителями «Немецкого банка», на которой присутствовал даже сам директор Манкивицу. Последний очень заинтересовался планами Штадтлера относительно борьбы с большевизмом в Германии. В тот же день банкир потребовал от Штадтлера создать «генеральный секретариат по борьбе с большевизмом» и выделил на эту цель пять тысяч марок. Несколько дней спустя Штадтлера познакомили с известным промышленником Фридрихом Науманном, который тут же предоставил три тысячи марок.

1 декабря 1918 года в Берлине, на Лютцов-штрассе, 107, состоялось учредительное собрание «Генерального секретариата по изучению и борьбе с большевизмом». Как видно из названия, это была организация, занимавшаяся чисто теоретической деятельностью. Одновременно с этим Штадтлер основал кадровую организацию — «Антибольшевистскую лигу», которая стала одной из составляющих частей «Кольца». «Солидаристы», приглашенные Штадтлером на учредительное собрание, предложили свою программу действий.

В «Генеральном секретариате по изучению и борьбе с большевизмом» выделялось научное отделение, к которому примыкали архив и издательство. Ими руководил Цезарь фон Шиллинг. Также наличествовали отделение пропаганды, где шефом являлся журналист и боевой товарищ Штадтлера Зигфрид Дёршлаг, и отделение прессы, руководимое Хайнцем Феннером, который в свое время был редактором немецкоязычной «Петербургской газеты». Отделение пропаганды издавало многочисленные листовки, пытаясь превратить «Антибольшевистскую лигу» в массовую организацию. Отделение прессы с 15 декабря 1918 года выпускало газету «Антибольшевистская корреспонденция».

На некоторое время этой структуре пришлось уйти в подполье, так как в декабря 1918 года «антибольшевистский централ» был разгромлен как «гнездо контрреволюционеров», а все имеющиеся материалы и помещения были конфискованы. В ответ на эти действия «солидаристы» заявили свой решительный протест. Между тем Штадтлер прекрасно понимал, что восьми тысяч марок, полученных от Науманна и «Немецкого банка», было явно недостаточно, чтобы создавать многочисленные

вооруженные отряды, гражданские советы и структуры самозащиты. Но ему вновь улыбнулась судьба. 10 января 1919 года Хельфферих собрал в Берлине пятьдесят наиболее влиятельных промышленников, финансистов и торговцев. Единственным вопросом, обсуждаемым на этой встрече, был доклад Штадтлера. В течение нескольких часов он красноречиво доказывал, что большевизм являлся мировой опасностью. В своих мемуарах он так описывал эту встречу: «После речи поднялся Гюго Стиннес и без какого-то позерства и торжества, в характерной для него деловой манере объявил: «Мое мнение — после этого доклада дискуссии просто излишни. Если немецкая индустрия, банки и торговля не хотят (хотя и в состоянии) выплатить страховые взносы в размере 500 миллионов марок, которые помогут отвести от нас опасность, то они больше не имеют права именоваться немецкими. После окончания встречи я прошу господ Борсинга, Сименса и прочих удалиться со мной в отдельную комнату, дабы мы могли договориться о долевом участии». Это был исторический час, так как решалась судьба так называемого Антибольшевистского экономического фонда, на средства которого в начале января 1919 года я должен был начать формировать мощное антибольшевистское движение».

Необходимые финансовые средства были предоставлены Гуго Стиннесом фактически в тот же день. Так появился на свет «Антибольшевистский фонд» из которого поддерживались любые группы и организации, именовавшие себе антибольшевистскими. Как уверял Штадтлер, средства из фонда получала даже Социал-демократическая партия. Иногда финансовые средства поступали на поддержку объединений, казалось бы не имевших никакого отношения к Германии. Например, «Западной Добровольческой армии» и военным подразделениям, возглавляемым князем Аваловым-Бермонтом. В те дни была распространена такая практика, что каждый, кто получал средства из фонда, автоматически становился челном «Антибольшевистской лиги». Так в одночасье объединение, созданное Штадтлером, из карликового союза превратилось в организацию национального масштаба.

15 января 1919 года, то есть пять дней спустя после знаменательно встречи в Берлине, Гуго Стиннес провел подобное мероприятие в Дюссельдорфе, где собрал большинство вестфальских промышленников. Как стоило ожидать, на повестке дня стоял только один вопрос — доклад Эдуарда Штадтлера. Среди присутствовавших можно было наблюдать Тиссена, Кирдорфа, Ройша, Альберта Фёглера. Штадтлер смог околдовать публику. Более того, Альберт Фёглер, генеральный директор Объединенных сталеплавильных комбинатов, изъявил желание после доклада побеседовать со Штадтлером с глаза на глаз. В лице этого промышленника лидер «Антибольшевистской лиги» обрел очень влиятельного, а самое главное, понятливого покровите-

ля. 1919 год был вершиной в деятельности лиги. Ее печатный орган «Антибольшевистская корреспонденция» выходил едва ли не ежедневно. На митинги, где выступал Штадтлер, приходили толпы людей. В те же дни лига опубликовала призыв «Ко всем партиям, сословиям, всем этническим группам Германии». Среди подписавших этот документ значились: граф Бернштрофф, барон Гляйхен-Русвурм, Адольф Грабовский, Фридрих Науманн, Адам Штегервальд, Эрнст Трёльч, Максимилиан Пфайффер, Оскар Мюллер, Зигфрид Дёршаг, Фриц Зибель, Эдуард Штадтлер, Франц Хенниг, Иоахим Тибуртиус и многие другие. Документ призывал вступать в «Лигу защиты немецкой культуры» — так по требованию «солидаристов» была переименована «Антибольшевистская лига». Причина этого шага крылась в том, что «солидаристы» не хотели поднимать на знамена негативные установки. В результате Штадтлер согласился взять название, которое было чем-то средним между «Антибольшевистской лигой» и «Объединением национальной и социальной солидарности».

В переговорах с промышленниками и банкирами Штадтлер всегда делал ставку на антибольшевистские лозунги, ловко играя на страхе толстосумов перед «обобществлением средств производства». И он добивался успеха, находя в этой среде полное понимание. Но не стоило забывать, что Штадтлер одновременно являлся «солидаристом», а стало быть, ему должны были быть, по меньшей мере, подозрительны антибольшевистские идеи, так как программа «Объединения национальной и социальной солидарности» предполагала социалистические преобразования в обществе. Более того, «солидаристы» весьма положительно относились к советской модели, которую они считали очень полезной для формирования «немецкого социализма», а тот в свою очередь должен был быть производной «окопного военного социализма». В своих воспоминаниях Штадтлер даже не пытался скрывать, что он и его друзья под прикрытием антибольшевистских лозунгов преследовали собственные цели. Антибольшевизм же позволял им быстро получить необходимые финансовые средства. Неуклонно растущее влияние «солидаристов» на «Антибольшевистскую лигу» делало неизбежным конфликт с рядом жертвователей и кредиторов. В один прекрасный момент коммерческий советник Феликс Дойч разразился нелицеприятной критикой из-за того, что «солидаристы» пропагандировали советскую модель. В тот момент разногласия удалось устранить благодаря заступничеству Гуго Стиннеса. Тем не менее программа, составленная Штадтлером 10 марта 1919 года, послужила поводом для окончательного разрыва отношений с промышленниками и банкирами. В этом документе Штадтлер бросил самые серьезные обвинения в адрес формальной демократии, против мирной политики правительства, а также потребовал принятия новой конституции и

роспуска национального собрания. В то время, когда только-только закончились революционные беспорядки и в народе стали появляться надежды на стабилизацию и восстановление государственного порядка, подобные заявления показались представителям экономики безответственными, что в их глазах роднило Штадтлера с левыми радикалами. Для промышленников и банкиров конституция и национальное собрание были гарантами того, что вскоре все пойдет постарому. Пока не был подписан грабительский Версальский договор, промышленники наивно верили в подобную сказочную возможность.

В конце марта Штадтлер был вынужден покинуть правление «Антибольшевистской лиги». Напрасно Стиннес и Фёглер пытались отговорить его от этого шага. Вместе со Штадтлером ряды лиги покинули и его друзья «солидаристы». Именно с этого момента «Антибольшевистская лига» перестала иметь какое-либо отношение к младоконсервативному движению. Да и сама лига стала потихонечку угасать, к 1925 году, когда произошла временная стабилизация республики, от некогда могущественнейшей организации осталось крошечное объединение патриотического толка.

Младоконсерваторы грамотно использовали свой единственный неповторимый шанс. А именно: в первые дни существования Веймарской республики на деньги многочисленных жертвователей они смогли донести до масс свои идеи и политически взбудоражить их. Позже Эдуард Штадтлер сетовал: «Руководители оказались недостаточно демоническими, чтобы из мелководья катастрофы 1918 года поднять народный дух до вершин собственной воли». Если многие из кредиторов просто с настороженностью наблюдали за социалистическими лозунгами «солидаристов», которые в определенной мере сближали их с национал-большевиками, то Фридрих Науманн решительно отмежевался от их антипарламентских выступлений. Штадтлер не сразу заподозрил возможность подобного развития событий. 9 марта 1919 года он направил Науманну программу «солидаристов», в сопроводительном письме к которой писал: «Вероятно, особую радость у Вас вызовет факт, что вокруг этой программы собираются молодые представители всех партий, которые намерены в новой форме отражать ваши старые идеалы национального социализма». 12 марта Штадтлер в телеграмме заклинал Науманна выступить против партии, которая выступала за мирные переговоры с Антантой. Науманн решительно отверг любые требования, которые были связаны с внешней политикой. Штадтлер не успокаивался, и 17 марта Науманн во время беседы с принцем Максом Баденским излил на Штадтлера все свое негодование: «Когда Вы в своей телеграмме настойчиво подчеркиваете, что я должен выступить против партий, то я не вижу для этого даже ни малейшего повода, так как не собирался отстаивать свои убежде-



ния в рамках партий. Но что я должен делать, что когда одиночка, не состоящий ни в какой партии, собирается вершить парламентскую политику? Одиночкой можно быть до тех пор, пока работаешь на поприще публицистики. Однако в парламент можно идти лишь при условии, что соблюдаешь парламентские методы. Но Вы и Ваши друзья «солидаристы» в своей программе ставят под сомнение целесообразность подобных методов. Я не берусь судить о трагическом стечении обстоятельств, когда молодежь, впервые желающая вступить в политику, выступает в роли реформаторов самой сути партий. Я лишь полагаю, что с течением долгого времени можно изменить людей и идеи, но очень сомнительно, что Вам под силу изменить партийные механизмы. Ярко выделенную Вами мысль о вожде нельзя осуществлять иначе как через демократические выборы, которые могут происходить лишь в условиях существования партии. В этой системе кроется само собой разумеющееся обстоятельство, которое играет ключевую роль: состояние хаотической беспартийности обрекает на провал любое действие. Впрочем, кое-что мне понравилось в программе «солидаристов» и может эффективно использоваться. Моя фраза о неизбежности существования партийных механизмов вовсе не значит, что надо преодолевать или презирать изначально свободные от партий движения». Слова Науманна не только наглядно продемонстрировали причины неудачи, которая постигла «солидаристов» в составе Антибольшевистской лиги, но и его мнение относительно несостоятельности младоконсерваторов в политических условиях Веймарской республики. Тем не менее сейчас очень сложно не согласиться со словами, которые произнес Эдуард Штадтлер, когда характеризовал немецкий антибольшевизм (не только лигу, но и парламентские партии, и рейхсвер, и вооруженные парамилитаристские группировки). «При историческом рассмотрении антибольшевистского прорыва 1918—1919 годов его можно оценить как первое гигантское испытание, рухнувшее на раздавленную немецкую нацию, и как не меньший экзамен во всемирной борьбе против большевизма».

«Июньский клуб»

В тот же самый месяц, когда «солидаристы» вышли из состава Антибольшевистской лиги, они при поддержке членов Объединения военной помощи «Ост» создали новую организацию, которая несколько месяцев спустя превратилась в легендарный «Июньский клуб». Объединение военной помощи «Ост», иногда именуемое Целевым союзом «Ост», в свое время было составной частью «Немецкого союза защиты пограничных и зарубежных немцев». Эта организация была создана по инициативе нескольких молодых талантливых, а самое главное, по-

литически активных участников «Союза немецких студентов». В годы Первой мировой войны он получал поддержку из военных кругов, и его деятельность курировал майор Виллизен. Об этом майоре известно, что до июля 1919 года он был шефом централа «Охрана восточных границ». Непосредственно после ноябрьской революции 1918 года он стал охранять австрийско-немецкие границы при помощи бойцов фрайкора, находящегося в его подчинении. Это начинание было высоко оценено высокопоставленными военными. Сам Гинденбург вызвался стать покровителем централа «Охрана восточных границ».

В ноябре 1918 года под патронажем майора Виллизена из состава членов «Союза немецких студентов» в Берлине выделился Исполнительный комитет, который позже был назван Объединением военной помощи «Ост». В Берлине уже существовали две старые, уже достаточно известные организации, которые преследовали схожие цели: «Объединение зарубежных немцев», которое было создано в 1881 году «Всеобщим немецким школьным союзом», и «Союза Восточной марки», учрежденного в 1884 году по инициативе Отто фон Бисмарка. Несмотря на схожие цели, Объединение военной помощи «Ост» рассматривало вышеприведенные союзы как морально изжившие себя. В итоге упреки свелись к тому, что «стариков» стали укорять в империализме и жадности, так как их деятельность была построена исключительно на меркантильной основе. Устремления «молодежи» сводились к тому, чтобы влить «стариков» в свой состав, подчинить их. Забегая вперед, скажу, что Объединению военной помощи «Ост» так никогда и не удалось достигнуть этой цели, хотя в первые послевоенные годы руководству организации посчастливилось завести очень важные связи. «Объединение зарубежных немцев», напротив, не возражало против союза с «молодежью». В какой-то момент по личной инициативе Райхенау эта уния вылилась в создание «Немецкого союза защиты пограничных и зарубежных немцев». Но личное соперничество в руководстве, а также различные приоритеты в общественной работе и пропагандистской деятельности привели к тому, что эта надуманная «личная уния» в очень скором времени распалась. Какое-то время остатки «Немецкого союза защиты» работали под названием «Национального союза», который формально был создан частным ученым из Силезии Карлом Христианом фон Лёшем. В свое время Макс Бём познакомил Лёша с майором Виллизеном. Не стоило забывать и тот факт, что Лёш был школьным другом Генриха фон Гляйхена. Позже этот силезец стал активнейшим участником «Июньского клуба». Кроме Лёша, в руководстве новой организации оказался публицист Герман Ульман — немец, прибывший из Судетской области. В свое время этот писатель руководил деятельностью австрийского филиала «Немецкого союза защиты».

В самом тесном контакте с «Немецким союзом защиты» (а позже и с «Июньским клубом») работала организация балтийских немцев, которую негласно возглавляли Харальд фон Раутенфельд и барон Георг Мантойффель-Сжёге[3]. Необходимо отметить одну интересную тенденцию: в «Немецком союзе защиты» и «Июньском клубе» всегда наблюдалось неимоверное количество балтийских немцев. В качестве одного из незаурядных руководителей можно было бы привести пример уже знакомого нам Макса Хильдеберта Бёма. Из Прибалтики прибыл также Макс Эрвин фон Шойбнер-Рихтер, который не только стал одним из первых мучеников нацистской партии[4], но и создал «филиал» Ринг-движения в Кенигсберге.

Но не будем забегать вперед. Резиденцией «Немецкого союза защиты» в 1919 году стал замок Бельвю. Это был один из центров формирования немецкого младоконсерватизма, по крайней мере до той поры, пока руководство «Немецкого союза защиты» не купило собственное здание. Если понаблюдать за развитием Объединения военной помощи «Ост» в «Немецкий союз защиты пограничных и зарубежных немцев», то можно отметить, что в ряде акций «солидаристы» участвовали совместно с группами «фелькише» и народно-национальными союзами. Народно-национальное движение в своей активной части состояло из молодежи. Среди этих людей мы могли бы обнаружить Фритца Эренфорта, Ганса Рёзелера и Готтхольда Штарке. История Кольца полна случайных встреч и знакомств, которые предопределили развитие Ринг-движения. Одной из таких случайностей стало посредничество Ганса Рёзелера во встрече «солидаристов» с представителями Объединения военной помощи «Ост». Это событие произошло в марте 1919 года в кафе «Святой Стефан», которое располагалось поблизости у Потсдамского моста. Закончилась встреча единодушным решением о тесном политическом сотрудничестве. Преимущественно практические задачи социально-экономического характера, которые выдвигали члены «Оста», были дополнены требованием надпартийной дискуссии. В итоге две силы, объединившиеся воедино, должны были стать тем инструментом, которому было под силу выработать новую политическую идеологию и распространить ее при помощи литературных произведений и публицистики. Вот тут и потребовался Артур Мёллер ван ден Брук.

Мёллер привел вместе с собой в новую организацию множество друзей, с которыми он встречался на «понедельничных» вечерах. Среди них были Конрад Ансорж, Франц Эверс, Пауль Фехтер, Рудольф

---

[3] После Второй мировой войны занимал пост главы Немецко-балтийского землячества, избирался депутатом бундестага ФРГ.

[4] Первый идеолог НСДАП, погиб во время «пивного путча».

Пехель и Карл Людвиг Шляйх. Для первых встреч Генрих фон Гляйхен предоставлял свою квартиру в доме № 121(и) на Потсдамер-штрассе. «Литературная» часть нового объединения с первых встреч была озадачена названием новой организации. По началу ее было решено назвать «И-клуб» по номеру корпуса, где жил Генрих фон Гляйхен. Но когда был подписан Версальский договор, было решено изменить название на «Июньский клуб», что должно было сделать наглядным протест против Версальского диктата. Позже появилось еще одно обоснование для имени клуба: «Июньский клуб» должен был стать наглядным противовесом «Ноябрьскому клубу», где собиралась берлинская левая интеллигенция.

Поначалу «Июньский клуб» не имел Устава и четких требований к членству в нем. Было решено даже пренебречь написанием социально-политической программы. В те дни существовала лишь одна договоренность: на квартире Генриха фон Гляйхена могли собираться в любое время все желающие поучаствовать в политических дискуссиях. Первым результатом подобных встреч стал «Малый политический словарь», в написании которого приняли участие множество посетителей «Июньского клуба». Тираж словаря разошелся по всей Германии огромным тиражом — 125 тысяч экземпляров. Но все-таки квартира Гляйхена в первую очередь была редакцией газеты «Совесть». Этот еженедельник не сразу стал печатным органом «Июньского клуба». Вначале «Совесть» издавалась Вернером Виртсом, офицером-фронтовиком, который вместе со своими боевыми товарищами задумал ее как «независимую газету для народного образования». Но в первых числах 1920 года «Совесть» стала выходить как орган Кольца. Деньги на ее приобретение и дальнейшее издание были предоставлены так и оставшимися неизвестными членами Кольца и «Июньского клуба». Обычно «Совесть» сдавалась в печать вечером в пятницу и выходила в свет в понедельник следующей недели. На издательских данных нередко стояло, что эта газета выходила тиражом в 30 тысяч экземпляров. Но на самом деле цифра оказалась сильно преувеличенной. Из документов Кольца, в частности из закрытых отчетов 1926 года, следовало, что с момента выхода ее тираж фактически никогда не превышал 4 тысячи экземпляров. Эту мысль подтверждает тот факт, что для расширения круга подписчиков редакция «Совести» иногда проводила лотереи. Такой шаг вряд ли был необходим для общественно-политической газеты с тиражом в 30 тысяч экземпляров.

В качестве самой политической направленности газеты указывалось, что она должна была пополнить домашние библиотеки немецких патриотов, так как с национальной точки зрения осмысляла события, начиная в глубокой древности и заканчивая современностью. «Совесть» не предполагалось распространять на улицах и через газетные

ларьки, по этой причине подписаться на нее можно было через специально созданные «общества друзей совести», куда ежегодно надо было сдавать 100 марок.

Несмотря на то, что Эдуард Штадтлер всегда подписывался издателем и главным редактором газеты, основная нагрузка по ее выпуску все-таки легла на Мёллера ван ден Брука. Дело в том, Штадтлер постоянно исчезал из своей квартиры, участвуя в лекционных турах по Германии. К тому же только у Мёллера хватало таланта вести такие злободневные колонки, как «Недельная хроника» и «Критика прессы». В первой рубрике скептически осмыслялись все социальные и политические события недели. Читателя словно пытались лишить кумиров и фетишей. С одной стороны, эта неблагодарная во многом работа фактически сделала Мёллера ван ден Брука неофициальным лидером «Июньского клуба». Но, с другой стороны, предельная перегруженность приводила к тому, что Мёллер все чаще и чаще замыкался в себе.

Если говорить об открытой общественной деятельности «Июньского клуба», то она началась с политического курьеза — лекционным вечером перед избранной публикой, большинство из которой составили женщины. Курьезность ситуации заключалась в том, что «Июньский клуб» был исключительно мужской организаций, куда был закрыт доступ женщинам. Но первое мероприятие было фактически подготовлено Люси Мёллер ван ден Брук, что и предопределило его половой состав. Но куда больше внимание публика уделила специальному выпуску берлинского журнала «Шпигель» («Зеркало»), где был опубликован большой аналитический материал «Молодежь в политике». Именно под таким названием проходил лекционный вечер, организованный «Июньским клубом». Именно тогда общественность узнала об открытых выступлениях против Версальского мирного договора. Первая «акция протеста», если так ее можно назвать, прошла в берлинской филармонии, вторая в Веймаре, где предполагалось собрать национальное собрание.

Собрание в Берлинской филармонии произошло 14 июля 1919 года. Тема обсуждения была «Мир и молодежь». Макс Бём говорил на этом мероприятии о «трагической солидарности молодого поколения», Эдуард Штадтлер предостерегал от большевизма, Вальтер Сзагунн обсуждал экономические последствия Версальского мирного договора, Ганс Рёзелер объявлял крах европейской идеи, а Генрих фон Гляйхен требовал уделять больше внимания проблеме истинной элиты общества. В заключительном слове Альберт Дитрих подвел итоги вечера, выдвинув идею, что внешний суверенитет Германии разбился о дефекты внутреннего суверенитета немецкой политики — «политики, которая заблудилась в выборе средств вместо того, чтобы разобраться в целях».

Лекторский вечер в Веймаре состоялся 14 августа 1919 года. Несмотря на некоторую импозантность, на этом мероприятии присутствовали многочисленные депутаты национального собрания. Впрочем, многие считали, что этот вечер не получил необходимого резонанса. Дело в том, что «Июньский клуб» получил от национально мыслящих банкиров необходимые деньги буквально накануне мероприятия. Плакаты и пригласительные пришлось печатать в спешке. Это была чистой воды импровизация, организованная «Июньским клубом».

Чем же полезен этот политический опыт «Июньского клуба»? Дело в том, что это была первая попытка повлиять на общественное мнение с ораторских трибун, принадлежащих каким-то определенным партиям. Но подобная шумиха в прессе вряд ли соответствовала аристократическому поведению Генриха фон Гляйхена, или задумчивым манерам Мёллера ван ден Брука, который, как известно, никогда не был ярким оратором, предпочитая отмалчиваться даже на заседаниях клуба. Своими мыслями вслух Мёллер делился только с очень близкими друзьями. Но Штадтлер придавал очень большое значение подобным публичным мероприятиям. Не стоило забывать, что сам он был прирожденный оратор и публичные выступления укрепляли его политический авторитет. По его инициативе даже было создано специальное «ораторское подразделение», которое должно было действовать по всей Германии. В нем наряду с Штадтлером состояли: Макс Бём, Альберт Дитрих, выходец из профсоюзной среды Эмиль Клот, Ганс Рёслер и даже коммунист Фритц Вет.

Когда мы попытаемся выяснить, представители каких социальных слоев, каких вероисповеданий, приверженцы каких идей в период с 1919 по 1923 год входили в «Июньский клуб», то столкнемся с рядом трудностей. Дело в том, что почти единогласно все оставшиеся в живых члены клуба говорили о том, что в годы его существования там не было никаких четких социальных и политических рамок. В «Июньском клубе» встречались мужчины, имевшие самое различное социальное положение и придерживавшиеся самых различных политических идей. В первые годы в клубе можно было встретить людей, которые еще недавно были не просто идейными противниками, а политическими врагами. В «Июньском клубе» появлялись и профессура (Отто Хётч, Франц Оппенхаймер, Эрнст Трельч, Герман Шумахер и Мартин Шпан), и вожди консерваторов (Оскар Хергт, граф Куно Вестарп и барон фон Фрейтаг-Лорингхофен), и представители демократических партий (Георг Бернхард, редактор «Фоссишен цайтунг», Вернер Мархольц), и социалисты (Август Мюллер), и государственные чиновники (государственный секретарь имперского экономического управления Мёллендорфс). В первые послевоенные годы связь с клубом поддерживал и Генрих Брюнинг, часто присутствовавший на разнообразных

диспутах. По поводу Брюнинга надо отметить, что когда он стал рейхсканцлером, то пошел по пути, отличному от предлагаемого Кольцом. Многие из Ринг-движения считали, что он был слишком тесно связан с «народными консерваторами» и «старыми консерваторами». Подобные ярлыки Брюнинг заработал за дружбу с Паулем Юнгом, который, кстати, и ввел будущего канцлера в «Июньский клуб». Сам Пауль Юнг в 1930 году вышел из Немецкой народно-национальной партии и создал собственную, которую назвал Народно-консервативной (откуда и название «народные консерваторы»). В годы нацистской диктатуры лидер «народных консерваторов» примкнул к Сопротивлению и даже оказался причастен к заговору 1944 года.

В конце 1920 года «Июньский клуб» перебрался из квартиры фон Гляйхена в резиденцию «Немецкого союза защиты», которая располагалась в Берлине на Моцштрассе. Новое помещение оказалось более вместительным, и жизнь клуба стала более организованной. Сначала появились членские билеты. Теперь каждую неделею по вторникам проходили активные политические дискуссии, которые были не экспромтом, а заранее подготовленным мероприятием. В подобных встречах, которые традиционно открывались с доклада о положении в стране, как правило, принимало участие 120—150 членов клуба. Председательствовали на клубных мероприятиях два человека: Мёллер ван ден Брук и Генрих фон Гляйхен. Несколько в стороне от них находился так называемый Комитет тринадцати, который ежегодно избирался на общем собрании членов клуба. К сожалению, до нас не дошли полные списки членов «Июньского клуба». Но определенные наметки можно сделать, судя по тем авторам, которые появлялись на страницах «Совести». Но подобная реконструкция вряд ли может считаться удовлетворительной, так как влиятельные покровители Мёллера и фон Гляйхена наверняка сами не писали статей, а в некоторых случаях вообще предпочитали официально не числиться в членах клуба.

Если говорить об этом времени (1919—1920 годы), то Макс Бём назвал его «самым вдохновленным и обильным временем». Когда на свет появился «Политический колледж», то это была всего лишь попытка преодолеть застой в Ринг-движении. Действительно, в 1922—1923 годах «Июньский клуб» был оттеснен этим учреждением.

«Политический колледж»

Немецкая история не знала столь настойчивых призывов к политическому образованию, как это произошло после Первой мировой войны. Конечно, проекты политического воспитания немцев наличествовали в XX веке. Вспомним хотя бы попытки профсоюзов и барона Штайна. Но после крушения монархии политическое обучение стало

жизненной необходимостью для молодой Веймарской республики. В качестве образца приводилась Парижская свободная школа политических наук. После поражения в 1871 году во франко-прусской войне было создано учебное заведение для новой политической элиты Франции. В «Июньском клубе» с самого момента его возникновения вынашивали мысль о создании по французскому образцу политического учебного заведения, которое по уровню знаний не уступало бы университетам. Осенью 1919 года профессор Мартин Шпан, сын известного политика Петера Шпана, начинает вести переговоры со своими бывшими учениками Эдуардом Штадтлером и Францем Брахтом относительно создания подобного учебного заведения. В январском выпуске журнала «Пограничный курьер» Шпан подробно описывает практику Парижской свободной школы политических наук, приходя в завершение к выводу, что нечто подобное позарез нужно Германии. Первую попытку в этом направлении предпринял в конце войны Фридрих Науманн, который задумал открыть «Государственную школу гражданственности», которая должна была стать партийно-политическим заведением. Позже управляющий наследием Науманна Эрнст Жек решил придать учебному заведению надпартийный характер, дабы он привлек в свои стены представителей всех политических направлений. В январе 1920 года между Генрихом фон Гляйхеном и Эрнстом Жеком произошла открытая дискуссия о перспективах политического образования в Германии, формировании новой политической элиты, которая закончилась решением совместно разрабатывать этот план. Несмотря на различия в предложенных проектах, конфликта не произошло. Жек все еще предполагал осуществить проект Науманна, которому он хотел оставить старое название «Государственная школа гражданственности». Но когда в начале августа «Фоссише цайтунг» опубликовала официальное сообщение о том, что под руководством Эрнста Жека и Теодора Хойсса открылся «Институт политики», но в «Июньском клубе» решили, что их обошли, у них украли идею и лишили приоритетных прав. Смею заметить, что Жек еще весной предупредил Гляйхена об этом по телефону, но тогда и речи не шло об институте. Возможные конфликты попытались уладить, и активного члена «Июньского клуба» Ганса Рёзелера включили в состав правления «Института политики». Тем не менее обе стороны так и не смогли найти общего языка — их отношения больше напоминали конкуренцию, нежели сотрудничество. Как-то Генрих фон Гляйхен написал в «Совести»: «Господин Жек — доброжелательный человек, он никому не желает зла и, видимо, поэтому никогда не прощает, если кто-то отличается от его образа мышления... Это сотрудничество не могло помешать организационным связям с институтом профессора Жека, что одновременно явилось признанием нашего

"Политического колледжа"». Это было не просто официальное заявление «Июньского клуба» — это было первое упоминание об учебном заведении, созданном при клубе.

1 ноября 1920 года под руководством профессора Мартина Шпана было учрежден «Политический колледж национально-политического воспитания и учебной работы». Впрочем, отдельные кафедры колледжа приступили к работе лишь в начале 1921 года. Правление «Политического колледжа» состояло из трех человек: Мартина Шпана, Генриха фон Гляйхена и Рудольфа фон Брёкера. Поначалу «Политический колледж» располагался по традиционному для «Июньского клуба» адресу: Берлин, Моцштрассе, 22. Однако в 1921 году из-за сложностей в работе учебного заведения оно было переведено в приют Св. Иоанна, который находился в Шпандау.

Научно-исследовательская работа и учебная деятельность «Политического колледжа» должны были способствовать формированию интеллектуальной элиты, которая бы стала в будущем костяком Кольца. Кто же и что преподавал в этом учебном заведении? Вот список кафедр и их сотрудников:

— кафедра внешней политики занималась изучением следующих вопросов: война и мир, борьба за экономические рынки, изменения в системе колониального могущества и т.д. Здесь преподавали: Мёллер ван ден Брук, Карл Хоффманн, Эдуард Штадтлер, Пауль Юнг, Вальтер Шотте, Фридрих Ленц, Георг Каро, Вольфганг Штальберг, Вильгельм фон Крис, Карл фон Лёш, Гельмут Геринг, Ульрих Дертенбах, Фридрих Фельгер;

— кафедра изучения национальных проблем занималась исследованием геополитических перспектив Германии с точки зрения как общеевропейских, так и внутригерманских проблем. Сотрудниками являлись: Макс Хильдеберт Бём, Карл Лёш, Герман Улльманн, Роберт Эрнст, Фридрих Ланге, Карл Георг Брунс, Франц Вецель, Вальтера Сзагунн;

— кафедра исследования немецкого и зарубежного профсоюзного движения и политических партий. Преподавали: Альфонс Нобель, Генрих Херрфардт, Франц Рёр, Вальтер Шотте, Рудольф Пехель, Ганс Лайфхельм;

— кафедра сословно-профессионального представительства. Сотрудники: Генрих Херрфардт, Хайнц Браувайлер, Рейнхольд Георг Кац, Франц Рёр, Франц Вецель;

— кафедра культурной политики. Сотрудники: Альберт Дитрих, Карл Бернхард Риттер, Курт Цише, Фридрих Брунштед, Рудольф Пехель, Вернер Виртс, Пауль Фехтер, Генрих Клинкенберг, Эрнст Крик.

Кроме этого имелись созданная задолго до 1929 года кафедра изучения мировых экономических кризисов, кафедра по изучению го-

сударственной идеи и кафедра аграрной политики. С научной точки зрения одной из самых энергичных и квалифицированных была кафедра, возглавляемая Максом Бёмом, где занимались изучением национальных проблем. Она поднялась еще более высоко, когда там стали преподавать молодые талантливые исследователи, такие как Гарри Лауэен, Рольф Ширенберг и Ганс Шаудинн. Лекции, прочитанные на этой кафедре, со временем вылились в отдельную монографию, которая называлась «Введение в национальные проблемы современности». Постепенно материалы кафедры стали публиковаться в отдельном приложении к «Совести» — «Пограничная борьба — информационный бюллетень кафедры национальных проблем». Со временем он превратился в самостоятельный журнал, выходивший ежемесячно. Кафедра выдвигала своей высшей целью проведение культурно-оборонительной работы, которая бы увязывалась воедино с «общенациональным подъемом». Как видим, тематика исследований оказалась продиктованной профилем деятельности «Немецкого союза защиты» и других схожих организаций, примкнувших к «Июньскому клубу».

Как и в случае с «Июньским клубом», материалы, относящиеся к деятельности «Политического колледжа», не сохранились. Известно лишь, что в этом учебном заведении был создан обильный архив политической прессы, которая выходила в Германии и за рубежом. В «Политическом колледже» проводился тщательный анализ и делались прогнозы относительно обстановки в Европе. Со временем колледж расширил свою деятельность, кроме постоянного обучения в нем стали проводить «Национально-политические учебные курсы», куда приглашались все желающие. Обычно курсы длились от 8 до 14 дней. На них присутствовало несколько десятков представителей самых различных профессий и социальных групп. На третьем году работы руководство колледжа пришло к выводу, что настало время приблизиться к долгожданному университетскому образцу. Теперь для попадания в колледж надлежало пройти собеседование. Для всех желающих предоставлялось общежитие. По окончании колледжа предоставлялся соответствующий диплом. «Политический колледж» был достаточно удачным проектом, который был призван вовлечь широкие слои студенчества в Кольцо. Закат «Политического колледжа» наступил внезапно. В 1924 году Мартин Шпан был избран депутатом рейхстага и фактически перестал заниматься делами своего учебного заведения. Буквально несколько месяцев спустя «Политический колледж» был объединен со своим старым конкурентом «Институтом политики». После этого он потерял свою привлекательность. В «институте политики» всегда негативно относились к любым националистическим настроениям, не проводя никакой разницы между революционными националистами и националистами в стиле архаичных «фёлькише».

Попытки активизации Ринг-движения

Как уже говорилось выше, в 1922—1923 годах «Июньский клуб» как бы оказался в тени «Политического колледжа». Подобному положению вещей способствовали многочисленные конфликты между ведущими персонами клуба. Красочную картину постоянных ссор, случавшихся в «Июньском клубе», дает неопубликованная переписка, которую Мёллер ван ден Брук вел с Францем Эверсом и Гансом Гриммом. В письме, датированном 30 октября 1922 года, Мёллер сообщал об острейшем конфликте, который вспыхнул между руководством «Июньского клуба» и «Политического колледжа». Речь шла о столкновении Генриха фон Гляйхена и Вильгельма фон Криса, которые на время даже решили приостановить свое членство в клубе. Но эта мера не помогла — конфликт продолжал разгораться. На стороне фон Гляйхена стоял лично Мёллер ван ден Брук, за спиной фон Криса находился Рудольф Пехель. 20 апреля 1923 года Мёллер в своем письме, полном ярости и негодования, писал, что дело дошло до вызова на дуэль. Поединок был предотвращен лишь благодаря срочно созванному «суду чести». Позже руководству клуба все-таки удалось избавиться от «оппозиции» (фон Крис, Пехель и т.д.), которая пользовалась поддержкой «Комитета тринадцати».

Как видим, Мёллеру ван ден Бруку, который пытался сглаживать «острые углы», удавалось это не всегда. Впрочем, несмотря на многочисленные «дворцовые заговоры», происходившие внутри «Июньского клуба», они не представляли серьезной угрозы для его существования. По крайней мере, пока Мёллер пытался быть третейским судьей. К тому же именно в те дни, когда в клубе стали возникать конфликты и первые признаки раскола, Кольцо вновь активизировало свою деятельность. Как говорится, нет худа без добра.

Одна из подобных попыток выразилась в появлении сборника «Новый фронт», который был издан совместно Мёллером ван ден Бруком, Генрихом фон Гляйхеном и Максом Бёмом. Изданный в 1922 году в Берлине «Новый фронт» содержал в себе ряд новых имен, которые традиционно были связаны с молодежным движением и по большому счету имели к «Июньскому клубу» весьма посредственное отношение (Франк Глатцель, Вальтер Ламбах, Август Виннинг). Уже из самого оглавления этого томика было видно, что все представленные в нем статьи имели программный характер. Позволю себе полностью привести его оглавление:

— Мартин Шпан «1848 и 1918»;

— Мёллер ван ден Брук «Либерализм убивает народы»;

— Макс Бём «Корпоративные обязательства»;

— Ганс Рёслер «Монизм и дуализм как основные воззрения метаполитики»;

— Вилли Шютер «К изучению вождизма»;
— Рудольф Пехель «Слово обходится»;
— Вернер Виртс «Военное переживание»;
— В. Штапель «Народность и народное сообщество»;
— Карл Бернхард Риттер «Основные религиозные установки молодежи»;
— К. Цише «Политика при рассмотрении человека»;
— Эрнст Крик «Воспитание и развитие»;
— А. Дитрих «Научный кризис»;
— П. Пехтер «Изменения формы»;
— Ф. Глатцель «Из молодежного движения»;
— В. фон Крис «Стоимость»;
— Бернхард Леопольд «Предприниматель»;
— Ф. Рёр «Немецкий рабочий класс»;
— Ф. Веет «Социалистический поворот»;
— В. Ламбах «Классовая борьба»;
— Ф. Эренфорт «Политизация сельского хозяйства»;
— Р. Кваац «Экономический федерализм»;
— Генрих Херрфардт «Будущие вопросы для парламента»
— Г. Браувайлер «Возвращение к праву»;
— В. Шротте «Немецкая пресса и заграница»;
— Карл Христиан фон Лёш «Пограничный вопрос»;
— Вильгельм Бюдерих[5] «Мы на Западе»;
— Г. Ульман «Немецкая самобытность и юго-восток»;
— Г. Альбрехт «Мы хотим ехать в восточные страны»;
— Г. Шедер «Дальний Восток»;
— Пауль Эрнст «Раса»;
— Г. Гримм «Перенаселение и колониальная проблема»;
— Карл Хоффманн «Между двумя эпохами»;
— Генрих фон Гляйхен «Государственное руководство в условиях кризиса»;
— Г. Гёш «Власть и право»;
— Г. Гёринг «Власть и государство»;
— Г. Эшерих «Самооборона»;
— Эдуард Штадтлер «Национализация немецкой революции».

При всем очевидном разнообразии этих программных статей их объединяло одно — однозначное неприятие существующего государственного строя, который пытался заткнуть критические голоса, принимая лишь восторженные заявления и заклинания, не решаясь при этом на конкретные действия. Но куда более значительным был тот факт, что после прочтения этих программных заявлений ряд извест-

[5] Единственный случай, когда Мёллер ван ден Брук использовал псевдоним.

ных публицистов присоединился к Кольцу, появившись на страницах его изданий.

Был и обратный процесс — представители Кольца стали появляться на страницах многочисленных немецких журналов и газет. Приведу несколько наиболее ярких примеров.

Сразу же упомяну пользовавшийся большой популярностью среди студентов журнал «Высшая школа», который издавался Гансом Рёзелером. В нем открыто излагалось все богатство идей, выдвинутых «Июньским клубом» и «Политическим колледжем». Кроме этого Кольцу оказался близок социалистический журнал «Вечный снег», выпускаемый Августом Виннигом совместно с Паулем Леншем. В 1920 году член «Июньского клуба» Вальтер Шотте возглавил редакцию «Прусского ежегодника», одного из самых авторитетных научных журналов Германии. В целом на историческом содержании журнала политическая ориентация редактора никак не отразилась, хотя некоторые передовицы были написаны Шотте в духе «Совести». В 1919 году Рудольф Пехтель, один из старейших членов Кольца, возглавил издание популярной газеты «Немецкая хроника». В течение трех лет (с 1920 по 1923 год) это издание периодически печатало авторов из «Июньского клуба». Кстати, именно на страницах «Немецкой хроники» широкая общественность впервые смогла прочитать работу Мёллера ван ден Брука «О праве молодых народов».

Герман Улльманн издавал агитационный вестник «Немецкий труд». Макс Бём еще во время пребывания в Страсбурге приобрел хорошие связи с большинством местных газет. В 1920 году он вместе с историком Фрицем Керном стал издателем «Пограничного курьера», журнала, который приобрел немалый вес в среде немецких консерваторов и националистов, которые после крушения монархии мечтали о возрождении великой Германии. На его страницах постоянно появлялись младоконсервативные авторы. Именно Фриц Керн привлек к сотрудничеству 24-летнего Ганс Генриха Шедера, который был околдован идеями Кольца. Среди авторов «Нового фронта» мы могли бы обнаружить Вильгельма Штапеля, который кроме всего прочего являлся издателем журнала «Немецкая народность» (до 1918 года «Сцена и мир»).

Пресс-служба Кольца, состоявшая из Ганса Фроша и Макса Бёма, имела прекрасные связи с большинством известных немецких журналистов, поддерживая с ними постоянный контакт. Как-то в письме Гримму Мёллер ван ден Брук сообщал, что многие провинциальные газеты едва ли не умоляли, чтобы им разрешили печатать передовицы, написанные членами Кольца. В результате этот информационный вестник Кольца расходился по тридцати крупнейшим провинциальным газетам.

Но самым крупным приобретением «Июньского клуба» стала «Немецкая общая газета», специально купленная Гуго Стиннесом. После того как в редакционную коллегию вошел Пауль Фехтер, члены клуба на страницах этой газеты стали обыкновенным явлением. Неудивительно, что Эрнст Трёльч предостерегающе писал, что авторы «Совести» могли оказывать влияние на весь издательский концерн Стиннеса. Из столичных изданий наиболее близким к «Июньскому клубу» оказалась «Берлинская биржевая газета», в которой одно время был сотрудником Август Винниг. Со временем на «Июньский клуб» обратил внимание издатель «Южнонемецкого ежемесячника» Пауль Николаус Коссманн. Благодаря его стараниям в 1921 году в Мюнхене появился филиал «Июньского клуба», а по всей Баварии стала регулярно распространяться «Совесть».

В 1920 году в контакт с Кольцом вошел Хайнц Браувайлер, один из самых известных теоретиков современной сословности. До 1925 года он жил в Дюссельдорфе, где редактировал «Дюссельдорфскую ежедневную газету», постепенно превращавшуюся в печатный орган Кольца. Благодаря стараниям Штадтлера Браувайлер не просто стал активным участником Кольца, но и постоянным автором «Совести» и «Немецкой хроники», издаваемой Пехелем. С 1920 по 1921 год этот ученый самостоятельно издавал «Вестник сословной структуры», который в феврале 1923 года превратился в ежемесячное приложение к «Совести» — «Сословное движение».

Кроме уже упомянутых журналов, «Совесть» для расширения «нового фронта» (словосочетание на время превратилось в один из синонимов Кольца) назначила поощрительные премии для ряда немецких изданий. Среди них оказались «Младонемецкий голос», издаваемый Гансом Гербером, «Восточно-немецкий ежемесячник» Карла Ланге, «Немецкая южная сторона» Йозефа Фридриха Перконига и литературно-исторический журнал «Хохланд»(«Горная страна»), выпускаемый Карлом Мутом. Ввиду многочисленных связей с родственными по духу журналистами можно по праву говорить, что именно в 1922—1923 годах вокруг «Июньского клуба» стало формироваться широкое движение, объединившееся под знаком Кольца.

Одним из немногих учреждений Кольца, которое даже пережило на несколько лет сам «Июньский клуб», было основанное в 1921 году «Издательство Кольца». В нем печатались не только многочисленные младоконсервативные авторы, но и выпускалась «Совесть», которая позже превратилась в «Кольцо». В 1929-м, после ликвидации издательства и типографии, права на нее достались Ганзейскому издательству «Гамбург», которым, как «Книгохранилищем Кольца», руководил Генрих фон Гляйхен.

Вальтер Шотте, который после смерти Мёллера ван ден Брука оказывал на фон Гляйхена сильнейшее влияние, выдвинул план создания «Кольца тысячи», куда должны были войти национально мыслящие личности, которые смогли добиться успеха и признания в общественной жизни. Это было прототипом «Немецкого клуба господ». Организационным центром «Кольца тысячи» должна была стать «Средняя точка», которая находилась под руководством Вильгельма Розенбергера. Даже когда «Кольцо тысячи» превратилось в «Клуб господ» «Средняя точка» осталась «бюро, которое способствовало продвижению клуба и вело переписку с множеством отдельных личностей».

Финансирование Ринг-движения

Из мемуаров Эдварда Штадтлера и многочисленных биографий Науманна хорошо известны подробности финансирования «Антибольшевистской лиги». Но вряд ли можно похвастаться таким богатством сведений относительно финансирования Кольца. По большому счету достоверные сведения содержались только в письмах Мёллера ван ден Брука, адресованных Гансу Гримму, и еще в нескольких сохранившихся документах. Выявить людей, обеспечивающих Кольцо финансами, оказалось не так уж сложно. Для этого надо было просто подробно изучить список руководящих личностей движения и обратить особое внимание на людей, которые не занимались ни организационным построением «Июньского клуба», ни написанием статей и программных документов, ни преподаванием в «Политическом колледже».

Несмотря на большую популярность в германском обществе, «Совесть» не могла быть самоокупаемым проектом. В письме, датированной 13 ноября 1920 года, говорилось, что «Совесть», разорявшуюся от номера к номеру, было бы проще выпускать бесплатным листком, нежели полноформатной газетой. Но при этом «Совесть» продолжала платить все гонорары, что позже вызвало недовольство и Мёллера. Если бы «Июньский клуб» опирался лишь на членские взносы и выручку от реализации «Совести», то Кольцо не смогло бы содержать штатных сотрудников и снимать помещения для клуба и «Политического колледжа». Именно по этой причине одной из первоочередных задач Кольца становилась агитационная деятельность среди представителей индустрии, торговли, мира финансов. Реализация столь ответственного проекта была поручена Ринглебу. Снабженный личными рекомендациями высшего чиновничества Прусского министерства юстиции, родственно связанный с так называемой банковской группой «Д» (Дойче банк, Дисконтный банк, Дрезденский банк, Дармштадтский банк), в ноябре 1918 года он нашел выход на Военное

министерство Пруссии. Вместе с майором Виллизеном он разработал план, который в основных чертах повторял идею Эриха Койпа, руководителя «Общества внутренней колонизации». После беседы с военными чиновниками было предложено создать Объединение военной помощи «Ост».

Объединение «Ост» было создано Ринглебом на основании полученных рекомендаций. При этом он уже прибегал к своим широким связям. Но чтобы организация смогла действовать, ее руководству требовались постоянные связи с различными кругами общества, которые были готовы поддержать это военное начинание. Для начала словесные обещания и рекомендации должны были превратиться в планомерную поддержку. Причем эта поддержка должна быть непрерывной, желательно в виде постоянных ассигнований. Многие из кредиторов предпочитали не афишировать свою помощь Объединению военной помощи «Ост», да и сама организация не горела желание выставлять напоказ свою деятельность. В итоге все собранные пожертвования хранились не на обычном банковском счете, а в виде закладных. Подобная финансовая маскировка была возможна, так как Ринглеб был родственником одного из руководителей земельных банков. Предусмотрительно была достигнута договоренность, что все соответствующие взносы будут обращаться в закладные предприятия «восточной марки». За расходованием денежных средств наблюдал специальный совет, куда для пущего авторитета был даже приглашен депутат рейхстага от Немецкой народно-национальной партии Граммер.

После того как Штадтлер обратил внимание кружка «солидаристов» на Объединение военной помощи «Ост», Ринглеб был приглашен в апреле 1919 года на Потсдамер-штрассе, 121(и). После первой же беседы Ринглеба пригласили вступить в «Комитет тринадцати». Но во время беседы с Мёллером ван ден Бруком он подчеркнул, что не может действовать открыто ни в сфере публицистики, ни при чтении докладов. Открытая деятельность была запрещена ему из-за выполнения особых заданий как лица, управляющего имуществом и распределяющего финансовые средства. Именно этим можно объяснить, почему Ринглеб, являясь одной из центральных фигур Кольца, ни разу не появился на страницах газет и журналов. О нем даже в специализированной исторической литературе фактически нет никаких упоминаний.

Вступление Ринглеба в «Комитет тринадцати» еще более укрепило связи «Июньского клуба» с Гуго Стиннесом, который и так был неплохо знаком со Штадтлером. Но на этот раз общение вышло на новый уровень, младоконсерваторы постоянно обсуждали свои дела с двумя уполномоченными представителями «короля Рура»: Аль-

бертом Фоглером и Карлом Ферманном. Подобные встречи позволили «Июньскому клубу» постоянно получать финансовые средства на свои нужды. Вскоре после этого успеха Кольцо ждал еще один. Руководству «Июньского клуба» удалось наладить связи с могущественнейшим газетным магнатом Альфредом Гугенбергом, который уже в те годы считался негласным покровителем националистических партий и группировок. О первой встрече с Гугенбергом пришлось договариваться через посредника — капитана Мейера. Вскоре Ринглеб написал такие строки: «Моя первая встреча в Гугенбергом превзошла все ожидания и увенчалась неожиданным успехом. Чтобы в корне развеять домыслы о его антисемитизме, он предоставлял мне заверения очень влиятельных еврейских бизнесменов». Тот же Ринглеб смог добиться покровительства представителей АЕГ советника Арнхольда и Феликса Дойча.

Однако ввиду полемики «Совести» с Матиасом Эрцбергером кажется странным, что представители «Июньского клуба» получили в присутствии Ринглеба 100 тысяч марок от майора Виллизена. Подводя черту под этим сюжетом, надо подчеркнуть, что далеко не все средства, собранные Ринглебом, шли в кассу «Июньского клуба». Основная часть денег все-таки направлялась на развитие сельского хозяйства на востоке Германии. Кольцу, по сути, доставались лишь крохи. Об этом можно судить по письму, которое 10 октября 1919 года Мёллер ван ден Брук направил Гримму. В нем говорилось о подготовке к открытию «Политического колледжа». Мёллер жаловался на недостаток средств: «Мы рассчитывали на ежегодные затраты в размере 500 тысяч марок... Но сейчас мы нуждаемся в 5 миллионах марок, а имеем, я полагаю, только миллион». Макс Бём в одной из своих устных бесед также подчеркнул, что месячная зарплата штатного сотрудника Кольца едва ли превышала среднемесячную заработную плату обыкновенного служащего. Но нельзя не заметить, что благодаря усилиям Ринглеба, который налаживал связи с многочисленными кредитными организациями и жертвователями, Ринг-движение, в отличие от множества политических группочек и сект, возникших в 1918 году как по мановению волшебной палочки в неимоверном количестве, было достаточно стабильным на протяжении всей истории Веймарской республики.

Судьба «Июньского клуба» после гибели Мёллера ван ден Брука

Пока был жив Мёллер ван ден Брук, он вопреки всем внутренним противоречиям пытался сохранить целостность «Июньского клуба». Но когда осенью 1924 года его госпитализировали, почти сразу же

стали наблюдаться признаки распада. Даже больному, находящемуся на больничной койке Мёллеру было ясно, что надо было находить компромисс, но сделать он ничего не мог.

Именно в те дни Генрих фон Гляйхен вместе с Вальтером Шотте разработал проект превращения «Июньского клуба» в новую организацию «Немецкий клуб господ». Мёллер наотрез отказался от этого плана хотя бы потому, что его смущало реакционное название организации. Это привело к конфликту со старым товарищем. Гляйхен помирился с Мёллером буквально накануне смерти последнего. Несмотря на возражения Мёллера ван ден Брука, Генрих фон Гляйхен все-таки создал «Клуб господ». Произошло это в декабре 1924 года. Сопредседателями клуба были избраны Ганс-Бодо фон Альфенслебен-Нойгаттерслебен и Ганс Мейденбауэр.

Историкам еще предстоит изучить значение «Клуба господ». Но по крайней мере, кажется, что до сих пор его влияние очень сильно преувеличивалось. В немецкой литературе его принято изображать едва ли не решающим фактором в политической истории Веймарской республики накануне ее исчезновения. В качестве доказательств приводятся сведения о том, что Франц фон Папен, прежде чем стать рейхсканцлером Германии, состоял в «Клубе господ», равно как несколько членов его правительственного кабинета. Но сам «Немецкий клуб господ» попал в зону внимания общественности лишь благодаря этому факту. «Клуб господ» не имел никакого отношения к назначению Папена на пост главы немецкого правительства. Это произошло благодаря политике генерала Шляйхера, который, кстати, принципиально не поддерживал связи с «Клубом господ». Вальтер Шотте позже так охарактеризовал свое детище: «Клуб являлся политическим, но не мог влиять на политику... Он просто хотел быть представительным органом консервативных кругов Германии». Но вернемся обратно в 1924 год.

Раскол продолжал набирать обороты. В апреле 1926 года Макс Бём с частью свои единомышленников покинул «Политический колледж» и создал собственный независимый институт. Сам же «Политический колледж» постепенно распадался. Находясь на грани банкротства, как нам уже известно, его руководство решило объединиться с «Институтом политики». Ганс Шварц, протестуя против действий фон Гляйхена и Шотте, покинул «Июньский клуб» и, собрав вокруг себя кружок из молодых и политически активных сторонников, занялся предоставлением стипендий для учебы за границей. Хайнц Браувайлер и Эдуард Штадтлер нашли новую сферу деятельности — они стали идеологами «Стального шлема», военизированной организации Немецкой народно-национальной партии.

Как видим, «Июньский клуб» начал распадаться почти сразу же после смерти его «тайного короля». Сегменты Кольца превращались

в различные организации. Но, с другой стороны, «Июньский клуб» сделал свое дело — в Германии почти в одночасье возникла новая миссионерская активность. Но высокие идеалы отдельных членов Кольца нивелировались склоками по поводу того, кто же в действительности являлся истинным последователем идей Мёллера ван ден Брука, кто же являлся наследником Кольца. Ответить на этот вопрос оказалось не просто. Сложное, подчас противоречивое творчество Мёллера ван ден Брука вызвало различные, а нередко и вовсе противоположные интерпретации. Ганс Шварц, который пользовался доверием вдовы Мёллера ван ден Брука, получил в свое распоряжение его архивы и занимался переизданием работ покойного. Но даже и здесь дело не обходилось без склок. Когда Шварц задумал очередное переиздание «Третьего рейха» — главной работы Мёллера, то на него подал в суд Генрих фон Гляйхен. Дело в том, что Шварц собирался предварить книгу письмом Мёллера ван ден Брука, которое адресовалось именно Гляйхену.

Ближе всего традиции «Июньского клуба» воспроизвели берлинский «Младоконсервативный клуб» и общегерманское «Младоконсервативное объединение». Эти организации мыслили себя как собрание политически активной молодежи и в определенной мере являлись подготовительной ступенью для попадания в «Немецкий клуб господ». Но молодежь мало устраивали застывшие формы «общества господ». По этой причине берлинский «Младоконсервативный клуб» предпринял попытку восстановить ранее существовавшее единство и согласие. Весной 1927 года молодые берлинцы издали документ, в котором призывали восстановить «Комитет тринадцати». Самое удивительное, что среди предложенных кандидатур отсутствовали такие авторитетные деятели «Июньского клуба», как Эдуард Штадтлер, Мартин Шпан и Ганс Шварц.

Наряду с вышеперечисленными организациями права на наследие Кольца заявил «Народно-немецкий клуб», который возник одновременно с «господами» и «младоконсерваторами». Но это объединение всегда оставалось в политической тени и никогда не играло какой-либо заметной роли.

Конечно, смерть Мёллера ван ден Брука была далеко не единственной причиной развала «Июньского клуба». Не меньшее влияние на деятельность антипарламентского движения оказали и стабилизация Веймарской республики, которая произошла в годы правления Густава Штреземанна, и изменение политики репараций (плана Дауэса). В период 1924—1928 годов изменился и сам политический климат в стране. Большинство членов Кольца, которые были выходцами из средних слоев, отказывались от оппозиционной деятельности, направленной против правительства. Они вообще потеряли интерес к

политическим дискуссиям и полемикам. Их больше прельщала собственная профессиональная деятельность. С другой стороны, люди с высшим образованием, оставшиеся без работы, и бывшие офицеры, не нашедшие себе места в рейхсвере, пытались найти свою судьбу в крупных националистических организациях.

РИНГ-ДВИЖЕНИЕ В ПОЛИТИЧЕСКОМ ЛАНДШАФТЕ ВЕЙМАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Самое распространенное заблуждение, существующее среди историков, что Ринг-движение в своей деятельности ограничивалось лишь публицистическими выпадами, представая неким литературно-политическим явлением. Действительно, в области политической и социальной публицистики Кольцо развило самую невероятную активность, став наиболее заметным явлением за весь период существования Веймарской республики. Следы, которые оставило Кольцо, можно проследить едва ли не до 80-х годов XX столетия. Но тем не менее подобный подход в корне ошибочен, нельзя ограничивать деятельность младоконсерваторов исключительно опосредованным влиянием на политику. Подобное влияние члены Кольца осуществляли и при помощи личных связей, которые неизбежно возникали во время общения в «Июньском клубе». Точно установить, какие именно решения были приняты в недрах клуба, сейчас затруднительно.

Я уже обращал внимание на принцип Кольца, который отразился на структуре «Июньского клуба», — при вступлении в клуб отдельная личность прежде всего должна была служить определенной доктрине, четко сформулированной программе. Оборотной стороной медали являлось полное отсутствие какой-то унифицированной идеологии младоконсерватизма. Она была составлена лишь в общих чертах. Поэтому в одной из директив «Июньского клуба» содержались следующие слова: «Клуб как таковой воздерживается от принятия политических решений. Его члены несут персональную ответственность за свои политические предпочтения».

Так как Кольцо не обладало какой-то четко сформулированной программой, возникает необходимость остановиться на наиболее ключевых моментах. Только так мы можем определить, какое место «Июньский клуб» и его наследники занимали в политическом поле Германии. Сначала попробуем восстановить социальную структуру Кольца. В первые годы своего существования «Июньский клуб» в основном состоял из представителей мелкобуржуазной среды. Хотя были и исключения — иногда сюда заходили простые рабочие, интересовавшиеся политикой. Основной тон в деятельности Кольца задава-

ли люди с высшим академическим образованием. Большинство из них были фронтовиками и с трудом могли вернуться к своей прежней деятельности. После появления на свет «Клуба господ» в Ринг-движении заметно выросла доля аристократов, землевладельцев, промышленников и банкиров. В итоге идеологии создания народного сообщества (которая была связующим звеном в «Июньском клубе») в «Клубе господ» придерживалась очень небольшая группа людей. В возрастном отношении «Клуб господ» был гораздо старше «Июньского клуба». После развала последнего вся молодежь предпочла перейти в младоконсервативные объединения. С точки зрения религии Кольцо никогда не давало никаких предпочтений.

Несколько выше уже приводилась цитата из документов младоконсерваторов, где говорилось о воздержании от принятия политических решений. Парадокс заключался в том, что это вовсе не ограничивало права на общественные и политические высказывания, что в конечном счете также являлось принятием решения. Далее мне хотелось бы продемонстрировать позицию Кольца по наиболее значимым политическим событиям первых лет Веймарской республики. Это поможет более ясно увидеть политические предпочтения младоконсерваторов. Принципиально не согласен с теми авторами, которые изображают лагерь «консервативной революции» каким-то эфемерным созданием, оторванным от жизни и действительности и существующим то ли в вакууме, то ли парящим в облаках. Но если мы хотим разобраться пусть даже не во всей «консервативной революции», а хотя бы в младоконсерватизме, то представителей этого течения надобно вернуть обратно в политическую реальность 20-х годов, в которой они жили и действовали. Не стоит даже исключать, что за идеологическим фасадом, возможно, скрывается обыкновенный политический дилетантизм.

9 ноября 1918 года

Суждения современников относительно Ноябрьской революции в Германии зависели в основном от того, какие ответы они давали на несколько незамысловатых вопросов. Стоило ли восстанавливать традиционные немецкую конституцию, экономический и социальный порядок? Революция вызвала военное поражение Германии, или наоборот, военное поражение вызвало революцию?

Для начала надо отметить, что в «Июньском клубе» хотя и относились скептически к Ноябрьской революции, но не собирались наотрез отрицать ее. Это не удивительно, большинство младоконсерваторов накануне мировой войны были оппозиционно настроены к господствующей системе. Но свое недовольство они никогда не выражали

открыто, предпочитая быть латентными оппозиционерами. Подобное критическое отношение Мёллер выразил в своей работе «Немцы». Отношение Мёллера ван ден Брука к «вильгельмизму» не изменилось ни после крушения монархии, ни после военной катастрофы. Если в своей книге «Третий рейх» он и упоминал «эпоху Вильгельма II», то эти слова были синонимами реакционности, политической близорукости, полного отсутствия политического чутья. По поводу конституционной монархии в том виде, как она сложилась в Германии после 1871 года, в «Июньском клубе» никто не горевал.

На вопрос: отжила ли себя немецкая монархия, с характерными для нее экономикой и социальным порядком? — в «Июньском клубе» отвечали однозначно. Но какой ответ давался на второй вопрос? Обратимся к первой главе книги Мёллера ван ден Брука «Третий рейх». Мёллер бросал революции те же упреки, что и «вильгельмизму» — безответственность и недальновидность. Мёллер не сомневался, что старая система несла ответственность за поражение Германии, новая же была повинна в заключении Версальского мира. Мёллер никогда не опускался до уровня националистических клише, которые провозглашали Ноябрьскую революцию «ударом кинжалом в спину», который позволил союзникам одержать победу в Первой мировой войне. По поводу подобной агитации Мёллер ван ден Брук написал в «Малом политическом словаре»: «Сейчас однозначно не решено, стала ли возможна окончательная победа противника и утверждение старых имперских границ вопреки мобилизации последних народных сил и значительного перевеса». Если говорить о многочисленных высказываниях членов Кольца, которые провозглашали монархию истощенной и не скрывали своего поражения осенью 1918 года, то стоит привести знаменитый призыв Мёллера ван ден Брука: «Мы хотим выиграть революцию!», который стал лозунгом младоконсерваторов в революционном вопросе. Так что легенда о предательском ударе в спину никогда не являлась питательной средой Кольца. Однако это не значило, что некоторые из членов «Июньского клуба» не пользовались подобными провокационными лозунгами. Однозначное отрицание было присуще периоду, который закончился вместе с подписанием Версальского мирного договора. Если до июня 1919 года в окружении Мёллера ван ден Брука и Генриха фон Гляйхена господствовало благосклонно-выжидательное отношение к революции, то при переходе в лагерь непримиримой революции некоторые из публицистов Кольца для критики Веймарской республики не брезговали пользоваться легендой о предательском ударе в спину. Не избежал искушения и Мёллер ван ден Брук. Он писал о «предательском ударе» и в своем «Третьем рейхе», и на страницах «Совести». Вот небольшой отрывок: «Раци-

оналисты могут полагать, что снимают со счетов как ложь любую вещь, если о ней говорят как о легенде. Но народ и история судят немного по-другому. В мифе, который иногда возникает вокруг какого-то события, нередко обнаруживается самая глубокая и последняя правда. Уже сегодня миф об ударе кинжалом принадлежит к числу военных мифов».

Гримм писал, что как-то в революционные дни встретил Мёллера ван ден Брука в окрестностях рейхстага. Мёллер был молчалив и лишь на прощание заметил: «Революция, лишенная энтузиазма!» Из этого спонтанного высказывания, а также из многочисленных замечаний членов Кольца возникают контуры восприятия революции как недостаточно революционного события. Многими овладело горькое разочарование, что революция расколола нацию вместо того, чтобы привести к новому рождению народа. Как-то Мёллер иронично написал: «Она (революция) не обладала никакой идеей, а лишь занималась поисками политической конъюнктуры».

Таким образом, революция виделась младоконсерваторами как весьма противоречивое событие. Они не отказывались от монархического принципа, но отрицали монархию в том виде, как она сложилась в 1871 году. В кайзеровской Германии эта молодежь ожидала и не видела долгожданных реформ. Когда монарх отрекся от трона и спешно скрылся за границей, когда эволюционный процесс вылился в революцию, эта молодежь вспомнила о своей защитной позиции. «Июньский клуб» обвинял революцию вовсе не в том, что она сбросила императорскую корону с головы Гогенцоллернов, а в том, что кинула истощенный народ в безумство гражданской войны, что не смогла подняться над партийными лозунгами, не смогла привести к глубинному повороту в мышлении, к кардинальному изменению социального и морального облика Германии. В 1920 году Мёллер ван ден Брук писал по этому поводу: «Нас не поймут те, для кого 9 ноября 1918 года мир потерял смысл... Нас не постигнут и те, кто якобы этот смысл обрел только 9 ноября 1918 года».

Версальский мирный договор

В 1932 году немецкий историк Теодор Хойсс написал сакраментальную фразу: «Родина национал-социализма — не Мюнхен, это — Версаль». Перефразируя это выражение, можно с полной уверенностью утверждать, что местом рождения Ринг-движения был не Берлин, а Версаль. Это отнюдь не преувеличение. В знак протеста против заключения Версальского мирного договора «зародыш» Кольца назвался «Июньским клубом». Его первой акцией была демонстрация протеста, организованная в Веймаре, где члены клу-

ба требовали отказаться от ратификации договора. Ожесточенная борьба против диктанта Версаля прошла красной нитью сквозь всю историю Ринг-движения. Именно Версальский договор стал толчком к формированию и развитию большинства концепций, родившихся внутри Кольца. Но мне не хотелось бы упрощать ситуацию, заявляя, что немецкий революционный национализм стал косвенным порождением грабительского Версальского мира, он был достаточно активным (пусть и не столь радикальным и агрессивным, как нацизм) задолго до заключения мирного договора. Откровенная бездарность и недальновидность предложенного договора заключалась хотя бы в том, что вместо успокоения Германии он подлил масла в огонь, вызвав к жизни самые разнообразные формы немецкого национализма. Нет никаких поводов поставить под сомнение искренность Мёллера ван ден Брука, когда он обратился к Президенту Вильсону в своем «Праве молодых народов»: «Теперь эти люди остались ни с чем и они требуют только одно право: начать все заново... Они верят в идею справедливости, так же как доверяют представителю этой идеи — Вильсону. В его программе они видят программу справедливости». Одновременно с этим Мёллер убедительно показал (став фактически пророком), что если Франция и впредь будет руководствоваться «голосом мести» и отвергнет предложения Вильсона, то Германия будет доведена до крайних актов отчаяния, что погрузит Европу в нескончаемую череду беспорядков.

Одной из главных проблем, о которой тогда говорила вся немецкая нация, был вопрос виновности Германии в развязывании Первой мировой войны. Статья 231 Весальского договора перекладывала всю вину на Германию. «Совесть» активно обсуждала эти обвинения. Доказательство своей невиновности в те дни превратилось в какое-то подобие немецкой веры. Не обошел стороной этот вопрос и Мёллера ван ден Брука, который еще накануне войны испытал в Париже некие реваншистские настроения. Настойчивость немецких политиков в деле пересмотра этого злосчастного параграфа, равно как его появление по инициативе стран-победительниц сегодня кажется наивным ребячеством. Но агрессивное навязывание немцам чувства вины вызвало прямо противоположный эффект.

Позиция Франции при заключении Версальского договора была понятной — она боялась нового возрождения Германии, а потому делала все возможное, чтобы страна пребывала в хаосе и нищете. Без сомнения, этот страх был в определенной мере оправдан. Но Вторая мировая война наглядно показала, что договоры подобные Версальскому не в состоянии спасти Европу от нового кровопролития. К поражению Германии приложили руки также США и Россия, но после 1920 года обе эти державы временно оказались полностью

выбывшими из европейской политики. Более того, Версальский договор никогда не соответствовал реальному соотношению сил в Европе. В одной из статей, опубликованной в «Совести», Мёллер ван ден Брук указывал на страх Франции перед Германией как единственный фактор общеевропейской политики: «Мы даже можем вести с ними политические дела, чтобы заверять — они не правы, чтобы убеждать — они смешны».

Впрочем, не будем вдаваться в подробности Версальской системы. Хотелось бы только подчеркнуть — если бы этот договор не пытался на десятилетия вперед диктовать, как надо жить в Германии, курс на «Консервативную революцию», наверное, вообще бы не был провозглашен. Германия выбрала бы совершенно другой путь! Революционеры, которых было в изобилии в любой группе, в любом союзе, со временем бы исчезли, а их место заняло новое консервативное поколение, ориентированное на реформы и осторожные действия.

Но историю не изменить. Впрочем, говорить о неприятии Версальской системы как отличительного признака Кольца было бы ошибкой. Подобные установки были характерны не только для всей «национальной оппозиции», недовольство выражал весь немецкий народ, включая немецкое правительство, которое не раз требовало пересмотреть Версальский договор. Именно ненависть к Версальской системе в определенной мере объединяла немецкий народ. Но у политиков лишь расходились мнения в том, как стоило выполнять этот договор. Именно по этому вопросу Кольцо впервые выступило в роли оппозиции к парламентскому правительству. Правительство собиралось проводить политику, которую в Кольце разоблачали как «исполнительскую». Верхи Германии хотели продемонстрировать свою добрую волю и гарантировать исполнение всех реальных обязательств, возложенных на Германию. Но в силу «доброй воли» правительство хотело показать, что все репарации и выплаты были просто немыслимыми. Государственным мужам казалось, что в безнадежном положении они заняли единственно правильную психологическую позицию, а безответственные оппозиционные группы своими «выходками» только мешали делу. Одной из этих многочисленных внепарламентских групп было Кольцо. В публикациях «Июньского клуба» фактически невозможно найти предложения, адресованные правительству, которые бы могли помочь смягчить условия грабительского мира. В определенной мере получался замкнутый круг — жесткие требования порождали радикальную оппозицию, а та в свою очередь подрывала доверие к Германии со стороны стран-победительниц. Но с другой стороны, западные страны оказались беспомощными после того, как Гитлер пришел к власти.

Нацисты в одночасье провозгласили Версальский договор лоскутом бумаги, который ничего не значил. Так, может быть, безответственным было как раз заигрывание с Западом, а реальным путем решения — жесткая и несговорчивая позиция?

«Капповский путч» 1920 года

В Версальском мирном договоре были предусмотрены такие меры, как выдача германской стороной военных преступников и сокращение численности рейхсвера до 100 тысяч человек. Подобные требования вызвали брожение в офицерских кругах. Весной 1920 года военные решились на первое открытое выступление против республиканского правительства. В те дни добровольческий корпус, более известный под названием «морская бригада Эрхардта», с помощью отставного генерала Люттвица занял Берлин. В течение пяти дней мятежники удерживали немецкую столицу, погруженную в политический хаос. Но мятежники оказались изолированными, их действия не получили широкой поддержки у населения. Как же вели себя члены «Июньского клуба» во время мартовских событий? Позже Мёллер ван ден Брук писал, что «Капповский путч» мог послужить делу политического сближения правых и левых, что в свою очередь вызвало бы консолидацию нации. Видимо, он имел в виду вооруженные восстания в Руре и Центральной Германии, спровоцированные путчем Каппа. Самым важным результатом берлинского мятежа Мёллер считал размолвку во внешнеполитических вопросах, которая произошла между Англией и Францией. Из отрывочных комментариев «Совести» по поводу этой провалившейся попытки установления военной диктатуры можно сделать вывод, что члены Кольца не полностью дистанцировались от этой провальной затеи. Майор Вальдемар Пабст, в свое время служивший вместе в Люттвицем, был одной из ключевых фигур при подготовке путча. Так вот, В. Пабст сообщал, что накануне путча он неоднократно встречался в Мёллером ван ден Бруком и Генрихом фон Гляйхеном. Во время бесед все сошлись во мнении, что обстановка в стране невыносимая и необходимо срочно принимать меры. Но тем не менее Пабст не посвятил руководителей «Июньского клуба» в подробности заговора. Макс Бём вспоминал, что в «Июньском клубе» о путче узнали от Макса Эрвина фон Шойбнер-Рихтера, который буквально накануне мятежа прибыл в Берлин из Восточной Пруссии и тут же присоединился к Кольцу. До сих пор не известно, участвовал он в подготовке путча или нет. Макс Бём, которому в просуществовавшем несколько дней правительстве Каппа—Люттвица предложили должность пресс-секретаря, присутствовал в имперской канцелярии вместе с

Шойбнер-Рихтером. Младоконсерваторы отказались войти в правительство, так как было видно с первых дней, что оно недееспособно.

Конечно, поначалу в «Июньском клубе» возлагали огромные надежды на путчистов. Но очень скоро надежды сменились горьким разочарованием. Некоторое время спустя после провала путча фон Гляйхен написал: «Вместе с ним была погребена вера в так называемых сильных национально мыслящих людей, порожденных старым режимом. Высохшее дерево не в состоянии приносить плоды». Но поздние попытки фон Гляйхена, уже создавшего «Клуб господ», указывали на то, что он забыл этот печальный опыт.

Между тем в 1920 году в «Июньском клубе» господствовало то же отчаяние, что двигало «преторианцами», поднявшими мятеж. В эти дни рухнули последние надежды, возлагаемые на революцию и республику. У республики появились первые сильные враги.

Убийства Ратенау и Ерцбергера

В определенный момент политические противоречия в Веймарской республике вылились в такую радикальную форму, как политические убийства. Уже с первых номеров «Совесть» активно полемизировала в Эрцбергером. Наиболее активно на него нападал Эдуард Штадтлер. В июне 1921 года он написал следующие строки: «Борьба с Эрцбергером приняла совершенно другие формы: теперь она идет за немецкий народ... В этой борьбе никто не поможет немецкому народу, он должен помочь себе сам. Она уже готова превратиться в самосуд над Эрцбергером». После того как этот «самосуд» все-таки произошел, «Совесть» не напечатала ни строчки сожаления, ни малейшего намека на возмущенность. Издание «Июньского клуба» деловито стало обсуждать следующую жертву — Вальтера Ратенау, который продолжил политику Эрцбергера. По мнению «Совести», этот преемник вел Германию к катастрофе. Даже после убийства Ратенау «Совесть» не упускала возможности, чтобы изобличить его как предателя, следовавшего путем «политики исполнения». На следующий день после убийства мы могли бы прочитать в «Совести»: «О Ратенау, которого близкая ему пресса хвалила как государственного деятеля, изображала волевым человеком, сыном своего народа, мы скажем, что он был слабовольным пустышкой, который, являясь духовным вдохновителем “политики исполнения”, должен был быть наказан разочарованным народом. Покушение на него всего лишь проявление истинных народных настроений. Но даже и без этого убийства правительство и система стали бы жертвой своей собственной политики».

Члены Кольца дистанцировались от убийц, чтобы на могиле Ратенау обрушиться с критикой на канцлера Вирта. В результате на

свет появился новый политический лозунг: истинными виновниками убийства являлись авторы позорного Версальского диктата! Штадтлер рекомендовал канцлеру передать западным державам следующие слова, дабы объяснить причины убийства: «Посмотрите, так живется тем, кто интернационалистам кажется подозрительными немецкими националистами; в немецком народе настолько велико ожесточение и негодование, что государственники и законопослушные круги считают убийство оправданным шагом. Удивительно, что покушения совершаются не на представителей Антанты, а на самих же немцев». Пожалуй, только Мёллер ван ден Брук в те дни попытался сохранить спокойствие. Он писал: «Даже покушение на Ратенау является доказательством немецкого политического хаоса... Мы постепенно укрепляли дух рабочего класса, который мог бы объединить Германию, привести к союзу с Россией в борьбе против Запада... Убийство Ратенау вновь обострило политические противоречия. Мы вновь стали народом, который неистовствует по отношению к себе самому. Покушавшиеся оказали медвежью услугу нашей стране. Это не политика. Политика появится тогда, когда при всех "но" мы будем твердо и последовательно придерживаться линии, обозначенной договором в Рапалло». Но эти слова не были услышаны. Может, их просто не хотели услышать, а может быть потому, что они были опубликованы не в передовице, а на последней странице «Совести». Зато критика была услышана правительством. 26 июня 1922 года на основании «Декрета о защите республики» выпуск «Совести» был приостановлен на полгода. Поводом для подобного решения стала публикация письма американца немецкого происхождения, который был возмущен трауром, объявленным рейхстагом после убийства Ратенау. Впрочем, газета вновь стала печататься два месяца спустя. Запрет был снят решением Лейпцигского суда.

Активную антиреспубликанскую агитацию Кольца можно было бы проиллюстрировать и другими не менее красочными примерами. Подобные нападки чуть было не сделали «Июньский клуб» «подрывной» организацией. В какой-то момент Макс Бём был вызван в министерство внутренних дел, где ему пришлось доказывать, что Кольцо не собирается готовить антиконституционный переворот.

МЛАДОКОНСЕРВАТОРЫ ПРОТИВ СТАРОГО КОНСЕРВАТИЗМА

В книге «Третий рейх», которая задумывалась как мировоззренческий манифест младоконсерватизма, есть относительно большая глава, в которой Мёллер ван ден Брук пытался дать понимание «кон-

сервативного», присущего ему самому и его сподвижникам. Здесь поднимался вопрос о том, насколько этот специфический консерватизм с духовной и исторической точек зрения был связан с консерватизмом XIX века. Только ответив на этот вопрос, можно понять и оценить младоконсерваторов как идеологическое явление.

Под понятием «консерватизм» Мёллер ван ден Брук понимал комплексное мировоззрение, возникшее на стыке французского традиционализма, английской идеи непрерывности, биологического и эволюционного наследия романтизма, который отчасти воспринял некоторые средневековые идеалы. О сложившейся консервативной системе можно говорить только в очень редких случаях. Но вместе с тем это было «типичное идейное содержание», которое можно обнаружить у многих политических деятелей XIX—XX столетий.

Обратимся к тем трактовкам консерватизма, с которыми мог столкнуться Мёллер ван ден Брук и которые, возможно, повлияли на складывание его мировоззрения. Альфред фон Мартин в 1922 году в своей работе «Мировоззренческие мотивы староконсервативного мышления» отметил, что отличительной чертой подобного мышления была иррациональность, так как оно базировалось на значении ценности индивидуального порядка. Консерватизм всегда противостоял либерализму, который исходил из факта существования автономного индивидуума. По существу, это было различное восприятие антропологии, которое в корне отличало консерватизм и либерализм. На практике эти доктрины не только соприкасались, но нередко между ними было сложно провести разделительную грань. Тем не менее консерватор всегда пытается познать бытие и оправдать его с точки зрения исторической обусловленности, а потому любая объективность для него существует только на сверхиндивидуальном уровне. Консерватор пытается узреть порядок вещей, не испорченный преобразованиями, а стало быть, в изначальном его естестве (природа = высшая объективность). Подобные мысли он проецирует на формы человеческого сосуществования, а потому отвергает необходимость внезапных изменений. Именно по этой причине во времена, когда потрясались основы общества, консерватизм возникал на политической арене и набирал силу как некая реакция на подобные деструктивные действия. По большому счету консерватизм родился как таковой в качестве ответа на «идеи 1789 года» — идеи французской революции. Он строился как полная противоположность доктринам свободы, равенства и народного суверенитета, на которые опирались либерализм и другие прогрессистские идеологии.

Разнообразные секуляризующие тенденции, которые зародились уже в эпоху Возрождения и Просвещения, позже были восприняты тайными обществами и закрытыми братствами, вырвались наружу в

годы французской революции и лишь затем стали потихонечку проникать в Германию. Консерваторы намеревались поставить дамбу на пути этого набирающего силу прилива. При этом романтики, воспевавшие средневековые идеалы (набожность, феодализм, сословные идеалы) оказались естественными союзниками консерваторов. В консервативном багаже мы можем обнаружить не только романтизм, но даже движение, стремившееся к обновлению — пиетизм. Именно романтики и пииты построили главную колонну классического консервативного мышления: религия и церковь. В консервативном словаре Германа Вагнера «Государство и общество» мы могли прочитать: «Поистине существует только способ действия и только тот, который основан на краеугольном камне христианства... Все относительно, вечен только Бог, и только тот, кто находится в согласии с Богом, работает для вечности и относительной вечности... Никто другой не должен называться консерватором, кроме жаждущих сохранить христианство».

Во время оборонительных боев против наполеоновской Франции в консервативное мышление проникли националистические составляющие, которые нашли свое выражение не только в романтизме («Немецко-христианское застольное общество»), но и крайне агрессивных формах (студенческие корпорации). Однако знаменитые немецкие консерваторы (Людвиг фон Герлах, Фридрих Юлиус Шталь и другие) выступили против подобного национального подъема, считая его псевдонационализмом, так как он мог скатиться до уровня современного язычества. Консерватизм никогда не видел в нации высший принцип государственного строительства. В то же время консерваторы испытывали непреодолимое отвращение к тоталитарному государству, что в определенной мере роднило их с либералами. Хотя в неприятии тоталитарного государства они исходили из различных позиций.

Истинная суть старого консерватизма, полагаю, состояла в том, что он опирался на историческую данность, в то время как либералы подгоняли эту данность под собственные цели, не брезгуя радикальными мерами и презирая любые органические законы жизни. В центре консервативного мышления всегда стоял принцип законности и легитимности. Для старых консерваторов это значило соблюдение исторической непрерывности, которая должна была сохранять традиции и существующие социальные институты. Радикализм и агрессивный политический динамизм отвергались старыми консерваторами.

В «Третьем рейхе» в главе «Консерватор» Мёллер ван ден Брук пытается разобраться с сутью этого явления, отсекая его от реакционного и революционного мышления. Консерватизм был для него бастионом, который вел борьбу на два фронта: против реакционной

и революционной идеологий. Следуя классической консервативной установке, Мёллер упрекал либералов, равно как и их порождение — реакционеров и революционеров, в преследовании утопических целей, которые появлялись из слепой веры в прогресс. Игнорируя мощь и значение вековых традиций, либералы предлагали в качестве панацеи нелепые торговые инструкции. Во времена Мёллера ван ден Брука консерватор задавался вопросом: «Что достойно сохранения?» Отвечая на этот вопрос, консерватор должен был произвести ревизию ценностей, а стало быть выступал одновременно и в роли хранителя, и в роли бунтовщика, а именно: хранителем живой традиции и бунтовщиком против умерших ценностей. Подобное представление вовсе не было изобретением «консервативных революционеров», скорее оно родилось в староконсервативной среде. Но с другой стороны, Мёллер и слышать не хотел обо всем том, что собирались сохранить старые консерваторы. Он заявлял, что консерватизм «являлся не коллекцией древностей, а мастерской».

Дальше он развивал свою мысль: «Государственные формы, которые могут теперь существовать, являются для этого консервативного человека (Мёллер ван ден Брук подразумевал истинных консерваторов.— *Авт.*) лишь средством для достижения цели. Если представить, что мы, которые тысячелетие являлись монархическим народом, в последующее тысячелетие проживем при республиканском строе, то подобные представления должны меньше всего пугать консервативных людей. Консервативное государственное мышление совместимо с любой формой правления». Мёллер ван ден Брук пытался привести консервативное мышление в полное соответствие с политическими реалиями. Однако недоверие, с которым старые консерваторы наблюдали за «парламентским принципом», также было присуще Мёллеру. Он не скрывал, что демократия была уделом победивших в Первой мировой войне противников Германии. «Демократическая государственность не совместима с консервативным мышлением». Подобные противоречивые высказывания стали результатом острых политических споров и смешения политических стилей, которое происходило в первые годы Веймарской республики.

Подобное смешение можно наблюдать на протяжении всей книги «Третий рейх». Я уже вел ранее речь о критике «вильгельмизма». В какой-то степени это могло натолкнуть читателя на мысль, что Мёллер ван ден Брук являлся противником монархического правления. Но это не соответствовало действительности. Среди «консервативных требований» он называл и признание монархии. Более того, Мёллер ван ден Брук принципиально выступал за монархический строй. Даже в современных ему политических условиях он продолжал верить в ее святость, а потому считал, что любой консерватор

должен был заступаться за эту форму правления. Однако он не верил, что в обозримом будущем было бы возможно возвращение конституционной монархии. Подобную точку зрения разделяли многие из «Июньского клуба».

Мёллер ван ден Брук хорошо осознавал, что условия жизни в XX веке коренным образом отличались от предыдущего столетия. Поэтому в своих в высшей степени консервативных построениях он не уклонялся от новых проявлений жизни, а пытался сам идти им навстречу. Он вполне обоснованно подвергал жесткой критике консерватизм XIX века. Не в его принципах было доказывать вину псевдоконсерватизма, он лишь только свидетельствовал о том, что консервативное мышление должно было стать привилегией общества, но ничем большим. Мёллер отмечал, что консерватизм в Германии окостенел в своем самодовольстве, не заметив, как деградировал до представления интересов противоположного лагеря — либерализма. Консерватизм стал чьим-то инструментом. Недаром в «Малом словаре» «Июньского клуба» о консерватизме говорилось следующее: «Его неестественная сплоченность с аграрно-капиталистическими интересами крупного землевладения ослабила его внутреннее положение и оттолкнула от себя много приверженцев».

Мёллер ван ден Брук активно выступал против консерваторов, которые полагали, что революция низринула их мировоззрение. Напротив, после военного поражения и революции консервативное мышление обрело свой изначальный смысл. Теперь, по мнению Мёллера, этот изначальный смысл должно было обрести и все немецкое общество. Победа революции была всего лишь «обходным маневром», так как, по мнению Мёллера, любые революционные эксперименты не могли изменить саму природу человека и человеческого общества. Здесь мы слышим отголоски романтично-консервативного представления о целостности народного организма. Здесь мы снова сталкиваемся со специфическим отношением к революции, которое одновременно оперирует и консервативными доводами, и аргументами, присущими для полемики нового времени. С одной стороны, Мёллер нарушал консервативную традицию, когда писал о «революционных экспериментах» следующие строки: «Как только такой эксперимент состоялся как факт... консервативное мышление рассчитывает политически приобщить его к себе. Для консервативного мышления история никогда не начинается с нуля, она находится в постоянном продолжении самой себя». С другой стороны, мы можем найти у Мёллера проявление неких архаических тенденций, когда он пророчит появление (а подчас и сам желает вызвать к жизни) изначального, варварского состояния общества. Это новое начало, вызванное архаичными древними силами, должно разрушить



культуру Запада. «Это было бы консервативным начать все с начала». Или другой отрывок: «Для консервативного мышления все вещи начинаются с нуля... Консервативный человек является результатом представления о том, что все наше время является ошибкой».

К этим цитатам и оценкам Ноябрьской революции, которые фактически повествовали об обратном развитии общества, начиная с 1918 года, можно добавить слова Фридриха Генце. «В процессе революции я ненавижу время, когда всплывает естественное и простительное желание — попадать из плохого в лучший мир. Но это, пожалуй, односторонний и самонадеянный принцип создать новый мир».

Консерватизм всегда базировался на познании недостаточности всего земного и в этом отношении тесно соприкасался с библейским учением о первородном грехе. Почти во всех консервативных работах можно почувствовать душок скептицизма. Подобное впечатление возникает и после прочтения работ Мёллера ван ден Брука. Казалось бы, что в ранних работах автором является неисправимый оптимист. Однако тот, кто умеет читать между строк, сможет заметить, что даже в ранних работах появляются отголоски, которые плохо соотносятся с оптимистичными фанфарами. Тщательное изучение трудов Мёллера ван ден Брука делает очевидным, что его надежды и мечты являются результатом хорошо замаскированного пессимизма. Насколько Мёллер был пессимистом, демонстрируют созданные им идеалы, в которых ставится под сомнение сама возможность существования всеобщего блага и счастья. И тут Мёллер наносит удар в ту точку, где либерализм и консерватизм расходились как две различные антропологические теории. Он писал: «Революционный человек (Мёллер подразумевал либерала. — *Авт.*) исходит из того, что человек, являющийся от природы хорошим, был сделан злым историей и хозяйственными нуждами... Консерватор гораздо скептичнее. Он не верит в прогресс во имя прогресса. Он скорее поверит в катастрофу, которая избавит людей от бессилия». Именно в этом высказывании, возможно, кроется настоящее выражение младоконсерватизма.

Либеральные постулаты, описывавшие гармоничное устройство общества, которое управлялось конституцией, где были заложены зафиксированные требования, что-то вроде свободы печати, казались Мёллеру морально оправданными, но абсолютно нереальными, более того, утопичными. В действительности предложения по улучшению общества имелись лишь у истинного консерватизма. Бывший глава сената Данцига Герман Раушнинг упрекал немецкий консерватизм в том, что он скатился до уровня «гибрида националистического либерализма и граждански управляемой политики силы». Вместе с тем тот же Раушнинг очень лестно отзывался о теоретических построениях Мёллера ван ден Брука, который, по его мнению, высказал ценные

мысли, которые, кроме информационной нагрузки, имели и практическое значение.

Однако я все-таки оставлю вопрос открытым, действительно ли Мёллер ван ден Брук видел практические пути реализации своих затей, как это полагал Раушнинг. В принципе вопрос неприятный любому историку — так как всех нас учили, что история не терпит сослагательного наклонения. Очень сложно додумывать то, что не имело места в истории. Но отойду от постулатов исторической науки. На мой взгляд, консерватизм Мёллера ван ден Брука не воплотился на практике и не нашел массовой поддержки, так как он опирался на элементы, которые должны были быть чужды консервативному мировоззрению. То есть построения Мёллера были внутренне противоречивы. Его консерватизм отчасти вел корни от немецкого романтизма. В ранних произведениях Мёллера ван ден Брука очевиден романтический след, с присущей ему аполитичностью. Напомню, что изначально в Германии романтизм был революционным движением, которое приветствовало французскую революцию. Это очень напоминает Мёллера в его довоенный период. Но позже под впечатлением национальной угрозы романтизм объединился с консерватизмом. То же самое мы можем найти и в биографии Мёллера. Но в конечном счете романтики не стали политиками, как и сам Мёллер ван ден Брук. Подобный союз был неким эстетическим переживанием, которое привело романтиков к государственной идее: переживание государства как произведения искусства. Погружению Мёллера в государственную идею предшествовало переживание прусской сути. Точками отсчета этого переживания стали памятники искусства, отталкиваясь от которых Мёллер пытался обосновать необходимость существования государства.

Несмотря на мощное воздействие, которое испытывал немецкий романтизм со стороны католицизма, немецкие романтики предпочли постигать трансцендентного Бога через земные сообщества, которыми могли выступать народ, нация, общество. Мёллер относился к христианству уже несколько по-иному, нежели старые консерваторы. Он пытался пролить новый свет на традиционные понятия. Консерваторы XIX века строили свои системы, опираясь на Библию, корректируя свои позиции, цели и задачи в соответствии с христианским учением. Консерваторы Веймарской республики утратили столь трепетное отношение к христианству. Хотя были отдельные примеры, когда предпринимались попытки реанимировать это направление (Георг Каббе, Эдгар Юлиус Юнг, Отмар Шпан, Вильгельм Штапель). Но они не смогли оказать влияние на весь немецкий консерватизм.

Скептическое отношение Мёллера к христианству было продиктовано не только повсеместными послевоенными тенденциями, но и юношеским увлечением Ницше. Немецкое высокомерие «эпохи Виль-

гельма II», о котором писал Мёллер, распространилось и на христианство. В свое время Мёллер считал, что христианство «раз и навсегда разрушено, произошло невероятное — действительность вытеснила сказку». Мёллер признавал Христа, но лишь как «великого духовного свидетеля своего времени». Мёллер видел в нем не Спасителя, а просто мечтателя. Эта идея не могла увлечь Мёллера ван ден Брука, так как он полагал, что Германии нужны герои, а не мечтатели.

Мёллер ван ден Брук всегда придавал большее значение античности, нежели христианской истории. Впрочем, он увязывал воедино эти два исторических явления. «Как античность может послужить для нас только примером великого искусства, так и христианство является для нас лишь только примером одной из форм религии. Но мы обязаны и античности, и христианству... Поэтому не мыслимо, и даже не желательно, чтобы мы перестали быть христианами. Но религию, которая бы соответствовала нашему мышлению и нашим ощущениям, мы можем создать только сами. И то, что христианство еще не смогло дать нордическому миру, из которого оно и дошло до нас, должно подтолкнуть германский мир к мысли, что человек до нынешнего дня еще не владел религией действительности».

Как должна возникнуть эта «религия действительности», Мёллер ван ден Брук не говорил никогда. Однако с точки зрения христианства эта вера называлась «эрзац-религией». Это был один из самых широко распространенных мифов в немецкой националистической среде. Нельзя не упомянуть, что Мёллер ван ден Брук надеялся, что со временем протестантизм сольется воедино с этой «новой религией», отказавшись от союза с католицизмом. Вину за упадок христианства Мёллер ван ден Брук возлагал на экуменический порыв: «Христианство было антинационально, а поэтому потерпело поражение от космополитизма». Схожие идеи Мёллер ван ден Брук выдвигал относительно «немецкого социализма», который должен был объединить усилия с национально ориентированным христианством.

Нет необходимости приводить все упреки, которые Мёллер бросил в адрес христианства. Уже из вышеизложенного отчетливо видно, что он ни в коем случае не являлся сторонником старого консерватизма. С точки зрения старых консерваторов, любая позиция, не имевшая христианского обоснования, не могла считаться в полной мере консервативной. Но нам с высоты истории хорошо известно, что консерватизм, оказывается, был возможен и без христианства. Но все равно вопрос остается вопросом: был ли возможен подобный консерватизм в Германии? Если консерватизм не намерен любой ценой поддерживать в обществе статус кво, значит, он готов к эволюционному слиянию каких-то новшеств и живой традиции. Тогда возникает другой вопрос: в какой мере подобный консерватизм

может считаться европейским, если он вообще не ориентирован на христианство?

Сам Мёллер больше не верил в способность христианства указывать путь в будущее. Это мог сделать национальный миф, который был сокрыт в глубине немецкой истории. Именно подобный миф мог принести богатые плоды. Национал-социализм доказал правоту Мёллера ван ден Брука. Его диагноз оказался верным. Но именно национал-социализм поставил его под сомнение. Нашествие национальных мифов пробудило в христианских церквях регенерирующие силы, которые вновь обратили внимание на гуманистические обязательства христианства. Наиболее активно этот процесс пошел после 1945 года. Но если усиление современных христианских партий не является раскаянием первых послевоенных лет, то, значит, христианское наследие укоренилось в Германии гораздо глубже, нежели это предполагали младоконсерваторы, что оно даже в XX веке способно излучать мощнейшие импульсы. Консерватизм, который предполагал отказаться от этой силы, либо вводил себя в заблуждение, ставя такой диагноз, либо осознанно мобилизовал силы, которые отрицали традицию и должны были способствовать ее разрушению на практике.

Армин Мёлер в своей знаменитой работе «Консервативная революция в Германии» сознательно отказался противопоставлять старый консерватизм и младоконсерваторов. Он предпочел ограничиться следующим вердиктом. «В XIX веке христианство отказалось от многих бесполезных начал. Но в политической действительности еще осталась инертность. В пространстве, где принимаются решения, оно утратило прежнее положение... оно действует наряду с другими факторами. Этот процесс ускорился благодаря разрушению античного наследия, которое на протяжении столетия плодотворно содействовало христианству. Таким образом, элементы прежнего состояния еще существуют, но не обособленно и не в центре, а беспорядочно перепутанные между собой. Старое устройство Запада разрушено». Армин Мёлер точно воспроизводит идеи Мёллера ван ден Брука. Собственно говоря, никто не сомневается, что сейчас, равно как и во времена Мёллера ван ден Брука, христианство уже не является единственной силой, которая могла определять ход истории. В данном случае «консервативная революция» никак не сочеталась с традиционным христианством. Тогда вновь возникает вопрос: так можно ли считать «консервативную революцию» консервативным явлением? Консерватизм всегда был трудно определимым в идеологическом отношении понятием. Но он был достаточно легко прослеживаемым историческим явлением. Кажется, что именно противоречивая парность — консерватизм и революция — как нельзя лучше характеризует политическое положение консерватизма в Веймарской республике. Но с другой стороны, очень

сложно отыскать конкретное место, где в политическом ландшафте послевоенной Германии располагался лагерь «консервативной революции». Он был слишком обширен. Это противоречивое словосочетание дает лишь общую характеристику, предстает неким символом, но отнюдь не отражает реальную ситуацию и не отвечает на частные политические вопросы.

МИФ О РАСЕ И ИМПЕРИИ

Национал-социалисты вовсе не сами выдумали расовую теорию, равно как и большинство политических лозунгов. В расовом вопросе им было достаточно лишь создать гремучую смесь из спекуляций, порожденных так называемой биологической антропологией, приправить ее собственными политическими установками, помножить все это на беспрецедентную пропаганду и агитацию, а затем выплеснуть на немцев, затаивших собственные обиды и пребывавших в ужасной действительности. У «фелькише»-группировок нацистские догматики позаимствовали богатый арсенал, из которого на свое усмотрение они могли выхватить любой аргумент. В нацистской идеологии, говорившей о превосходстве германской расы, содержался определенный консервативный компонент, который выражался в необходимости сохранения собственной народности. Многие консерваторы выступали с подобными требованиями. Но в рамках национал-социализма они были до неузнаваемости извращены.

Мёллер ван ден Брук также не остался в стороне. В период с 1906 по 1918 год в своих работах он не раз обращался к вопросам расы и национальности. В «Современниках» и «Немцах» он излагал свои воззрения на расы в полном соответствии с модными тогда теориями Гобино и Чемберлена. Мёллер заявлял: «Последней причиной, которой мы можем приписать взлет или упадок всего человечества, является кровь». Современная ему жизнь находилась в «психоклиматическом взаимодвижении», которое вновь подняло из самых глубин расовую сущность людей. Однако уже в тех ранних работах Мёллер высказывал определенное сомнение относительно расизма, что позже предопределило его антипатию к нацистам. В «Современниках» единственная глава, в которой речь шла не о человеке искусства, оказалась посвящена Хьюстону Стюарту Чемберлену. Но Мёллер ван ден Брук не был бы собой, если бы на веру воспринял какое-то построение. Он достаточно критично проанализировал наследие Гобино и Чемберлена, выработав свою собственную точку зрения на расовый вопрос. Он не считал нужным согласиться с доводом о превосходстве германцев над романской группой. Мёллер полагал, что истина лежала где-то посередине. Изображение эпохи Возрождения, приведенное у Чембер-

лена, сразу же вызвало острую критику со стороны молодого немца. «Для нашего германского сознания было бы приятнее, чтобы в жилах Леонардо и Данте текла немецкая кровь, но мы определенно знаем, что у этих людей и многих других гениальных поэтов, художников была проблема с германской кровью — эпоха Возрождения была и остается исключительно романским порождением».

О том, насколько тесно в творчестве Мёллера переплетались приобретенные им идеи и собственное критическое мышление, могут показать две цитаты, которые взяты из одной и той же части «Немцев». В седьмом «томике» «Немцев» мы наталкиваемся на утверждение, что «только немцы остались истинными носителями германского мышления». Но позже мы находим другое утверждение: «Это еще не дает права говорить о нас как о германцах; сегодня мы являемся немцами». Мёллер возражал Чемберлену: в XX веке нельзя было говорить о германцах как о некой единой расе. «Раса прямо-таки стала понятием безрасовости. Она больше не фиксирует в каждом отдельном случае что-то отличительное, а скорее устанавливает некие интернациональные расовые признаки». По мнению Мёллера, раса давно уже индивидуализировала себя в рамках различных наций.

В 1908 году Артур Мёллер вновь обратился к расовой проблеме. Тогда в прессе он вел дискуссию с Рихардом Демелем. Накануне этого спора Мёллер решился на открытую критику своего друга. Его статья была перепечатана в сентябре 1909 года в «Политико-антропологическом ревю». Мёллер утверждал, что Демель («может быть и невольно») встал на правильный путь, когда заявил, что только смешение рас способно породить высшие человеческие ценности. Демель в ответ в своем «Открытом письме» заявил, что ему не может быть безразличным, когда в научном журнале появляются невежественные заявления. Мёллер парировал: «Расовое воззрение покоится на вере в силу расы». Демель возразил: «Я больше верю в телесную силу, преисполненную любви». До момента этого диспута позиция Мёллера ван ден Брука была предельно ясна. Но внезапно Мёллер изменил свою позицию, мало того что он заговорил о положительном влиянии рас, он еще и провозгласил «человека не рабом обстоятельств, но полноправным господином своих собственных сил». Подобное непостоянство в расовом вопросе, видимо, стало следствием его специфического понимания слова «раса». Он явно переоценивал это понятие. Он вкладывал в расы чрезмерно гигантское духовно-культурное значение. Наверное, данный спор с Демелем и не состоялся бы, если бы Мёллер внимательнее следил за употребляемыми им терминами.

Но тем не менее на рубеже уходящего XIX века и наступающего XX столетия расовое учение Гобино и Чемберлена нашло массу приверженцев. В те дни Британская империя находилась на высоте

недосягаемого величия, Германия активно боролась за место под солнцем. Романские страны (Франция, Италия, Испания), казалось, полностью истощили себя. Где-то вдалеке мерцала грядущая слава России. Однако мировая война разрушила эту картину. Именно под влиянием книг Гобино накануне мировой войны Мёллер ван ден Брук считал, что немцы достойны стать повелителями земного шара. Под впечатлением от мировой бойни он написал следующие строки: «Рухнуло представление о расах... Крушение произошло и в политических воззрениях, которые накануне войны возлагали надежды на расовую теорию, что история сможет использовать антропологические основы для группировки наций и создания на их основе государств... Противоречия, которые мировая война выявила в расовой теории, всегда были присущи ей. Они выражались уже в том, что мы всегда говорили о многочисленных расовых теориях, но не об определенном учении. Расовое мировоззрение не стало четко оформленной системой, но лишь способствовало накоплению необходимого материала. Для человека, преданного материализму, она была материалистичной, лишенная какого-либо единообразия, которое может наступить только тогда, когда материал обобщает метафизика. Хотя метафизические потребности всегда находились поблизости, но они противостояли механическому представлению... Но даже эти метафизические потребности были вторичными... Даже научное представление о расах было полностью противоречивым. Если сегодня мы попробуем обобщить полученные результаты, то обнаружим, что вообще не обладаем никакими знаниями, а только гипотезами». Сложно не согласиться с подобной критикой расового учения. Если в «Современниках» Мёллер выражал полное пренебрежение к биологическим аспектам расовой теории, считая ее заблуждением, то затем он высказывался за необходимость складывания «расы духа», выступая с позиций Гегеля и Гумбольдта.

В 1924 году Мёллер ван ден Брук в последний раз обратился к расовой проблеме. На этот раз он еще убедительнее критиковал опрометчивые выводы, которые распространяли результаты сравнительной антропологии на психологическое и умственное поведение отдельных «типов людей». Он писал: «Совершенно не важно, обладал ли Бисмарк продолговатым или круглым черепом. Но он был непреклонен, “селекция нордической элиты” была для него полнейшим вздором». В ответ на критику Мёллер ван ден Брук обращал внимание на многочисленные «неарийские» личности, которые сыграли выдающуюся роль в истории Германии. При этом он задавал вопрос: «Что должно происходить со всеми этими “составными” немцами? Мы должны выдворить их из Германии? Но сможем ли мы?» Далее следовал однозначный ответ: «Нет... Духовная расовая принадлеж-

ность повинуется совершенно другим законам, нежели биологический аспект расовой принадлежности. Представление о расах не должно вести к созданию проблемы, когда люди, выбравшие расу по духовным причинам, по биологическим показателям должны из нее исключаться».

Есть словосочетание, в котором звучит и сакральное происхождение, и фанатизм миллионов немцев, и возвышенные надежды, и канонада новой мировой войны. Это словосочетание — Третий рейх. У него есть два корня, которые отчетливо прослеживаются в имперских концепциях современности. Один лежит в христианском ожидании Тысячелетнего царства. Второй корень отыскивается в более позднем времени. Впрочем, даже тогда он был связан с христианской традицией, так как речь шла об универсализме Священной Римской империи германских народов.

Третий рейх (Третье царство) был уже известен во времена раннего христианства. Впервые это понятие употребил Монтан, глава раскольнического движения, возникшего во II веке нашей эры во Фригии. Затем упоминание о Третьем царстве мы можем встретить уже в Средневековье. Иоахим Флорский разработал трехчастное деление мировой истории и провозгласил наступление Третьего рейха. Согласно его пророчеству, Третий рейх должен был стать царством Святого Духа. Подобное средневековое ожидание привязывалось к христианскому учению о троичности Бога. Богу-Отцу соответствовали Ветхий Завет и Божественное царство, Богу-Сыну — Новый Завет и Христианское царство, а Святому Духу — Третье царство (Третий рейх). Христианская троичность оказала сильнейшее влияние на всю европейскую философию, так что отголоски идеи о Третьем рейхе мы можем найти и у Отто фон Фрайзинга, Томаса Мюнцера, Лессинга, Фихте, Шиллинга, Ибсена. Этот список можно было бы продолжать едва ли не до бесконечности.

Первоначально немецкие теоретики никак не связывали рождение новой немецкой государственности с тоской нации по утраченной Священной Римской империи германских народов. В качестве предпосылок видели лишь политические условия и недовольство широких слоев. В основании империи, созданной Бисмарком, лежал ее «малогерманский», сугубо немецкий, национальный вариант. Параллельно с этим национализм постепенно сращивался с имперской идеей и в других странах. Вспомним хотя бы Сореля во Франции, близкого нам Достоевского, Альфредо Ориани в Италии. Но надо заметить, что эсхатологическую окраску имперская мысль в те дни получила только в России. Только у нас можно было найти созвучие идеи Третьего Рима с идеей о Третьем царстве.

На рубеже веков имперское мышление в Германии испытало новый расцвет, что было прежде всего связано с литературой. В 1889 году увидел свет роман Иоханнеса Шлафа «Третий рейх». В 1905 году в соседней, но тем не менее германоязычной Австрии выходит работа Мартина Вуста «Третий рейх. Попытка обоснования индивидуальной культуры». В 1916 году в Берлине была напечатана философская работа Герхарда Мутиуса «Три царства». Причина подобной активности крылась в недовольстве интеллектуалов тем, как в кайзеровской Германии реализовывалась имперская идея. Но изобилие литературы никак не повлияло на свое время. Мёллер ван ден Брук вообще отказывался считать упомянутых выше авторов идеологами новой империи. «Им была понятна их эпоха, но они вновь и вновь пытались грезить социальными и эстетическими утопиями, которые громко называли Третьим рейхом».

После того как в 1918 году рухнула империя, созданная «железным канцлером» Бисмарком, многие вновь занялись поиском имперской альтернативы. Как бы ни хотел того Мёллер ван ден Брук, но на него оказали сильнейшее влияние теории Герхарда фон Мутиуса, немецкого посла в Осло, который также входил в состав немецкой делегации, которая должна была подписать мирный договор. Но именно ему, Мёллеру ван ден Бруку было суждено сделать словосочетание Третий рейх сначала ключевым понятием «мифа немецкой революции», затем символом «немецкого национального движения», а затем синонимом гитлеровской диктатуры.

Первое издание «Третьего рейха» появилось в 1923 году. Первоначально Мёллер ван ден Брук намеревался назвать свою книгу «Третья партия», о чем даже сообщил в одной из публикаций «Совести». Но по совету друзей он отказался от этого заголовка, дабы не создавать впечатление, будто бы речь шла о создании при помощи Кольца новой партии парламентского типа. Макс Бём предложил назвать книгу «Третья позиция». Но Мёллер ван ден Брук отказался. После долгих совещаний было решено, что, несмотря на опасность быть сочтенным реакционером и монархистом, вынести в заголовок словосочетание «Третий рейх». Это было сделано исключительно по публицистическим соображениям, но как оказалось, это был верный ход. В данном названии сплелись воедино и религиозные, и политические, и социальные, и поэтические представления немецкого народа. В итоге «Третий рейх» стал излучать невообразимую, почти магическую притягательную силу.

Отрывки из книги Мёллер ван ден Брук уже публиковал в «Совести», а потому с нетерпением ждал отдельного издания. Но его надеждам не суждено было сбыться. Книга обрела гигантскую популярность уже после смерти автора, когда была издана большим тиражом в Ганзейском издательстве Гамбурга. В целом эта книга состояла из

восьми глав, семь из которых были посвящены критике существующих партий и их программных установок. Лишь в последней, заключительной, главе, названной, как и сама книга, Мёллер ван ден Брук противопоставлял всем политическим силам позитивную концепцию Третьего рейха, который должен был стать кульминацией всех младоконсервативных устремлений.

Мёллер видел в Третьем рейхе не просто очередное звено, которое должно следовать после второй империи, созданной Бисмарком, и первой империи (Священной Римской империи германских народов). Это была цель диалектического развития истории, в которой тезис и антитезис сплетались в органичном синтезе. Армин Мёлер, на мой взгляд, очень верно подметил: «В Мёллере ван ден Бруке ощущался древний принцип триединства. Когда он говорил о “третьей партии”, то она должна была преодолеть раскол на правых и левых». Однажды даже сам Мёллер ван ден Брук сказал о том, что подобно единой церкви должен существовать единственный рейх.

Число три невольно ассоциируется с историческими попытками воплощения в жизнь имперской идеи. Здесь речь идет вовсе не о теоретическом или конституционном устройстве, а об изначальном значении этой идеи, которая должна быть закреплена в идеологии. Мёллер ван ден Брук весьма отчетливо сформулировал эту мысль: «Немецкий национализм всегда стремился к последнему рейху. Он был предсказан, но никогда не сбудется. Это совершенство, постижимое в несовершенных условиях». Как видим, Мёллер полагал, что в политической реальности несовершенная империя была нужна немецкому национализму для достижения «конечного рейха». Здесь воедино смешиваются изначальные этические постулаты и последующие политические спекуляции. Это был неизбежный процесс.

Первое устремление Мёллера ван ден Брука можно датировать 1906 годом. Тогда это были чисто политические требования. В «Современниках» он говорил об «империи третьего единения», которая должна была преодолеть раскол между современной цивилизацией и современным искусством. Несколько позже Мёллер ван ден Брук видел особое предназначение немецкого народа в том, чтобы быть носителем имперской идеи. И здесь мы сталкиваемся с важнейшей составляющей имперской идеи — мессианством. Особое предназначение обосновывается фактически внутри всех глобальных движений: и в христианстве, в марксизме, и в романтизме, и панславизме, и в национал-социализме. Видели подобное предназначение и в национализме периода Веймарской республики. Фактически всем мировым учениям были присущи мессианские устремления.

Призвание имперской идеи в изложении Мёллера ван ден Брука имело тройное обоснование. Во-первых, это общность, которая явля-

лась носителем идеи. В марксизме это был пролетариат, у Мёллера ван ден Брука — народ, создающий империю. Во-вторых, эта миссия выходит за рамки отдельно взятого государства, дабы создать новую, более крупную общность. В-третьих, особое призвание было обусловлено принципом соблюдения определенной иерархии.

Исполнить предназначение немецкого народа, согласно мысли Мёллера ван ден Брука, предстояло «третьей партии», которую он трактовал как партию «непрерывности немецкой истории». Эта партия должна была быть консервативной по своей сути, так как должна была объединить немцев, которые хотели сохранить Германию для своего народа. Политические идеи Мёллера ван ден Брука были чем-то большим, нежели простым призывом к борьбе против сепаратизма и Версальского диктата. Мёллеру было тесно в рамках патриотизма «эпохи Вильгельма II». Он создавал новый национализм. Но тут мы вправе задаться еще одним вопросом: кого он считал немцем? Ответ был дан в том же «Третьем рейхе»: «Немец — это не только тот, кто говорит по-немецки, кто родом из Германии или является ее гражданином. Страна и язык — это лишь естественный фундамент нации, но свое историческое своеобразие она получает, когда способна оценить духовную жизнь людей одной крови. Осознанная жизнь нации — жизнь постижения ее ценностей». Один исследователь заметил, что в своей имперской теории выводил понятие «культурной нации» и выступал за главенство духа, который должен был быть выше любых расовых субстанций. Решающую роль в единении имперского народа должна была играть культура. Следовательно, Мёллер ван ден Брук понимал рейх как некую общность взглядов и оценок, которые должны были быть распростерты на все европейское пространство.

Отмежевываясь от возможного централизма имперского народа и империализма рейха, Мёллер ван ден Брук сделал своим девизом строку из своей книги: «Мы должны иметь силы жить среди крайностей». Эта фраза значила недвусмысленное признание федерализма, который в рейхе не подавлялся уравниловкой, а наоборот, должен был составлять творческое богатство этой империи. Наряду с признанием иерархии должен был признаваться принцип *coincidentia oppositorum* (лат. *совпадение противоположностей*), который служил неким средоточием разнородных сил. Именно этим силам принадлежало право формирования специфического немецкого сознания. Вместе с тем империя как сверхгосударство и как организационный принцип предполагала существование идеально очерченного пространства. «Действенность его идеи создает пространство империи». В качестве конкретного пространства для империи Мёллер мыслил «великогерманский вариант», который предполагал как минимум объединение с Австрией. Один из современников родил политический каламбур.

«Am deutschen Wesen soll die Welt genesen» («Немецкая суть должна вылечить мир»).

Национальное движение, которое, согласно теории Мёллера ван ден Брука, должно было создать империю, в противоположность «формальной демократии» и «сознательному пролетариату», предполагалось как движение сверху, а отнюдь не снизу. «Сопричастность имеет условием осознание ценностей, которые значимы для нации». Это была подготовка аристократической концепции, которая была нацелена на элиту, сопричастную к национальным ценностям. А значит, традиционные ценности немецкой истории, которые хранились, пока они способствовали подъему немецкой нации, обогащенные новыми ценностями, способными увеличить жизненную силу народа.

Смею еще раз повторить, что имперская концепция Мёллера ван ден Брука была идеальным проектом, который не был предназначен для политического рассмотрения. Это был нереальный проект хотя бы потому, что в основе его лежала мысль об особом предназначении немцев, которая подпитывалась из различных иррациональных источников. Мёллер ван ден Брук полагал, что носителем имперской идеи должен был быть народ, а не государство, так как всевластие последнего могло разрушить саму идею. Мёллер ван ден Брук упрекал Второй рейх в увлечении империализмом, что в итоге превратило Серединную Европу в полигон для реализации собственных задач. Этот рейх был силен в государственной и военной сфере — «во всем, что должно было защищать нас, но весьма слаб в том, что надо было защищать». По его мнению, это было самой глубинной причиной катастрофы 1918 года. Но имперская идея не только пережила это крушение, но продолжала воплощать себя в жизнь. Однако монархия утеряла свою харизму. Не подтвердились и опасения Бисмарка, что после свержения династии немцы утеряют национальное самосознание. Осознание сплоченности не только перенесло катастрофу 1918 года, но даже окрепло. Именно по этой причине Мёллер ван ден Брук предполагал заменить монархию национализмом. Предварительным условием для осуществления имперской концепции Мёллера ван ден Брука являлся отказ от либерализма и парламентской партийной системы. На его место должна была прийти корпоративная система сословий и советов. Руководство этой системой планировалось возложить на элиту, которая являлась логичным выражением предстоящей «консервативной революции». Эти предварительные условия должны были создать государственный фундамент для Третьего рейха. Сама империя возникла бы после того, как Германия объединилась бы с Австрией и «молодыми народами Востока» (читай русскими). Сам же Третий рейх должен был склоняться скорее к союзу с Азией, неже-

ли Европой. Имперский федерализм соответствовал бы сословному мышлению народа, так как идеал национального государства сделал бы исключение неотъемлемых возможностей.

После Мёллера ван ден Брука возникло неимоверное количество теоретиков Третьего рейха. Попытки трактовки этого понятия исходили преимущественно с самых различных позиций, как отметил современник, «общим у них было только само слово». У Эдгара Юлиуса Юнга в центре имперской идеи находилось покровительство христианства, а сама империя в итоге должна была заняться повторной христианизацией Европы. Здесь проявляется сильное влияние Отмара Шпанна. Последний, несмотря на свое блестящее образование и острый ум, в своих работах демонстрировал очевидную зависимость от идей Мёллера ван ден Брука. На него фактически ссылался Франц фон Папен, когда произносил свою знаменитую «Марбургскую речь». Фридрих Хильшер в своей книге «Рейх», которая не уступала по популярности «Третьему рейху» Мёллера, дал империи еще более сильную религиозную окраску. В этой книге Хильшер предлагал свой план создания империи, который, по правде говоря, больше напоминал хроники средневекового монаха.

1932—1933 годы стали периодом расцвета имперской литературы. В этот небольшой отрезок времени на свет появилось около тридцати фундаментальных работ, посвященных имперской идее (всего же насчитывается не более пятидесяти). Фриц Бюхнер в 1932 году выпустил интереснейшую книгу «Что такое империя? Беседы с немцами». В этом произведении он изложил точку зрения пятнадцати наиболее известных публицистов того времени. Сам Фриц Бюхнер видел в набиравшем силу национал-социализме движение, которое создаст долгожданный рейх. Певец «солдатского социализма» Франц Шаувекер, напротив, относился к нацистам весьма скептически. Рудольф Богардт был единственным, кто попытался дать несколько практических рекомендаций, но так и не смог выработать ясной концепции создания новой империи.

Среди военизированных организаций Веймарской республики, пожалуй, наиболее полно воспринял идею Третьего рейха Союз «Оберланд». Его руководство назвало даже собственную газету «Третий рейх». Имперской идеей были околдованы многочисленные молодежные объединения. Третий рейх стал боевым лозунгом революционных национал-социалистов, возглавляемых Отто Штрассером. Отто Штрассер, один из создателей «Черного фронта», был младшим братом убитого во время «ночи длинных ножей» известного деятеля нацистской партии Грегора Штрассера. Отто, который в 20-е годы еще являлся социал-демократом, был не просто вхож в «Июньский клуб», но и был одним из постоянных авторов, печатавшихся на стра-

ницах «Совести». Вполне возможно, что именно он, обладающий прирожденным политическим чутьем, принес символ Третьего рейха в национал-социалистическое движение. Третий рейх стал образом всего антидемократического движения в Веймарской республике. Сейчас кажется парадоксальным, что в 1934 году существовала надежда, будто неконтролируемые силы имперского мышления, высвобожденные после узурпации власти нацистами, можно было успокоить следующими словами: «Немецкий народ, самый недемонический народ земного шара, до мессианства могут довести только свои демоны и сама Германия».

Если разграничивать наследие Мёллера ван ден Брука и идеологию нацизма, то надо отметить, что национал-социалистический Третий рейх строился отнюдь не в мысленном восприятии и не в рамках чуждой действительности идеологии. На практике нацистский рейх не имел ничего общего с империей, предложенной Мёллером ван ден Бруком, кроме одного и того же названия. Мёллер, безусловно, собирался избавиться от либерализма и демократии, однако собирался строить империю совершенно по иным законам, нежели это сделали национал-социалисты.

Попробую объяснить, как символ империи мог целенаправленно влиять на людей XX столетия. Казалось бы, в XIX веке немецкая имперская идея была окончательно сформирована. Но 1919 году было поставлено под сомнение все, что возникло в прошлом столетии. Не эти ли окостеневшие установки XIX века подспудно привели Германию к катастрофе 1918 года? В свое время не раз пытались продолжить немецкую историю, где она свернула с рокового пути. Но историю нельзя повернуть вспять. Мёллер прекрасно понимал, что многие его читатели, проклиная ошибки и слабости Второго рейха, видел в Третьем лишь более могущественную реставрацию предыдущей империи. Однако он не был повинен в этом заблуждении. В то время он апеллировал к национализму, давая повод задуматься тем людям, которые ничему не научились у истории (вероятно, они не хотели учиться и даже не были к этому готовы). Но вместе с тем он освобождал те силы, которые в итоге подавили мечту об империи. Национализм и империя не должны были существовать одновременно. Но как Мёллер пришел к подобным противоречивым требованиям? Кажется, есть только один ответ: он был готов смириться с поражением 1918 года. Для реванша он мобилизовал национализм и вместе с тем сам же нанес удар по собственным конструкциям Третьего рейха. Агрессивный национализм оказался несовместим с идеальным имперским федерализмом и консервативным восприятием истории.

В Кольце видели очевидные различия между консерватизмом и «национальным движением», но младоконсерваторы оказались не

в состоянии преодолеть их. Например, в одном из номеров «Совести» появилась статья «Консервативное мышление и национальное движение», которая радостно возвещала о победе националистов над старыми консерваторами. В действительности консерватизм в условиях XX века был пригоден к активному и конструктивному сотрудничеству, а вовсе не к политическим спекуляциям. Ведь Мёллер ван ден Брук очень верно подметил в «Немцах», что времени барона Штайна не помогли ни «толстые учебники по национальной политике», ни «сказки о Тайном императоре». Не был ли миф о Третьем рейхе чем-то подобным, бегством от действительности, прятаньем головы в песок? В наши дни мы знаем, какие последствия может иметь призыв к иррациональным силам. Мёллер знал о силе мифов, но думал, что нашел политическое средство обратить историю вспять и скорректировать итоги мировой войны и революции. Если для немецкого стратега Клузевица война была положение политики, то для Мёллера ван ден Брука политика была продолжением войны.

Предвидел ли Мёллер ван ден Брук, что взойдет из тех зерен, которые он заронил в немецкую почву, когда писал Генриху фон Гляйхену такие слова:

«Когда мы говорим этому народу о Третьем рейхе, то должны отдавать ясный отчет, что не существует и малейшей уверенности относительно того, что связано с ним. Мысль о Третьем рейхе — это мировоззрение, которое выше любой действительности. Недаром есть представления, которые уже в своих понятиях ориентируются на словосочетание Третий рейх, равно как и книги, которые получают одноименное название. Все они, странно облаченные, чувствительные, легковесные, совершенно разные, с самого начала идеологически скомпрометировали себя. Немецкий народ всегда был склонен предаваться самообману. Идея о Третьем рейхе может стать самым великим самообманом, который только возможно представить себе. Это станет более чем очевидным, когда его ложно интерпретируют и на этом успокоятся. Это может погубить его».

После сглаживания национальных и государственных противоречий могли возникнуть условия для европейской интеграции, но Мёллер ван ден Брук напрочь отвергал Лигу Наций. После того как Германия была признана виновной в развязывании Первой мировой войны, она могла вступить в Лигу только после испытательного сроки с согласия двух третей членов этой организации. В этих условиях Мёллер не видел в Лиге Наций институт, где можно было бы отстаивать немецкие интересы. Мёллер ван ден Брук рассматривал Лигу лишь как гарант нового миропорядка, против которого он намеревался активно бороться. Он писал о тогдашней Европе: «Мы не

думаем о нынешней Европе, которая слишком ничтожна, дабы хоть капельку ценить ее. Мы думаем о вчерашней Европе, и о том, что из нее можно спасти хотя бы для завтрашнего дня». Под «европейским завтра» Мёллер ван ден Брук понимал Европу, чей центр больше не будет находиться на Западе, но переместится в Германию. Он настойчиво требовал появление новой Европы: «Это станет временем для всего мира, когда Европа проникнется сознанием, что есть еще один гигантский факт — белая раса». Упоминание белой расы — это скрытый удар по Франции, «проникнутой неграми». Многие националисты подчеркивали, что Франция не являлась Европой, так как привезла на континент негров. Более того, во время оккупации Рура Франция ввела туда «цветные части». На последней странице «Третьего рейха» мы могли бы прочитать такие слова: «Над Европой сгущается тень Африки!» Вообще, когда Мёллер ван ден Брук требовал континентальной реорганизации, то «новая Европа» была для него идентична Третьему рейху.

Идею об избранности Германии, которая лежала в основе всех теорий Третьего рейха, мы должны рассматривать как конкретное восприятие собственного значения в развитии истории, постепенно переходящее в национальное тщеславие и самонадеянность. Это не была какая-то конкретная политическая концепция, это даже не было изобретением немецкого национализма XX века. Еще Шиллер в 1797 году в стихотворении «Величие Германии» предвещал: «Высший удел ей уготован. Так как она находится в центре европейских народов, то она — суть человечества, ее цветок и лист. Она избрана всемирным духом». Позже Фихте провозгласил в своих «Речах к немецкой нации» особое предназначение немцев. Гегель видел миссию Германии в распространении христианства. Однако тот же Гердер, на которого так охотно ссылались идеологи новой империи, предупреждал: «Ни одной нации, ссылаясь на природное превосходство, нельзя вручать скипетр над другими народами». Национал-социалисты нашли особое призвание немцев в расизме.

Если мы зададимся вопросом, как Мёллер ван ден Брук представлял себе, например, создание нового имперского правительства или как он предполагал распределить права и обязанности между правительственным аппаратом и немецкими землями, то не получим конкретного ответа. Он, впрочем, как и многие другие имперские идеологи, даже не мыслил подобными четкими категориями. Мёллер ван ден Брук опирался лишь на миф о Третьем рейхе. В то время уже прозвучали слова Сореля о том, что миф являлся двигателем истории. Для недавнего европейского прошлого горьким опытом стал тот факт, что в реальность был воплощен миф, взывавший к иррациональным силам. Несомненной заслугой младоконсерваторов является, что они

смогли установить потенциальную мощь мифа. Но это же звучит и упреком — они сделали миф злым роком Германии.

В последние годы существования Веймарской республики, когда по прихода к власти нацистов остались буквально считанные дни, Эрнст Барлах написал такие строки: «Нацистский балаган делают не по заслугам демоническим. Недавно я начал читать "Третий рейх" моего доброго, но увы покойного друга Мёллера ван ден Брука, чтобы разбираться, хотя бы теоретически, в его построениях. Серьезно и добросовестно я изучил его книгу, я нашел ее сложной для понимания. Раньше мне она казалась криком отчаяния. Теперь она мне кажется пустой и мертвой. Теперь, если я слышу о движении, то в голове мелькает мысль: "Вчерашняя мода"». Георг Кваббе, автор книги «Последний рейх», которому вряд ли можно отказать в понимании консервативной мысли, еще более резко отозвался о книге Мёллера ван ден Брука. «Написано блестяще. Вне всякого сомнения это работа умного человека, который доходчиво излагает консервативную идею в соответствующей главе... Но от остальных частей остается неприятный осадок. То, как он определяет "немецкий социализм", иначе как хвастовством не назовешь. Рассуждения о демократии и либерализм просто не выносимы. Если он видит в либерале человека с разжиженными мозгами, а в либерализме — модель общества, которое составляют отбросы нации, то это вовсе не значит, что подобное надо говорить политическим единомышленникам».

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-СОСЛОВНОЕ МЫШЛЕНИЕ

Имперская идея, разрабатываемая младоконсерваторами, дополнялась таким важным компонентом, как сословное мышление. Основополагающей работой по этому вопросу стала книга «Проблема профессионально-сословного представительства, начиная от Французской революции, заканчивая современностью», написанная в 1921 году Генрихом Херрфардтом, который являлся руководителем соответствующей кафедры в «Политическом колледже». В свое время специалист по изучению младоконсервативного наследия Отто Генрих фон Габленц так отозвался об этом направлении работы «Июньского клуба»: «Парадное изделие консервативных идеологов и болезненное дитя реальных политиков». Обсуждение сословного деления общества было привязано к ключевым моментам — революционным датам 1789, 1848 и 1918 годов. Именно тогда вспыхивало яростное обсуждение всех вопросов, так или иначе связанных с этой проблемой.

Три указанные выше даты существенно отделяли друг от друга фазы развития сословной идеи Нового времени.

Согласно принципам Руссо, который полагал, что воля народа находила наиболее чистое выражение, если каждый отдельный гражданин был независим от каких-либо государственных образований, революционные власти Франции в июне 1791 года приняли эдикт, запрещавший профессиональные объединения. Лежащее в основе этого процесса «атомистическое» или «неорганичное» понимание государственной жизни стало уязвимым местом всех сторонников сословной идеи. Уже во время французской революции Мирабо начал встречное движение по этому вопросу. После того как лозунги французской революции нашли живой отклик в немецких государствах, попытка возвращение сословных привилегий в 1815 году расценивалась как реакция. Представители этой консервативной контридеи были сами порождением сословной системы, которая предполагала наличие привилегий как право избранных, которое должно было быть закреплено законодательством.

В политических спорах старые консерваторы уделяли идее сословного деления общества особое место. Но уже тогда некоторые консерваторы (Вагенер и т.п.) задумывались о том, что вообще не существует никаких сословий. И тут на повестке дня появлялось задание как можно скорее придумать им соответствующую замену. Было предложено создать профессиональные сословия. В идеале вообще предвиделось формирование рабочих коалиций, которые должны были выполнять функции аполитичных профсоюзов. Диагноз, который был поставлен Вагенером в середине XIX века, подтвердился лишь после свержения династии Гогенцоллернов. Старые сословия, ранее являвшиеся скелетом государства, в одночасье утратили свое значение. Их место пытались занять новые силы. Первыми о своей роли попытались заявить советы. Советская идея, реализованная в России после революции, нашла свое выражение в Германии в виде солдатских и рабочих советов. Именно советская система заявила о себе как об исторической наследнице старого сословного деления общества. Генрих Херрфардт писал по этому поводу: «Мы находим здесь обе мысли, которым была подчинена история профессионально-сословного представительства: выделение господствующих классов посредством права избранных и защита народных интересов, направленная против искажения их парламентаризмом».

Сразу же обозначим круг тех, кто наиболее активно занимался в Кольце сословно-представительными изысканиями: Генрих Херрфардт, Хайнц Браувайлер, Макс Бём, Рейнхольд Георг Кваац. Сам же Мёллер ван ден Брук никогда не занимался проблемой сословий, предпочитая поручить ее своим политическим соратникам. Даже в

«Третьем рейхе» он повторял выводы Бёма и Браувайлера. Впрочем, кое-какие зацепки мы можем все-таки найти. В «Немцах» Мёллер ван ден Брук писал, что новая национальная культура не может развиваться в рамках сословий, а должна продвигаться отдельными индивидуумами. Забегая вперед, можно сказать, что сословное мышление выделяло две тенденции: 1) критика партийной парламентской системы; 2) конкретная экономическая политика, наиболее ярко выраженная в первые годы существования Ринг-движения.

В одном из первых произведений «Июньского клуба», вышедшего из-под пера Макса Бёма, содержался призыв к национальным партиям поддержать советскую идею, правда, только после того, как будут побеждены левые радикалы, а созыв национального собрания будет объявлен вне закона. В политическом словаре «Июньского клуба» в статье «Советская конституция» подчеркивалось, что в ней оказались тесно переплетены идея диктатуры пролетариата и профессионально-сословное мышление. Одновременное существование парламента и советской системы грозило множеством неприятностей, но в «Июньском клубе» были убеждены, что советская идея настолько завоевала популярность среди масс, что являлась хозяином положения. Младоконсерваторы видели в советской системе законную наследницу консервативных сословно-профессиональных установок. В своем словаре под ключевым словом «Профессионально-сословное представительство» младоконсерваторы ставили необходимую ссылку на статью «Советская конституция». Однако советская система не смогла осуществиться в Веймарской республике, несмотря на 165-ю статью конституции, в которой говорилось о полномочиях Имперского экономического совета. Младоконсерваторы отказались от советской идеи, так как она в большинстве своем провозглашалась только левыми радикалами. Поддержка советов значила приравнивание себя в глазах общественности с леворадикальным лагерем. В итоге в «Июньском клубе» отказались от советов и решили вновь вернуться к проверенной идее профессионально-сословного представительства. В основе это была та же самая старая теория, которая только в угоду общественности поменяла свою вывеску.

Самым важным требованием младоконсерваторов было врастание могущественных профессиональных объединений в государственную систему. Профсоюзы, рейхсвер, крестьянские союзы и так далее должны были быть уравнены в правах с политическими партиями, которые пока единственные могли определять характер государственной власти. Херрфардт писал: «До сих пор спор о разумности и целесообразности профессионально-сословного представительства вращался лишь вокруг его предназначения как средства выражения истинных интересов отдельных слоев населения. Теперь

исходя из этого возникает задача сделать профессиональные объединения носителями общественной власти в государственной, чтобы они в собственных интересах предпочли анархическому распадению власти сотрудничество с государством». Младоконсерваторы сделали очень ловкий маневр: требование, чтобы государство опиралось на полные жизни народные силы, в свое время было одним из самых серьезных и эффективных аргументов против сословной структуры общества. Теперь то же самое требование, с указанием тех же полных жизни, но неиспользуемых в политике народных сил, стало аргументом в пользу профессионально-сословных претензий. Лозунгами, которые должны были обеспечить участие во власти трех крупнейших социальных слоев (рабочих, крестьян и предпринимателей) стали: «деполитизация экономики» и «политика классового сотрудничества». Но при этом единогласно высказывалось мнение, что профессионально-сословное представительство не должно было подменять государственную власть: «Оно по своей природе должно представлять интересы отдельных групп и личностей, которые никогда не могут быть приравнены к государственным интересам». Но профессионально-сословное представительство должно было стать наряду с парламентом влиятельнейшим фактором, который бы определял развитие немецкого общества. В 1920 году в «Совести» было напечатано несколько статей[6], в которых обсуждались функции провозглашенного конституцией Имперского экономического совета. Младоконсерваторов не устраивал консультативный характер этого совета. Херрфардт вообще полагал, что все решения в советах должны приниматься не голосованием, а с учетом мнения организаций, представляющих интересы различных слоев.

Профессионально-сословное представительство в определенной мере противопоставлялось парламенту, где решения принимались простым голосованием. Профессиональные же объединения должны были выбрать путь переговоров, так как их целью являлось установление социального компромисса. Ожидалось, что подобная система сделает парламентские решения более объективными. Однако переносить практику экономического компромисса на парламентский уровень было утопией. Партии вовсе не волновало, что решение большинства не было соглашением о компромиссе. Мы коснулись той дилеммы, из которой Веймарская республика не только не смогла выпутаться, но окончательно запуталась. То, что считалось в частной жизни неписаным законом и правилами хорошего тона, потеряло всякое значение для жизни политической, что в итоге вело к невыдержанному парламентскому стилю, двойной морали, которая получила

[6] *Эдуард Штадтлер.* Диктатура социальной революции; *Макс Бём.* Объединение и коллектив.

такое распространение, что постепенно перешла из политики в обыкновенную жизнь. Кажется спорным, что профессионально-сословная реструктуризация смогла бы разрешить эту дилемму. Именно по этой причине Херрфардт предлагал принимать законы в специальном комитете, который бы состоял из представителей действующего парламента и консультантов из числа Имперского экономического совета. Он надеялся, что таким путем сможет сохранить экономическую компетентность Имперского совета, который будет отгорожен от парламентской системы, а его изначальная совещательная функция приобретет совершенно новое значение.

Появление на свет упомянутого выше Законодательного комитета значительно уменьшило влияние рейхстага, а общие собрания Имперского экономического совета были бы сведены до уровня необязательных дискуссий. Теперь становится понятно, почему авторитетные парламентарии, несмотря на все призывы, газетные статьи, программные документы, отказывались от идеи профессионально-сословного устройства общества — ведь это фактически бы поставило крест на власти парламента.

Удивительно, но факт — наиболее живой отклик сословные идеи находили в католических районах Германии. Сословное мышление даже одобрялось специальной энцикликой. Среди защитников этих идей оказался и австриец Отмар Шпанн. Распространенный главным образом в романских странах синдикализм, а также его английский вариант — гильдийный социализм, базировались на сословных принципах. При этом младоконсерваторы всегда склонялись в сторону английского гильдийного социализма, который провозглашал верховенство государства над экономикой, в то время как синдикализм отдавал предпочтение экономическому началу. Сам Мёллер ван ден Брук указывал на разнообразие влияний, которые испытывали члены Кольца, когда разрабатывали сословную теорию: «Корпоративные и синдикалистские представления смешивались, не без того чтобы учитывать перспективы советской идеи и принимать во внимание ее включение в немецкое сословное государство».

Но младоконсерваторы полагали, что этой цели можно было достичь лишь благодаря революционному перевороту. Сам же Мёллер ван ден Брук писал по этому поводу: «Скорее всего мы понимаем под немецким социализмом корпоративное восприятие государства и экономики, которые должны утверждаться революционными способами, но при этом оставаться консервативными». При этом настойчиво указывалось на то, что Веймарская республика не подлежала реформированию, а стало быть, ее надо было саботировать.

Во время стабилизации республики, которая пришлась на 1924—1928 годы, дискуссии о «второй революции», казалось бы, смолкли.

Однако во время мирового экономического кризиса «вторая революция» стала излюбленной темой для обсуждения среди ряда военизированных группировок, в том числе в среде мятежных СА, которые отказывались принять легальный путь прихода к власти, которого придерживался Гитлер. Конец этим спорам был положен 30 июня 1934 года во время «ночи длинных ножей».

ВОСТОЧНАЯ ИДЕОЛОГИЯ И НАЦИОНАЛ-БОЛЬШЕВИЗМ

Наученный опытом Семилетней войны Фридрих Великий в свое время наказывал своим наследникам, чтобы они во что бы то ни стало сохраняли дружеские отношения с Россией. Полтора столетия этот наказ худо-бедно выполнялся, и Пруссия, а затем Германия не имели поводов для раскаяния в подобной внешней политике. Но в XX веке завещание Фридриха Великого было нарушено. Для Вильгельма II и Гитлера подобная вольность имела поистине катастрофические последствия.

За год до окончания Первой мировой войны коалиция союзников, воевавшая против Германии, распалась, и немецкое социалистическое правительство неожиданно оказалось запертым между двумя враждующими друг с другом блоками. Ноябрьская революция стала радостным событием для большевистского правительства. «Путь на Берлин», который должна была проложить немецкая революция, казалось, был свободным. Вместе с многочисленными поздравительными адресами немецкое революционное правительство получало также предложение от Советской России прислать в Германию два грузовых эшелона с зерном, чтобы хоть как-то исправить крайне напряженную обстановку с продовольствием. Ответ из Берлина не заставил себе ждать. 19 ноября 1918 года немецкое революционное правительство поблагодарило Советы, но тем не менее от предложенной помощи вежливо отказалось. В те дни США обещали поставить в Германию еще большее количество зерна. В Москве восприняли подобное заявление как плевок в лицо. Истинная причина для подобного отказа виделась большевикам в традиционной враждебности, которую испытывала немецкая социал-демократия по отношению к России. Подобная враждебная политика в отношении восточного соседа была недальновидным шагом, что очень быстро поняли в Германии. Начало версальского диктата в корне изменило взгляд на Россию. Ллойд Джордж предвидел подобную трансформацию и в своем секретном меморандуме требовал от Клемансо смягчить требования, предъявляемые к Германии: «Самая большая опасность, которая мне видит-



ся в сложившейся ситуации, состоит в том, что Германия может заключить союз с большевизмом и направить ее ресурсы, ее умственные способности, ее гигантскую мощь на высвобождение революционных фанатиков, чья мечта — завоевать силой мир для большевизма».

В действительности Версаль стал лишь исходным пунктом всех тех тенденций, которые способствовали складыванию немецко-советских отношений. Первым в дело вступил Гуго Стиннес, который 3 февраля 1919 года учредил могущественный Имперский союз немецкой индустрии, который был ориентирован на восточноевропейские рынки. Генералы Ганс фон Сект и Курт фон Шляйхер усиленно искали контакты с Красной Армией, дабы испытывать самолеты и новые виды оружия на советской территории. Напомню, что согласно Версальскому договору Германии запрещалось иметь ряд видов вооружения, самолеты в том числе. Но когда было достигнуто подобное соглашение и с Советской России фактически была снята блокада, большинство депутатов немецкого рейхстага высказались против подобной инициативы. Депутат от партии центра Пфайффер разочарованно заявлял в те дни: «Наш путь ведет на восток. Запад закрыт для нас, и мне кажется, что наш долг постучать в дверь восточному соседу».

Когда же в июле 1920 года началось неожиданное контрнаступление Красной Армии, которая вторглась на территорию Польши, то Антанта решила оказать всевозможную помощь польской стороне. В эти дни рейхстаг демонстративно отказался помогать полякам, запретив любую транспортировку оружия в эту страну по территории Германии. Когда союзники решили доставить оружие по морю, то в Данциге вспыхнула забастовка немецких портовых рабочих, которая фактически вылилась в саботаж помощи полякам. Многочисленные немецкие добровольцы, главным образом из состава фрайкоров, немецких добровольческих корпусов, пытались присоединиться к наступающим частям Красной Армии. В 1920 году над Польшей, по словам Черчилля, «краеугольным камнем Версальского договора» нависла реальная опасность.

Таким образом, можно констатировать, что именно 1920 год стал отправной точкой, когда отношения между Германией и Россией стали улучшаться прямо на глазах, в то время как отношения Германии с западными державами неуклонно ухудшались. Рост взаимных симпатий достиг некого пика во время оккупации франко-бельгийскими войсками Рура. Во время этих событий Россия направила официальную декларацию о солидарности с Германией, которую считало жертвой международной агрессии.

На фоне подобных событий в Германии возникали национально ориентированные группировки, которые, отвергая марксизм, активно выступали за внешнеполитический союз с Советской Россией. В то

же время в качестве третьей силы, которая находилась между национально настроенными коммунистами и шовинистами из национал-социалистической партии, возникает национально-большевистское движение, которое было представлено различными группам и союзами. Но тем не менее имелось два момента, которые принципиально отличали немецкий национал-большевизм. Первым было отношение к Версальскому миру, который не только определил выплату непосильных контрибуций, но значительно урезал территории Германии на Востоке. Вторым моментом стала социалистическая идея, которую больше не могли игнорировать ни в правых, ни в националистических организациях.

Начало немецкому национал-большевизму положили события, которые произошли в 1919 году на втором съезде Коммунистической партии Германии, проходившем в Хайдельберге, когда от КПГ откололась радикальная группа, более известная под именем «гамбургских национал-коммунистов». Эту группу возглавляли председатель Гамбургского совета рабочих и солдатских депутатов Генрих Лауффенберг и его близкий друг Фриц Вольфхайм. Несколько месяцев спустя после раскола они создали Рабочую коммунистическую партию Германии, которая прожила очень короткую политическую жизнь. Так как Лауффенберг и Вольфхайм, следуя марксистской доктрине, апеллировали только к пролетариату, полагая, что в послевоенное время космополитические требования не могут найти понимания у немецкого рабочего класса. Однако их политическая установка не нашла поддержки, ее отвергали как правые, так и левые политические силы. Даже сам Ленин дистанцировался от немецких национал-коммунистов, впрочем, как и Карл Радек, которого во время переговоров в Маобитской тюрьме просили о поддержке «гамбургские раскольники». Итак, первая, «революционная, фаза» национал-большевизма потерпела неудачу, так как столкнулась одновременно и с сопротивлением правительства, и с непониманием рабочего класса.

После подписания в Рапалло советско-немецкого договора началась вторая «эволюционная фаза» немецкого национал-большевизма, которая была ознаменована польской кампанией Красной Армии и совместным неприятием версальского диктата. В отличие от первой стадии новый этап начался по инициативе правых политических кругов, которые были представлены аристократом Брокдорфом-Рантцау и влиятельнейшими фигурами немецкого рейхсвера. Третьим и самым решающим толчком к складыванию национал-большевистского движения в Германии послужила позиция компартии Германии во время оккупации французскими войсками Рура. 20 июня 1923 года Карл Радек произнес на расширенном заседании исполкома Коминтерна сенсационную речь, которая называлась «Лео Шлагетер, странник в никуда».

Сенсационно прозвучали в этой речи следующие слова: «Шлагетер, мужественный солдат контрреволюции, заслуживает нашей оценки как честный революционный солдат». Радек решил использовать в интересах коммунистического движения мученичество Альберта Лео Шлагетера. Разве он не был жертвой капитализма и Антанты? Разве не капиталистические интересы привели к французской оккупации Рура? Радек назвал Шлагетера «странником в никуда», так как, несмотря на свою героическую смерть, он был бойцом фрайкора, а стало быть, был наймитом немецкого капитализма. Мёллер ван ден Брук в трех статьях, опубликованных в «Совести», пытался полемизировать с К. Радеком. Мёллер высоко оценил реализм Радека, так как именно реализм, а отнюдь не оппортунизм, как писалось в левой газете «Вперед!»(«Форвартс!»), взял верх в его речи. Радек поставил перед немецкими националистами вопрос: с кем они планируют объединиться для борьбы с Францией, оккупировавшей Рур и Рейнскую область. Мёллер парировал, что Германия в силу своего геополитического положения должна опираться на Россию, но отнюдь не на какое-то конкретное правительство. Подобно графу Ревентлову Мёллер ван ден Брук очень живо воспринял инициативу Радека. Но в итоге и Мёллер ван ден Брук, и граф Ревентлов все-таки отказались от политического объединения с левыми. Но не стоит заблуждаться, все возражения Мёллера ван ден Брука, адресованные Радеку, на самом деле относились не к его предложению, а к политике, проводимой другими коммунистическими вождями, которые делали все невозможное для складывания союза националистов и коммунистов. Еще недавно Москва, как полагал Мёллер ван ден Брук, видела своей целью создание всемирной пролетарской партии. Но речь Радека фактически объявила о построении социализма в соответствии с собственными национальными особенностями. Но Радек со своей реалистичной точкой зрения был всего лишь аутсайдером в широчайшем коммунистическом фронте. Он сам еще находился под властью классовых и космополитических идей. Поэтому предложения Радека могли быть восприняты серьезно лишь при условии, что они были объявлены официальной доктриной большевизма. В противном случае это был лишь тактический маневр, который мог оказаться опасной ловушкой. Мёллер ван ден Брук не мог не обратить внимания, что до сих пор немецко-русское соглашение достигалось не на паритетных началах, а на условиях, выгодных большевистской стороне.

Но несмотря на последовавший отказ Мёллера ван ден Брука, впервые появились формулировки, которые позже были радикализированы, а отчасти упрощены, став общей базой для всех национал-большевистских групп. Но когда Радек изложил свои мысли, то у

Мёллера ван ден Брука они были изложены не в пример лучше. Недружелюбную реакцию Мёллера ван ден Брука можно объяснить тем, что лидер младоконсерваторов опасался, будто бы инициатива по складыванию единого фронта из левых и правых партий перейдет от революционных националистов к Коммунистической партии. К тому же нельзя забывать, что Мёллер ван ден Брук испытывал к России совершенно аполитичные симпатии. Из личных знакомств с русскими, своих литературных пристрастий, живого интереса к России у Мёллера ван ден Брука складывалось романтическое, даже мифологическое восприятие нашей страны. Такому отношению к России во многом способствовала Люси Каррик, которая познакомилась с Мёллером ван ден Бруком в 1902 году в Париже, а затем стала его второй женой. Люси родилась в Ливонии. При посредничестве Лесс Каррек, будущей золовки, Артур Мёллер знакомится с Дмитрием Мережковским, который дал ему почитать первое немецкое издание собрания сочинений Ф.М. Достоевского. И, наконец, это литературное знакомство свело Мёллера ван ден Брука с Эрнстом Барлахом.

Пожалуй, самое решающее влияние на принятие Мёллером ван ден Бруком «Восточной идеологии» оказали отнюдь не политические, а литературные факторы. Увлечение Достоевским заложило в душу Мёллера на всю жизнь любовь к России. Уже первая статья, где вырисовывались контуры будущей «Восточной идеологии» младоконсерватизма (она была напечатана в 1904 году), называлась «Толстой, Достоевский и Мережковский». Изучение русской литературы очень сильно повлияло на внутреннее развитие Мёллера ван ден Брука, что в итоге вылилось в постепенное отмежевание от Запада. Хотя в те дни Артур Мёллер еще писал о западных ценностей, причисляя себя к их носителям: «Все зависит от того, хотим ли мы доверять имеющемуся больше чем возможному, надежному больше чем неопределенному, хотим ли мы ставить ожидание, которое — как и всегда — оберегается на Востоке, выше, чем достижения, которыми мы владеем на Западе». В этой статье Мёллер ван ден Брук еще называет Запад «действительно сильным», но полностью в духе Достоевского добавляет такую характеристику, как «инфернальность», «отсутствие святости». «Определенно центр европейского равновесия в духовном отношении постепенно передвигается с Запада на Восток, пока в определенный момент не достигнет России, так что с этой точки зрения страной наших ожиданий на самом деле является Россия, а не Америка, от которой я полностью отрекаюсь». Это полностью соответствовало прогнозу, составленному Достоевским в своих политических произведениях и искусно зашифрованному в литературных произведениях. Если мы продолжим читать, то обнаружим предсказанную Достоевским и значительно расширенную Мёллером ван ден Бруком «Восточную идео-

логию». «Однако исполнение этого ожидания может быть отложено еще на очень продолжительное время. А пока германский мир должен решать свое всемирно-историческое задание и создать высокую немецкую культуру, которая бы воспрепятствовала неуклонному закату романского мира, который существует уже на протяжении двух тысячелетий... Затем наступит мгновение, когда он рухнет, а его место займет славянский мир с его высочайшей культурой».

В 1922 году Мёллер ван ден Брук куда более отчетливо сформулировал эту мысль во введении к собранию сочинений Достоевского: «Мы нуждаемся в Германии в безусловности русской культуры. Мы нуждаемся в ней как в противовесе западничеству, чье влияние мы прервем, как его прервали в России. Это пагубное влияние привело нас туда, где мы сейчас оказались. После того, как мы долго взирали с надеждой на Запад, были зависимы от него, в поисках независимости мы устремляем наш взор на Восток. Взгляд на Восток открывает вид на половину мира. Вопросы Востока являются для нас прежде всего вопросами духовной универсальности. И когда мы займемся поисками ответов на них, то мы сможем действовать в духе наших лучших традиций... По ходу нашей длительной истории мы приобщились к далеким и чуждым нам формам. Но никакая из них еще не являлась настолько опасной, как западная. Мы не должны опасаться, что Восток станет угрозой для нас. К нему немыслимо никакое другое отношение, кроме доверия, но с надежного расстояния. Если мы вновь обретем духовную, а вместе с ней и политическую независимость, то Россия станет для нас не больше не меньше как одной из великих сфер, которая сделала нас богаче... До тех пор нас ждет с Россией одинаковая участь».

При оценке «Восточной идеологии», разработанной Мёллером ван ден Бруком, любой исследователь будет ссылаться на предисловие к собранию сочинений Достоевского, которое было напечатано в 1922 году. Более поздние высказывания Мёллера могли быть продиктованы сиюминутными соображениями, так что их нельзя абсолютизировать. Основным мотивом этой «Восточной идеологии» было требование духовного универсализма. Мёллер ван ден Брук дословно воспринял это понятие у Достоевского. Именно оно было положено в основу теории о существовании «молодых народов».

Вопрос о возрасте народа и возможностях точного определения возрастных ступеней мы встречаем уже в ранних работах Мёллера ван ден Брука. Впервые он употребил это понятие в «Варьете» для того, чтобы выразить новое ощущение от наступления нового столетия. Слово «молодой» он использовал здесь только для обозначения нового искусства, которое он хотел представить как противоположность «старому», то есть устоявшемуся и оформившемуся, искусству.

В «Современниках» и «Немцах» он изменяет звучание слова «молодой». Оно в духе Чемберлена и Гобино относится к «молодой крови». Однако уже в годы Первой мировой войны Мёллер ван ден Брук отказался от чисто биологического содержания «молодости», придав ей духовное и нравственное содержание.

В конце войны Мёллер активно занялся разрешением вопроса, какой из народов являлся «молодым», а какой «старым». Немецкая катастрофа, которая привела к триумфу французов, «старейшего европейского народа», вновь заставила Мёллера ван ден Брука обратиться к Достоевскому и его критике цивилизации. Мёллер выдвинул тезис, что Франции удалось одержать победу над Германией лишь потому, что она заключила союз с «молодыми народами»: русскими и американцами. Поэтому Мёллер бросил призыв о «правах молодых народов», призывая их к солидарности в общих интересах.

Однако необходимо подчеркнуть, что теория «молодых народов» не была стройной конструкцией, она была очень запутанной и во многом противоречивой. Подобно тому, как Фихте увязывал воедино свою теорию о древних народах с Библией и идеями Руссо, так и Мёллер ван ден Брук сделал свою теорию «молодых народов» родственной тезисам Освальда Шпенглера, а стало быть, ее нельзя было ни научно опровергнуть, ни научно доказать. В целом же эта теория, по крайней мере после 1918 года, была продиктована общественным мнением и конкретными политическими целями. В первую очередь она должна была обеспечить внешнеполитическое сотрудничество Германии и России. В глубине души Мёллер ван ден Брук верил, что в союзе с Германией, сражаясь против Запада, революционные большевистские беспорядки породят «святую Русь», о которой так мечтал Достоевский.

Для Мёллера этот союз не должен был быть временным тактическим ходом, который позволил бы только победить врагов Германии. Союз с Россией был для него судьбоносным решением, которое должно предопределить будущее Европы. Даже Достоевский предрекал, что судьба Германии зависит от союза с Россией. Мёллер видел необходимость подобной связи в географическом, культурном и расовом родстве русских и немцев. То есть в том самом, что утратил Запад и что вело Германию на Восток.

Судя по всему, Мёллер ван ден Брук был неплохо знаком с «Политической географией», написанной Фридрихом Ратцелем, который фактически стал отцом геополитики. Знаком был Мёллер ван ден Брук и с идеями Карла Хаусхофера. По крайней мере, когда стал издаваться «Журнал геополитики», Мёллер написал в «Совести»: «По очереди мы пытались объяснять историю идеей, средой обитания, расовой принадлежностью. Но каждое из этих понятий выводило нас за



обозначенные рамки. Обзор пространств может сказать не последнее слово об истории, что вновь приводит к противоречию. Как же получилось, что одно и то же пространство вновь и вновь не воспроизводит одни и те же исторические события».

Но вернемся к «молодым народам». Олицетворением этого понятия Мёллер ван ден Брук считал Пруссию. Именно эта «самая молодая часть Германии» должна была стать фундаментом грядущего Третьего рейха. Кстати, очень многие идеологи национал-большевизма ссылались на историю Пруссии. Органической совокупностью всех идей Мёллера ван ден Брука относительно восточной ориентации Германии можно считать книгу «Прусский стиль», которая впервые вышла в 1916 году, но популярность обрела после второго издания, которое состоялось в 1922 году. Это было одно из самых зрелых произведений Мёллера ван ден Брука. Он, который юношей сбежал из Германии, ужаснувшись прусскими порядками, душившими в зародыше любые художественные устремления, накануне мировой войны провозгласил пруссачество самой сутью немецкой самобытности. Подобно тому, как это было в свое время в Италии, Мёллер ван ден Брук пытался найти в пластике и архитектуре сущность прусского стиля. Его книга стала литературным памятником Пруссии, хвалебной песнью этой немецкой земле, которая «была не просто далека, но враждебна по отношению к искусству, а ее богатство крылось в ее экономии, изобилие — в воздержанности».

Книга, как уже говорилось выше, была написана накануне Первой мировой войны, а ее последнюю часть Мёллер ван ден Брук заканчивал уже в казармах в качестве офицера немецкого ландштурма. Как было написано в эпиграфе, эта книга посвящалась Клаузевицу и Гегелю. Мёллер считал, что Пруссия должна была стать фундаментом новой империи. При анализе пруссачества он исходил из географических особенностей этой земли. Он отмечал несоответствие между ландшафтом и пруссаками, которые, по его мнению, были результатом смешения германских и венедских кровей. Именно это предопределило особый характер населения Пруссии.

Если германская империя всегда была ориентирована на Запад, где видела свои важнейшие задачи, то цели Пруссии всегда были связаны с восточными территориями. Мёллер ван ден Брук обосновывал этот тезис как ответ на вызов, который исходил и от природы, и от истории Пруссии. Окончательная ориентация на Восток была закреплена, когда Кенигсберг стал королевским городом, а имперский орел превратился из красного (бранденбургского) в черного (прусского). Мёллер полагал, что именно подобное решение позволило впервые самореализоваться Пруссии. В 1871 году она пожертвовала собой во имя империи, во имя немецкой самобытности. Немецкая империя воз-

никала под руководством Пруссии. После, по мнению Мёллера, Пруссия решила не пренебрегать своими задачами на Востоке. Приоритеты империи лежали на Востоке не только в связи с географическими принципами. Прусские задачи, ориентированные на Восток, с этого момента превращались в общеимперские цели.

В свете подобных заявлений многие несправедливо упрекали Мёллера ван ден Брука в том, что он пропагандировал опруссачивание Германии. Уже в «Немцах» он провозгласил здоровый федерализм источником духовного богатства Германии. В одном из номеров «Совести» Мёллер писал: «Половина нашей сущности принадлежит Западу. Поэтому наше предназначение состоит в том, дабы содействовать равновесию между Востоком и Западом». Но вместе с тем он предостерегающе добавлял: «Кто лишит нас этого предназначения, тот вовсе не привлечет нас к Западу, а полностью переведет на сторону Востока». Но в те дни, когда Мёллер писал «Прусский стиль», он не предполагал возможности подобной альтернативы. Высшая политическая цель ему виделась тогда в слиянии «расточительной созидательности, которая издавна являлась не только гениальностью, но и трагедией немецкой самобытности, с такой осознанной дальновидной государственностью, которая дана нам через понятие "Пруссия"».

Не случайно, что многие критиковали Мёллера ван ден Брука за эту работу. Но не стоит забывать, что национал-социализм в прославлении Пруссии нашел зажигательный национальный лозунг. Однако приравнивание пруссачества и национал-социализма является одним из самых великих недоразумений, так как агрессивный немецкий национализм, наоборот, почти всегда был непримиримым противником Пруссии. Национал-социалисты сами очень скоро заметили, что тот, кто прославлял Пруссию, вовсе не всегда являлся сторонником нацистской партии.

Кстати, единственным произведением Мёллера ван ден Брука, которое было вновь переиздано после Второй мировой войны, оказался именно «Прусский стиль». Многие критики указывали на него как на единственную книгу Мёллера, которая была свободна от обстоятельств, обусловленных временем. Бессильная ненависть против Версальского диктата, которая пропитала все возникшие после Первой мировой войны модификации «Восточной идеологии», чужды этому «чистому» хотя и не лишенному определенного пафоса произведению. В раннем творчестве Мёллера ван ден Брука это было самым зрелым произведением, которое одновременно являлось для автора исходным пунктом истинного консерватизма, который еще не был замутнен разочарованием от проигранной войны и обидами на политику мстительной Франции. Эрнст Барлах писал после прочтения «Прусского стиля»: «Это великолепное обращение к молодым солда-

там. Я нахожу его спокойно-великолепным произведением, которое доставляет наслаждение».

Горячие боевые призывы Мёллер ван ден Брук обращал как против репарационной политики Антанты, так и против победившего в СССР большевизма. Однозначная внешнеполитическая ориентация на Запад или на Восток казалась ему вряд ли допустимой, так как это могло иметь своим следствием разорение новой империи. Если политика Антанты вела Германию к полному экономическому обнищанию, то коммунистическая агитация могла погрузить страну в хаос гражданской войны. Но в подобном отчаянном положении нельзя было вообще отказываться от внешней политики, так как только она могла противопоставить друг другу еще недавних союзников. В январе 1919 года немецкий историк Ганс Дельбрюк писал в «Прусском ежегоднике»: «Мы не тешим себя самообманом, что будто бы союз с большевизмом значил бы для нас неизбежную гибель, даже тогда, когда мы должны были ускользать от самых сквернейших форм терроризма... Если Антанта собирается создать условия, которые грозят уничтожить нас и экономически, и национально, то у нас нет другого выбора, кроме как ответить: Хорошо! Тогда по меньшей мере вы последуете в пропасть вслед за нами».

Франция требовала от Германии репараций, которые предстояло выплачивать даже внукам тех, кто сражался на полях Первой мировой войны. Советский Союз, напротив, предлагал Германии руку помощи, настаивая на совместной борьбе против Франции. Это было не просто идеологическая установка, ориентированная против западного капитализма. Не стоило забывать, что Советская Россия просто не собиралась оплачивать долги царского правительства. Разве что-то может удачнее сблизить две страны, которые оказались должниками Антанты? Кроме того, Мёллер ван ден Брук был свято убежден, что романские народы уже миновали апогей своего развития, в то время как Россия находилась только в самом начале выполнения своего духовного предназначения. Проигранная война заставила сделать Германию цивилизационный шаг назад и повернуться лицом к восточному соседу, который мог исправить ее судьбу.

В этом отношении Мёллер ван ден Брук был очень близок Освальду Шпенглеру. К сожалению, до сих пор толком не исследованы очевидные параллели между творчеством Мёллера и Шпенглера. А ведь в их построениях было очень много схожего. Их «трагическое» восприятие истории немецкого народа и «немецкой души», резкая критика революции, Веймарской республики, либерализма и слепой веры в прогресс стали базисом для многих националистических организаций Веймарской республики. В одном принципиальном моменте их теории не совпадали. Речь шла об оценке роли России и прогнозах о ее бу-

дущем всемирно-историческом значении. Впрочем, отправная точка у обоих была одной и той же — ориентированное на Достоевского восхищение религиозной глубиной «русской души».

Шпенглер, как и Мёллер ван ден Брук, указывал на англо-немецкий и франко-германский антагонизм, видя в расовой сущности народа «обет для будущей культуры, в то время как над Западом все сильнее и сильнее сгущались вечерние тени». Вместе с тем Шпенглер причислял Германию к странам, вскормленным западной культурой: «Разрыв между русским и западноевропейским духом не может принимать достаточно острые формы. Духовные, религиозные, политические, экономические разногласия могут быть достаточно глубокими между англичанами, американцами, французами, но по сравнению с русскими они сплачиваются в некий закрытый мир». В начале 1920 года Освальд Шпенглер принял приглашение «Июньского клуба», чтобы лично с Мёллером ван ден Бруком обсудить свои тезисы. Точная дата этой встречи, к сожалению, неизвестна.

Но вернемся к Мёллеру ван ден Бруку. Он выдвинул версию, что исход войны избавил Россию и Германию от напряженных отношений, которые существовали в прошлом. Он разделял тогда очень распространенное мнение, что собственно большевизм закончится в ближайшее время, так как порожденный им экономический хаос должен был в свою очередь вызвать к жизни радикальную доктрину, которая бы отказалась от подготовки всемирной революции, а предполагала работу над национальным вариантом социализма. Подобную возможность, казалось бы, подтвердили разнообразные реформы, проводимые в советском обществе. Если бы Советский Союз окончательно отказался от революционной агитации, а Германия воплотилась в присущей только ей форме социализма, то больше ничто не мешало бы плодотворным связям двух стран. Мёллер ван ден Брук предрекал: «В этот день Россия и Германия будут смотреть на соседние страны не по раздельности, а как на нечто единое». Пророчество Мёллера сбылось 23 августа 1939 года, когда Гитлер и Сталин заключили пакт о ненападении, в котором содержалось тайное дополнение, предусматривающее общие действия диктаторов по «реорганизации» восточно-европейского пространства.

При оценке внешнеполитических концепций Мёллера ван ден Брука мы невольно сталкиваемся с вопросом, на который достаточно сложно ответить. Была ли «Восточная идеология» лишь скрытым империализмом, или в ней содержались элементы антиимпериалистической теории, которые смогли бы обезвредить агрессивный национализм?

Армин Мёлер в своих работах, посвященных консервативной революции в Германии, выносит однозначный вердикт — теория Мёл-

лера ван ден Брука имела антиимпериалистический характер. Даже при изучении имперской теории Мёллера ван ден Брука мы находим тенденции, которые имели своей целью построение федеративной модели империи, которая предполагала существование права на самоопределение народов. Но это вовсе не значит, что в построениях Мёллера напрочь отсутствуют империалистические элементы.

Его внешнеполитические идеи были сформированы накануне и во время Первой мировой войны, а стало быть, неизбежно несли в себе элемент агрессивного империализма. В 1916 году он приводил следующий аргумент: «Так как Россия связывала себя с Западом, русский мир дает нам право самим довести до завершения восточную политику». Что в те дни Мёллер ван ден Брук подразумевал под «Восточной политикой»? В принципе ничего иного, что предлагало высшее немецкое командование, а во времена Брест-Литовска он активно высказался за политику аннексий. Накануне Брест-Литовска он потребовал от России отказаться от территорий, которые уже были захвачены немецкими войсками. Мёллер ван ден Брук даже прибегал к таким спекулятивным доводам, как убеждение российской стороны в том, что потеря этих территорий никак не скажется на самочувствии России, так как та должна была в будущем развивать свою политику в восточном направлении: в сибирских и среднеазиатских областях. Как видим, во время войны Мёллер ван ден Брук полностью разделял позицию Генерального штаба относительно аннексии части российских территорий. Накануне от Версаля он написал «Право молодых народов», где он апеллировал к Вильсону, чтобы тот позволил распространить и на Германию право на самоопределение: «В Европе больше нет стран, которые можно было бы завоевать». Значила ли для него эта фраза принципиальный отказ от империалистических принципов? Нет, в первую очередь это было лишь вынесение приговора империалистической политике Антанты — теперь речь шла о Германии, которая намеревалась отхватить восточные колонии и аннексировать бельгийский угольный бассейн (а ведь Мёллер тогда выступал и за это!). Даже в «Праве молодых народов» один из разделов был написан под эпиграфом «Прорыв на Восток», что недвусмысленно намекало на право Германии проводить восточную экспансию, которая оправдывалась лозунгом «Народ без пространства».

Хотя в той же работе Мёллер ван ден Брук очень правильно предположил: «Одним из следствий мировой войны станет уменьшение населения в проигравших странах». Одновременно с этим он объявлял, что сильный прирост населения в Германии есть признак того, что немцы являются «молодым народом». Этот избыток населения должен был найти «отдушину» на восточных территориях. Выводы Мёллера ван

ден Брука, равно как и всех теоретиков «жизненного пространства», включая Адольфа Гитлера, опровергались одним фактом — падение рождаемости, начавшееся в годы Первой мировой войны, продолжало нарастать и в послевоенное время. Превышение рождаемости над смертностью на 1000 жителей Германии в 1921—1925 годах равнялось 8,9 %, в 1926—1930 годах — 6,6 %, а в 1931—1935 годах — 5,3 %. Ситуацию не исправляла даже сильная реэмиграция, которая происходила из Польши и Балтийских стран. К этому добавлялась немецкая эмиграция, которая до 1925 года значительно превышала реэмиграцию немцев, возвращавшихся в Германию. Не стоило забывать, что Германия по сравнению с другими европейскими государствами обладала самой высокой плотностью населения.

Мёллер ван ден Брук вовсе не собирался разрабатывать «Право молодых народов» как некую антиимпериалистическую теорию. Даже «Третий рейх» не смог снять подозрения, что высокопарные слова о мирном взаимодополнении народов, о национальном федерализме были всего лишь реверансом в сторону актуальных идей, которые диктовались самим духом времени. На самом деле за ними могли скрываться все те же старые империалистические устремления. В конечном счете из «Восточной идеологии» Мёллера ван ден Брука можно вычленить и империалистические элементы, и присущую западному образу мышления имперскую идею. В наследии Мёллера ван ден Брука можно найти слова, которые могли полностью отразить национальные проблемы того времени. «...Мы отделим немцев как самый старый народ от всех молодых, как тот, который наиболее далеко продвинулся вперед на пути создания общей культуры. На общем пути к нашему будущему. На пути товарищества, которое не мечтает о том, чтобы уравнять народы друг с другом, однако стремится к поддержке и взаимному обогащению. В этом товариществе наций лучшей гарантией является то, что каждый отдельный народ в высшей сумме своих возможностей и в духе творчества попадает из числа народов вчерашнего дня в число народов завтрашнего дня».

Эрнст Трёльч 12 ноября 1920 года написал такие слова: «Давление Антанты разрушает жизненные условия и делает радикальными голодные массы, успех большевизме в Германии побудит Антанту к дальнейшим разрушительным мерам, так что возникнут самые невероятные смеси: часть рабочего класса станет яро националистичной, а часть буржуазии станет большевистской. Самые непримиримые противники Антанты, спасаясь от большевизма, склоняются в сторону западного капитализма, а самые радикальные противники рабочего класса впадают в большевистское отчаяние». Автор этих строк также не исключал возможности, что Антанта вместе с немецким большевизмом будут угрожать пересмотру мирных соглашений. В конце этой

заметки он добавлял: «Мы лишены инициативы и слишком слабы, чтобы противопоставить сражающиеся друг против друга системы — Антанту и большевизм. Идти с большевизмом против Антанты было бы шагом отчаяния, который бы значил закат нашей культуры и не был бы поддержан большей частью нашего народа. Таким образом, ничто не остается, кроме как идти вместе с западными державами, одновременно защищаясь от их жестоких угроз... взывая к общечеловеческой морали, демонстрируя лояльность и готовность возмещения немецкого долга». Эта критика содержит квинтэссенцию того, что вызывала во многих консерваторах «Восточная идеология» Мёллера ван ден Брука. Коммунисты не исключали большевизации Германии, но Мёллер ван ден Брук не думал о подобной возможности. Он скорее был убежден, что большевизм был в России явлением временным, неким специфическим русским междуцарствием. Но до того, как он рухнет, должен был сложиться тесный союз России и Германии. Страх перед подобным альянсом вынуждал западные державы прибегать к некоему подобию вымогательской политики. Но союзники обманывались относительно внешнеполитической слабости Германии и могущества немецкого большевизма.

Но «Восточная идеология» Мёллера ван ден Брука нашла благоприятную питательную среду в рамках «Июньского клуба». Макс Бём писал в «Малом политическом словаре»: «Правая и левая молодежь сходится в неприятии буржуазного западничества и видит самую сильную опасность для немецкой самобытности в духовном заражении вирусом стареющего Запада, в частности американизации. Против ядовитых испарений, которые приносятся с Запада, должен сложиться духовный фронт, охватывающий едва ли не весь мир». Младоконсервативные публицисты боролись против большевизма именно как «западной теории в русском изложении». Неудивительно, что «Антибольшевистская лига» имела одновременно и антибольшевистский, и просоциалистический, пророссийский характер. Ее вообще было бы правильнее охарактеризовать как национал-большевистскую организацию. Наиболее отчетливо эта странная позиция проявилась в теоретическом жонглировании понятиями «интернационализм» и «национализм», «Россия» и «Советский Союз». Подобное можно было найти, например, в статье Эдуарда Штадтлера «Победа Ленина». Схожие идеи мы могли бы найти у Генриха фон Гляйхена еще во времена, когда он был участником «Союза немецких ученых и деятелей искусства». В своей работе «Большевизм и немецкие интеллигенты. Высказывания немецких деятелей искусства и ученых» он приводил мнение многих известных людей, которые не принимали коммунистическую идеологию, но были очарованы успехами большевиков, а стало быть, были убеждены в их особом предназначении.

По причине этих многочисленных противоречий Гуго Пройсс описывал интеллектуальный багаж Кольца как «коктейль из общеизвестных реакционных заголовков и большевистских приманок». Самое глубокое впечатление «Восточная идеология» Мёллера оказала на Ганса Шварца и молодых публицистов, собравшихся вокруг него. Эти люди издавали журнал «Близкий Восток» (не путать с географическим понятием Ближний Восток). Этот кружок в самой полной мере использовал наследие Мёллера ван ден Брука. В пояснении к изданию книги Мёллера «Отчет о России» Г. Шварц писал: «Политический журнал “Близкий Восток” издается полностью в духе Мёллера ван ден Брука. Журнал будет пытаться энергично совершенствовать духовное наследие Мёллера ван ден Брука и готовить европейскую перегруппировку, которая бы полностью соответствовала аграрно-политическому характеру всей Восточной Европы». Сам же Ганс Шварц занимался переизданием произведений Мёллера, выдвигая на первый план именно те работы, где наиболее отчетливо прослеживалась «Восточная идеология». Подобно Мёллеру ван ден Бруку кружок, сложившийся вокруг «Близкого Востока», пропагандировал имперскую концепцию, которая ставила своей целью противодействовать «балканизации» Восточной Европы посредством складывания огромного федеративного союза различных народов. Эрнст Никиш, один из самых ярких представителей немецкого национал-большевизма, осуждал эти стремления, так как видел в них лишь «видоизмененные установки пангерманизма».

Но в полной мере национал-большевизм смог развиться только во время мирового экономического кризиса 1929 года. Именно с этого момента национал-большевистские идеи стали находить отклик у различных политических групп, в частности так называемого «Сопротивления», созданного уже упоминавшимся выше Э. Никишем. Когда в 1931 году австрийским руководителем «Стального шлема» был избран профашистски настроенный князь Эрнст Рюдигер фон Штархемберг, из этой организации фронтовиков в знак протеста вышла группа революционных националистов, которые назвали себя в честь легендарного фрайкора Союз «Оберланд». К ним примкнул руководимый Фрицем Клопе Союз «Вервольф», члены которого всегда ориентировались на национал-большевизм. Впрочем, свои идейные установки они называли посседизмом. О сути этой теории можно судить хотя бы из названия программного документа Союза «Вервольф», который назывался «Посседизм. Против капитализма и марксистского социализма. Против реакции и либерализма».

Попытки получить под свой контроль национал-большевистские группы предпринимали и коммунисты, и нацисты. КПГ не раз в своей предвыборной агитации делала сильные национал-большевистские

акценты. У нацистов еще в 20-е годы национал-большевистские требования высказывали братья Штрассеры и Йозеф Геббельс. Впрочем, эти высказвания были продиктованы не столько идеологической необходимостью, сколько желанием вести активную борьбу против южного, «реакционного» крыла НСДАП, возглавляемого Гитлером, Розенбергом и Герингом. Со временем Геббельс перешел на сторону Гитлера, а Отто Штрассер, младший из братьев, вышел из нацистской партии и создал собственную организацию «Черный фронт». Не меньшей сенсацией стало решение рейхсверовского офицера Рихарда Шерингера, одного из главных обвиняемых по так называемому «делу рейхсвера», покинуть ряды НСДАП и перейти к коммунистам.

Национал-большевистские тенденции проникали во многие молодежные организации, но ни одна из них открыто не провозглашала себя таковой. В 30-е годы национал-большевизм из политического явления во многом превратился в явление публицистическое. Почти каждая национал-большевистская и национал-революционная организация издавала свой собственный журнал. Это и «Прорыв» (Шерингер), и «Близкий Восток» (Шварц), и «Черный фронт» (Штрассер), и «Действие» (Церер), и «Сопротивление» (Никиш). Список можно было бы продолжать едва ли не до бесконечности. В конце 1932 года была предпринята попытка объединить все эти многочисленные группы в одну Национал-коммунистическую партию. Но эта затея провалилась. Национал-большевизм в большинстве случае остался лишь пустой декларацией. Лишь только Эрнсту Никишу удавалось оказывать влияние на небольшую «Старую социал-демократическую партию», которая действовала в основном на территории Саксонии. Он даже редактировал газеты старо-социал-демократов «Народное государство». На ее страницах Никиш как-то написал красивые слова: «Можно людей напоить революционным шампанским, а затем ждать, чтобы они протрезвели и стали объективными, будто бы пили обыкновенную газировку. Игра с громкими революционными фразами однажды кроваво отмстит нам».

РАЗМЕЖЕВАНИЕ С НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИЗМОМ

В своей книге «Мифы Третьего рейха» Жан Нойрор описал в том числе создание политических мифов во времена Веймарской республики. «Кажется сомнительным, что сейчас в Германии, равно как и в другом месте, жаждут с охотой вспомнить, с каким воодушевлением в первые месяцы 1933 года приветствовалась так называемая национальная революция. И все же факт остается фактом — в немецкой

истории очень редко можно было зарегистрировать такое широкое общественное движение, которое наличествовало в Германии в начале 1933 года, когда Гитлер пришел к власти... Некоторые идеи, формулы, лозунги нацистов, которые кажутся нам ошибочными и бессмысленными, будут понятнее, если мы представим себе историю политических идей в целом. Она позволит нам понять, как подобный вздор мог найти сочувствие у людей, которые уже привыкли к этим идеям, хотя они оказались воплощенными в другую форму». Эти слова очень удачно указывают на ту функцию, которую выполняли в Веймарской республике Мёллер ван ден Брук и его друзья. Они, эти слова, вместе с тем намекают, что сложно установить, кто был причастен или непричастен к приходу Гитлера к власти. Сам собой напрашивается вопрос об общих точках соприкосновения между младоконсерваторами и национал-социалистическим движением.

Общими у Кольца и нацистской партии были обиды, затаенные на Веймарскую республику, которая была принесена на штыках Антанты и предателей. Общим было и разочарование от проигранной войны и горечь от унизительного положения Германии, в которое поставили страну союзники, навязав ей грабительский Версальский договор. Однако было бы непростительной примитивностью (чем грешат многие наши российские историки) изображать Мёллера ван ден Брука неким предшественником Гитлера или неким национал-социалистическим первопроходцем. Для наглядного различия вспомним хотя бы о «Восточной идеологии» Мёллера ван ден Брука, которая принципиально отличалась от программы Гитлера, ориентированной на завоевание «жизненного пространства». В своей «Майн кампф» Гитлер писал по поводу России: «Мы хотим вернуться к тому пункту, на котором прервалось наше старое развитие 600 лет назад. Мы хотим приостановить вечное германское стремление на юг и на запад Европы и определенно указываем пальцем в сторону территорий, расположенных на востоке. Мы окончательно рвем с колониальной и торговой политикой довоенного времени и сознательно переходим к политике завоевания новых земель в Европе. Когда мы говорим о завоевании новых земель в Европе, мы, конечно, можем иметь в виду в первую очередь только Россию и те окраинные государства, которые ей подчинены. Сама судьба указует нам перстом». В принципе при желании эти идеи можно было принять за теоретические построения, которые Мёллер ван ден Брук делал в начале Первой мировой войны. Однако, если читать внимательно «Майн кампф», то в глаза бросятся разительные отличия. Если Гитлер оценивал русских как «низкокачественную расу», которая стояла едва ли не на одном уровне с евреями, то Мёллер ван ден Брук видел в русских мощнейший «молодой народ», который

претендовал, чтобы стать новой мировой державой. Конспирологические измышления относительно заговора небольшой группки (евреев, масонов, иезуитов, а после 1917 года большевиков) Мёллер ван ден Брук всегда решительно отвергал, считая их «завистью к власти» или «страхом перед ошибкой». Мёллер ван ден Брук настаивал на союзе с Россией, Гитлер же обозначал подобный союз как «указание к будущей войне», которая должна была стать концом Германии (весьма провидческие слова!). Общее у Гитлера и Мёллера ван ден Брука это лишь использование словосочетания «Третий рейх».

Как мы помним, Мёллер ван ден Брук не дожил до триумфального прихода нацистов к власти. Он мог лишь застать зарождение нацистского движения. Но в принципе его отношение к Гитлеру и национал-социализму можно с определенной долей уверенности восстановить по нескольким высказываниям.

Обратимся к истории. Весной 1922 года при посредничестве генерал-майора Карла Хаусхофера и Рудольфа Гесса в Мюнхене с Гитлером повстречался Рудольф Пехтель. Пехтель изображал следующим образом эти события: «Тогда во время беседы Гитлер решил также дать слово и другим. По его просьбе я рассказал ему о политической жизни в Берлине, а в этой связи также о политической работе “Июньского клуба”, который я представлял... Гитлер весьма заинтересовался работой “Июньского клуба”. Я предлагал ему выступить в нашем кругу, где мы предоставляли слово представителям всевозможнейших направлений. Гитлер использовал этот случай. После моего возвращения в Берлин я столкнулся с решительным сопротивлением Мёллера, который знал о Гитлере больше меня. Однако я указал, что для нас было бы важным, соблюдая надпартийность, информировать о всех новых движениях. И намекнул, что Мёллер, исходя из собственных соображений, имел беседу с Карлом Радеком. Мёллер уступил, и Гитлер появился у нас. Если на наших традиционных дискуссиях в тесных помещениях “Июньского клуба” на Моцштрассе, 22 собиралось 120—150 человек, то в тот достопамятный вечер их было в лучшем случае тридцать — что само по себе было неблагоприятным началом. Гитлер говорил, будто вещал перед гигантским собранием народа в мюнхенской пивной. Он не мог установить хоть какой-то контакт с присутствующими, и было буквально слышно, как его тирады падали на пол. Это была обыкновенная речь о сломе процентной кабалы и с другими клише, присущими партийным программам, что позволяло говорить о соответствующем интеллектуальном уровне. Это была катастрофическая неудача, которую Мёллер не раз ставил мне в вину. Я просил его, чтобы он в личной беседе с Гитлером удостоверялся, что собственно этому человеку по непонятным нам причинам удалось привести массы в движение. Наконец, после обмена мнениями Мёллер согласился

побеседовать в узком кругу, где бы присутствовало четверо — он, я, Гитлер и доктор Юнг. В характерной манере Мёллер пытался поговорить с Гитлером по душам, пытался при помощи настойчивых, но взвешенных вопросов постичь суть Гитлера, познакомиться с его позицией по наиболее актуальным вопросам. Показалось, что Гитлеру удалось произвести впечатление на Мёллера и его окружение. Он говорил дословно следующее: "Вы имеете все то, что отсутствует у меня. Вы разрабатываете духовное оружие для обновления Германии. Я не более чем барабанщик и собиратель сил. Давайте сотрудничать!" Мы решили оставить его в резерве. Мёллер лишь пообещал Гитлеру, что мы пришлем издание "Июньского клуба", которое называлось "Совесть", а также все публикации нашего кружка. Беседа закончилась в 4 часа утра. Гитлер отправился пешком от Моцштрассе на Цигельштрассе, где он хотел переночевать у своего боевого товарища. Мы стояли у дверей дома и смотрели вслед Гитлеру, который маршировал как закоренелый вояка. Затем Мёллер повернулся ко мне и сказал: "Пехтель, этот малый никогда ничего не поймет! Я полагаю, что, натерпевшись эдакого страха, нам надо выпить в погребке бутылку испанского вина"». Это достаточно живое описание воспроизводил и Макс Бём, который добавлял, что Генрих фон Гляйхен демонстративно покинул клуб во время выступления Гитлера. Но после 1933 года об этой встрече предпочитали умалчивать.

То, что касается Мёллера ван ден Брука, то накануне своей смерти он демонстрировал более чем сдержанное отношение к национал-социализму. После провалившейся попытки государственного переворота, предпринятой Гитлером в 1923 году в Мюнхене и больше известной как «пивной путч», Мёллер напишет следующие строки: «В Мюнхене случилось то, что я предвидел: преступление, совершенное по глупости! Это 9 ноября может нам обойтись очень дорого. Позвольте предотвратить его последствия: национальное движение должно сохраняться, фёлькише-мышление не должно загоняться в гроб вождями». В рубрике «Критика прессы» он писал еще более отчетливо: «Гитлер потерпел неудачу по причине своей пролетарской примитивности. Ему недоступно, что под его национал-социализм надо подвести духовный фундамент. Он воплощенная страсть, которая напрочь лишена рассудочных свойств». Но тем не менее младоконсерваторы отнюдь не выступали решительно против национал-социализма. Им казалась заманчивой идея использовать в собственных целях суд над Гитлером. Это был прекраснейший повод для начала активной агитационной кампании. Тем более что в одной из передовых статей Мёллер призывал Гитлера: «Бей погромче, барабанщик нации!» Он пытался привлечь Гитлера на свою сторону, однако путч не был тем путем, которым собирался следовать Мёллер ван ден Брук. А значит,

это был лишь маневр: «Речь идет о терпеливой и планомерной активной национальной политике, которая должна создать новое государство на земле, покрытой обломками и гнилью, должна постепенно выбрать путь свободы. Политика является тем действием, которое двигает немецкую нацию вперед к свободе. Гитлер признавал свою ответственность за действие, но признал себе виновным. Подобное политическое действие не только нельзя осуществлять, но ему даже надо воспрепятствовать». Тем не менее, отказываясь от методов Гитлера, с другой стороны, младоконсерваторы давали понять — то, что Гитлер говорил на суде, соответствовало их собственным убеждениям. Это стало роком для многих консервативно настроенных деятелей, которые до 1933 года полагали, что Гитлеру можно поручить работу «крысолова». Они обманывались, не видя собственного бессилия. В итоге они оказались в роли обманутых мошенников.

Однако, в отличие от многих других националистов, Мёллер ван ден Брук никогда не думал, что у национал-социализма есть шанс. Он всегда презирал плоские, стереотипно повторяющиеся тирады нацистской пропаганды и игнорировал политически незрелые действия вождей НСДАП. Ему, который мечтал о сближении правой и левой оппозиции, казалось гигантским заблуждением исключительно враждебное отношение нацистов к большевикам. Но наряду с этим он видел, что национал-социализм смог разбудить молодые силы. Неудивительно, что он приветствовал этот процесс, так как полагал, что это лишь начало более глобального движения. Когда Мёллер ван ден Брук покончил с собой, нацистская партия была немногим больше, чем одна из многочисленных политических сект, которая, базируясь преимущественно в Баварии, к тому же имела в те годы локальное значение. Только когда Ганс Шварц серьезно занялся переизданием произведений Мёллера ван ден Брука, его идеи были оценены нацистами и превращены в конкретные политические лозунги. Именно по этой причине в августе 1932 года Эдгар Юлиус Юнг писал, что национал-социалисты рассматривают Мёллера как некого участника нацистского движения. То есть Мёллер ван ден Брук был зачислен в ряды НСДАП фактически постфактум.

Нельзя упрекать Ганса Шварца, который со временем перешел в редакцию журнала «Ангриф», издаваемого Геббельсом, что он использовал труды Мёллера ван ден Брука, дабы содействовать расширению национал-социалистического движения. В предисловии произведений, которые были переизданы до 1933 года, Шварц вообще ни разу не упоминал ни Гитлера, ни национал-социализм. Лишь после прихода фюрера к власти Шварц стал изображать его как восприемника идей Мёллера, которому удалось воплотить их в жизнь. В 1958 году в одном из интервью Ганс Шварц заявлял, что по-

сле 1933 года был просто вынужден изображать Мёллера как преднацистского мыслителя, так как существовала опасность полного запрета на издание его работ. В первые дни нацистской диктатуры и существования гитлеровского Третьего рейха очень многие немецкие и зарубежные обозреватели указывали на принципиальное различие между империей, созданной Гитлером, и мыслимой Мёллером ван ден Бруком. Именно так в июне 1935 года появились слова о Мёллере как «новой политической фигуре, которая была обращена к восходящему национал-социализму». Но это была политическая мифология. Впрочем, в 1931 году вдова Мёллера ван ден Брука писала, что единственным движением, которое могло совершить переворот в духе ее покойного мужа, был национал-социализм. Однако это было ее частное мнение.

С исторической точки зрения очень интересна позиция младоконсерваторов накануне «захвата власти» национал-социалистами. Свет на эту проблему может пролить сборник «Что мы ожидаем от национал-социализма?», который был издан Альбертом Эрихом Гюнтером в 1931 году. Этот сборник состоял из 20 статей и интервью, которые должны были дать ответ на поставленный вопрос. Многие из авторов, но далеко не все, принадлежали к младоконсервативным кружкам. Сам же издатель писал в предисловии следующее: «В первый раз возникла надежда, что движение, порожденное немецким духом, перестроит политическую жизнь, которая вольет в рейх новые силы». По сути, эта книга являлась ни критикой, ни восхвалением национал-социализма. Август Винниг, который интерпретировал национал-социализм как «подлинную немецкую необходимость», излагал следующую мысль: «Я считаю предосудительным критиковать и ослаблять тем самым движение, которое является почвой для всех немецких надежд». Генрих Форстофф, младоконсервативный пастор, одобрял политическое содержание национал-социализма, правда, добавляя, что тот не мог использовать «всего человека» для своих нужд. Он проницательно предостерегал: «Идея может быть преувеличена до обожествления, а идеал вождя до безответственности ведомых. Тогда он (национал-социализм) потеряет чувство реальности, упустит почву из-под ног». Иоганн Вильгельм Маннхардт критиковал нацизм с точки зрения немца, живущего за границей. Особо яростно он нападал на антисемитизм гитлеровского движения, так как подобно тому, как евреи являлись национальным меньшинством в Германии, немцы являлись таким же меньшинством за пределами своей страны. НСДАП противоречила сама себе. Этот младоконсервативный автор полагал, что наиболее несправедливые упреки обращались к восточно-европейским евреям, в которых он видел едва ли не носителей немецкой цивилизации. Он выражал на-

дежду, что инициированная Штреземанном внешняя политика осуществлялась бы и впредь, вопреки необузданной агитации национал-социалистов. Но надежды, судя по всему, были слабы, так как он, задав Маннхардту боязливый вопрос: «Что произойдет, если сегодня или завтра партия войдет в правительство? Будут ли пропагандисты своими для правительства и чиновничества?», он отвечал на этот вопрос в духе младоконсерваторов. Он наивно полагал, что если бы нацистов не удалось укротить, то они бы просто-напросто потерпели фиаско. Показательно, что подобную ошибку допускал и Альфред Гугенберг, с конца 20-х годов бывший лидером Немецкой народно-национальной партии.

Но самое курьезное предположение сделал Вильгельм Греве: нацисты должны были спасти демократию. «Демократия и парламентаризм в Германии, кажется, будут спасены их непримиримыми противниками... В то время как Веймарская коалиция отказывается от демократии, дабы спасти “республику от фашизма” (чрезвычайные постановления, роспуск рейхстага и т.д. — *Авт.*), национальная оппозиция станет передовым бойцом по защите всех демократических методов и либеральных прав Веймарской конституции. Только в рамках этой политической системы национал-социализм может проявить свою силу». Похожие суждения играли тогда большую роль в младоконсервативной среде.

В ноябре 1931 года Генрих фон Гляйхен написал Гитлеру «Открытое письмо», в котором говорилось: «Хватит ли Вашей воли, которой Вы подчинили свою свиту, и без того находящуюся под Вашим влиянием, дабы справиться с нуждой, которая продолжает распространять свое гибельное воздействие? (...) Во всяком случае, я утверждаю, что люди нынешнего поколения, которые не причисляют себя к правящим кругам Германии, не воспримут Ваш призыв, так как Вы не придаете этим людям (таким же страстным патриотам, как и Вы сами) никакого значения. Вы жаждете и требуете только одного: слепого повиновения! Но Вы не получите людей, которые способны к действию под свою ответственность». В апреле 1932 года тот же фон Гляйхен написал: «Мы со всей решимостью отказываемся от политического антисемитизма национал-социалистической партии».

Конечно, можно было бы без проблем собрать кучу высказываний деятелей младоконсервативных организаций, которые провозглашали Гитлера «единственным творческим политиком и вождем масс», как это делал, например, Эдгар Юлиус Юнг. Но все-таки интереснее, а самое главное, важнее те, кто попытался, пока еще не поздно, высказаться и отвести от Германии надвигающуюся опасность. Однако это помешало нацистам использовать в собственных целях идеи и лозунги младоконсерваторов.

Очередное издание «Третьего рейха» Йозеф Геббельс сопроводил такими словами: «Я столь значимое произведение понимаю как распространение идейной истории НСДАП». Но подобное отношение было характерно для Геббельса отнюдь не всегда. Еще в 1925 году в своем дневнике будущий министр пропаганды сделал запись: «Я нашел время, чтобы спокойно прочесть книгу Мёллера ван ден Брука "Третий рейх". Этот рано ушедший из жизни человек пишет пророческие вещи. Он пишет ясно и спокойно, но при этом все охватывается внутренней страстью. Он писал обо всем том, что я еще юношей постиг при помощи чувства и инстинкта. Почему М. в. д. Б. (Мёллер ван ден Брук) находился в Кольце, а "Совесть" последовательно не пошла на боевой союз с нами? Духовное избавление? Нет, борьба не на жизнь, а на смерть! Отнюдь не одухотворение жизни, политики, истории. У нас (национал-социалистов) зубодробильная эстетика... Потрясающе точно, почему он не оказался в наших рядах». Но дневник Геббельса никогда не публиковался в Третьем рейхе, а пропаганда предпочитала превозносить Мёллера ван ден Брука «предвестником новой Германии».

Каких только напыщенных фраз не звучало после 1933 года! Гитлер воплотил в истории политическое завещание Мёллера ван ден Брука. Не остались в стороне и бывшие друзья писателя. В феврале 1933 года Эдуард Штадтлер выпустил на немецком радио передачу, которая называлась «От "Июньского клуба" до правительственного кабинета Гитлера». Вольфганг Кёппен провозглашал Мёллера «важнейшим духовным предшественником нового, национально наполненного социализма». Как мы помним, в конце 20-х годов появилось множество людей, претендовавших на роль продолжателей дела Мёллера ван ден Брука. Почти сразу же после прихода нацистов к власти их ряды поредели, когда гитлеровская диктатура укрепилась, многие вообще предпочли дистанцироваться от Мёллера и младоконсерватизма. Самое удивительное, что некоторые энтузиасты продолжали аж с 1936 года считать Гитлера «самым консервативным революционером в мире». Но подобные заявления были не более чем курьезом.

Повод для разочарования в творчестве Мёллера дал не кто иной, как главный идеолог нацистской партии Альфред Розенберг, который заявил в партийном издании «Фелькише беобахтер», что Мёллер ван ден Брук, хотя и являлся «благородным человеком и пламенным патриотом», но ни в коей мере не мог считаться предшественником национал-социализма. Почти сразу же после этого был конфискован тираж изданного Г. Шварцем сборника «Отчет о России», кстати, тоже не без участия Розенберга. 17 января 1934 года в официозной прессе появляется статья Вальтера Шмита, которая называлась «Против фальсификаций». В ней повествовалось об очередном сбор-

нике Г. Шварца «Социалистическая внешняя политика». На этот раз тон заметки был более чем резкий: «После ликвидации всех политических и экономических группировок, которые не имели права на существование в национал-социалистском государстве, начался примечательный процесс. Его можно было бы назвать интеллектуальным разбавлением и нейтрализацией национал-социализма. Под этим подразумеваются все те течения, которые пытаются привить на плодотворной почве национал-социализма устаревшие и безуспешные воззрения. Более того, они охотно принимают защиту национал-социализма». В принципе автор этой статьи очень правильно угадал намерения Г. Шварца, а потом прозвучали недвусмысленные угрозы: «В будущем с национал-социалистической стороны проявится нечто большее, нежели усмешка, если круги, которые до сих пор не согласились с общностью нации, будут говорить сегодня о национал-социалистической дисциплине».

К десятой годовщине со дня гибели Мёллера ван ден Брука в одной из берлинских газет Вильгельм Рёссле опубликовывал памятную статью, в которой он попытался установить связь между Мёллером ван ден Бруком и национал-социалистами (подобную мысль он позаимствовал из одного гамбургского издания). В ней был такой пассаж: «Одни рождены для действия (подразумевался Гитлер. — *Авт.*), другие (Мёллер ван ден Брук. — *Авт.*) для мысли о действии». «Фелькише беобахтер» назвал подобный способ мышления «глупым и бесцеремонным противопоставлением». «Немецкая революция являлась не только политическим, но духовным детищем Адольфа Гитлера!» Печатный орган СС журнал «Черный корпус» использовал в качестве повода для жесточайшей критики обе пямятные статьи: «Они (младоконсерваторы.— Авт.) чувствовали себя высшими в духовном плане и демонстрировали это, где только могли, и вывертывали наизнанку это, где могли. Они теоретизировали, обсуждая проблемы политики, и думали, что борьба на улицах, что столкновения в помещениях для собраний, что нетерпимость национал-социалистического движения ничего не значат, так как они не интеллектуальны... С непреклонной твердостью фюрер провел четкую грань между собой и подобными фёлькише пророками, к которым относятся и наследники Мёллера ван ден Брука!»

Во всей этой полемике жертвами нападок становились друзья и единомышленники Мёллера ван ден Брука, хотя самого его не трогали. В основном такое положение вещей объяснялось тем, что истинное наследие Мёллера ван ден Брука был сфальсифицировано его «апостолами». Исключение, пожалуй, составлял лишь памфлет Вильгельма Зеддина «Пруссачество против социализма» (низменное название работы Освальда Шпенглера «Пруссачество и социа-

лизм»). В этой небольшой работе он был заклеймен как «писатель». Зеддин даже бросил Мёллеру упрек, который полностью соответствовал гитлеровскому рейху: «Как способ рассмотрения, так и целенаправленность Мёллера происходят вовсе не из недр немецкой духовности». После подобных нападок вокруг имени Мёллера ван ден Брука наступила тишина. Лишь в 1939 году нацистская партия определилась со своим отношением к Мёллеру ван ден Бруку. О нем было упомянуто в официальной библиографии национал-социалистического движения. Идеи Мёллера ван ден Брука о расе и империи были изложены в сугубой национал-социалистической трактовке. В итоге автор выносил своей приговор: «Мёллер ван ден Брук был не пророком и не предшественником Третьего рейха, а лишь “последним консерватором”. Из его политического мира нет пути в немецкое будущее, так как этот мир никак не связан с национал-социализмом».

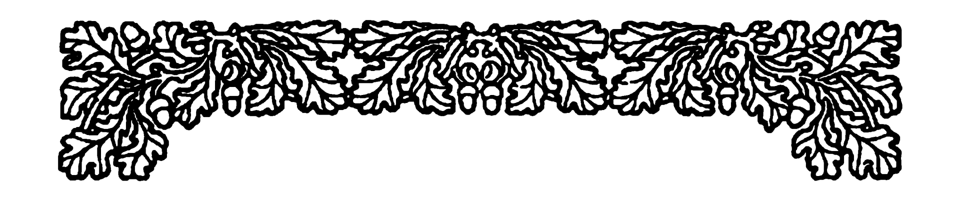
Объясняя, почему нацисты решили дистанцироваться от Мёллера ван ден Брука, американский историк К. Клемперер как-то напыщенно заявил: «Дьявол был добрее к Мёллеру, чем он того заслуживал. Можно было говорить, что дьявол сам разорвал с ним договор». Другой американский ученый, Вальдемар Гурьян, выразился более конкретно: «Духовным и теоретическим носителям нового национализма, начиная с Мёллера, заканчивая Штепелем, вовсе не требовалось признавать национал-социализм; наоборот, в большинстве случаев они стояли от него на критической дистанции. Но все же именно они способствовали развитию общества, благодаря которому национал-социалисты смогли воздействовать на национальное самосознание, а затем прийти к власти».

Вопросы, подобные тому, как бы повел себя Мёллер ван ден Брук, доживи он до 1933 года, кажутся излишними. Куда более важен факт, что он никогда не был национал-социалистом, дистанцировался от гитлеровского движения еще в момент его зарождения, а после смерти был дискредитирован нацистами.

Тотальное государство, с которым пытались заигрывать Мёллер и его сторонники, настаивая на его народно-духовном содержании, в действительности обернулось ужасом нацистского террора. Младоконсерваторы признавали диктатуру лишь как вынужденную и временную меру. В одном из номеров «Совести» недвусмысленно говорилось: «Игры с диктатурой — это преступление; вера в то, что диктатура может быть самоцелью, является безумием. Тот, кто решился на установление диктатуры, должен быть аристократом. И только тот, кто верит в аристократию, может решиться на диктатуру». Младоконсерватизм не отказался от расового мифа, хотя и не столь решительно, как от вульгарного антисемитизма.



Казалось бы, Гитлер оживил идею Мёллера о «молодых народах», когда заключил мирный договор с Пилсудским, а Ялмар Шахт стал проводить целенаправленную «восточную» политику в области экономики. Но оккупация остатков Чешской республики наглядно показала, насколько мало общего с «Восточной идеологией» имела эта политика. Пакт о ненападении между СССР и Германией можно было бы признать проявлением этой идеологии, но он оказался уловкой. Развязанная Гитлером Вторая мировая война поставила крест на имперских концепциях Мёллера.



БИБЛИОГРАФИЯ МЁЛЛЕРА ВАН ДЕН БРУКА

КНИГИ, БРОШЮРЫ, ЛИСТОВКИ

Современная литература в изображении групп и личностей. 12 томов. Берлин/Лейпциг. 1899—1902

Варьете. Берлин. 1902

Немцы. Наша человеческая история. 1-ое издание. 8 томов. Минден. 1904—1910. 2-е издание (сокращенное и переработанное) под названием «Вечная империя». Издательство Ганса Шварца. 3-е издание. Вроцлав. 1933—1935

Французский театр (14-й том серии «Театр»). Издатель Хагеман. Беллин/Лейпциг. 1905

Современники. Идеи и люди. Минден. 1906

Национальное искусство для Германии. Листовка Отечественного писательского союза. Листовка № 1. Берлин. 1909

Воспитание нации. Листовка Отечественного писательского союза. Листовка № 13. Берлин. 1911

Итальянская красота, 1-е и 2-е издание. Мюнхен. 1913; 3-е (сокращенное) издание (издатель Ганс Шварц) Штутгарт / Берлин. 1930

Бельгиец и балтийцы — «Немецкая война». Политические листовки (издатель Як). Том. 59. Штутгарт / Берлин. 1915

Прусский стиль, 1-е издание, Мюнхен, 1916; 2-е издание, Мюнхен, 1922; 3-е издание (издатель Ганс Шварц), Вроцлав, 1931; 4-е издание («Архив Мёллера ван ден Брука»), Мюнхен, 1953

Права молодых народов. Мюнхен. 1919

Прусская судьба — зеркало. Доклад о традиционной и художественной культуре. Том 4. Берлин. 1919

Молодые народы — зеркало. Том 21—23. Берлин. 1920

Консерватор. Листовка «Кольца». Берлин. 1921.

Виновность за войну. Издание Рабочего комитета Немецкого союза. Берлин. 1922.

Третья империя, 1-е издание, Берлин, 1923; 2-е издание, Берлин в 1926; 3-е издание (издатель Ганс Шварц), Гамбург, 1931; английский перевод: Третья Германская империя (сокращенный вариант), Лондон, 1934; французский перевод, Париж, 1938.

Шлагетер. Листовка объединения международных издательств. Берлин. 1923

О чем нам вещает «Красное знамя». Листовка «Кольца». Берлин. 1923.

Права молодых народов. Собрание политических статей (издатель Ганс Шварц), Берлин, 1932.

Политический человек (статьи Мёллера). Издатель Ганс Шварц, Вроцлав, 1933

Социализм и внешняя политика (статьи Мёллера). Издатель Ганс Шварц, Вроцлав, 1933

Отчет о России (статьи Мёллера). Издатель Ганс Шварц, Вроцлав, 1933

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Breuer, Stefan. Welf wie Waiblingen: Moeller van den Bruck und der 'Preußische Stil' / von Stefan Breuer / Revue d'Allemagne et des pays de langue allemande / Société d'Etudes Allemandes, Strasbourg; Strasbourg, 34 (2002), S. 3—17

2. Breuer, Stefan. Anatomie der konservativen Revolution / Stefan Breuer. — Darmstadt: Wiss. Buchges., 1993. — 232 S.: Ill.

3. Dupeux, Louis. "Nationalbolschewismus" in Deutschland 1919—1933: kommunist. Strategie u. konservative Dynamik. — Muenchen: Beck, 1985. — 492 S.

4. Garstka, Christoph. Arthur Moeller van den Bruck und die erste deutsche Gesamtausgabe der Werke Dostojewskijs im Piper-Verlag: 1906—1919; eine Bestandsaufnahme sämtlicher Vorbemerkungen und Einführungen von Arthur Moeller van den Bruck und Dmitrij S. Mereschkowskij unter Nutzung unveröffentlichter Briefe der Übersetzerin E. K. Rahsin; mit ausführlicher Bibliographie / Christoph Garstka. Geleitw. von Horst-Jürgen Gerigk. — Frankfurt am Main [u.a.]: Lang, 1998. — XIII, 168 S.

5. Gerstenberger, Heide. Der revolutionaere Konservatismus: ein Beitrag zur Analyse des Liberalismus / von Heide Gerstenberger. — Berlin: Duncker & Humblot, 1969. — 171 S.

6. Grumke, Thomas. Arthur Moeller van den Bruck und der "neue Nationalismus" / von Thomas Grumke. Osnabrück, Univ., Magisterarb., 1995.- 130 S.

7. Härtle, Heinrich. Der preußische Stil: Moeller van den Bruck und das Preußen-Jahr. / Deutsche Monatshefte; Berg, Starnberger See, 33 (1982),1, S. 34—38

8. Ishida, Yuji. Jungkonservative in der Weimarer Republik: d. Ring-Kreis 1928—1933. — Frankfurt am Main [u.a.]: Lang, 1988. — 298 S.

9. Jenschke, Bernhard. Zur Kritik der konservativ-revolutionären Ideologie in der Weimarer Republik: Weltanschauung und Politik bei Edgar Julius Jung / Bernhard Jenschke. — München: Beck, 1971. — VIII, 200 S.

10. Klönne, Arno. Kein Spuk von gestern oder: Rechtsextremismus und "Konservative Revolution" / Arno Klönne. — Münster: Lit, 1996. — II, 112 S.

11. Krause, A. Moeller van den Bruck, der Prophet des Dritten Reiches.1934. -121 S.

12. Moeller van den Bruck, Arthur. Das Recht der jungen Völker: Sammlung politischer Aufsätze / Moeller van den Bruck. — Berlin: Verl. Der Nahe Osten, 1932. — 218 S.

13. Mohler, Armin. Die konservative Revolution in Deutschland: 1918—1932; ein Handbuch / Armin Mohler. — 2., völlig neubearb. u. erw. Fassung. — Darmstadt: Wiss. Buchges., 1972. — XXX, 554 S.

14. Paetel, Karl O. Versuchung oder Chance?: zur Geschichte des deutschen Nationalbolschewismus / Karl O. Paetel. — Göttingen [u.a.]: Musterschmidt, 1965. — 343 S.

15. Petzinna, Berthold. Erziehung zum deutschen Lebensstil: Ursprung und Entwicklung des jungkonservativen "Ring"-Kreises; 1818—1933 / Berthold Petzinna. — Berlin: Akad.-Verl., 2000. — 308 S.

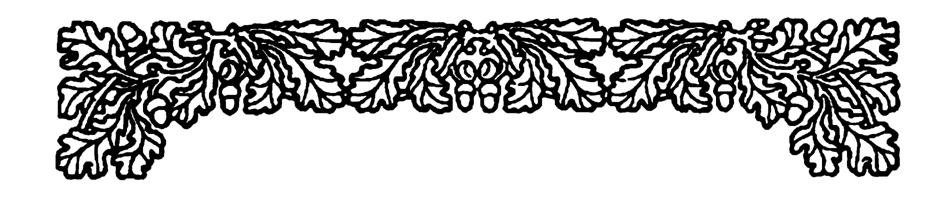
16. Petzold, Joachim. Wegbereiter des deutschen Faschismus: die Jungkonservativen in der Weimarer Republik / Joachim Petzold. — Köln: Pahl-Rugenstein, 1978. — 410 S.

17. Pfahl-Traughber, Armin. Konservative Revolution und Neue Rechte: rechtsextremistische Intellektuelle gegen den demokratischen Verfassungsstaat / Armin Pfahl-Traughber. — Opladen: Leske + Budrich, 1998. — 239 S.

18. Schwierskott, Hans-Joachim. Arthur Moeller van den Bruck und die Anfänge des Jungkonservatismus in der Weimarer Republik: eine Studie über Geschichte und Ideologie des revolutionären Nationalismus / vorgelegt von Hans-Joachim Schwierskott. Erlangen, Univ., Diss., 1960.- 298 S.

19. Schwierskott, Hans-Joachim. Arthur Moeller van den Bruck und der revolutionäre Nationalismus in der Weimarer Republik / Hans-Joachim Schwierskott. — Göttingen [u.a.]: Musterschmidt-Verl., 1962. — 202 S.

20. Schüddekopf, Otto-Ernst. Nationalbolschewismus in Deutschland 1918—1933. — Frankfurt/M.: Ullstein, 1973. — 576 S.



А. Мёллер ван ден Брук

ТРЕТЬЯ ИМПЕРИЯ

РЕВОЛЮЦИОНЕР

Мы хотим выиграть революцию!

I

Война может обернуться поражением. Злополучная война никогда не бывает безвозвратной. Худой мир никогда не бывает окончательным.

Но революция должна побеждать в любых условиях.

Революция происходит только один раз. Революция — это не тот вопрос, о котором нация договаривается с другими народами. Революция — это исконное дело народа, которое соответствующая нация может решить лишь своими собственными силами. От ее исхода зависит свободное нахождение своей собственной судьбы.

В нашей истории еще не было политических революций. Вероятно, это признак того, что мы находимся только лишь на середине нашего исторического пути. Англичане имеют в своем прошлом благочестивую и славную революцию. Она была и у французов. Оба этих народа старше нас. Они изведали, опробовали и познали на своих же людях. Революции сделали их политизированными нациями. Они осознавали, что, потрясая собственную жизнь, создавались политические условия для дальнейшего развития. Мы испытали уже на себе, насколько точно, насколько расчетливо, а самое главное, совершенно непреклонно они вершат мировые дела: как они расчетливо добились мировой войны, мирясь со всеми ударами во имя одной-единственной цели, дабы одержать победу. Мы познали, как они затем холодно и насмешливо-

презрительно воспользовались полученной победой для заключения мирного договора, по условиям которого они получили новые средства для реализации своих целей, изменив в свою пользу положение в мире.

Мы проиграли войну против осознанного британского политического духа, который англичане обрели после своей революции, и осознанного галльского политического духа, которым французы обязаны собственной революции. Мы моложе этих двух народов. По сравнению с ними мы имеем возможность быть незаконченным, но в то же время и не исчерпанным народом, пока не обрели свое национальное, не говоря уж о политическом, Я. Сейчас мы не имеем настоящего, а наше прошлое словно отрезано от нас, так что мы пребываем в полной неопределенности. Но мы достигли переломного момента, когда надо решить, останемся ли мы навечно этим незрелым народом, легкомысленно относясь к своему будущему, пока оно и вовсе не исчезнет — или же мы, убедившись на своем недавнем опыте, действительно способны и хотим придать нашему политическому бытию национальную форму.

Революция — это момент в жизни народа, который никогда не повторяется вновь. Наша революция точно такое же мгновение. Воспользовались ли мы им? Или же упустили? Прошли годы с момента нашей катастрофы[7]. Мы потратили все эти годы, неизменно успокаивая нацию относительно ее судьбы. Но мы не сделали в это время ничего, чтобы изменить эту судьбу.

Революция продолжается. Она продолжается в душах, и мы не знаем, вспыхнет ли она с новой силой, уйдя недостаточно глубоко. Однако в любом случае мы можем быть уверенными, что она — это движение, которое, скорее всего, не сможет успокоиться, так как высвобожденные ее силы смогли добиться некоторых результатов. Это последний предоставленный нам шанс, чтобы революция отыграла то, что мы потеряли после поражения в войне. Это шанс:

— чтобы понять, почему мы, выиграв войну на полях сражений, проиграли ее в политическом смысле;

— чтобы предпринять соответствующие шаги.

II

Революция имеет три аспекта: социалистический, хозяйственно-политический, марксистский — мы должны будем их обсудить.

Но прежде всего она имеет и немецкий аспект: пока наш вулкан извергал из кратера популярные словечки, догмы и лозунги, мы мог-

[7] Под катастрофой Мёллер ван ден Брук, как и многие публицисты, подразумевал события 1918 года, которые привели к военному поражению Германии в Первой мировой войне.

ли бы увидеть в его глубинах подземные реки, которые стремятся изменить свое течение — это могущественнейшее течение немецкой истории, которая под воздействием нашего краха вновь теснит нас в русло, которое мы на нашу беду покинули.

Наша история сбилась с пути. Мы ни в чем не преуспели, ни сегодня, ни вчера, когда мы оборачиваемся, то не видим дальше жизни одного поколения. Последнее, что нам удалось сделать — было создание второй империи. И это не просто невольный инстинкт самосохранения, который заставляет нас концентрировать мысли на этой империи, как единственном достижении, которым мы обладали. Скорее это политическое убеждение, которого мы крепко придерживаемся. Даже революционеры, находящиеся в радикальной оппозиции ко всему, невольно склоняются к мысли об империи как последнем, что у нас осталось.

Создание империи еще раз подтверждает, что все великие идеи являются простыми. Трудна лишь их реализация. Но в те дни у нас были государственные деятели, которые кроме своей воли прислушивались к той же судьбе. Следуя ее зову, они сами стали судьбой. Бисмарк справлялся со всяким противодействием: с той же международной обстановкой, которую он застал в Европе и которая разнообразно и противоречиво определялась, с одной стороны, Священным Союзом и Рейнской Конфедерацией, а с другой стороны, событиями 1848 года — а также, если это требовалось, с сопротивлением, которое крылось в нашем собственном упрямом народном характере, который иногда совершенно не хотел, дабы нам помогали. Бисмарк лишь дожидался удобного момента: но так как этот момент не наступал, он сам вызвал его к жизни. Ему требовались предлоги: но когда их не было, он, не медля, сам провоцировал их возникновение. Он подчинил себе обстоятельства: и подчинял их так, что его творение в конце концов было не меньше, чем у его противников, но всё, что они предпринимали, играло ему на руку. Рождение империи произошло в условиях, которые он подготовил; в напряжении, которое он снял; в надеждах, которые он осуществил. Бисмарк претворил в жизнь то, над чем мучительно думали теоретики и самозабвенно мечтали романтики. Знал силу своего народа, его благодушие, его послушание, его жертвенность. Он нашел, что это слишком хорошо, чтобы терпеть политические оскорбления; слишком хорошо, дабы принадлежать к худшим нациям Земли. Проникнувшись честолюбием этого народа, он решил сделать его великим. Единение немцев произошло как естественное событие, без каких-либо задержек, а все нации, правительственные кабинеты и дипломаты должны были смириться с ним, хотели они того или нет. Мир принял это без каких-то оговорок, что соответствовало нашему настроению (хотя позже он обратился против нас). Бисмарк сделал империю данностью.

Но все же творение Бисмарка ушло в небытие. Он не нашел людей, которые бы смогли воспринять и продолжить его дело. Его шаги были слишком широкими, чтобы за ним можно было поспеть. Размышляя после нашего крушения, мы установили некую истину, что переход от Немецкого союза к Немецкому таможенному союзу, а затем вновь к Северо-немецкому союзу и, наконец, к Немецкому союзному государству был ступенями, для которых необходимы века, чтобы оформить их единой связанной идеей, но они оказались втиснутыми в жизнь одного поколения. Но та мудрость была обретена слишком поздно, равно как и констатация того, что Бисмарк, чтобы сохранить свое детище, не нашел преемника ни в политике, ни в дипломатии. Действительно, он не сделал всего этого. Это никак не объясняется. Но объяснение должно быть. Откат произошел по вине немцев, которые не были людьми типа Бисмарка. Признаки истощения были очевидными уже в годы создания империи. Мы не хотим говорить здесь об общественных явлениях, которые должны были указывать на переходное заболевание, которым нация была охвачена в эйфории по поводу еще недавно перенесенной беды. Эта безвкусица была связана с предпринимательской волей, той самой волей, которая затем в вильгельмовскую эпоху смогла достичь некоторых достижений, которыми мы так и не смогли воспользоваться во имя Германии. Но мы должны говорить о духовном истощении. Именно оно лежит в основе нашей судьбы.

Германия сейчас не имеет идеи. Когда-то была идея объединения. Но она оказалась воплощенной в жизнь. Исполненные мечты — это слабое подобие живописных воспоминаний о былой славе, лишенных действительной силы, если не воплощать их в жизнь вновь и вновь. Но мы больше не реализовывали их. Мы утихомирили сами себя. Мы стали материалистами во времена материализма. И лишь в качестве оправдания подобных духовных изменений мы ссылались на немецкий идеализм, который сто лет назад был признан всем миром. Однако мы не были проникнуты им. Мы считали свои долгом лишь заботиться о его академическом наследии. Мы оказались нацией, которая была безучастна к духовно-политическим течениям, существовавшим в ту эпоху. Напротив, мы предоставили другим нациям право формировать идеи. Был ли это реваншизм, который они создавали на базе национальной мистики, или подпитываемый бесцеремонной этикой ирредентизм, тотчас распространившийся среди народов, или же англосаксонское превосходство, или же панславянский универсализм: идеи мировоззренческого подполья, которые затем, к нашему ужасу, переместились в плоскость исторического развития мира. Мы могли им противопоставить лишь одряхлевшую идею, которую можно было бы назвать ощущением уже одержанной победы. Мы были полностью

довольны своим настоящим и нашими достижениями в экономической сфере. Мы хотели взять в будущем что-то из романтики, которую мы полагали виновной в нашем традиционном идеализме. Да, мы подняли его до уровня империализма, который, однако, для нас не был воплощением идеи, но скорее выставлением напоказ факта влияния в нашей империи. Мы создали этот империализм не как воплощение идеи, а как претензию на привилегию и жизненную необходимость объединенной нации. Мы создали его, провозглашая о перенаселенности, оправдывая ценность наших трудов, с самого начала приучая народы к подобным политическим установкам. Мы громогласно заявляли миру о своих достижениях, но основанная на них международная политика проводилась в жизнь дилетантами, которые делали все наполовину, нерешительно и непоследовательно — подобно тому, как мы являлись дилетантами от немецкого идеализма, служа ему как эпигоны. Мы позволили идеям наших противников стать великими, не заметив, или не захотев заметить, как мало-помалу из них складывалась направленная против нас система, что немецкую идею, как мы ее представляли, были готовы окружить, перечеркнуть и наконец уничтожить. Что за люди были в том поколении, которое предшествовало нашей катастрофе! Что за закостеневшие, малоподвижные люди, в которых больше не было ничего, что могло быть гибким! Зачерствевшие от своей исполнительности люди, которые благодаря своей дисциплинированности и бюрократизму потеряли всяческую гибкость! Люди, которые козыряли своими традициями и поступали только в соответствии с правилами, а если они не проявляли карьеристскую изворотливость, даже если у них были к этому склонности, то они считались новаторами! Что за самодовольные, но все же немного неуверенные люди, слишком воспитанные или вообще не воспитанные, мелочные и кичливые одновременно! Беспричинно занятые собой, полагая, что достигли всего, что может только достигнуть человек! Люди эпохи Вильгельма II, удовлетворенные своей механизированной и расписанной по минутам, но вместе с теми хвастовской жизнью, которая была бедна при всем богатстве, безобразна, несмотря на все затраты! Она так и осталась неудавшейся жизнью, так как, когда настал катастрофический день, всемирно-историческая эпоха перечеркнула все ее успехи!

Империя последнее, что у нас получилось. Но в империи нам удалось далеко не все. Из всех наших традиций чистой и внутренне неиспорченной сохранилась только одна: военная, солдатская, стратегическая. Именно поэтому мы побеждали в мировой войне на старых полях сражений. Но в политике повсеместно имелись вещи, которые нам не удалось наверстать. Вещи, относящиеся к сферам, которыми последнее поколение духовно пренебрегало, по сравнению с которы-

ми в годы войны не сравнился бы даже ум великого полководца, так как с самого начала отсутствовали такие условия, как воображение, переживание, основательные знания, а вследствие этого не было ни тактики, ни сноровки, ни оперативной смекалки. Мы в качестве революционеров остались такими же, как и в эпоху Вильгельма II: дилетанты, которые больше вели себя не романтично, а скорее суматошно; недостаточные люди с ложным самосознанием, которые были одновременно и робкими, и заносчивыми; люди, которые в силу предпринимаемых полумер не достигали своей цели. Точно так же ощущали себя люди, которые после революции занимались политикой на низовом уровне — их позиция еще полностью повторяла унаследованный духовный настрой. Не важно, были они социалистами или демократами — они все равно несли на себе бремя вильгельмовской эпохи. Тот же злой рок преследовал канцлера во время военного перемирия и заключения мира. Он, и именно он, как ложный идеалист, был абсолютным воплощением вильгельмовской эпохи со всеми вытекающими отсюда признаками. Они все подчинились (и до сих пор подчиняются) духу нашей беды. Они могут попытаться что-то предпринять— но мы уверены, что все это напрасно. Они могут всерьез полагать, что делают правильные вещи — и полные уверенности они делают все неверно. Их лучшие намерения мало им помогли, равно как и наша пресловутая деловитость, которая в конце концов улетучилась. Наша политическая доброжелательность, которая распространяется на каждого, кто не мешает нам слишком ощутимо, приносит нам пользы так же мало, как и наша политическая лояльность, которую мы некогда обращали на собственное государство, а теперь распространяем на наших врагов.

Наши дела как-то не заладились. Наши решения не имеют определенной направленности. Наши события не укладываются в свободную последовательность гармоничной жизни. Наши дела идут наперекосяк, а когда мы собираемся поправить их, то ломаем собственными же руками. Мы никогда не находим слов, которые бы объединяли политические дела с тонким политическим чутьем, которые бы передавали суть того, о чем идет речь. Наши решения всегда вынужденные, а когда мы, наконец, рано и поздно проявляем свою волю, то это происходит в неудачный момент, либо слишком рано, либо слишком поздно, но в любом случае не вовремя. Так было накануне войны, то же происходило и во время войны. Так было во время революции и так же продолжалось после нее. На нацию наложены какие-то чары, которые, кажется, постепенно рассеются в будущем, когда уйдет поколение, ответственное за это, когда умрет последний его представитель. Не значит ли, что каждый новый немецкий государственный деятель, занявшийся политикой, принесет новое разочарование? Не исчезнут ли вместе с ним препятствия, когда он уйдет в отставку, по-

кинув историю? По меньшей мере в последние годы мы перенесли несколько таких мучительных замен. Однако у нас не осталось времени, чтобы закончить этот медлительный процесс естественным путем. Историческое время летит гораздо быстрее, чем идет личное время. Прежде чем окончательно не уйдет поколение, с которым у нас духовные противоречия, пока не закончится смена поколений, которая даст преимущество новому роду людей, немецкая нация во всей ее совокупности будет вынуждена вновь принять решение. Когда под давлением событий произойдет великое преобразование немецкой нации, которое не было достигнуто 9 ноября 1918 года? Когда революция сама освободит себе путь, придя из немецкого воодушевления, которое будет гораздо глубже однодневных легкомысленных устремлений, которыми революционеры баламутили народ? Обретут ли тогда люди способность вершить дела, вновь явив немецкие милость, талант и решимость?

Вы вынесли самый жестокий приговор, который когда-либо кем-либо кому-либо объявлялся: «Все ваше поколение проклято!» Эти слова принадлежат к числу немногих приговоров времени, чья справедливость очевидна всем. Это приводит к тяжкому осознанию лаконичной формулы, которая объясняет, почему все, что мы делали, или даже не делали, уже изначально обречено на провал. Это было порождено пагубным духом, было некой тяжелой рукой, проклятием. Это засевшие в памяти слова. Они положат конец самообману, которому мы еще предаемся в силу привычки. Потворствуя оппортунистическим склонностям, мы примирялись с любым положением, в котором оказывались; удовлетворяли оптимистические потребности, считая лучшим из возможных миров тот жалкий германский мир, который окружает нас сегодня, считая, что в нем еще возможно жить по-прежнему. Это раздирающие слова. Они ставят крест на всех нелепых надеждах, которые мы вновь и вновь лелеем в силу привычки. Они отбрасывают их как бесполезные, бессмысленные и несущественные. Они открывают единственный выход, который остался на этот момент — он заключается не в словесных оборотах, которыми сами же себя и обманули, а в изменении человека, которое еще может спасти нас. То, что сделано нами весьма плохо, должно исправить следующее поколение.

Истинным революционером является тот, кто уже сегодня принадлежит к этому поколению, кто воспринял его предчувствия, его духовные связи, его сопричастность судьбе — от чего в конце концов будут зависеть его волевая политическая установка и метаполитический базис его воззрений. Тот, кто сегодня говорит о взаимном понимании и признает Версальский договор, ни в коей мере не принадлежит к новому поколению. Он находится где-то между двумя поколениями. Этот получеловек, с одной стороны, готовит переход от одного (ухо-

дящего) и к другому (грядущему) поколению, но с другой — сдерживает и тормозит этот процесс. Но истинный революционер никогда не возникнет там, где есть какие-то переходные стадии, он появляется лишь там, где зарождается что-то новое.

Этот революционер, которого мы ожидаем, должен духовно предшествовать политике, которая больше не имеет ничего общего с бунтом, лежащим вне нас. Революционность должна крыться в нас и направлена против нас самих же.

Наша революция только лишь начинается. Она, которая выльется в восстание и сокрушит государство, начнется с пробуждения, которое произойдет в людях.

Она — это прорыв изменившегося духовного настроя и соответствующего самопознания. Или же она потерпит крах.

III

Однако наше положение таково, что оно настаивает на катастрофических решениях, которые приблизят час нашего освобождения, которые стараются предвосхитить его.

Но подобное активистское начало должно быть обеспечено политическими предпосылками. Но мы не можем действовать политическим образом, пока не имеем политическую нацию.

Наше положение является настолько шатким, что за него надо браться с предельной политической осторожностью. До сих пор непонятно, не идем ли мы к полному национальному исчезновению, но определенно — мы исчезнем как европейский народ, равно как и сама Европа, если будем испытывать судьбу, если не научимся обращаться с тем, что у нас осталось, если с должным благоразумием, приобретенным нами во время революционных экспериментов, не воспользуемся вновь открывшимися возможностями. Что может потребоваться от Германии для нашего спасения: это должна быть зрелость, это должна быть стойкость, это должны быть подготовленные люди и обстоятельства — вещи, которые непременно должны получиться. Но если только мы полностью не воспользуемся этой попыткой, то погрузимся в небытие, обратимся в тлен, будем охвачены бессилием — но на этот раз не на десятилетия, а на века.

Ноябрьские революционеры не обладали подобной мудростью. С политической точки зрения их восстание останется бессмертной глупостью. Оглядываясь назад, мы понимаем, насколько банально и неадекватно, насколько по-немецки это проходило. Действительно оправдывается старая поговорка: если Бог захочет испортить немцев, то Он подберет для этого немца. 9 ноября 1918 года Он выбрал для этого немецких социал-демократов, которых не заботила внеш-

няя политика, немецких пацифистов, которые ответственны за то, что немцы сложили оружие, а также немецких доктринеров, которые добросовестно отдали страну на милость врагов, полагаясь на их посулы быть бескорыстными. Итак, они подали пример революционной политики, которая отличалась полным отсутствием интуиции и вдобавок ко всему оказалась неуравновешенной. Невозможная политика, которая подхватывала любое направление и не придерживалась никаких четких позиций. Скорее, пример полного отказа от политики, последствия которого должна расхлебывать нация.

Мы не хотим с насмешкой говорить о священной миссии, которую немецкий народ взял бы на себя, когда прекратил войну. Немецкий народ ничего не знал об этой миссии. Он верил тому, что ему говорили. Это был неполитический народ, и он следовал за своими демагогичными лидерами. А они говорили ему, что он должен начать все с нуля, что мировая бойня кончится, и люди снова обретут мир. И этому народу протягивали красное знамя, которое должно было быть белым флагом капитуляции. И он был очень удивлен, когда не увидел в своем фарватере других народов, которые, как его уверяли, тоже идут под красными знаменами. Он видел лишь национальные знамена, которые были знаменами одержанной победы. Немецкий народ хотел сделать что-то здравомыслящее. Но совершил неблагоразумный шаг.

С презрением мы отнесемся лишь к тем интеллектуалам, которые убеждали немецкий народ в принятии подобного решения, а сейчас, когда увидели полученные результаты, своим глупым видом показывают, что они были обмануты своей идеологией! Мы презираем тех революционных литераторов, которые изобрели лозунг о «рассудительной политике», под которой понимались сущие пустяки вроде избирательного права; которые, подобно Томасу Манну, предвещали «освободительный мир», на самом деле оказавшийся порабощением. Презираем всех тех интеллигентных болванов, которые вели речь о «радикализме духа», который на самом деле не позволяет ничего почувствовать, которые требовали «дальнейшего развития социализма», от которого мы находимся сейчас как нельзя далеко. Они вновь поднимаются как революционные «ваньки-встаньки», когда в республике поднимается переполох, и защищают с пеной у рта свои «достижения». Они все еще провозглашают вечную силу возвеличенных ими самими принципов: всемирной демократии, Лиги Наций, межгосударственного регулирования, окончания всех войн на планете и умственного удовлетворения. Они не хотят знать правду. Они не видят и не слышат, что по их вине люди вокруг страдают от иноземного господства, что мирные договоры заключили безродные люди, породив повсюду ограбленных и обездоленных, в то время как

в мире продолжается война. Они неисправимы от природы, таковыми и останутся. Они уже посоветовали один раз нечто «здравомыслящее», посоветуют и еще раз. Они не видят различия между благоразумием и рассудком, хотя это очевидно всему миру. То самое противоречие, которое мы встретим вновь и вновь. Противоречие между благоразумием, которое позволяет людям видеть вещи так, как они того хотят, и рассудком, который непреклонно показывает вещи такими, как они есть.

Революция — это самооборона. Оказывается, 9 ноября 1918 года было немецкой самообороной. Против кого? Как нам рассказали: против отсталого государства. Как нам сообщили: против системы, которая не соответствовала духу времени и оказывала в высшей мере пагубное влияние. Нам поведали почти на языке противника: против преступного правительства, на которое возложили вину не только за развязывание войны, но и безрассудное стремление сохранить пошатнувшуюся власть, которая продлевала свое бесполезное и бессмысленное правление. Обо всем этом нам **рассказали**. А мы и поверили. Мы имели достаточно поводов, чтобы скептически относиться к людям из правительства, которым как служащим была поручена наша судьба. Но в том-то и состояла трагедия, что они были лишь служащими. Но мы имели все причины относиться скептически к самим себе, к своей доверчивости, к своей опасной привычке с готовностью принимать советы, критически не изучив советчиков, к тому преступному обману, благодаря которому люди без какой-либо политики вписали в историю немецкую революцию.

Ноябрьское восстание по своим последствиям можно оценить как проявление самообороны, но иного рода, нежели мы привыкли считать — самообороны, направленной против всего того, что нам еще как-то досталось из прошлой немецкой эпохи. Самообороны против собственной природы, которая и в вильгельмовскую эпоху, и в революционерах, и послереволюционных демократах определялась нашей политической жизнью. Революция получит смысл только тогда, когда прорвется на этом участке. Когда вихрь, исходящий от нее, охватит всё тело, когда она совершит переворот, который извлечет из народа пылающие и имеющиеся в наличии силы, которые в недавнишних руководящих кругах были охладевшими и закостеневшими. Революция не оправдала ожиданий, ни социалистических, ни прочих. Но самым большим разочарованием было то, что народные представители не происходили из народа. Из демократии не вышло государственных мужей, которые бы управляли делами нации так, как она этого заслуживает. Никакой одержимости делами, которая бы могла внушать оптимизм, только лишь катастрофические события, которые осуществляются с фатальной неизбежностью. Революция совершит

переворот только тогда, когда сознательно отречется от того, что при прошлом поколении считалось особенным, немецким, а также до сих пор продолжает считаться таковым.

Вправе ли мы признавать революцию, которую мы должны отрицать как политическое событие, во имя будущих исторических уроков? Наше положение ужасно. Этим политическим положением мы обязаны революции. Мы загнаны в звериную клетку, перед решетками которой на наши же средства прогуливается человечество — победившие союзники. Мы вынуждены найти пристанище, подписав мир, который оставил нам только остов империи; иные отечественные земли отобраны, вода наших рек отнята, нам запрещен даже воздух. Мы получили республику, основным законом которой является не Веймарская конституция, а Версальский договор. Мы стали почти крепостными, у нас даже появился кабальный дух, дух франкофильства, который влюбляет нас во врага и заставляет думать, как он. На Парижской площади мы пережили самую отвратительную сцену, когда нашей армии, возвращавшейся домой после четырех лет войны и сотен битв, от лица революционного правительства демагогически-лживо и вместе с тем слащаво-лестно высказывали благодарность евреи и адвокаты, пацифисты и вовсе не служившие люди — те, кто за их спиной готовил крушение. Мы пережили эту сцену — самую отвратительную, самую позорную, самую бесстыдную из всех сцен...

Все же есть что-то в нас, не подтвержденное событиями, поскольку они не произошли, но мы готовились к ним, так как хотели бы увидеть всё по-другому. Что стало бы, если бы мы победили? Испытывало бы вильгельмовское поколение не просто великий, а свой величайший триумф? Было бы это триумфом для того самого народа, который столь неразумно вел себя 9 ноября? И смог бы тот же народ лучше понять доставшуюся ему победу, нежели постепенно осознаваемое поражение, которое он подготовил сам себе? Кто знает, не пережили бы мы у Бранденбургских ворот совершенно другую сцену: Вильгельм II во главе своей свиты, замерший подобно статуе, принимает поздравления от благодарного населения и затихших народных представителей. Но возможно и повторение той самой неприятной сцены в Версале, которой не смог избежать Бисмарк. Но если аристократический дух старого императора не был лишен болезненной человечности, то от его самоуверенного внука можно было ожидать совершенно других форм подчеркнутого преклонения и акцентированного унижения.

Это нечто неопределенное... Хочется успокоиться... Спрашиваешь и жаждешь получить ответ... Мы помним слова, которые старый и великий полководец обращал к униженной нации: «Кто знает, хорошо ли это!»

IV

Народ не хотел революции. Но сделал ее.

Итак, мы получили революционное государство. Стало быть, мы получили революционных государственных деятелей. В итоге мы получили революционный мир.

Теперь началась цепь неизменных следствий. В жизни, которую нельзя предопределять, когда-нибудь что-то должно измениться. Когда немецкий человек ходит под ярмом иностранного господства, идет постепенный процесс политизации народа и возвращения народу, стремящемуся добиться свободы, его национальных корней. Между тем мы должны смириться с такой жизнью и злобно ждать мгновения, когда имеющиеся конфликты, невыносимые условия и позор нашего существования вспламенятся в гении нашей нации, в политическом духе, который исполнит наше право на будущее. Никто не сможет отобрать у нас будущего, если мы сами не откажемся от прав на него.

Подобно каждому разрыву с прошлым немецкая революция обладала потенциалом: политическим потенциалом, внешнеполитическим потенциалом. Когда вскрылся обман, который был совершен Антантой и с которым согласился Вильсон, то она получила самую большую возможность, которой могло обладать государство: в разочарованном народе проснулось огромное волнение, и неистовым движением в лицо нашим врагам было брошено обвинение в нарушении данного обещания — отказываемся от мира, предложенного нам в Версале, равно как от признания собственной вины, на которое он опирался. Но революционеры полагали, что они действуют очень мудро, когда принимали без какого-либо серьезного сопротивления ставшую уже очевидной ложь Антанты. Они не хотели раздражать врагов, они их успокаивали, и оказали им любезность и уличили в развязывании войны правительство, которое они свергли, дабы тем самым узаконить его низложение. Революции так требовались оправдания! Она, которая все упустила, добровольно поступилась своим моральным обликом. С горечью мы должны констатировать, что эти люди были самыми отвратительными представителями материалистического мировоззрения, которые всегда оберегали себя от упреков, заявляя, что они не признавали никаких нравственных установок. И они разрешали своим представителям не считаться к какими-либо духовными позициями. И все же, получив возможность вести борьбу за наше будущее немецкое существование от имени тех замечательных принципов, которыми нас заманил американский президент, мы открыли другие возможности, от которых мы отказывались раньше, и откажемся вновь, если Антанта сдержит свое слово и будет соблюдать заявленные принципы и будет хранить мир во всем мире. На фоне этой политико-этической

борьбы, которую мы могли бы принять, можно было бы поставить мир перед фактом осуществленного аншлюса Австрии, революционным ударом решить великогерманскую проблему и, исходя из этого, открыть перспективы политики в Центральной Европе — но все это откладывается на неопределенное время. Мы не воспользовались моментом. Мы не использовали решающий момент и позволили решающему году пройти стороной. Когда мы имели дело с такими людьми, все произошло так, как должно было произойти. Дела шли своим роковым ходом. Мы не были свободны принимать решения, так как они определялись этой ошибочной полуреволюцией. Мы были совершенно дикими, и в то же время абсолютно ручными. Мы даже не решились положить конец коррупции, которая теперь процветает. О внедрении новой экономической системы не могло быть и речи. Само собой разумеется, социализм попал в разряд тех вещей, которые не удались революции, хотя она мыслила себя не только как политическая, но и как социалистическая революция. Но наши странные социалисты произвели на свет в высшей мере странных политиков, которые, придерживаясь иностранных идей типа парламентаризма западного образца, опасались восточной террористической диктатуры. Они отказались от всех собственных революционных идей, как только потребовалось нечто большее, нежели простое теоретизирование, в котором мы всегда были сильны, хотя в практической реализации идей — всегда очень слабы. Но от одной идеи мы не отказывались никогда: нас бросили на произвол судьбы.

Немецкие революционеры, принося извинения, будут говорить, что они приняли такое наследие. На это им надо возражать: если старая система несет ответственность за военный крах, то новая — за этот мир. Революция начала свое господство с лозунга, что теперь открыты все пути для способных людей, которые были бы обязаны своим положением не происхождению, а своему таланту, своему уму, своим силам, почерпнутым из своих прав, как и полагается демократу. Итак, от революции и ее детища можно было ожидать способных людей. Но революционеры и революционные демократы в лучшем случае продемонстрировали только свою добросовестную посредственность и чистосердечную нерешительность, покорную недостаточность. Революция и республика не произвели на свет ни одного гения, они породили только соглашателей: терпеливых людей вместо людей дела; избитых, а не нападающих; осторожных, но не смелых; безмятежных, но не беспокойных — и ни в коем случае не творческих. Революционная республика стала копией идей, порожденных в девятнадцатом веке, в ее конституции мы не найдем ни одной немецкой идеи, кроме максимально нежелательного народного референдума. Если обратиться к коммунизму, то даже в беспорядке марксистских теорий и

большевистских догм можно найти по меньшей мере несколько намеков на немецкие понятия: корпоративные представления анархо-синдикализма, средневековые идеи, позаимствованные из времен Крестьянской войны и Томаса Мюнцера. В коммунизме можно найти больше попыток обратиться к предшественникам, одновременно взбудоражить мир и кровно срастись с ним. Немецкие демократы, которые благодаря революции установили республиканское господство, остались абсолютными демагогами: бездарность этих революционных республиканцев, которые не способны при помощи западных или восточных идей решить немецкие проблемы, убедила нас, что именно им мы обязаны своей трагической и то же время банальной участью, которая нам ниспослана в течение этих лет.

Немецкие революционные демократы даже горды своей бездарностью. Они похваляются своей всесторонней уступчивостью, которая положила конец революции. Они считают своей заслугой, что по первому же требованию готовы сказать «Да!». Тогда мы по-другому стали уклоняться от исполнения наших обязательств. Мы попытались успокоиться. Мы воздерживались от политических страстей. Мы взывали к немецкому терпению. Мы не отрицали, что долговые требования, предъявленные нам союзниками в соответствии с мирным договором, были действительно невыполнимыми. Но мы пытались согласиться с невыполнимым, чтобы по крайней мере сделать его выполнимым. Мы считали, что занимались политикой, когда делали невозможное там возможным здесь. Нам не хватало мужества признаться, что когда невозможное лежит в основе требований, то для возможного нет даже предпосылок. Откладывали изо дня в день разговор, который должен был начаться с принципиального «Нет!». Между тем мы сносили все требования. Мы начали настаивать, только когда оказались прижатыми к стенке. Мы показали нашим врагам пустые карманы: пустые от денег и идей.

Революционные демократы не соглашаются, что их политика была ошибочной. Они стремятся заткнуть любой голос, который был обращен против этой политики. Они преследуют национальную и радикальную оппозицию, вместо того чтобы использовать ее против общего национального врага. И если они решились сказать слова, которые отличались резкостью, то полагали, что делали шаг навстречу свободе, на самом же деле совершая два назад. Они возлагали надежды на время, на благоразумие мира, на какую-то подобревшую Лигу Наций, вместо того чтобы самим определять время.

Мы продолжали выполнять наш долг, как мы это делали всегда в силу привычки. Мы вырастили правительственный аппарат. Мы заполучили даже пропаганду. Мы писали ноту протеста за нотой протеста. Мы делали это усердно. Мы делали это корректно. Мы дали это

как политические бюрократы. Мы делали это в конце концов как политические дилетанты. Но где гений нации? Где ее демоны?

V

Революцию нельзя отменить.

Революцию можно подавить, пока есть время и вера, что помощь, которая спасет нацию от нужды, придет, скорее всего, от прежнего государства, которое все еще является лучшей формой защиты национальных интересов. Но как только однажды революция стала свершившимся фактом, политически и исторически думающему человеку ничего не остается как признать новую действительность, кроме которой не имеется никакой другой.

Затем можно преодолеть последствия революции, если имеются причины для убеждения, что бедствия нации не заканчиваются на новом пути, который она выбрала. Напротив, напасти только продолжают увеличиваться. Но нельзя сделать так, будто бы революции не было. Наконец, она подтвердила великий консервативный закон жизни, который является отнюдь не законом инерции, а скорее законом движения, согласно которому все существующее постоянно растет, но не прерывается даже потрясениями, которые скорее только трансформируют, позволяют казаться другим, новым. Для этого в каждую эпоху есть свои особые условия.

Накануне войны мы обоснованно полагали, что в Германии невозможна какая-либо революция. Немецкая революция, казалось, была бы противоречием — противоречием самих с собой. Немецкая история не была революционной. Нам хотелось, чтобы она была историей реформ, восстановления, производства, обновления, которые издавна определяли немецкую жизнь и дали Европе в духовном плане гораздо больше, чем это мог бы сделать революционный перелом. Шла ли речь об отношениях духовной и светской власти, о вопросах земного бытия или духовных основах, о вопросах государства и власти, или же веры и познания, мы всегда исходили из проблематичной основы вещей. Мы связывали себя с ними. Мы отказывались от них. Но никогда не низвергали. Все революционные потрясения уходили прочь, не оставляя на нас ни малейшего следа. Наше самое большое революционное потрясение пришлось на времена Лютера. Но оно было и временем Франца фон Зикингена. Как говорил Ульрих фон Хуттен: страстный огонь «погас с темноте» и был потерян нацией. Порожденная этим временем Крестьянская война была полна демонов и бушующей гениальности, но в ней совсем не было политики. Ее последствия были революционными в самой минимальной мере, а скорее даже консервативными, так как она испытывала религиозное (больше протестант-

ское, чем католическое) влияние. Наше надорванное состояние стало здоровым, обеспеченным и почитаемым. Самым крупным событием в нашей новой истории стала Тридцатилетняя война, но отнюдь не английская и не французская революции. Наши политические баталии шли не вокруг конституции, а по вопросу преобладания в германском мире Пруссии и Австрии. В этом отношении Пруссия была революционным государством, но с имперской силой. Даже в 1848 году целью ставились реформы, направленные на слом существующего строя. Все, что было революционного в этом процессе, скорее задерживало принятие немецких решений, которые выпали на наше время. Эти революционные процессы должны были свернуть немецкие знамена, а объединение немцев представить «реакционным», хотя и политически необходимым. С созданием второй империи — этого чудесного государственного порядка, который со всех сторон выглядел как «консервативный», — казалось, что у революции в Германии нет никаких перспектив.

Но все сложилось по-другому. Пожалуй, мы должны были иметь собственную революцию! И мы выбрали для нее самый неподходящий момент, когда находились в такой опасности, в какой не находился еще ни один народ. Перед лицом этой внешнеполитической угрозы мы искали внутринациональную сплоченность, полагая, что избежим опасности, если повергнем собственное государство. Теперь мы стоим перед лицом крушения, которое не могут отрицать даже те, кто его вызвал. И не остается ничего другого, как предпринять попытку хотя бы переделать эту злосчастную революцию из национального события во внешнеполитическое дело, поднять ее до уровня всемирнополитического процесса и сделать плодотворной.

Сами революционеры не смогут этого сделать. Они отказались от этого, они проявили свою никчемность, и это станет временем, когда они погрузятся обратно в свою ничтожность, откуда они и вышли. Останется только выхватить революцию из рук революционеров. Должны ли мы форсировать революцию? Нет! Мы должны влить ее в свою историю. Революция — это всегда поворотный момент. Неминуемого не избежать, оно должно настать и изменить мышление народа на времена. Немецкое восстание 9 ноября 1918 года никогда не могло проявить мощь, способную создавать традиции. 9 ноября всегда останется грязным пятном на немецкой истории, заслуживающим лишь забвения, которому мы хотим предать немецкий бунт. Но если мы надеемся на то, чтобы сделать немецкую нацию политической, то мы всегда должны помнить об испытаниях, которые выпали на нашу долю в последнее время. Революционеры, напротив, делают все возможное, чтобы заставить забыть народ об этих переживаниях. И действительно: когда мы припоминаем, то это производит не меньшее

впечатление. Пришло время, когда стали опасаться даже воспоминаний. У нас были победы, но мы не поднимали вокруг них шумихи. Как нация мы выполняли все, что от нас требовало государство. Но сейчас мы не хотим ничего об этом знать. Это слишком болезненно. Не надо затрагивать это. Мы хотели жить настолько хорошо и плохо, по возможности все-таки хорошо, насколько могли себе это позволить. Мы пытаемся быть более легкомысленными, нежели являемся на самом деле. Проснется ли в брызжущей революционной совести стыд, что в знак товарищества мы не поставили ни одного надгробного монумента неизвестному солдату. Два миллиона павших у Соммы и Марны, на полях Фландрии, России, Финляндии, Польши и Италии, Румынии, Малой Азии, во всех морях, кажется, зря погибли во имя нации, так как они забыты ей. Мы не ответим на унижения, чинимые нашими врагами, и на самовосхваления, которые выпали на их долю, — просто гордо и немного пренебрежительно укажем, что мы были народом мировой войны и таковым останемся в истории.

Мы снова и снова не принимали в расчет, что наши шансы равны один к десяти. Склонные к народным идеалам, мы были обмануты немецкой революцией, которая должна была закончиться триумфом с вероятностью десять к одному. Напротив, мы допустили, чтобы немецкие интеллигенты и пацифисты рискнули прийти к нам с gloria victis — этим чудовищным издевательством над деполитизированным народом, который соблазнили политическим действом. В то же время другие (циники) говорят, что они теперь знают о «великом времени», «величайшем времени» — так они называют свое собачье воззрение. После 1918 года имелось множество незнакомых нам людей — офицеров старой армии, бывших служащих, которые не перенесли крушения и тихо ушли из мира и истории, так как их жизнь была отныне лишена смысла. Но мы не слышали ни про одного из тех, кто идеологически готовил революцию: ни про революционера, ни про демократа или про пацифиста, что они не смогли пережить Версальское предательство, так как обещанное им оказалось обманом и самообманом.

Мы не хотим сличать, какими мы были немцами до 1914 года и какими немцами стали после 1918 года. Мы ищем третью точку зрения. Как ни странно, но на правом фланге, так же, как и на левом, крепнет присущее тем немногим общностям, которые мы еще имеем в растерзанной революцией нации, убеждение, которое решительно возражает против возвращения вильгельмизма. Принципиально отвергая его по разным причинам, из различных убеждений, эти люди двигаются в одном направлении. В народе это чувство демократического самоуважения, направленное против прошлого, так как оно по крайней мере не хочет признавать будущее. Это то, что революционным способом было осуществлено в Германии после неудачной войны,

что было просто необходимым, но оказалось напрасным. И среди националистов есть составные настроения, которые отчасти продолжают пангерманскую критику вильгельмовского дилетантизма, а отчасти, что гораздо важнее, являются проявлением революционного понимания консерватизма. Они намерены отделаться от реакционеров, которые стали уделом истории, и посвятить себе полностью политике. Реставрации как исторические эпохи были пустыми, кропотливыми. Никакого значения и никакой собственной власти. Подарок для эмигрантов, которые бросили свой народ, а теперь вновь садились в покинутые кресла. Реставрация Вильгельма II была бы самым бессмысленным событием. История уже воздала ему должное. Он — особый тип и представитель эпохи, которая была названа его именем. Он правил как капризный и неразборчивый властитель. Как выражение своего ничтожного окружения, он боялся приговора истории гораздо меньше, чем настоящего, которое он претерпел и заслужил. Отвлекаясь от его личности, для нас сейчас истинным является то, что Герман Конради прогнозировал в своем трагическом письме, где он писал о молодом поколении и об этом последнем кайзере, уже год как восшедшем на престол: «Будущее будет заваливать нас войнами и революциями. А затем? Мы знаем только, что интеллигенция сплотится вокруг культуры. А также бедность и нищета. Определенно лишь одно. Гогенцоллерны войдут во главе в эту таинственную сферу будущего. Будут ли они востребованы новым временем? Опять же мы этого не знаем». Если бы вернули Вильгельму II, когда-то правившему мировой империей, ее бренные останки, которые теперь называются немецким народным государством, то противоречия нашей жизни стали бы еще невыносимее, чем они есть сейчас. Как незавершенный народ, которым мы являемся в данный момент, вероятно, мы имеем впереди еще очень долгую историю. Но, чтобы оказаться в нужном месте, мы всегда выбирали окольные пути. Революция вовсе не обрывает мировую историю, как полагают приверженцы утопичной всемирной справедливости, которые обещали нам рай на Земле, где все люди и народы смогут жить в вечном мире, довольные своей жизнью. Наша история, напротив, лишь начинается с революции, с разочарования в ней. История вступила в новую стадию, как уже часто случалось. Но на этот раз это решающий этап, где нам предстоит пройти высшую и последнюю проверку и стать нацией, которая сама определяет свою судьбу. На этой стадии немецкий народ подавит волнение, которое связано с политизацией нации, а также осуществит процесс нашей национализации, начатый еще революцией, — в противном случае мы перестанем существовать как нация. Да, мы извлечем пользу из критики революции, которая немного от этого потеряет, если революция вообще может что-то



потерять. В той безропотной жизни, которая закончилась для нас восемь лет назад, мы учились отличать, что действительно является потерей, а что действительно является выигрышем, а что, возможно, — и тем и другим.

Есть революционная выгода, которую можно постичь лишь при соответствующем настроении: она все же имеется или же ощутимо присутствует. Очень тяжело представить эту выгоду в определенных значениях, предъявить ее, подтвердить ее наличие. И напротив, она пропадет, если мы попытаемся соотнести ее с действительностью так называемых достижений, не говоря уж о революционных и республиканских успехах в политике. Но все же эта выгода существует. Революция изменила нас всех. Решение принято. Теперь перед народом стоят задачи, которые никто не может решить за него. Он сам должен справиться с ними. Эти изменения витают между людьми как великий народный дух. Мы не должны путать их с демократией хотя бы потому, что мы очень скоро столкнулись бы с демагогией. С момента революции они определяются нашей общественной жизнью и тем, как поступает отдельно взятый человек. Они взяли из этой жизни определенную суровость, которая пришла к нам из механизированных традиций и конвенций. Они делают людей ближе, давая им межличностные связи, которые не были возможны раньше в обществе, возвещая теперь о первом осознании сплоченности. Имела свои последствия и война, которая стерла различия, базировавшиеся главным образом на всевозможных предубеждениях. Но наша жизнь осталась такой же безобразной, какой и была. Время создания империи сменилось эпохой спекулянтов, а после революции на улицах мы столкнулись лицом к лицу с этими явлениями во всей их омерзительности — очевидное разложение. Но прослойка никогда не была всем народом, и за этой внешней жизнью мы получили право на углубленное существование, которое сближает немцев, которое вопреки застаревшей ненависти, всей враждебности, всем партийным представлениям о классовой борьбе создает в Германии судьбоносное чувство слитности, ощутив которое мы впервые догадываемся, что народ хочет быть нацией.

Когда мы отдадим себе отчет, то поймем, что бремя, которое свалилось на нас, является злым духом дилетантства — проклятия немецкой нации со времен Вильгельма II. Если бы выиграли войну, то постепенно осилили бы это дилетантство собственными силами. Здесь пригодилась бы молодежь, которая отличалась от довоенной, так как на полях сражений осознала свое собственное национально-политическое призвание. Получив вместе с победой всемирно-политические задачи, мы направили бы на их решение по образцу зарубежных немцев всю деловитость и профессионализм наших технических, организаци-

онных и государственных талантов. Но это миновало мимо нас. Мы потеряли мир, который нам могла бы открыть мировая война. Революция отшвырнула шестидесятимиллионный народ в загнанное существование, контролируемое со всех сторон. Но все же эти события способствовали внутреннему обновлению. Насилие вызвало, а затем ускорило духовный процесс, который позволил немцам, дивившимся собственными совершенством, традициями, богатством, вновь стать людьми, которые трезво смотрели на мир.

Теперь мы являемся народом, у которого нет настоящего. Мы обладаем лишь отдаленными и сложными для достижения возможностями. Но все же мы полагаем, что революция сделала путь для этих возможностей свободнее, нежели это было до нее — если сам народ не завалит этот путь еще раз.

VI

Революционеры 1918 года проиграли войну 1914 года, так как их революция не была немецкой. Они полагали, что достаточно лишь имитировать то, что им демонстрировал Запад. Они не уяснили то, что с каждым годом революции становилось более очевидным для русских революционеров, а потому они последовательно шли шаг за шагом. Русские революционеры осознали, что революция во имя народа должна быть только национальной.

Немецкие революционеры делали свою революцию, вероятнее всего, по англо-французским образцам, ориентируясь на конституцию. Но со времени 1689 и 1789 годов минули столетия. Запад свыкся за это время с либерализмом. За этот либеральный период он научился использовать свои основные принципы для обмана народа. Он назвал это демократией, хотя в это демократическое время выяснилось, что Свобода, Равенство и Братство являются политическим хлебом, которым можно кормиться за счет народа.

Итак, немецкая революция оказалась либеральной революцией. Революционеры 1918 года не захотели препятствовать этому, да и вряд ли смогли, хотя и называли себя социалистами. Социализм, который вырос из либерализма и рос параллельно с ним, жаждет справедливости. Но этот роковой проект немецких революционеров сделал справедливость для немцев недоступной, и те должны смириться, что справедливость в отношениях народов уничтожена. Это произошло по причинам, которые, как мы видим, крылись в самом социализме, заботившемся лишь о классах, но не о нации. Это возвращает нас к социализму: не может быть справедливости для человека, если нет справедливости для нации. Люди могут существовать, только если жива их нация.

Но революции никогда не бывают напрасными. Но от них остаются проблемы. Остались проблемы и от немецкой революции. Остались проблемы немецкого социализма. Мы объединяем их в проблему нового мирового порядка, который призван волей всемирной истории. Во времена техники и перенаселения всем народам, проигравшим мировую войну, надо освободиться от устоев XVIII—XIX веков: либерализма, демократии и парламентаризма.

Можно только надеяться, что проблему Германии мы решим во имя Германии. Возможно, на среднеевропейском пространстве мы будем связаны с молодыми восточными государствами. Если мы не избавимся от своей ужасной привычки думать о своем народе меньше, чем о других, то сможем спокойно убедиться, что любые принятые нами решения будут для других народов таким же благом. Но также мы должны быть готовы, что найдутся народы, западные нации, которые будут противодействовать всему, что придет из Германии, оказывая ожесточенное сопротивление, они не пожелают сдать ни фута от полей сражений. В духовном отношении, собственно как и в остальных, нам не останется ничего другого, кроме как через конфликт построить себе пространство, в котором мы нуждаемся.

То, что сегодня является революционным, завтра станет консервативным. Догнать то, что упустила революция, исправить, где она промахнулась. Мы не хотим продолжать революцию, а лишь подхватить идеи, которые остались еще непонятыми. Мы хотим увязать эти революционные идеи с консервативными, которые всплывают снова и снова. Мы хотим продвигать эту Консервативную революцию, пока не добьемся условий, при которых мы сможем жить.

Мы хотим выиграть революцию!

Что это значит?

Мы хотим, чтобы она, оставившая след на нашем поражении, наложила отпечаток на наш взлет.

Что это значит?

Мы хотим, чтобы она, закончившая войну нашим поражением, превратила войну в обходной маневр, который был необходим нашей истории.

Что это значит?

Мы хотим сделать войну и революцию теми средствами, которые приведут к политическому решению наших проблем, которые бы никогда не разрешились, не будь войны и революции:

— проблема революции, которую мы, как и проблему войны, пытались решить без политики, при помощи силы, превратится в политические события;

— которые отныне станут историей.

СОЦИАЛИСТ

У каждого народа — свой собственный социализм.

I

Вся ошибка социализма кроется в одном предложении, написанном Карлом Марксом: «Поэтому человечество ставит перед собой задачи, которые оно в состоянии выполнить».

Нет. Человечество всегда ставило перед собой задачи, которые не могло выполнить. В этом его величие. В этом гениальность, которая ведет его. В этом демоны, которые подстрекают его.

Сущность всех утопий в том, что они никогда не станут действительностью. Это суть всех хилиастских надежд, которые никогда не осуществятся. Это и тысячелетнее царство, которое всегда жило только в пророчествах, но никогда не являлось людям.

Маркс никак не обосновал свою мысль. Если бы он только предпринял попытку доказать ее при помощи прошлого, то он должен был уступить фактам — будущее получалась совершенно иным, нежели представлялось в настоящем. Но Маркс все-таки аргументировал свою мысль. Он говорил: «Если тщательно наблюдать, то можно обнаружить, что сами задачи берут начало там, где их решение подкреплено соответствующими материальными условиями или, по крайней мере, наличествует процесс их становления». Но кто ставит задачи, которые мы не можем даже предполагать? Они ставят сами себя? Кто создает, а затем использует в своих целях материальные и духовные условия, в которых он находится? Кто же ставит эти задачи независимо от того, выполнимы они или нет?

Маркс проник в материю, но так и остался там. Подобно Марксу социализм сегодня остается самим в себе. Марксизм выводил материю из материи, определял ее изменения, но не задавался вопросом о ее основаниях. Маркс сам работал над недостаточностью своего учения, которое довольствовалось тем, что объясняло сущее посредством воздействия и взаимодействия, поставив их на вершину своей материалистической диалектики. Он опережал доказательства. Он исходил из своего учения как факта. Он не считался с первопричинами и не замечал, загонял еще больше вовнутрь вопрос о первопричинах. Он с удивлением смотрел на материю: материальную материю, статичную материю, рациональную материю. Он проводил в жизнь принцип «полной приземленности», а потому мир был для него лишь только материей. Именно это отношение к материи марксисты сделали главной заслугой Маркса и его выдающимся достижением. Но всегда остается вопрос: кто приводит материю в движение?

Идея, на которой Маркс базировал свое учение, восприняла мысль об эволюции и превзошла либеральный прогрессизм, который также рекомендовал эволюционные идеи для общественной жизни. Но Маркс считал, что она должна завершиться социалистической совершенной идеей, которая предстанет в форме «выполненных задач». Маркс полагал, что развитие совершается поступательно, порождая цепь новых и неизбежных следствий. Он полагал, что можно установить не только направление, в котором пойдет это развитие, но и его конечную цель, которой оно должно достигнуть. В его случае совпадают направление пролетарского движения XIX века и социалистическая цель в предстоящем столетии.

Маркс не видел, что вещи, прежде чем развиться, должны были возникнуть. Он не видел также, что то, что мы называем развитием, относится к процессу, который предполагает возникновение, который совершается скачкообразно и совершенно непредсказуемо. И он подавно не видел, что окружение возникших и развивающихся вещей не способствует решению задач, но перечеркивает и снимает их некими контрзадачами.

Мы люди, которые всегда искали морской путь в Индию, дабы за морем обнаружить Америку. Нашей целью является неизвестная для нас страна, об условиях жизни которой (материальных, духовных) мы ничего не знаем. И лишь вступив на ее землю, мы можем подвести итоги, соотнести причины и действия.

А до тех пор, пока мы, которые не увязываем судьбу с сознанием, полагаемся на нашу волю и нашу смелость, следуем за голосом нашей интуиции. И мы говорим о провидении, так как сами не в состоянии предвидеть, что за участь уготована нам.

II

Маркс всегда выступал против социальных утопий. Но делал он это с поразительным усердием, подобно человеку, отвергающему качества, которыми он сам обладал.

В действительности, марксизм обладает всеми признаками материалистичной утопии. Маркс доверил пролетариату perpetuum mobile[8], о котором его логика говорила, что это не только логично, но и достигаемо. Но сам мир — это некий perpetuum mobile. А Творец не позволяет вмешиваться в свои дела.

Рациональная логика относится к истине как статичному опыту, данному нам в действительности. Она охватывает все досягаемое, но только не решающее. Логика убеждает нас в существовании про-

[8] Вечный двигатель (лат.).

гресса, но история опровергает этот домысел. Человечество всегда решалось на прорыв, не имея конкретного пути, не говоря уж о цели. В этой плоскости лежат все его действия. И из преодоления самого себя, не имея уверенности, что поставленные задачи можно решить, получаются все ценности, которые мы постигаем как историю: ценности, возникшие из свободного побуждения, между которыми мы можем установить внутренние связи, но никак не постепенное развитие — от данной ценности к другой.

Этими ценностями мы должны быть обязаны таланту, чуду, милости — но не расчету. Кто хотел быть хитрым, тот, пожалуй, сводил свою жизнь к арифметическому примеру, который должен был по своим догадкам уверенно исчислить. Но именно он, который стремился исправить Творение, остался ни с чем, как остался ни с чем социализм, который тоже хотел быть математической формулой. Доля расчетов в истории крайне незначительна. Исчисления всегда являлись лишь средством для достижения цели, естественным средством политических людей. Но она имеет границы в неподдающемся учету. Самое точное вычисление будет всегда проводиться не с чем-то неуклюжим и близким фактам, а с удаленной неизмеримостью. Вычисления как самоцель в лучшем случае применимы к короткому промежутку времени, когда можно предусмотреть ситуацию тех или иных личностей. Но они всегда должны быть готовы, что из пространства непредвиденного возникают явления, которые вытесняются из предполагаемого, уже почти совсем наступившего направления развития и превращают все планы в огромную кучу мусора, вызывая разочарование человечества.

Марксистских вычислений было достаточно для 1875 года, но не более, сейчас они лежат в руинах, и даже доктринерам не удается склеить их и собрать в единое целое, которое, несомненно, существовало в видении Карла Маркса. Его действия предопределялись холодным расчетом, который исходил из того, что людям самим не удастся выбраться из нищеты. Он осматривался среди революционеров своего времени и убеждался, что ни религия позитивизма, исповедуемая Сен-Симоном и Конте, ни икарийские фантастические игры, которым предавались Кабе, Фурье и Проспер Анфантен, ни даже социальная критика, высказываемая Прудоном, не могли вызвать окончательного изменения человеческого общежития. Он изучил историю всех революций и установил, что «современная мифология», как он называл принципы Свободы, Равенства и Братства, хотя и изменила мир политический, но оставила социальный таким, каким он и был. Мы видим, что христианство не воплощает Христа, что его послание не исполнено людьми в точности, хотя святость была зря потрачена в ожесточенной борьбе его последователей. А что можно сказать о тех добродетелях,

на которых Платон построил свое философское государство, предпосылкой которого являлось рабство? О платоновских добродетелях, которые оказались еще бессильнее, чем христианская вера! Тысячелетиями люди трудились на земле, но счастье всегда находилось где-то «там», а несчастье «здесь». Никакая религия, никакой гуманизм, никакое государственное искусство не были в состоянии положить конец этой несправедливости. Никакие духовные, нравственные, политические влияния, оказываемые на человека, не могли убедить его в существовании социальной справедливости. Вина лежала на тех людях, которые не были в состоянии поровну разделить полученные ценности. Плоть всегда слаба. Человек всегда думал сначала о себе. Маркс задумал овладеть этим человеческим эгоизмом и соблазнить слабость плоти.

Как этого можно достигнуть, если он показывал утопию массового государства, в котором каждый находился на своем месте, да к тому же каждому гарантировалось благополучие? Как этого можно добиться, если он обращался к пролетариату и совершал социальный переворот в человечестве на основе классов? Как, если он призывал современных рабов к новому экономическому восстанию Спартака? Маркс брался за эту проблему не изнутри, а снаружи. Он отказался от предварительного изменения человека, рассчитывая лишь на его природу и его слишком человеческую алчность. Он опирался не на человеческую силу, а на человеческие слабости и мало заботился об «уроне», который они могли нанести «душе», он указывал им на «мир», который должен был принадлежать им. Не так ли Искуситель предлагал Христу, как нам сейчас предлагают помочь? Также и Маркс хотел помочь людям, так, как он полагал, им надо помогать. А люди слишком охотно согласились, чтобы им помогли. Однако основатели великих религий сулили вечную жизнь, а потому не держались за жизнь преходящую. Но Маркс пошел другим путем, нежели делали они. Он обратился к людям слишком по-человечески. Он весьма грубо, почти обыденно сыграл на их экономических интересах. Его поступок оказался уловкой.

Хотя имеются пророчества, которые оказались правдой. Имеются предсказания, которые не должны осуществляться дословно, чего мы безуспешно дожидаемся, которые могут исполниться только духовно — что выясняется позже. Есть проекты, которые опираются на предчувствия. Они свойственны людям, чье проницательное, острое и в то же время отстраненное восприятие действительности делает их приближенными к будущему. В них уже живут силы, которые однажды вызовут к жизни это будущее. Но пророчить может только тот, кто чувствует эту сопричастность с делами, которые должны быть сделаны; с людьми, ради которых они совершаются; с народом, духовной

и телесной частью которого они являются. Маркс не принадлежит к этой категории людей. Он был евреем — чужаком в Европе, который, однако, имел наглость вмешиваться в дела европейских народов. Это было, словно гость хотел обрести дополнительные права, указав хозяевам путь спасения от нужды. Но не был связан с ними, с их историей, с их прошлым. Обычаи, которые вновь определяли современность, не были присущи его крови. Он не жил на протяжении тысячелетий рядом с ними. Он чувствовал и думал совершенно по-другому, нежели они. Если он брался за их существование, то не смотрел в корень, а схватывал то, что было на поверхности. Он брал сумму внешних проявлений, которые в социальной структуре он понимал лишь с коммерческой стороны. Маркс постижим только через его еврейское происхождение. В нем проявляются иудейские, талмудические черты гетто. Он очень далек от Иисуса. Но все же он находится рядом с ним как Иуда, который пытается искупить вину за свое предательство. Во всех его трудах нет ни одного слова любви к людям. В них мерцают отблески темных страстей: ненависти, мести, возмездия. Послание Христа было наднациональным, поэтому оно смогло достигнуть даже народов Севера. Теория Маркса является интернациональной, поэтому она смогла разложить Европу и соблазнить европейцев. Он обращался со своим учением к пролетариату, так как ему казалось, что в этой среде исчезли различия между отдельными народами, которые ему, как еврею, были непонятны, а потому виделись устаревшим понятием. Он не считался с непролетарской частью европейцев, так как не принадлежал к ней. Потому он не придавал значения ценностям, которые создавались на протяжении многих столетий. Он отбрасывал европейское наследие, в которое его предки не внесли ни малейшей доли. Он чувствовал свою родственность с пролетариатом. Для мира пролетариат был новым, но в то же время чуждым явлением. Их объединяло то, что пролетариат не привнес ничего в это духовное наследие, хотя оно было открыто для него. Но Маркс предпочел навязаться пролетариату, и тот воспринял его, так как тот проявил волю к заботе о нем. Маркса едва ли волновала история возникновения пролетариата в отдельных странах. А она была весьма различной. Пролетариат должен был стать его свитой. Он брал пролетариев как абстрактных людей и запихивал их в обособленный класс, насильственно лишая их национальной принадлежности и национальных особенностей. Маркс, у которого не было отечества, не собирался думать о народах. Ему даже никогда не приходила в голову мысль задаться вопросом: возможно ли возникновение универсального человеческого социализма лишь тогда, когда имеется народный, национальный социализм? Могут ли люди жить вне своего народа? Или они существуют, когда жив народ?

Именно в этом крылся его главный просчет. Благополучие, предвещаемое марксизмом, стало проклятием. Марксизм пребывал в иллюзии, что можно найти путь от утопии к науке. Он превратил науку в какой-то творческий процесс и поставил перед людьми задачу, над решением которой бился сам. Маркс говорил, что для ее решения уже имелись необходимые материальные условия, или, по меньшей мере, они находились в стадии созревания. Но мировая война сорвала эти проекты, а революция, которая последовала за ней, окончательно похоронила их. Марксизм опирался на пролетариат как простое суммирование индивидуумов, но не считался с территориями, с народами и тем более с противоречиями, существовавшими между ними. В момент высокого экономического развития марксизм был убежден, что оно будет планомерно продолжаться, и в конце концов капиталистическое устройство общества сменится на социалистическое. Но исход мировой войны и революция опровергли мысль, что день в истории, который должен стать днем триумфа марксизма, опирается на высокоразвитую экономику, что социалистическая система должна опираться на экономические предпосылки. В момент, когда перед марксизмом появилась возможность завладеть политической властью, то есть при помощи властных инструментов претворить в жизнь свою социалистическую миссию, доктрина социализма, которая всегда мыслила экономическими величинами, отказалась от главенства политики, которая имеет свои собственные законы и кои история никак не может игнорировать.

Мы познаем каждое действие по его последствиям. Так мы можем познать и марксизм. Великим человеком является тот, кто оказывает значительное влияние, длящееся долгое время, на все человечество. Тайна влияния Христа кроется в его вечной непостижимости и в то же время в вечном стремлении к его образу. Маркс оказывает сейчас определенное влияние на пролетарскую часть европейского населения. Но это влияние оказалось революцией, которая была проверкой марксизма, не имеющей никакого отношения к ожиданиям 75-летнего подготовительного периода. Маркс обратил против себя дух Европы, дух двухтысячелетнего прошлого, которое нельзя вычеркнуть и которое намерено защищаться от него. Это стало наиболее очевидно там, где нация имеет сильные политические традиции, а пролетариат обладает национально-политическими инстинктами. Марксизм получил власть над молодыми народами, не осознавшими свою миссию и безвольно дрейфующими. Речь идет о немецком народе, который отказался от своей политической традиции, и русском народе, который разрушил ее. Но в конечном счете марксизм и здесь потерпел неудачу. Во время революции он мог подавить политическую данность. Но национальные особенности, качества и черты в каждой стране восста-

навливаются не в последнюю очередь благодаря ее геополитическому положению и экономической ситуации. В большевизме возобладала русская составляющая. В немецком коммунизме тоже проявились собственные, почти уникальные черты. Напротив, то, что было интернационального в марксизме, является общепринятыми догмами, которые в России привели к великодушному и бессмысленному компромиссу с мировым капиталом, так как это в русских интересах, а в Германии к вынужденному соглашению с республикой, демократией и парламентаризмом, которые также обретают немецкие черты.

Вместо «прогресса» пришел упадок. Конец войны поделил европейские нации на победивших и побежденных, которые столкнулись с необходимостью строить свою жизнь в новых условиях, кардинально отличающихся от тех, что предсказывал марксизм. Маркс предсказывал, что по мере исчезновения эксплуатации одного человека другим прекратится угнетение одних наций другими. Исход войны создал некую утопию, идеальное государство Томаса Мора, чьи пацифистски настроенные граждане не воюют, а подряжают наемников; чьи государственные деятели подкупают противников и ломают их настрой при помощи пропаганды; чье население, утопая в роскоши и радуясь беззаботной жизни, использует свою победу для того, чтобы жить за счет подчиненного соседа.

Мы живем сейчас именно в таком мире. Но не в мире Карла Маркса. У нас есть все поводы указать на просчеты, допущенные марксизмом в своих вычислениях, — социализм не желает признать, что он допустил принципиальную ошибку. Именно поэтому революция в равной степени потерпела и экономическое, и политическое поражение.

III

Даже революция имеет свою философию.

Материалистическая философия соответствует материалистическому мировоззрению. Когда в России и Германии полыхнула революция, казалось, что наступил первый год нового летосчисления, который должен был доказать марксистский тезис, что бытие определяет сознание людей, а не наоборот. Причем материалистическое понимание истории опиралось только на экономическое бытие.

Материалистическое мировоззрение антропоморфно по своей сути. Оно указывает не метафизический путь наверх, а рационалистический вниз: оно ошибочно предполагает, что человек сам выбирает этот путь. Причиной этих убеждений стал духовный настрой, который пришел к человеку вместе с эпохой Просвещения. До этого момента мышление человека было космическим. Оно находило свое обоснование в идее Божественного воздаяния. Оно сохраняло ду-

ховную имманентность. Теперь же рассудок полагался на гордость; очень странную гордость, так как мы считали, что в человеке видим животное. Ничего не имея против животного, но очень много — против самого человека. В мифических представлениях гуманистов все еще акцентировалась тайна связи между существом и Создателем. Но просветители превратили человека в l'homme machine, в живой автомат, который был чудом из слякоти. При объяснении акта творения они прибегали не к Создателю и его созданиям, а к помощи качеств материи, из которой было создано существо и в которой оно жило. Тщетно перерывались пласты наследия Руссо. Его растительный идеал должен был быть филантропическим, но придал материалистичному повороту мышления только сентиментальную сторону и абсолютно уверил людей в их животности. Французская революция предприняла политическую проверку этого, когда требовала особых политических прав для просвещенных людей, категорически выводя это требование из их «физической потребности».

Мышление нашего народа восстало против подобного унижения человека. Появились мыслители, которые ставили перед человеком задачу, основанную не на плотских, а на духовных потребностях. Их великая мысль заключалась в воспитании человеческого рода: надо было вновь обрести то, что было утеряно! Их идеал универсальной истории не имел ничего общего с механическим «прогрессом», но с восторженным неистовством стремился вернуть человеку его отброшенные идеалы. Но на пике идеалистической культуры, которую мы смогли спасти в рационалистическую эпоху, прозвучали слова, что итогом развития любой культуры являются не права человека, а человеческое достоинство. Прошло почти 100 лет, как Кант произнес: «Человек не может слишком много думать о людях».

Но эта мысль была слишком возвышенной для людей. Преемники Канта, жившие после него, понимали это настолько хорошо, насколько им удавалось. Они жили непосредственно в последующее время на все еще значительном духовном уровне. Они были успокоены этим достигнутым уровнем. Они успокаивали сами себя. В этой идеалистической образности, в которой они почерпнули свои представления. В этом идеалистическом понимании истории, в котором они обобщили эти соображения. Поэтому идеалистическое понимание истории, которое объясняло человеческое бытие через человеческое сознание, постепенно становилось общепринятой привычкой. В этом положении начало наступление материалистическое понимание истории, которое стремилось постичь историческое бытие через мощь экономических условий. Это произошло сразу же после Гегеля. Идеалистическое понятие развития, эволюции теперь трактовалось как биологическое. Для Маркса было логично, что диалектика, которую он

позаимствовал у Гегеля, как он сам говорил когда-то, «переворачивалась верх ногами», и снова можно было видеть реализм вещей, к которым относилась эта диалектика. Он мог различить под «мистическим покровом» не только «рациональное зерно», но и наполнить этот покров материальным и одновременно агитаторским содержанием, что имело политическое значение.

В обществе в то время сами по себе происходили большие и далеко идущие изменения. Развивалась индустрия. Появилось четвертое сословие. Предприниматель превратился в капиталиста. Наступал век мировой экономики, чьи предпосылки формировались в Англии. Эти социальные изменения хотели, чтобы их заметили. И материалистическое понимание истории полностью соответствовало им, в то время как идеалистическое воззрение отказывалось видеть эти социальные проблемы. Материалисты делали то, что люди с высшим образованием не умели, да и не хотели делать: они предъявили наглядность, которой не хватало, опыт, действительность, эмпирическую вещественность, социалистическую настойчивость и даже, с некоторой оговоркой, научность. Они были поборниками натуралистичных воззрений и принесли субстанцию. В этом заключалась их заслуга. Но в этом крылось и их слабое место. Они только констатировали, но ничего не объясняли. Если идеалисты в конечном счете довольствовались тем, что раскрашивали пустоту эпигонских воззрений, которые обладали некоторыми историческими контурами, то материалисты удовлетворялись подножным материалом, который для своих политических целей подыскивали на улицах и фабриках. Еще позитивизм, по меньшей мере в его французской версии, открыл этот мировоззрение. В трактовке христианства, присущей ученикам Сен-Симона, можно было найти и пафос, и эмфазу, и романтику. Они проповедовали восстановление плоти, объявляли о грядущем счастье на земле, которое должно было охватить людей вообще. Но впоследствии позитивизм забыл о людях, и Конт уже объявлял, что для него вообще не существует «собственно человека»: «Существовать может только человечество, которому наше общество обязано всем своим развитием».

Материалистическое понимание истории совершило прорыв как общественная наука, которая имела отношение к обществу будущего, примеряла его к настоящему и, как она полагала, обосновывалась прошлым. Она прежде всего стремилась заполнить пробел, оставшийся после Гегеля, который ограничивал историю лишь историей государств. Маркс позже отрицал, что видел в «экономическом моменте» решающий исторический фактор. Марксисты ссылались на то, что в «тезисах будущих разработок» он предусматривал «нации, расы и т.д.». Сам Энгельс соглашался с этим в одном из поздних писем: «Сначала мы сделали главный упор на выведение политических,

правовых и прочих идеологических представлений, через которые мы пытались оказать воздействие, исходя из основных экономических фактов. Тогда мы пренебрегли формальной стороной, отдавая приоритет содержанию: как и каким способом эти представления будут претворяться в жизнь». Но это была очень запоздалая мысль. Она была высказана вовсе не для того, чтобы что-то исправить или изменить в материалистическом понимании истории. Напротив, она была недостаточной и случайной, она скорее вновь указывала посредством авторов на материалистическое восприятие истории, и мы можем сказать, что Маркс и Энгельс считали излишним улучшать свою теорию, дабы избежать каких-либо «недоразумений». Материалистическое восприятие истории лишено какой-либо двусмысленности. Ее значение заключается как раз в ее неуклонной односторонности, которая была продумана до самого конца, и как кирпичик была вставлена в стену исторического мышления. Но в этом кирпичике ничего не надо исправлять, его нужно выбить. Если бы Энгельс и Маркс действительно с запозданием занялись пересмотром своей теории, то они были бы вынуждены признать, что вся ее структура основывалась на предвзятых мнениях. Но они никогда не делали этого, так как никогда не сомневались. Они были уверены в ней. Их жизнь не закончилась трагедией мыслителя, а потому она не была великой. Пожалуй, они придерживались только слов Энгельса об «основных экономических фактах», из которых они добросовестно, но вместе с тем неуступчиво создали здание материалистического восприятия истории. По этим «основным экономическим фактам» мы можем оценить и общее здание теории. Это всего лишь одна из систем, но отнюдь не единственно возможная, как полагали Маркс и Энгельс. Скорее, это система такая же эфемерная, как и их время. Но они полагали, что обосновали ее со всех сторон и стали пророками завтрашнего дня, критиками сегодняшнего общества и прозорливыми историками, способными объяснить вчерашний и даже позавчерашний день.

Изучение наследия Гегеля убедило Маркса в том, что правовые отношения нельзя воспринимать ни как государственную форму, ни как результат общего человеческого духа. Их корни крылись в материальных жизненных условиях. Маркс искал и полагал, что нашел, что будто бы «анатомия гражданского общества» сокрыта в политической экономике, в которой главным объектом являлось «материальное производство». Правда, он видел в экономическом процессе не единственное человеческое движение, но все-таки считал его самым сильным, самым решающим и самым изначальным. Он считал его истоком всего. После него марксизм предполагал, что государство, право, власть — весь комплекс идей, который нематериалистическое восприятие истории трактует как адаптацию человека к действительности,

в действительности является лишь «надстройкой», которую люди создали на фундаменте экономики. Маркс считал идею об экономической надстройке подлинным историко-философским открытием, в то время как мне кажется, что он сделал лишь историко-конструктивное изобретение, которое вновь и вновь менялось по политическим, социальным и духовным соображениям. Он говорил о «совокупности производственных отношений», которые образуют экономическую структуру общества, — «реальную основу, над которой возвышаются правовая и политическая надстройки». И он говорил о совокупности «идей»: «Над социальными условиями жизни поднимаются надстройки различных, по собственному сформированных ощущений, иллюзий, образа мысли и взглядов на жизнь». И он говорил, подводя итоги: «Способ производства материальных благ в целом обуславливает социальную, политическую и духовную жизнь». Не слишком внятно. Но для кого эта мысль является аксиомой, тот никогда не будет критиковать ее. Ведь она высказана Марксом. Да, он сделал попытку обосновать ее при помощи истории. То, что он упускал в неосуществимости утопий, Маркс предпринимал в виде истории. И здесь в опрометчивости своих доводов, к которым он прибегал, становилась очевидной слабость его теории. Маркс представлял историю лишь как «историю классовой борьбы». Он обыскал все предшествующие века в поиске возможности увязать самые героические моменты с материальной заинтересованностью, стремлением к наживе или, по крайней мере, усилением своей власти. И он «убедился» в том, что такая связь существовала как между зависимыми и свободными крестьянами, так и городами и феодалами, монархами и «биржевыми баронами». В немецких князьях периода освободительных войн он видел всего лишь ландскнехтов, нанятых Англией, в приверженности тори королевской власти и старым английским порядкам — следствие земельной ренты. После Маркса пришли популярные последователи материалистичного восприятия истории, которые полагали, что сделали удивительные открытия. Например, они делали заявление, что язычники потому приняли христианство, что в новой религии было значительно больше праздников. Или борьба Катилины против кредиторов была начата потому, что он являлся одним из должников. Или крестовый поход имел коммерческую подоплеку, так как европейцам требовались новые рынки, в частности средиземноморский. Материализм давал повод переписать всю историю.

Нет никакого сомнения в том, что в любое время существует своя альтернативная, материалистичная история, что даже в самые хорошие времена свершаются неблаговидные поступки, что всегда имели место люди, партии и классы, которые были движимы лишь пошлой корыстью. Но этот материалистичный момент всегда находился на



втором плане: мелочность — вот то, что отличает материализм. Есть такие времена. Есть даже мелочные эпохи. Но им на смену приходят другие периоды, в которых на первое место выступают другие аспекты: Deus le volt! [9] Решающим всегда является то, чем являются люди кроме чисто материального явления. Решающим является, куда направят их собственные влечения, страсти и устремления. Решающим всегда является вопрос: что одержит в это время верх — физическое или духовное? Мы полагаем, что язычники стали христианами, так как в мир прибыл Христос. Мы думаем, что крестовые походы вызвала сама мысль о них. Мы уверены, что эпоха Катилины состоялась потому, что был особый тип людей. Суждение о времени зависит от его сомнительности или возвышенности, от его грязи или его блеска. Все зависит от этого. Войну между государствами можно трактовать с точки зрения притязаний на могущество, на которое они претендуют, или же исходя из проблем, которые двигают этими странами, или из противоречия интересов. Само собой разумеется, они определяются и экономикой, которая является неотъемлемой частью всего человеческого. Но мы не должны никогда забывать, что часть не может претендовать на полноту целого. События можно рассматривать на уровне искусства управления государством, когда политикам удается или не удается договориться, на уровне сражений, в которых полководцы одерживают победу или проигрывают, а можно рассматривать с точки зрения мародеров, которые существуют всегда и везде, которые двигаются вслед за военными колоннами. Маркс рассматривал историю именно с точки зрения мародера.

Материалистическое понимание истории не может выйти за рамки материи. Когда Маркс вторгается в интеллектуальную и духовную области, которые он не наблюдал, потому что, как материалисту, это было чуждо ему, он обращался за помощью к теориям действия и взаимодействия между материальным и духовным. Он утешал себя мыслью, которую использовал как отговорку, что «все является относительным». Но с действием и взаимодействием вещей, которое полезно наблюдать, мы продвигались бы только не иначе как по кругу, не видя собственно образ вещей, а лишь перекладываемый из стороны в сторону релятивизм. И здесь мы должны поставить вопрос о причинах, которые являются абсолютными. Маркс спрашивал: «Доказывает ли история идей иное, нежели то, что духовное производство превращается в материальное?» Бесспорно, это верно — подобное взаимодействие есть. Но только возникает вопрос: кто кого изменяет? Мате-

---

[9] «Так хочет Бог!» (ст.-франц.) – знаменитые слова папы Урбана II, произнесенные в 1095 году в Клермоне. Ими заканчивалась речь, в которой он призывал всех христиан Запада освободить Гроб Господень. Именно их можно считать отправной точкой крестовых походов.

риальное ли производство способствует изменению духовного? Или же духовный процесс изменяет материальный? Маркс выбрал первый вариант. Главенство материи стало аксиомой материалистического восприятия истории. Маркс полагал, что «идеалы являются ничем иным, как перенесенный в человеческую голову и переработанный там материал». Но тогда что было раньше: человек? Или его деятельность, позволяющая возникнуть вещам? Мы же полагаем, что раньше был человек. Маркс подразумевал, что не требовалось никакого «глубокого понимания», дабы постичь — «с жизненными условиями людей, с их общественными связями, с их социальным существованием изменялись также их представления, воззрения, понятия — одним словом, менялось их сознание». Мы же думаем, что только сознание меняет жизнь. Духовная сфера опирается сама на себя. И в то время, как она воздвигает сама себя, меняются люди. Именно в то время, когда меняются люди, они получают возможность изменить свои условия жизни. Человек делает историю, но история не делает человека. И если она меняет его, то она меняет его действия, и только лишь затем трансформированный человек модифицирует свои условия жизни. Сам человек и есть причина его собственных поступков. История человека — это история его духовных усилий. Эти духовные усилия присоединяют телесные, метафизические — физические, которые в свою очередь подразумевают и экономические факторы. Но только духовное всегда может проникнуть в материальное — и никогда наоборот. Материальное не может проникнуть само в себя. Вследствие этого в сфере экономической жизни не новый хозяйственный порядок в корне меняет жизнь, а, наоборот — коренным образом измененная жизнь создает новый экономический порядок. Идеи, власть, право, государство — это не «надстройка», которая создавалась людьми на базисе экономики, как полагал Маркс. Наоборот, это экономика надстройка, в то время как идеи, власть, государство являются фундаментом. История не может быть независимой от экономики, однако она создает экономику. А потому экономика зависима от истории. Экономика — лишь последствие, причиной является историчность. А история живет по собственным законам, среди которых преобладают политические. Маркс видел лишь только экономику, но отнюдь не государство, за обществом он не видел больше народов, а тем паче отдельных индивидуумов. На длительных промежутках времени экономические силы становятся незначительными, так как на их фоне вновь и вновь обретают реальное значение духовные силы, которые являются государственными силами. Маркс всерьез полагал, что рано или поздно государство отомрет. Это была не только игра слов, которая позволяла ему заменять по пропагандистским причинам одни понятия другими. Маркс действительно верил, и эта вера стала пред-

посылкой для материалистичного восприятия истории, что история растворяется в экономике. Да, он полагал, что история в основе своей является экономикой и только экономикой, что история всегда материальна и вещественна. Однако государство будет всегда. Материалистичное восприятие истории уже допускало ошибку, когда оно предполагало, что ранее, при патриархальном состоянии общества, оно вело совместную безгосударственную жизнь. Но история в принципе начинается с вражды групп, которые как таковые возникают, чтобы утвердиться. Материалистическое восприятие истории ошибалось еще больше, когда допускало возможность, что в неопределенном будущем будет существовать безгосударственное человеческое общество! Однако экономика не может заменить государство. Ни во внутриполитических вопросах, ни тем паче во внешнеполитических! Однажды пропитание сообщества нельзя будет урегулировать без особого административного управления. Кто, кроме государства, смог бы урегулировать влечения, страсти, стремления, волю, честолюбие, таланты и амбиции наций? Социализм наряду с требованием «не-государства» все-таки предполагает необходимость государственности. Но этот факт намеренно скрывался от наций. Отказ от государственности — это отказ от национальной истории. Государство, как говорил Гегель, «достигает содержания, которое не только принадлежит истории, но само создает ее».

Маркс однажды произнес, что человек должен доказать «на практике» истинность своего суждения. Так вот, теперь материалистическое восприятие истории получило возможность показать практическую истинность связанности с ней мышления. Мы пережили мировую войну, среди поводов которой преобладали политические — государства, власть, права, а также несправедливость. В любом случае экономика была на втором месте. Впоследствии, кроме мирного договора, который был несправедливым договором, навязанным государствами и властями, мы пережили революцию, которая стремилась быть социалистической и которая закончилась тем, что оставила государство в покое. Без разницы, идет ли речь о силе государств стран-победительниц или о безвластии проигравших. Историчность и далее продолжила развиваться в виде государственности, в то время как потрясенная экономика не только не привела к новому экономическому порядку, но оказалась полностью беспомощной, предоставленной самой себе. Прав оказался не Маркс, а Гегель, который оценивал историческую жизнь как осознанную жизнь. Оказался прав Наполеон, который однажды произнес: «Политика — это судьба». Мы же, напротив, являясь экономическими людьми, опустились на самый низший уровень человеческого мышления, на котором совершенно неполноценные и близорукие позволяют себе говорить: «Судьба — это

экономика!» Это было низшей точкой, которой только могло достичь немецкое мышление. После нее могут следовать или погибель, или поворот, или крах, или же поворот к духовному, крушение или поворот к политике.

Уже здесь мы хотели бы заметить — консервативным является то, что вполне справедливо вновь и вновь реализуется, в то же время прогрессивным является то, что живет пустыми ожиданиями, которые никогда не осуществятся.

IV

Материалистическое восприятие истории стремилось быть объективной наукой. Однако социализм с самого начала уличил себя в противоречии, ибо он рассуждал о будущем, о котором не имелось никакого объективного опыта. Он мог смягчить это противоречие всегда только тем, что вновь отказывался от объективности опыта и взывал к политической тенденции.

Тем не менее социализм достаточно некритично ссылался на естествознание, чтобы благодаря подобному маневру предоставить доказательства провозглашенного будущего. Социализм использовал Дарвина исключительно в собственных целях. Маркс находил, что «естественный отбор», хотя и «разработанный грубо по-английски», все-таки содержал в себе «естественно-исторические основы наших представлений». А Энгельс вслед за ним уверял, что экономическая база коммунистического манифеста призвана для того, чтобы «обосновывать исторический прогресс, подобно тому как теория Дарвина обосновала все естествознание».

Социализм должен был тотчас обратить внимание на то, что Дарвин нашел доказательства не в пользу него, а, наоборот, против него. Принцип естественного отбора являлся опровержением всего общественного коммунистического строя, который должен был быть установлен не просто на длительное время, а окончательно. Но социалистическая беспринципность, которая однажды захотела превратиться в социалистическую научность, не была систематической. Она пыталась проникнуть во все, что можно было использовать для пояснений и агитации. Отныне немецкая социал-демократия вновь применяла принцип естественного приспособления, а также делала вывод подобно старому простодушному, но тем не менее неистовому в трактовках Бебелю: если согласно Дарвину все организмы приспосабливаются к условиям жизни, то необходимо вызвать социальное состояние, желательное для человека, и тотчас характер людей поменяется соответствующим образом. Надо только из народов построить «человечество», которое тотчас упразднило бы национальности.

И вновь натуралисты говорили Бебелю, привлекая внимание к социализму, что новый социальный порядок быстрее рухнет, чем люди смогут приспособиться к нему. Так как уже привитые воззрения, а в еще большей степени наследственные признаки, распространившиеся на многие поколения, не могут быть перестроены, более того, они не утрачиваются, на протяжении времени вновь и вновь становясь действительностью. Социализм полагал, что мог не считаться с человеком. Он предполагал, что новые экономические условия могли произвести на свет человека с новой духовностью, но никак не наоборот. Но история начинается с таких мелочей мира, как народ, земля, родной язык. История живет в исконной данности и в надвременных движущих силах, которые снова и снова проявляют себя, ставя крест на исчислениях, согласно которым мы в будущем не должны жить в нациях, а лишь в лоне абстрактного «человечества».

Материалистическое восприятие истории оборачивает против себя любую естественную науку, используя в своих целях лишь выжимки, достойные популярных научных брошюр. Стремящийся к просвещению социализм оказался не заинтересованным в учении Карла Эрнста фон Бэра, несмотря на то что он благодаря своим построениям описал, какие формы принимает любое развитие, на которое так полагался социализм. Однако это было учение о том, что мы можем объяснить развитие, если предполагаем факт возникновения, а возникновение в свою очередь мы сможем объяснить, если принимаем в расчет само возникновение жизни, которое всей жизнью обязано само себе и человеческому существованию. Социализм не стремился привлечь на свою сторону Морица Вагнера, теория обособления которого вполне дополняла теорию отбора. Социализм даже не взялся поразмышлять над ее выводами: а ведь эта теория смогла рассказать о пространственных особенностях как неизбежной причине видообразования и возникновения народов, с которыми социализм должен был считаться в настоящее время, даже если мыслил будущее без наций. Социал-демократия по возможности пыталась не обращать внимания на то, что Людвиг Вольтаманн, бывший в своем роде тоже социалистом, мог связать марксистскую точку зрения с антропологическими, морфологическими и генеалогическими позициями, подвергая проверке и опровергая расовую обусловленность человеческого рода. Социализм вообще ничего не хотел знать о народах, подобно тому, как не знал ничего о человеке. Он уклонялся от двойственных ходов мысли, находя убежище лишь в монистских банальностях. Социализм отрицал, что мир мог быть принципом природы, построенным на противоположностях; он отрицал, что имелась двойственность (дуализм) духа и материи и что в рамках этого дуализма человеческий дух имел собственную инициа-

тиву. Социализм даже не допускал возможности, что человек являлся не продуктом исторической эволюции, а сам построил свое тело благодаря мозгу, а не наоборот. Но прежде всего социализм не хотел допускать, что человек сам создал свою историю, что она является его собственным действием, что делает ее величайшим достижением. Идеалистическое восприятие истории, когда-то заложенное Шиллером, предполагало, что историю делает свободный человек, в которой он является моральным условием природы. Материалистичное восприятие истории исходило из того, что человек — это продукт жизненных условий. Маркс, а в особенности Энгельс, пытаясь оправдать узость своего мышления, старались дать расширенное толкование своих идей. Но они никогда не выходили за рамки позитивистской точки зрения, всегда оставаясь в рамках материалистичного описания истории, проникнувшись лишь условиями, описывая феномены, собирая их компоненты. Только лишь с третьей позиции, которая больше не является ни моральной, ни позитивистской, которая скорее является духовной, но в то же время телесной — только с этой позиции взаимного проникновения, которая склоняется перед человеческим величием, но в то же время поднимается из человеческой низменности, только с этой точки зрения можно ответить на вопрос: кто отныне, собственно, создает эти условия? Вопрос, на который нет ответа, если мы допускаем, что они создают себя сами. Это скорее метафизическая точка зрения, которая включает физическую и духовно-историческую позиции, которые в то же время охватываются и расширяются естественно-научными. Нам сегодня ближе эта позиция — точка зрения действительности и метафизики. Момент, в который та же диалектика, принятая Марксом от Гегеля, обращает пережитую историю против материалистического восприятия истории и история вновь «заканчивается». Как сказал бы Гегель — в двойном смысле, что материалистическое восприятие истории еще содержится в метафизическом, но при всем том освобождается от него. Маркс, который совершенно необъективно воспринял диалектику Гегеля, никогда даже не допускал мысли о том, что диалектический процесс продолжается и после наступления материалистической стадии, что материализм является вовсе не последним словом, а предварительным, что «поэтусторонность» вовсе не является абсолютным принципом. Он быстро сворачивает в сторону от подобных идей, так как те могли привести к мысли, что с признанием истоков подобной природы исторического человека социализм сам мог прекратиться: «Люди делают собственную историю, но они творят ее не как свободное изделие, и не при вольных, а при навязанных, уже существующих обстоятельствах». Материалистическое восприятие истории не способно выйти из этого замкнутого круга. Так кто же

создает эти обстоятельства? Имеется только один ответ: сам человек. Он и есть это обстоятельство!

Материализм был бы действительно прав, если бы человечество производило только материю. Но человечество произвело на свет ценности, целую иерархию ценностей, в которой материальные ценности занимают самую низшую ступень. Воистину человеческую историю нельзя трактовать только при помощи личностей, носителей данных ценностей, при помощи расы или религии, которые являются биологическим и духовным фундаментом всех событий, и тем паче нельзя объяснять только при помощи экономических условий, в которых мы всегда видим только явления, сопутствующие духовным процессам. Наша история скорее является историей взаимосвязей. Мы знаем только одну сторону вещей (повернутую к нам), не видя другую, отвернутую от нас. Но мы постоянно чувствуем, что эти две стороны связаны между собою. Грубая ясность материального существования привела к появлению в предыдущее столетие материалистичного мышления, которое трактует историю при помощи самых грубых аргументов, которые только имеются — экономических. Но материальные условия наиболее легки для восприятия, для соблюдения, для исследования, для расчетов — они проще поддаются численному учету, а потому могут быть вмещены в рамки статистики. Они вызывают к жизни мыслителя, который является банальным арифмометром, а тот в свою очередь обращается к банальной массе, которая не склонна размышлять. Как мы узнали во время революции, она может только действовать. Соблазнив ее, мы будем видеть только физическую силу, с которой априори соглашаешься. В то же время метафизические силы вовсе не отрицаются, но убираются на задний план. Но история определяется не ими, но неизмеримостью, которой являются ее духовные прожилки, в то время как все измеримое выглядит материальным и грубым балластом.

Материалистическое восприятие истории, которое ставит в центр внимания не человека, а экономику, является наиболее отвратительным отказом от истории. Материалистическое восприятие истории, отвергающее самодержавие духа, пренебрегает духовными ценностям и попадает в зависимость от материальных ценностей. Оно сводится к политическому идеалу социалистического общественного порядка, после осуществления которого перед человечеством останется единственная задача — регулировать свое пищеварение. В XIX веке было порождено самое большое унижение — стремление превратить человечество в один большой желудок. В истории всегда имелись времена, которые порождали предпосылки для общечеловечности. Но еще ни одна эпоха не падала так низко, чтобы эволюционная мысль свелась к утилитарно-демонической системе обмена веществ, а исто-

рия человека трактовалась из подобных потребностей. Сторонники материалистического восприятия истории самым тщательным образом дистанцируются от того, что должна существовать связь между духом их теории и материализмом жизни. Но их собственное учение свидетельствует против них — ибо дух является лишь выражением материи. Материалистическое восприятие истории — это порождение XIX века и отчасти начала двадцатого. Теоретики материалистичной истории судят об истории и других эпохах подобно тому, как они судят о собственной. Это было бы честно, да и верно, если бы марксизм сказал: сегодня, в век фабрик и фондовых бирж, мы, люди, бедны, несчастны и угнетаемы, а также мы пошлы, жадны и жаждем возвышения. Но марксизм не сказал этого. Наоборот, он спрятал имманентного человека от человека материального. Материалистическое восприятие истории даже видело особую научную заслугу в том, что оно превратило все в материальное. Даже духовные устремления первобытности учтены и превращены в экономические поводы. Но если психоаналитический метод, в который в итоге впало материалистическое восприятие истории, с психологической точки зрения исследовал бы больше человека не на предмет его стыда, а на предмет его чести, то ему стоило более внимательно изучать ранние инстинкты, которые уже проявились у первобытного человека. Они были телесно ему присущи через стыд и вкус. Уже в материалистических поводах и причинах явно выражалась метафизическая потребность человека, который, устроившись под деревом познания, стремился описать не свою природу, а собственную трагедию. Человек стремится выйти за рамки собственной природы. Он сопричастен животным, так как тоже хочет жить. Но даже древний человек, а теперь и естественный человек стыдится своей материальной обусловленности, своей телесной зависимости, своих физических связей, к которым относится также добыча пропитания. В них он чувствует свои животные воспоминания — постыдную частичку, которая пристала к нему. Она неприятна ему. Он будет вынужден нести эту ношу весь остаток жизни. Стыд и совесть имеют одни и те же корни. Проистекающее из них позволяет человеку осознавать свою противоречивость, свою человеческую составляющую. Но человек, который восстает против своей человечности, сводящейся к добыванию хлеба насущного, а в более поздней версии — жизни ради экономики, обретает осознание своего человеческого достоинства.

Материалистическое восприятие истории никогда не прикасалось к подобным вещам. Оно было только тем, что содержалось в ее названии — историческим созерцанием материи. Оно сконцентрировалось на истории лишь половины человечества, причем далеко не самой лучшей половины. Однако социализм отомстил своей философии. Ото-

мстил тем, что всегда опирался на экономические, но не политические категории. Отомстил тем, что предпосылки материалистичного мышление не соответствовали действительности, причем экономика и история совпали, а последняя оказалась зависима от первой. Высочайшее экономическое развитие материалистической эпохи вызвало к жизни не социализм (как полагал Маркс), а мировую войну. Ее развязывание указывало на иные исторические силы, нежели предполагались марксистскими догмами, согласно которым история основывалась на классовых противоречиях и двигалась вперед благодаря классовой борьбе. Даже если мы будем рассматривать историю возникновения мировой войны с точки зрения всемирных экономических противоречий, а не геополитических соображений, которые спровоцировали, направляли и оканчивали ее, то она все равно не была возможна без конфликта народов, который предшествовал ее развязыванию. Она была не возможна без правых и неправых идей, которые сопровождали ее. За экономическим фасадом бушевали националистические страсти, которые и обусловили войну. А в конце воля к несправедливости, которая была оформлена как реализация законных прав, обеспечила мир. Для этих сил не нашлось места в марксизме. Социализм не считался с ними. Поэтому он рассчитывал только на себя. Поэтому мировая война вновь восстановила историю в правах. Война дала нам самый поучительный урок — не экономика, а политика определяет историю. Поэтому если глядеть со стороны экономики, то социализм сейчас стоит не перед социальным господством, к которому он должен был прийти в какой-то момент, не перед разрушением капитализма, не перед мощным хозяйством, а перед совершенно разрушенной, потрясенной до основания, больной и безумной экономикой.

Когда полыхнула революция, социалисты были преисполнены радостных надежд. Первая дрожь по партии пробежала в ожидании внешнеполитических последствий от 9 ноября. Это был страх перед историей. О ней не вспоминали до тех пор, пока не пришлось отвечать. Именно в те дни аутсайдер марксизма и революционный идеолог Роберт Мюллер предложил формулу — «перехозяйствование». Социализм должен был не привязывать к материи, а освобождать от нее. А «расхозяйствование», которое должен был принести в мир социализм, мыслилось как освобождающее человека действие, которое давалось ему революционным правом. «Расхозяйствование» через экономическую конституцию, которая должна была освободить людей от тяжких ежедневных забот и делала его обязанным беспокоиться только о средствах к жизни, было тайной утопически-анархической целью, которая существовала наряду с рационально-экономическим движением. Но вместо «расхозяйствования» нашей жизни мы получили ее расточение. Расточение во всех смыслах. Не в последнюю оче-

редь разбазаривание стало мерой всему. Мы вообще думали только об экономике. Мы думали о валюте и репарационных платежах. Мы думали о ценах на товары, какими они были вчера и какими они будут завтра. Мы думали о росте тарифов и индексе цен, о предстоящей забастовке и ее результатах. О повышении заработной платы. Думали ежедневно о курсе доллара, который стал подменой молитвы. Действительно мы думали только о нашем жалком сегодняшнем дне. Капиталист думал о том же, о чем думал пролетарий. В наших интересах мы пали настолько низко, насколько низко человечество еще не падало: материалистическое восприятие истории могло праздновать свою отвратительную победу.

Может ли это длиться вечно? Мы чувствуем, что не может. Материализм вызовет отвращение к материи: перед нами самими. После отвращения возникнет потребность в очищении, которое приведет к кризису. Социализм не может привести к этому кризису хотя бы потому, что этот кризис повернется против него же самого: против материалистических основ, на которых он был воздвигнут как материалистическое явление времени. Социализм будет всегда только способствовать наступлению этого кризиса. В той степени, насколько он сможет преодолеть в своем содержании материализм и рационализм, которые являются роковым наследием либерализма.

Но партийный социализм не сможет провести эту линию. Он погряз в оппортунизме. Остаются лишь радикальные силы, как в России. Или же его надо сделать радикальным в Германии. Это путь для отдельного социалиста, социалистической молодежи, вероятно даже для социалистических трудящихся, в которых вместо социализма разума проснется социализм чувства. Именно социализм чувства имеет более далекие и глобальные перспективы, нежели все марксистские вычисления. Да, немецкому коммунизму, на который было возложено марксистское наследие, в конце концов придется решать, узнает ли он, что марксизм, на который он по-прежнему ссылается, является мнимой силой, способной предоставить лишь демагогические средства. Что при постановке проблем марксизм является очевидным промахом, так как он из-за своего доктринерства мешает немецким коммунистам сыграть историческую роль.

Немецкий коммунизм верит, что обладает марксистской логикой. И это правда: если бы он отказался от утопии, то он бы отказался от марксизма. Но в то же время он мог бы быть политикой. То есть быть чем-то большим, чем доктрина, которую он использует; быть чем-то большим, чем скандал, которым он является. Марксизм создал для себя собственную логику. Но его логика не имела ничего общего с действительностью, ибо мировая война поставила его перед фактами, которые не были записаны ни в какие программы.



От самой марксистской программы остался только факт существования пролетариата. Но марксизм не в состоянии решить эту проблему, так как исход мировой войны показал, что классовые проблемы не настолько сильны, как национальные.

Третий Интернационал все еще кормится с рук большевиков. Социализм стал полностью идентичным демократии. Остался пролетариат. Партийные дела обстоят так, что, когда мы говорим о социализме, мы больше не говорим о пролетариате.

Пролетарии — это вопрос, на который социалисты не знают ответа. Открытый вопрос, далекий, неясный и тревожный — вопрос, заданный самим себе.

V

Социалистическая катастрофа возвращает нас к марксистским догмам. Она откатывает нас к его апостолам, сторонникам и передовым бойцам. И ни к кому больше. Только к тому социализму, который охотно назвал себя классическим, пользовался европейским уважением. Тот, который несет духовную ответственность перед пролетариатом за реализацию марксизма — это немецкий социализм немецкой социал-демократии.

Маркс в категоричной форме оставлял за немецким пролетариатом право быть «теоретиком всего европейского пролетариата». А Энгельс говорил о немецких социалистах, что они должны быть горды тем, что происходят не только от Сен-Симона, Фурье, Оуэна, но также от Канта, Фихте и Гегеля. Но за 75 лет немецкого социализма от его рождения до развязывания мировой войны не произошло ничего заметного. Это было, как если бы «инверсия», которую Маркс произвел с Гегелем, при изобилии материальности, которой так нагружена социалистическая научность, полностью погребла под собой любую способность исторически мыслить и политически действовать. Немецкая социал-демократия в течение всех этих 75 лет полагалась на марксистскую логику. В течение долгого времени она отказывалась соотнести эту логику с действительностью, которая между тем менялась. Социализм полагал, что его логика должна быть неизменна. Ревизионистские попытки догнать упущенное были предприняты достаточно поздно, к тому же они были довольно-таки слабы. Они были дилетантские, недостаточные и как следствие полные противоречий. Уже начало мировой войны смогло разогнать связанное с ними движение на столько же направлений, сколько имелось ревизионистов. Научное обоснование социалистической точки зрения досталось экзегетам от марксизма, среди которых надо выделить Каутского, так как он умудрялся писать выдающиеся книги, не заложив туда ни одной

мысли. Их проще было назвать брошюрами, ибо они постепенно снизили критерии, которые должны были предъявляться к социалистической литературе. Из всех возможных академий марксистская была бы самой чудовищной. Страшно подумать, что репутация, которой бы пользовался Каутский, произвела бы на свет дегенеративных эпигонов материалистического восприятия истории. Ситуация была бы намного хуже, чем с идеализмом. В итоге материализм так и остался без классического обрамления, в то время как идеализм был доведен Гегелем до конца — он воплотился в историческую философию. Даже когда идеализм влиял на историческую науку и ее труды, то произвел на свет Ранке и Якоба Буркхардта — историков такого калибра, что с ними не сравнится ни один материалист, они просто не достойны упоминания.

Немецкий социализм воспитывал в партийном духе. Но он не готовил к истории. Его марксистская ортодоксальность оказалась не готова воспринять политическое изменение действительности. Немецкие социал-демократы оказались испорчены агитацией. Они без какой-либо проверки тянули к себя все, что имело хоть какое-то демагогическое воздействие, все, что казалось радикальным и «новым». По этой причине они попали впросак. Немецкий социализм верил, что может думать интернационально. Но при этом он не сделал ни одной попытки разобраться в международной обстановке. Таким же предвзятым он был и в вопросах внутренней политики, партийной тактики, агитаторской работы и в оппозиции (ради оппозиции), он был чужд мировым процессам, а потому они казались ему неприятными. Они были горды за партию, так как это была образцовая организация — о ней они заботились с такой же любовью, как бюргеры о своих союзах. Они похвалялись этой организацией как дома, так и во всем мире. Даже антимилитаризм их программы не мешал быть польщенными, когда социал-демократическую партию сравнивали с прусской армией: дисциплина в обеих организациях считалась признаком немецкой деловитости. Но они избегали вопроса, в каком политическом положении эта социалистическая организация сможет служить? Могло ли это быть международное положение, и какое? Этот вопрос напрашивался сам собой. Он ставился историей. Между тем социалисты продолжали учить усердных немецких рабочих положениям Коммунистического Манифеста, а последние, что касались объединения пролетариев всех стран, — заучивать наизусть. Они восхваляли Интернационал, которого не было. На конгрессах они пели делегатам из других стран об Интернационале. А затем они приветствовали их пением «Марсельезы». И делалось это обычно с особой сердечностью и странным почтением, которое обычно проявляет лукавый бюргер, словно извиняясь перед иностранцами за немецкую внешнюю полити-

ку. Все это было ничем иным, как дезориентацией, ведущей к гибели собственного народа.

В большой экономико-политической системе, которую после себя оставили Маркс и Энгельс, можно заметить английские следы. Очевидно, что ее авторы читали книгу Адама Смита о богатстве наций. Но конструкции, которые все-таки находятся у Маркса и Энгельса (так сказать, поводы для размышления), относительно политического, внешнеполитического, всемирно-экономического положения народов, никогда не признавались немецкой социал-демократией. Мы не будем говорить здесь о том, что она не восприняла сильнейшие моменты основополагающего внутриполитического мышления, которое имелось в Германии. Моменты, заложенные в сословном мышлении и идеях барона фон Штайна, которые указывали на консервативное устройство немецкого дома. С экономической точки зрения эти конструкции не могли найти понимания у атомарно ориентированного социализма, они могли использоваться лишь корпоративно настроенным коммунизмом. Но все же для социалистического мышления многое сделал внешнеполитический теоретик, немецкий экономист Фридрих Лист, который заменил английскую экономическую теорию национальной системой политэкономии. Он создал проект континентальной политики, ориентированной на экономику Центральной Европы, прежде всего Германии. В разгар манчестерской эпохи (которая затем перешла в империалистическую) он наблюдал изменения в соотношениях сил народов, а также увидел появление тех мировых проблем, которые привели затем к мировой войне. Но Лист не был предвестником социалистического мышления, хотя мышление о народах могло явиться предпосылкой мышления о классах. Немецкому социализму никогда не хватало силы для подобной логики, никогда не хватало мужества, чтобы признать ее правдивость. Он, который выступал за марксистскую теорию классовой борьбы, но который игнорировал дарвинистскую теорию борьбы в природе, полагая, что пацифизм требовал исключить по возможности любую войну: любую мысль о войне, о вражеских противоречиях европейских наций. Все потому, что он возник из популярных материальных основ, а стало быть, рассматривал все под соответствующим углом зрения материалистического восприятия истории. Немецкий социализм скорее предпочитал вести войну против немецкого милитаризма, а стало быть, против собственного народа. Он оставлял привилегией других партий, которые все-таки мыслили внешнеполитическими категориями, заботиться о мировых процессах, событиях, происходивших за рубежом. Это было бы наивно полагать, что немецкая социал-демократия озаботится знакомством с империалистическими идеями, которые хотя и не в духе марксистской доктрины, но все-таки свидетельствовали, что

среди нас имелись немцы, а также немцы за рубежом, которые были в состоянии воспринять политическую картину мира, картину той действительности, в которой мы жили.

В связи со всеми этими упущениями социализм оказался виновен в ошибке, которая была самой страшной из всех, которые допускал марксизм. Он уклонился от проблемы, от решения которой зависела жизнь всех живущих на земле, жизнь народов, у которых имелся пролетариат, а в первую очередь жизнь самого немецкого народа. Речь идет о проблеме перенаселенности. Это в корне касается теории о добавленной стоимости. Марксистская постановка проблемы в ее классовых предпосылках избегает земли. В этом вопросе марксизм опровергается самой природой, одного дуновения которой достаточно, чтобы развеять все утопии. Марксизм не видел национальных различий, которые основывались на взаимоотношениях населения. Как социализм, опирающийся на классовую борьбу, он видел только суммарные массы, которые определялись значением пролетариата в той или иной стране. Немецкая социал-демократия не видела, что демократия коснулась непосредственно лишь перенаселенных стран. Имеются народы, которые имеют землю, пространство, сырье, запасы продовольствия и свободную возможность расширяться. А есть народы, у которых этого нет. Вследствие этого имеются народы, у которых вообще нет пролетариата, или же незначительный, созданный в рамках национального самообеспечения или же хищнической колониальной эксплуатации, когда существует индустрия, в которой занята незначительная прослойка населения. В данных случаях промышленность служит политике и является неким домашним хозяйством, не принося стране никакого избыточного продукта. А есть другие народы, чья естественная аграрная экономика искусственно заменена индустриальной. Население этих стран настолько плотное, что оно постоянно толкается и трется, напрасно разыскивая выход. Страны с малым населением могут жить, но перенаселенные страны не могут дальше существовать. Перед этим демографическим законом, который непреклонен, как и ошибочный «железный закон зарплаты», марксизм бессилен. Он даже не предпринял попытку справиться с ним. Он просто отбросил его. Социализм хочет установить справедливость, чтобы облегчить жизнь людей, он намеревается установить человеческое общежитие. Но не может быть справедливости для людей, если не установлена справедливость для народов. В самом начале социализм признавал, что имущественное неравенство народов является по меньшей мере проблемой. В начале, когда еще он не был национализмом, имелась фантазия, в которой нуждался политик, что он был в состоянии решить всю проблему, причем коренным образом. Тогда Прудон признавал, что вопрос собственности — это вопрос земли. Он говорил

о «равномерном распределении земель» и требовал, чтобы по мере того, как возникали натянутые отношения, от поколения к поколению происходило перераспределение. Но Маркс очень быстро зачислил Прудона в «остроумные софисты», который сооружал «иногда скандальные, иногда блестящие парадоксы», прибавив к этому обвинения в «научном шарлатанстве и политическом приспособленчестве». Маркс также говорил о «законе народонаселения», но подразумевал не владение народов, а частную собственность, то есть обращал внимание не на причину, а на следствие. Маркс и Энгельс касались этого закона народонаселения, говоря о «резервной индустриальной армии», но срочно уходили в сторону. Они путали причину и следствие. Маркс категорически говорил о «перенаселенности рабочих» — «неизбежном продукте развития богатства на капиталистической основе». А также он говорил о «возникновении избытка рабочих», который благодаря индустриализации являлся результатом концентрации капитала. Для него это были «всегда готовые к эксплуатации людские ресурсы», «независимые от степени фактического прироста населения». Это место, в котором марксизм перевернул все с ног на голову и даже изменил собственную точку зрения — не индустрия сделала возможной перенаселенность стран, а перенаселенность сделала возможным появление промышленности.

Мышление можно исправить, только устранив логические ошибки. Немецкая социал-демократия даже не пробовала это сделать. Она зациклилась на теории концентрации, теории накопления и теории катастроф. Она слишком поздно, и то с трудом, решилась что-то проверить. После некоторого промедления она все-таки отказалась от теории обнищания. Она отбросила утверждение Маркса, что пауперизм развивается быстрее, нежели население и богатство. Она также сделала первые выводы относительно материалистического восприятия истории, выводы, которые сделали необходимостью перевести взгляд от классов к нациям. Она даже была вынуждена, но весьма неохотно, уделить внимание аграрно-социалистическому направлению. Нехотя пришлось признать, что существовала прослойка рабочих, которые не чувствовали себя пролетариями, но теперь, по крайней мере, социал-демократия приблизилась к проблемам национальной продовольственной базы. Но проблему перенаселения социализм не затрагивал никогда. Он, кажется, вообще не замечал тех социальных проблем, что проявились в Германии в 80-е годы XIX века. Он не видел массовой эмиграции и то, что немцы стали «народом без пространства» (так о немцах выразился Ганс Гримм). Немецкая социал-демократия с мальтузианскими рецептами, с отговорками о свободомыслии и свободе действий, с либеральными и совершенно несоциалистическими позициями умудрилась «справиться» со всеми трудностями перенасе-

ленной страны, если же кто-то из числа несоциалистов вспоминал, что подобные трудности существуют. Та же немецкая социал-демократия, которая ухитрилась понимать дарвинизм в пацифистском духе, никак не могла признать, что в природе имеется борьба за существование, в которой правым является победитель. Она никогда не допускала мысли, что может иметь место борьба наций, из которой немецкий народ мог выйти побежденным, хотя имел все права на победу, так как являлся народом перенаселенной и самой трудолюбивой страны. Немецкие социал-демократы не допускали мысли о том, что для решения проблемы перенаселенности требовались предпосылки к социалистическому и не социалистическому регулированию национальной и международной жизни. Да, это решение являлось именно социализмом, если социализм предполагает возможность общежития. Немецкие социал-демократы могли открыть подобный социализм даже в империализме, если бы они наблюдали за ним так же, как за капитализмом. Но они устранились от любых изысканий, которые могли установить социологическую правомерность империалистической экономики. Они не спрашивали себя никогда, да они даже не поняли бы постановку вопроса: не был ли империализм системой, призванной урегулировать производство и потребление в перенаселенной стране? Социалисты лишь повторяли, что он был системой эксплуатации чужих земель, что он действовал подобно капитализму ради прибыли. А может, в действительности он действовал на пользу собственного народа? Не он ли создавал в своей же переполненной стране рабочие места для людей, гарантируя им тем самым жизнь?

И все же империализм породил теорию, которая, минуя марксизм, привела пролетариат к убеждению, что обладание территориями являлось реальной возможностью для существования народа перенаселенной страны. Практическая, живая, политически действенная теория, которая по каким-то роковым и абсурдным причинам всегда была доступна только рабочим опустошенных стран, — Англии и Франции, до пролетариата перенаселенной страны, немецких рабочих она дошла с изрядным запозданием. В Англии в народе особо ясно ощущали, что власть важнее экономики. И только из власти происходит экономика. Власть может стать экономикой, но экономика не может производить на свет власть. Это были те идеи, к которым немецкий социализм всегда относился предельно отрицательно. Когда в трагичный день прозвучит типично немецкое: «Поздно» — то пролетариат в Германии осознает, что немецкий империализм мог бы стать тем укладом жизни, который дал бы естественный и национальный ответ на тот «социальный вопрос», о котором мы всегда только говорили. Вместо того чтобы учесть все действительные возможности, обманутый социал-демократией пролетариат чистосердечно верил в

историческое мгновение мирового масштаба, когда все страны станут одним государством, когда исчезнут противоречия между нациями и начнется исторический процесс складывания единой общности на земле, которая породит обслуживающую экономику и процветание масс. Чтобы обман, самообман и предвзятое мнение остались на одной стороне, а политическая действительность — на другой, немецкие социалисты не должны быть немецкими доктринерами. К ним принадлежали бы социалисты, которые смотрели вдаль и были бы выше на голову [нынешних социалистов]. Но у нас нет таких социалистов. Что удивительного в том, что немецкий социалистический народ оказался не готов к мировой войне, если социалистические вожди сами оказались не готовыми к ней.

Ни развязывание, ни ход мировой войны оказались не в состоянии что-то существенно изменить в этой интеллектуальной позиции немецкой социал-демократии. Вновь от немецких социал-демократов слышно жалобное «Поздно», когда у нас забрали колонии, к приобретению которых они относились столь враждебно. А вместе с ними мы потеряли источники сырья, страны для переселения, надежды 60 миллионов человек, которые теперь вынуждены ютиться на крошечном пространстве с жалкими продовольственными источниками. Но социализм до сих пор отказывается от проблемы заселения. Он отсрочивает ее решение. Он еще не хочет знать, но уже чувствует, что эта проблема обгонит классовое мышление и выльется в идею борьбы народов.

Теперь немецкий социализм выяснил, что в Германии должно быть 20 миллионов лишнего населения. Но он не допускает мысли, что эти 20 миллионов, вероятно, являются его собственными пролетариями, что они являются немцами, что в пролетарском народе пролетарием может быть рожден любой. Наоборот, он пытается развеять в нации все сомнения, которые только могли возникнуть. Немецким рабочим гарантируют, что в Германии хватит места для всех немцев. Даже приводят доказательства, что накануне войны среди нас проживали сотни тысяч поляков и итальянцев. Но не обращают внимания, что проблема заселения пересекается с проблемой образования. Эта первая двойная проблема имеет роковое значение. Наша народная школа, наша армейская служба, построенная на базе воинской обязанности, общая профессиональная (в особенности техническая) подготовка нашего народа привели к тому, что люди, которых у нас в изобилии как на фабриках, так и в селах, выполняли высококвалифицированную работу. Вследствие этого мы могли отдать неквалифицированную работу полякам, итальянцам и прочим безграмотным выходцам. Те 20 миллионов, которые являются в Германии «излишними» — это образованный пролетариат. Они слишком хороши, чтобы работать чернорабочими.

И мне думается, что эта проблема устраняется очевидным протестом, впрочем, не решается окончательно. Места для чернорабочих у нас — для выходцев из других стран.

Проблема народонаселения в Германии остается проблемой всех проблем: социалистическая проблема, если хотите. Если социализм экономически понят, то должен быть политически признан, а это:

— теперь собственно немецкая проблема. После того, как мы оказались отрезанными от всего мира, мы должны повернуть ее вовнутрь страны и там решить;

— так как ее решение невозможно в национальных рамках, то надо приблизить день, когда мы разорвем наши границы и будем искать ее решение снаружи.

VI

Опустошение победило. Перенаселение проиграло. И это только предварительный результат мировой войны.

Побежденным обещался справедливый мир. Сулился, обещался и торжественно гарантировался. Однако победители использовали мир, чтобы дать тем, кто и без того уже имел. Они раскрасили свои знамена эмблемами свободы, равенства и братства. Их истинным знаменем является мрачная торговля людьми и странами.

Победители не знают никаких проблем с населением. Они объединяют в своих странах всех, кто говорит на их языке. Исходя из этого, они владеют той страной, в которую могут послать этих людей. Они разделили мир между собой. Так как слово «аннексия» звучит не очень хорошо, а «сфера влияния» стала подозрительной, то они изобрели такое понятие, как «мандат», которое было санкционировано самой Лигой Наций. Только вот у них не хватает людей, чтобы управлять этими новыми владениями, чтобы извлекать из них прибыль там, где ее можно извлекать, чтобы направлять их по пути определенного прогресса, что обычно рассматривается как особая привилегия. Проблема населения у победителей — это явный его недостаток.

Надо признать, что англичане — нация предприимчивых людей с большими колониальными традициями. Они имеют в своем распоряжении где-то 50 миллионов британцев, шотландцев, ирландцев, которых они сосредоточили в англо-саксонской сфере влияния. Они мобилизовали все силы, которые только могли собрать. И если они сегодня попадают в неудобное положение, то это явно неудобное положение человека, который вынужден убраться со своих отдаленных застав из Персии, а Египту, Индии и Турции предоставить различные уступки. Но опыт, умное распределение и привлечение партнеров позволяют сохранить английское господство, а отпад отдельных территорий не



может стать политической предпосылкой для подрыва английского владычества.

Французы же, напротив, пребывают в полной растерянности от уменьшения населения. Они ведь более 40 лет стремились во что бы то ни стало сохранить свои 40 миллионов населения. Теперь, чтобы предотвратить грабежи черного французского населения, им предстоит произвести достаточное количество белых французов. А также они владеют половиной мира, которую им подарили англичане в качестве уплаты за мировую войну. Но самовлюбленный француз предпочитает жить во Франции, в Париже, полном удовольствий, где он может встречаться с иностранцами, которые будут любоваться французской столицей. Он даже не замечает, насколько отстала и опустошена его страна, с ее крошечным населением и малюсенькими домиками, в которых могут благоденствовать лишь рантье, но отнюдь не пионеры. У Франции не хватает людей, чтобы обновить свою старенькую страну, и тем паче нет людей, чтобы провести эту работу в дальних странах. Француз не был никогда колонизатором, даже не может быть империалистом, просто становится поработителем там, где случайно может проявить силу. Его беспризорные колонии просто место для хищнической эксплуатации людей. Он держит их в повиновении благодаря Иностранному легиону, который пополняется за счет европейских несчастий. На Рейне, чтобы нанести удар по Германии, он использует африканские части. Он стремится политически подчинить самый сильно населенный ландшафт самой слабо населенной европейской стране. Не пришел день (а он обязательно придет), когда должен быть положен конец этому безумию, этим извращенным по своей природе мирным условиям, созданным Версалем.

Проблема населения возникает везде, где имеются народы, чья территория по сравнению с общим населением слишком мала, чтобы позволить жить этому народу, а также не имеется возможности жить за пределами данной страны. Она возникает повсюду, где постоянно растущее население вынуждено потреблять из-за границы продовольствие и сырье, а также готовые или полуготовые патенты, в которых она нуждается, так как обладает удивительным трудолюбием. Проблема населения расширяется дальше. Из демографической она превращается в экономическую, а затем в политическую. Это проблема всех изолированных или заблокированных стран. Она коснулась всех наций, которые по итогам мировой войны потеряли возможность свободного размещения человеческих ресурсов. Россия — жертва другого рода. Она обладает достаточным пространством для размещения своих миллионов, но ей перекрыт доступ к ближайшим и стратегически важным соседям. Чтобы вновь войти в мировую торговлю, контролируемую капиталистическими державами, она вынуждена идти

на экономические меры, которые угрожают ее национальной независимости. От этой проблемы страдает даже Италия, которая вынуждена направлять поток эмигрантов в Южную Америку, в то время как у нее под боком лежат Тунис и Алжир, словно специально созданные, чтобы справиться с итальянской перенаселенностью. Но они принадлежат Франции, которая не знает, что такое излишнее население.

Проблема населения объединяет все побежденные страны. Везде, где она не решена, народ можно считать побежденным. Это всемирно-социалистическая проблема. Поймет ли, наконец, немецкий социализм, что довоенный немецкий империализм был одной огромной попыткой решить эту проблему? Империализм закончился — началась эмиграция. Конечно, немецкий империализм был поверхностным и несовершенным решением проблемы перенаселения, но он, по крайней мере, давал всем слоям немецкого народа, который мы сейчас выталкиваем из страны, возможность жить в Германии. Он развивал промышленность, торговлю, транспорт, которые позволяли находить 60 миллионов рабочих мест в стране, чье естественное пространство рассчитано лишь на 40 миллионов человек. Он совершенствовал технику и производство таким образом, что создавалась занятость населения, хотя человек при этом уродовался изнутри. Он задумывался об увеличении и расширении наших колониальных владений, которые на тот момент были весьма скромны. Он думал о будущем.

Когда империализм проиграл войну, то ее проиграл и социализм. Теперь на помощь должен был прийти Маркс. Однако Маркс имел веские основания, когда оставлял проблему населения без внимания. Именно на этом теперь марксизм потерпел неудачу. Он отталкивался от интернациональных, а не национальных предпосылок. Социальная проблема решалась для классов, а должна была решаться для отдельных наций. Если нет ответа на социальный вопрос, то не имеется ответа и на национальный вопрос, а стало быть, остается без ответа немецкий вопрос, который стоит сейчас перед Германией на первом месте. Английские рабочие могут жить, так как государство обладает волей заботиться о них. И французский народ может жить, так как он обладает пространством непропорционально большим, чем все население Франции. Однако русский народ не может жить, так как не знает, во имя чего он трудится и для чего должен жить. Не могут жить немецкие, итальянские и другие континентальные рабочие, так как они не знают, где им работать и как им жить.

Эпоха Просвещения рассказала нам обо всем, кроме наших условий жизни. Она теперь снова готова помочь нам запоздалым советом. Неомальтузианство учит нас, как мы должны привести численность населения в соответствие с площадью территории. С типично немецкой аполитичностью Вильгельм Домс, который маниакально иссле-

довал проблемы перенаселенности, пришел к выводу, что преднамеренное сокращение населения является культурным достижением. Он даже составил теорию, в которой нашел эстетическое оправдание для крестового похода против «численной экспансии». Ненависть к кишащим человеческим массам позволяла ему говорить о том, что когда-то будет совершенно неважно, кому принадлежит земля, главное, как она выглядит. Но кто был тем, кто испохабил землю? Кто напичкал ее извращениями, которые под названием кича перетащили из XIX в XX столетие? Это были деятели искусства. Деятель искусства стал человеком кича. Мы имеем все основания быть недоверчивыми, если он раскается и захочет исправить все, что он сделал плохо. Действительно: не собрал ли он все, что хотел, в чудовищных представлениях о парках защиты природы, в языке эсперанто? Немецкий империализм, возможно, сделал бы наш мир формально могущественным. Исход войны, ни причин, ни последствий которой деятели искусства не поняли, отобрал у него эти величавые формы. Художник становится весьма скромным и ремесленным. Он живет в условиях жестокого закона отбора, которому подчинены все перенаселенные нации. Он прекратит быть роскошным явлением в роскошной культуре. И только во время этого утомительного, но благодатного поворота он вновь станет истинным деятелем искусства. Он не должен превращать это в манию величия, но понимать, что ОН, который всегда следовал за историей, сам может оказывать влияние на нее.

Мы имеем еще больше причин быть недоверчивыми, если эстеты начнут со своей легковерностью вмешиваться в политику. Они полагают, что наш разум в состоянии обустроить природу. Они неисправимые придурки — таковыми и останутся. Они могут привлекать статистику, предлагать научным институтам изучить отношения народов, серьезно заниматься подсчетом населения Земли, на основании которых должны регулироваться взаимные претензии наций друг к другу, ожидать, что международный пацифизм станет залогом преодоления всех трудностей, полагать, что проблемы решит межгосударственное регулирование, которое со временем превратится во всегосударственное, что народы проявят прекрасное понимание друг друга, проводя морально-демографическую политику. После Версальского договора подобные взгляды можно трактовать только как немецкий самообман. Исходя из нашей политико-экономической данности, более серьезного рассмотрения заслуживают усилия по привлечению солдат и безработных и освоению отсутствующего у нас пространства через мелкое сельское хозяйство. Создание поселений из ветеранов войны — вполне естественное явление. Но эти меры в глобальном масштабе возможны лишь у победившего народа, который захватил территории, а не у проигравшего. Но все-таки земля в Германии является ценной, ее

возделывание предстоит не сегодня, не завтра, а через некоторое время. Несомненно, счастлив тот, кто живет в стране, где можно возделывать плодоносную землю и создавать поселения для лишних людей, в которых можно работать, решая тем самым проблему перенаселенности. Только мы не представляем, как можно создать поселения, повсеместно переделав нашу индустриальную жизнь в аграрную. Идея о поселениях не волнует массы. Она является частным, в определенной мере даже корпоративным, но отнюдь не социалистическим решением проблемы народонаселения. Она всегда остается решением для отдельных личностей, но не для нации в целом.

Наоборот, пример поселений показывает, что мы не можем решать проблему народонаселения полумерами. Речь идет не об устройстве людей, которое всегда оставалось случаем, счастливым случаем, исключительным случаем. Речь скорее идет о свободе движения нации, которую мы потеряли. Почему при всем том воодушевлении, которое существует среди людей, идея поселений сталкивается с такими немалыми трудностями? Потому что это является вынужденным решением, а отнюдь не свободным выбором. Вычислили, что в Германии имеется место еще для 5 миллионов человек. Даже если эти огромные цифры теоретически являются правильными, то с практической точки зрения они являются неверными. Они психологически неверны. Они отталкиваются от оседлого и непредприимчивого человека. Они не считаются с эмигрантами и авантюристами, которые живут в каждом переселенце. Человек, который не находит себе места в свой стране, покидает ее. Он хочет жить в совершенно иных условиях, нежели те, что оставил у себя на родине. Он всячески избегает тесноты. Он стремится менять участки до тех пор, пока не найдет определенное место, на котором он остановится. В Германии же поселение — это шаг отчаяния. Даже если бы нам удалось заселить всю Германию до последнего угла, тогда мы стали бы всего лишь европейским Китаем. И если бы мы поняли, как сделать из этого европейского Китая чудо-сад, то мы сделали бы за счет наших самых лучших и сильных инстинктов, которые не присущи расторопному оседлому китайцу, — а именно стремления к рискованным предприятиям и захватам. Перед войной больше всего мы страдали от широты натуры, которая тогда нам была противопоказана. Теперь мы прозябаем в предназначенной нам мелочности.

Неомальтузианство дает нам совет, который рекомендует сокращать количество детей. Это не смелый совет. Природа сама захотела перенаселенности. Она сама должна решить свою проблему. Неомальтузианство хочет посмеяться над нами, когда ссылается на слова Мальтуза: «Благосостояние сокращает количество потомков»? Сегодня благосостояние не является нашим уделом. Сегодня мы народ,

который имеет 20 миллионов «излишнего» населения. Пролетариату воспрещено эмигрировать. Эмиграция заказана и нации. И все же наши люди — это наша последняя надежда. Они — единственная сила, которой мы еще обладаем сейчас. Они являются настолько большой силой, что могут поддерживать Германию даже тогда, когда не собраны вместе. Мы не могли сделать что-то более глупое, чем добровольно уменьшить эту силу. Мы все еще являемся 100-миллионной народностью. Вполне может быть, что в будущем 50 миллионов немцев будут проживать в далеких странах и чужих краях, и только вторые 50 миллионов — непосредственно в Германии. Но это разделение предполагает титаническое перенесение народа, для которого Версальский мирный договор будет самым незначительным препятствием. Между тем все немцы соберутся в Германии. Они прибудут даже из-за океана. Придут из уступленных, насильственно отобранных, и аннексированных областей. Когда свершится это единение, то его результаты будет сложно предсказать. Подготовится новое великое переселение народов, которое в один миг станет неудержимым, в котором внутреннее движение выплеснется наружу.

Немцы пришли в движение. Они блокированы. Они заблуждаются. Они ищут пространство. Они ищут работу и не находят ее. Мы стали пролетарской нацией.

И на этот раз имеется интеллигенция, которая низведена ниже подобающего ей уровня жизни. Но интеллигенция обладает волей, силой и желанием сопротивляться. Она ведет за собой. Она подсказывает выход из положения, политический выход, национальный выход. Постепенно она определяет сознание масс, которые опускаются вместе с ней. Но она не думает о классах. Она думает о нации. Она думает о 60-миллионном народе, которым сейчас мы являемся в Германии. И она предлагает ему собственные теории борьбы. Массы вновь политизируются. Они национализируются. Под давлением оков они наступают, вне зависимости от того, хотят ли или нет их вожди. Они все яснее ощущают истинные причины этой неволи, и все яростнее выступают против поработителей. Они выступают против своих противников, имеющихся в собственной стране. Против действительных и предполагаемых врагов. И никто не знает, не ведет ли к нашей свободе путь гражданской войны, когда 30 миллионов поднимутся против 30 миллионов. Но за всеми противоположностями, наряду с ними и среди них в нашей перенаселенной стране люди направляют удар в том направлении, целью которого является пространство, в котором мы очень нуждаемся.

Есть свой смысл в том, что в мире есть наша кровь, которая течет по артериям как опустошенных, так и перенаселенных стран. Это выносит наше мышление за пределы Германии. Это выносит наружу наше беспокойство, которое стало нашей судьбой. Это снимет с на-

шей страны чары, наложенные старыми народами, которые хотели наслаждаться спокойствием за наш счет.

Мы не являемся народом, пребывающим в рассеянии. Мы — народ, пребывающий в стеснении. И то крошечное пространство, которое стесняет нас, выталкивает нас наружу. Это является безмерной опасностью, которая исходит от нас.

Не хотим ли мы из этой опасности сделать собственную политику?

VII

У каждого народа — свой собственный социализм.

Маркс в корне разрушил немецкий социализм. Он не желал его развития. Он душил любые зародыши национального социализма, которые можно было найти у Вильгельма Вайтлинга, а в несколько иной форме у Родбертуса. Маркс действовал так, как и полагалось действовать людям такого рода: безжалостным препараторам европейской экономической структуры. Он был безродным космополитом, который стремился определить бытие без сопричастности к происходящему и так все испортил, что мы теперь должны показать его действительную величину.

У каждого народа — свой собственный социализм.

У русских есть такой. В России новый военный строй возник из социализма русской революции. Русский айсберг много плавал и приплыл к красному режиму. Инстинкты русских босяков, которые, грезя и мечтая, проходили по Волге и Днепру, охватили человека из массы. Теперь он кормил себя, блуждая и работая. Большевизм нанес удар по Индии и стал наступать на Польшу. Это было русское явление. Народ воспринял глубочайшие русские традиции и вновь повернулся лицом к Средней Азии. Это было возвращение русских событий, когда воля, направлявшая политическое движение, находилась в Кремле у белых царей, но имела голову татарских деспотов. Азиаты были гвардейцами Кремля, а китайцы полицейскими ищейками. Когда те миллионы, хотевшие мира и только мира, прекратили войну, были сформированы новые армии. Пришло время, когда из всей промышленности страны, простаивавшей во время революции, заработали только заводы, выпускавшие боеприпасы. Русский человек склонился в безропотном послушании перед милитаризмом новой автократии. Он воспринимал бюрократическую автократию царизма, который был петербуржским, а стало быть, западническим, как чужую и враждебную в отношении страны силу. Поэтому он освободился от нее. Но автократию социализма он пожелал сам. Поэтому он следовал за нею. Большевизм был русским и только русским явлением.

У каждого народа — свой собственный социализм.

Немецкий рабочий все еще не верит этому. Это по-немецки. Перед войной он слишком часто и слишком долго вновь и вновь слышал радостные послания об объединении пролетариев всех стран. Они воспринимали это как действительность, веря в каждое произнесенное им слово. Их уверяли, что пролетарии повсюду имеют одни и те же классовые интересы. Они слышали, какую часть земли населяют пролетарии, и про то, что пролетарии разных стран имеют больше общих интересов, нежели соотечественники, представляющие другие классы. Они пошли на войны, так как последовали за своей природой, которая продолжала жить в них, а также благодаря дисциплине, да и потому, что были так воспитаны. Это тоже по-немецки. Они закончили войну собственным способом, когда посчитали, что все утрачено, когда в них проник голос искусителя, обещавший награды, а для их народа справедливый мир. Вот это совершенно по-немецки. Чрезвычайно по-немецки. Тогда немцы заблудились. Они вообще больше ни во что не верят. Они не верят даже своим вождям. В них сохранился только тайный идеализм, который не хочет признаться, что его ввели в заблуждение. Но признаться надо. Немцы должны сначала понять, что они впервые были порабощены инородным капитализмом. После этого признания они должны действовать.

У каждого народа — свой собственный социализм.

Если сегодня вспомним дискуссии на международных конгрессах социалистов, то поймем, какому самообману предавался немецкий рабочий класс. В те дни Эрве был рупором самого неистового антимилитаризма. Это происходило в немецком городе, когда он докладывал слушателям о достижениях французского антимилитаризма, который морально обезоружил французский Генеральный штаб. Он уверял, что развязывание войны неизбежно привело бы к восстанию немецкого пролетариата. Это не помешало тому же Эрве стать пламенным националистом, а французскому пролетариату до самого конца сражаться против Германии. Это было вполне по-французски. В том же самом немецком городе английские социалисты отклонили план саботирования грядущей войны посредством военной забастовки, в которой должен был принимать участие пролетарский класс. Они обосновали это тем, что так или иначе английское правительство не в состоянии вести войну без поддержки английского рабочего класса. Но английский рабочий класс дал возможность своему правительству вести подготовку войны против Германии, дабы затем объявить, что оно выиграло эту войну. Это по-английски.

У каждого народа — свой собственный социализм.

Немецкий социализм проявил однажды честолюбие, пожелав стать классическим социализмом, связать теоретические разработки с практическим применением и создать справедливое равновесие. Но он никогда не мыслил внешнеполитическими категориями. Он никогда не размышлял о нациях. Он никогда не думал, что мог бы поддержать требования молодых народов и перенаселенных стран, где было слишком много населения и слишком мало земли. Он не сказал себе, что уравнивание должно происходить не столько между классами, сколько между нациями. Он не видел, что именно в этих проблемах крылись предпосылки любого социализма, что именно они должны учитываться в первую очередь. Он не спросил себя, что должны были делать с доходами от растущей промышленности стиснутые в национальных рамках народы, которые фактически не имели свободы действий. Он не хотел признавать социализированный империализм, который мог создавать новые рынки сбыта, а пролетариям давать работу. Сегодня немецкий народ лишился всех этих возможностей. Сегодня мы действительно являемся народом, обладающим «излишними» 20 миллионами населения, которые не могут жить. Но вследствие этого немецкий социализм овладел народной профессией, которая ему досталась не от Маркса, а от поражения в мировой войне: идти впереди всех угнетенных наций и показывать им предпосылки, при которых они могут существовать.

Сегодня мы говорим уже о немецком социализме. Мы подразумеваем не демократический социализм, который после нашей катастрофы нашел убежище в партийных структурах, и не последовательный марксистский коммунизм, который все еще не хочет отказываться от мысли о классовой борьбе. Под немецким социализмом мы понимаем корпоративную идею о государстве и экономике, которую, скорее всего, в жизнь должен воплотить консервативно настроенный революционер. Немецким социалистом мы называем Фридриха Листа, так как его внешнеполитическая концепция базировалась на национальной политэкономике. В окружении внутриполитических идей мы возвращаемся к профессиональным соображениям барона фон Штайна, которые отсылают нас к идеям советников и средневековой цеховой организации. На немецкий социализм оказывают влияние как давние традиции, так и совершенно молодые концепции. Например, идея совместного хозяйства указывает на то, что жизнь будет протекать в общественной ячейке. Немецкий социализм не является атомарным. Он является органичным, дуалистическим и полярным, что соответствует одной стране, которая сама во всех отношениях (от географического до трансцендентного) является дуалистическим явлением — при всех противоречиях жизнь в ней должна быть уравновешенной. Немецкий социализм предполага-

ет человека, который может восприниматься по-разному, а не только как западный человек. Мы не хотим, чтобы различия разъединяли. Мы хотим, чтобы они связывали воедино. Социализм является для нас как укоренение, дифференциация, иерархия.

Марксизм же признает только социализм, который является интернациональным. Однако этого интернационального социализма не существует. Его не было до мировой войны. После мировой войны его нет тем паче. Немецкий рабочий класс стал жертвой своей марксистской веры. Он должен стерпеть, что осталось невыполненным обещание, которое сулило пролетариям весь мир. Немецкие рабочие должны довольствоваться тем, что пролетарии всех стран подумали прежде всего о собственной стране, дабы в случае победы получить «правильно понятый интерес», который скептик Маркс считал «принципом всей морали». Они заключали мирный договор, который должен был увековечить эксплуатацию наций, коя планомернее всех применялась к немцам.

Проблема социализм осталась нерешенной.

Одно из достоинств человека состоит в том, что он принимает ответственность за экономику. Поэтому на этой земле, о которой он должен заботиться, на него возложена задача, чтобы люди жили, могли работать, дабы обеспечить свое экономическое существование, чтобы урегулированными оказались потребительские отношения, товарообмен и денежное обращение, устроенным оказалось вытекающее из классовых различий хозяйственное неравенство, чтобы справедливо были распределены права и обязанности. В Германии нет государства, которое бы могло гарантировать все это. Революция, которая стремилась построить демократическое государство, умудрилась вопреки намерениям не создать социальное государство. Немецким социалистам не осталось ничего иного, как подумать, какие силы помешали им решить проблемы в соответствии с марксистскими принципами. Если они подумают, то могут прийти к выводу, что этой силой был либерализм. Либерализм, заложенный в социализме. Либерализм, который здесь, как и повсюду, оказывал дурное действие. Это был неподвижный, несговорчивый, рационалистический либерализм, который из-за слов о разуме не видел действительности. Мы не знаем, кто будет решать проблемы социализма, которые существуют до сих пор. Не думаем, что в их решении может помочь немецкий коммунизм, который до сих пор (как и ранее) цепляется за Маркса, хотя само это движение, уже давно ставшее диковатым и специфически немецким явлением, сможет помочь в их решении. В любом случае мы знаем и верим, что немецкий социализм, который мы подразумеваем, должен поднять эти проблемы на уровень выше, нежели марксизм. Туда, где проблемы решает не социальный класс, а нация, которая делает это в

собственных интересах. В итоге никто не удивится, что эти проблемы исчезнут, как и социал-демократические доктринеры, место которых должен занять истинный немецкий социализм.

Сегодня мы превосходим наших противников только в наших проблемах: немецкие проблемы немецкого социализма, перед которыми было наше поражение и мимо которых прошла революция. Здесь возможно только революционно-консервативное решение. Есть еще чисто духовное превосходство. Оно самое большое из всех имеющихся. Когда мы думаем о наших противниках, то они демонстрируют нам полнейшую безыдейность. Победа, принесшая им насыщение и удовлетворение, оставила им уверенность в собственной правоте и необратимости их политических и экономических взглядов. Они проявляют самодовольство, несмотря на страшную экономическую и, конечно, политическую опасность, которая угрожает их странам. Это была бы трагедия, это была бы катастрофа, это была бы гибель, если бы наши старые проблемы оказались втиснутыми в новую немецкую проблематику. Но на этот раз это должны быть практичные проблемы — экономическая политика, вопросы наших подавленных и стиснутых сил, которым не хватает свободы действия. Но если во всей этой неразберихе нам удастся решить эти проблемы, и это решение будет действительным, а не мнимым, непреходящим, то мы сможем создать новый государственный строй и экономический порядок, чей пример будет обладать для других народов огромной притягательной силой, против которой наши противники в конце концов будут совершенно бессильны.

Социализм начинается там, где кончается марксизм. Немецкий социализм призван, чтобы очистить духовную историю человечества от либерализма, зловещей силы XIX столетия, которая в глубине подточила и разложила социализм, подобно тому, как он подтачивал и разлагал любую политическую идею и любое мироустройство. Весь либерализм Запада все еще прячется в парламентах и выдает себя за демократию.

Немецкий социализм не является первейшей задачей Третьего рейха. Он должен быть его фундаментом.

ЛИБЕРАЛ

Либерализм сведет народы в могилу.

I

В стране существует подозрение, что нацию обманули.

Это не только обман Версаля. Это и так прописная истина. 14 пунктов Вильсона стали 440 статьями мирного договора.

Оказалось, что обман был настолько стар, что происходил скорее из злоупотребления, которое привело в движение идеологию, коя, чтобы отстоять интересы, работала с идеями в сфере политики. Это злоупотребление позволило нашим противникам гарантировать себе преимущество, как будто бы эти высокие понятия убедили немецкий народ забыть войну ради мира, хотя она еще не была проиграна. Лучше всего было, если бы нашлись немцы, которые смогли огласить эти понятия, которыми мы могли соблазниться. Думаем ли мы о них как о мошенниках или же как об обманутых, мы снова представляем их как обманутых обманщиков, которые оказали влияние на свой народ. Здесь мы всегда будем сталкиваться с определенным миром представлений, в котором принципы используются лишь для того, чтобы заключить сделку.

Различие состояло лишь в том, что они умели с пользой для себя передвигаться по этому миру представлений, в то время как мы оказали им услугу, последовав за ними в этот мир, чем причинили себе же вред. И это было один и тот же мир представлений. Повсюду проявляются его отличительные черты. Это признаки духовной заразы, носители которой обычно защищаются, скрываясь под свойственным им безразличием, в то время как подвергшийся нападению гибнет. Это вредоносный мир либеральных представлений, который приводит к разложению, который распространяет моральное заболевание среди политических народов. Пропорционально тому, насколько нация попала под его господство, он калечит ее характер.

Мы, конечно, не можем представлять себе этот либерализм так, как если бы он был связан с конкретной партией. Он позаимствовал свое название у общеевропейской партии. Однако впоследствии он оказал губительное влияние на все партии, стер однозначность изначальной партийной позиции, внес в них двусмысленный, сомнительный, «заразно-либеральный» элемент. Случилось так, что он породил известный тип деятельного партийного лидера, который больше не взывает к непреклонным убеждениям, но видит свою задачу в скользком посредничестве, которое позволяет ему высказаться.

Либерализм — свобода не иметь никаких убеждений, но утверждать при этом, что именно подобный подход и является главным убеждением.

II

Когда началась мировая война, страницы западных газет пестрели заголовками «La liberté est en jeu!», (фр. «Свобода в опасности!») дезориентируя тем самым мировое общественное мнение. Специфически вопрос стал достоянием общественности. Но теперь имелось мировоззренческое обоснование. Этот вопрос имел нимб. Но наши

противники стремились не к свободе, а к власти. Если проверить соответствующее мировоззрение, то можно сделать странное открытие, что политическая свобода, которую с демократическим обоснованием требует либерализм, в либеральных странах принадлежит вовсе не народу. Народ скорее назойливо опекается определенными обществами, которые и обладают свободой, а потому господствуют. Что же понимают под свободой эти определенные общества? Прежде всего, это свобода действий и интриги, в которых нуждаются члены этих обществ, дабы иметь возможность принадлежать этому кругу. Затем это свобода парламентских действий, подтвержденная конституцией, что обеспечивают их могущество. И, наконец, это по возможности максимальное поле деятельности по свободе безнадзорных передвижений, которая позволяет им прятаться за удостоверение народного избранника, дабы они извлекали личную выгоду из собственного народа и других наций. Нужно добавить, что либерализм работает на публику, когда ссылается на свободу! Он использовал развязывание мировой войны для одурачивания. Это — первый обман.

Когда наши противники оказались не в состоянии сломить сопротивление, которое мы противопоставили натиску их войск, они подорвали его из демагогической засады, дабы немецкий народ сам поддался искушению. Кроме всего прочего, они использовали понятие прогресса, которое легко перепутать с понятием свободы. И если бы народы, обозревая свои страны, сравнили успехи в труде, то это сравнение говорило бы в пользу Германии, а Запад был пристыжен. Но если поставить вопрос о парламентаризме, то германская внутренняя политика могла бы показаться отсталой. Немецкий народ уверяли в этом снова и снова, это привело к тому, что под этим давлением его понимание государства было нарушено. Но ему почему-то не сказали, что вместе с этим пострадает и его экономика. Выдвигались пацифистские и антимилитаристские идеи, которые весьма искусно, по меньшей мере эффективно, пытались сделать немецкий народ благоразумным. Это связано с причинами, которые в итоге лишили немецкий народ благосклонности других наций, которые все объединились против него одного. Они тесно переплетены с внутриполитическими условиями, в которые вмешивались внешнеполитические цели, с вопросами немецкой конституции и даже прусского избирательного права. У союзников совесть нечиста, чтобы начать, пусть даже очень осторожную, дискуссию о причинах возникновения мировой войны. А надо рассказать о причинах политики изоляции, которая проводилась в отношении Германии, с сопутствующими фактами первого объявления войны. Но союзники отмалчиваются, когда им напоминают о факте первой мобилизации, в которой, как мы помним, были уличены русские. Во время войны, когда тяжелее всего приходилось Германии,

когда год войны следовал за годом, и в итоге случилось непредвиденное, они были куда более красноречивыми. И они достигли сначала очаровательного, затем страшно запутанного воздействия слова, которое дошло до нас из Белого дома в виде торжественного послания: «Должен быть мир без победы». Эти слова достигли нации, которая не хотела войны и которая, собственно, не знала, что ждет ее в будущем. Посреди войны немецкий народ потерял единство относительно целей войны, которые возникали для нас только в ходе военных действий. В то же время эти цели были предельно ясны нашим противникам. Они договорились о них в своих тайных соглашениях. Они провозглашали их общественности как само собой разумеющиеся. Немецкая нация при каждом удобном случае сообщала, насколько неожиданной для нее оказалась эта война, вину за развязывание которой возложили именно на немцев. Внезапно она увидела возможность вновь восстановить мир, которым она прежде была так довольна. Слова о «мире без победы», звучавшие столь привлекательно, обрушили на нее не только нужду, страдания и увеличение жертв, которые народ выносил с героической стойкостью, чувством собственного долга и присущей ему доверчивостью, которая позволяла нашим людям исполнять все, что рекомендовали ей советчики, теперь в том числе и из-за рубежа. Они считали благоразумным даже то, что таковым не являлось. Не приобрела ли эта бессмысленная война дополнительный смысл, если она вела к примирению народов, давая каждому народу возможность жить, во всяком случае не забирая ее? Легковерность, с которой себя сначала скомпрометировали только немецкие демократы, собравшие в своих рядах все слабохарактерные и либеральные элементы, позволила начать происки, приведшие в 1917 году к окончательному намерению заключить мир. Все та же доверчивость дала возможность действовать Нортклиффу, чья пропаганда была ориентирована на всех предательски настроенных, революционных элементов, которые считали себя социалистами, прогрессивными людьми, но по сути это были либеральные прозападно настроенные элементы. Только теперь они попали в эту когорту не из-за либеральной глупости, а по причине либеральной преступности. Легковерность и предательство стали предпосылками событий, которые произошли в 1918—1919 годах. В итоге мы получили насильственное свержение монархии, условия перемирия, выдачу союзникам военного флота, сокращение торгового флота и самый страшный самообман — признание вины за развязывание мировой войны. Только посредством уступчивости и сговорчивости мы надеялись добиться более благоприятных условий при заключении мира. Это был второй обман.

Прошло некоторое время, прежде чем миротворец разоблачил себя как типичного либерала, которым он, в сущности, и являлся.

Слова о «мире без победы» он говорил накануне нашей подготовки к миру в 1917 году. Но когда мы пошли по пути, по которому нас хотели направить, эти слова больше не повторялись. После краха 1918 года, когда враги достигли своей цели, эти слова уже не имели смысла. Сейчас абсолютно все равно, верил ли Вильсон в смысл произнесенных им слов, или же он высказал их в тот момент, когда еще верил, что те народы, которым желал успеха, не могли добиться «мира с победой». Но что нам не все равно, так это заявление, сделанное в весьма либеральной среде либералом, который, прячась за оговорками, с самого начала сформулировал цель, которая была достижима. Вильсон все-таки обозначил направление. Когда он направлялся в Европу, то вез в своем багаже тщеславие и поразительное упрямство. Однако, оказавшись среди государственных деятелей, его роль третейского судьи воспринималась настолько же раздражительно, насколько благодарно ранее приветствовали его посредничество. И теперь оказалось, что он не был великим, проницательным, непоколебимым человеком, который готов уронить небо на землю, но не изменить своему слову, тем самым спасая мир. Вильсон прекрасно понимал, что теперь на карту поставлены не только политические, но и идеологические интересы. Проблема всемирного разоблачения или неразоблачения либерализма, который нашел свое живое воплощение в его личности и американском народе. Он должен был принять или отстраниться от него. Если либерализм взял слово и если Вильсон, который уклонился от мирного посредничества Папы Римского, дабы появилась возможность создать собственную Лигу Наций, придерживался высказанных идей, то он должен был использовать окончание мировой войны для умиротворения народов. Но когда немецкая революция положила конец войне, когда «освобожденный» народ оказался в кольце «освободителей», то уже никто не вел речи об обещаниях, данных Германии. Либерализм все меньше говорил об идеалах. В Версале шел торг лишь о той линии, которую нельзя было нарушать, дабы не вызвать обвинений в свой адрес. Или, может быть, с ней можно было не считаться? Вильсон в некоторой степени предотвратил грабеж. Сегодня нам жаль, что он это сделал. Он лишь только отложил тот процесс, который все равно должен был начаться. В определенной степени Вильсон оказался либеральнее своих английских и французских коллег. Но он прибегал к полумерам. Он проявлял несговорчивость только в том, что касалось толкований, отклонений и нарушений его предварительных соглашений. Особенно в части того, как они должны были применяться. Он с трудом протискивал либерализм в либеральные ворота. Возможно, он хотел бы со всей серьезностью отнестись к либеральным принципам, но когда он не проникался ими, то довольствовался тем, что хотя бы формально придерживался их. Но всегда наступает

момент, когда либерал выходит из себя и стремится осуществить свои намерения. Осуществить с холодом, с железной хваткой, с беспринципностью, которая кажется ему самой выгодной тактикой. Так делал Клемансо, для которого на протяжении всей его долгой жизни либерализм был лишь уловкой, которую он применял, чтобы по самым незначительным причинам расправиться со своим личным противником. Даже постарев, он остался жестким волевым человеком, который не упускал свою добычу. Так же делал Ллойд Джордж, чей либерализм крылся в свойственной ему от природы подвижности. Она позволяла ему не только посредничать, но и при необходимости легко менять свои взгляды. Он не считался с возникающими трудностями, когда речь шла об английской выгоде, после чего с успехом возвращался домой. Вильсон не поднялся бы против этих двух игроков. Он позволил им выиграть свою игру. И он пошел на подлость, приняв простодушный и самодовольный вид, будто бы он сам одержал победу. Это был третий обман.

Мир принес людям не свободу, а порабощение. Он не дал им настоящего мира.

Политические деятели в Версале бессовестно заявляли, что итогом их работы стало соблюдение справедливости и следование пути прогресса.

Эта наглость изобличила их. Этот обман был раскрыт. Государственные деятели в Версале имели политическую власть, которой они были обязаны беспринципностью, возведенной в ранг принципа. Это типичная черта либерала — злоупотреблять понятиями, использовать их как средство и скрашивать ими свои цели.

III

Сегодня либерализм в Германии находится под подозрением. Его подозревают в системе. Его подозревают в существовании сети с ловушками, которая раскинулась над всем миром, а теперь в ее ячейках запутается и Германия.

До сих пор существуют подозрения, относящиеся к масонству. Структура, присущая тайным обществам, и мировые принципы братства сближают его с либерализмом. Обращает на себя внимание тот факт, что накануне войны масонские силы в целях борьбы против Германии заключили «сердечное соглашение», а в годы войны договорились о ее уничтожении. Стоит также обратить внимание на тот факт, что большинство политических деятелей, собравшихся в Версале, были масонами. Чтобы приоткрыть завесу тайны, которая окружает масонство, чтобы раскрыть связи, которые можно установить между всем, что когда-либо тайного и загадочного су-

ществовало в человечестве, пролистаем масонскую историю назад. Спросите себя, по каким причинам масонские ложи делят людей на посвященных и непосвященных? Вероятно, это какие-то политические основания? Предполагается, что истоки масонства уходят корнями в египетские и элевсинские мистерии. Масонов выводят также от друидов и ассасинов. Можно проследить след, который ведет от рыцарских орденов к розенкрейцерам, затем и иллюминатам, а от тех к братьям из масонских лож. И, наконец, надо выяснить вопрос о темной деятельности, которая велась с 1717 года, когда была учреждена Великая английская ложа, которая предшествовала французской революции 1789 года, равно как и русской революции 1917 года и немецкой революции 1918 года.

Однако все эти попытки построения генеалогического древа являются лишь временной мерой. Они не помогут нам в познании общих мировоззренческих принципов, напротив, они собьют нас с толка многочисленными противоречиями, предлагая сравнивать мнимые позиции. Только поверхностный подход может привести к наблюдению, что всегда имелись тайные союзы, чья сущность предполагала похожие формы, и прийти к выводу, что они должны иметь сходные цели. Скорее они имели противоположные цели. Они не были постоянными даже у масонства. Но это уже не так бросается в глаза, а потому ставит перед нами вопрос, не является ли та подозрительная поспешность, легкость и стремительность, с которой масонство приспосабливается к новым условиям, указанием на его характерные особенности духовных установок, которые затем повторились в либерализме?

В истории содержатся эти указания. Если пролистать историю масонства, то поймем, что изменчивость принципов предполагает совершенно определенный тип человека, в котором мы узнаем либерала. Человека с размытым складом ума, который либо больше не следует своим принципам, либо обычно не считается с ними. Человека, который, во всяком случае, не прилагает ни малейших усилий, он поступился ими. Эта позиция окупается, и при этом он считает ее правильной. Подобный отказ создает видимость, что существует установка, будто бы масонские ложи в целом изначально были полностью аполитичны, что, однако, длилось недолго. Политика стала главным, особым и излюбленным занятием. Существует также допущение, что раннее масонство не всегда занималось просветительной политикой, как это можно было ожидать, если взглянуть на основные принципы масонских воззрений. Напротив, масонство в виде усердных и таинственных шотландских братьев, оказавшись во Франции, стало проводить папистскую и якобитскую политику. Впоследствии, после длительного периода господства вигов, а также при первых признаках разложения парламентаризма, ложи снова стали проводить ли-

беральную политику, которой они дали исключительно либеральное название. Чтобы сохранить власть, они пользовались ею конституционными средствами. Подобное изменение принципов казалось благоразумным. А почему не надо было делать благоразумных шагов, если это было выгодно? Казалось, что подобный шаг был оправдан самими обстоятельствами. Подобная ссылка на обстоятельства должна была оправдать любой отказ от принципов. Масоны учили «понимать» эти обстоятельства. В этом заключалась бесхарактерность доктринеров, которые не нуждались даже в самой доктрине. Подобное поведение выдавало в них осторожность преступников, которые заранее заботились о соответствующем мировоззренческом оправдании, которое, правда, весьма непоследовательно скрывалось от противников. Оно готовилось скорее для того случая, когда они сами однажды должны были быть привлечены к ответственности. Так заявила о себе система бессистемности, которая вела мир через трудно осознаваемые условности к цинизму и релятивистскому скепсису.

Между тем масонство и дальше развивало мнимую логику рационализма, приходя к выводу, что последовательным являлось то, что было выгодным, а потому вполне логичным. Почему же ложи, которые возникли как выразительницы христианской человечности, не восприняли нехристианские идеи, если нехристиане также являются людьми, и к тому же это общение можно было с выгодой использовать для дела? Впереди всех шла Великая ложа Англии, которая сначала сделала из коммерческих соображений исключение при приеме новых членов из числа евреев. Англичанин всегда чувствовал себя связанным с духом Ветхого Завета, если он признавал Новый Завет, то не изменял его, чтобы Ветхий Завет оставался Заветом, пусть материалистичным, но в то же время практичным и более того, весьма бесцеремонным. Так же во французской ложе «Великий Восток» постепенно перестал делать разницу между верующими и атеистами. Не был ли позитивизм новой религией, верой в неверие, но всетаки верой, рациональной верой, которая должна была подменить собой очевидные религии? Итак, масоны приняли позитивизм, хотя они были не только врагами церкви, но и религии вообще. Получилось так, что атеисты пролили свет на то, что Просвещение, как они уверяли, готовилось столетиями. Они толпились на богослужениях, которые служились богине разума, но в то же время говорили о «человечестве», о «прогрессе», но прежде всего о «свободе». В действительности они действовали так, ибо жили в одном и том же обществе, спекулировали на одних и тех же биржах, заседали в одних и тех же палатах. Так произошло потому, что их политические цели сходились в одном оппортунистическом направлении. Они делали так из родства душ и общих интересов.

Не иначе сегодня масонство готово перейти в иезуитство, как только их цели окажутся слитыми в одном и том же политическом направлении. Тем же сам политикам из ложи «Великий Восток», которые еще недавно создавали законы Ватикана, оказалось несложно сразу же попасть в резиденцию папы, поклоняться Орлеанской Деве, «деревенской девушке», которую они еще недавно оплевывали, как святой. С мировоззренческой точки зрения этот шаг во имя развязывания войны был оправданным. Если французская революция управлялась с делами так, как когда-то Пукелле управлял Францией, то, наверно, все-таки имеется что-то общее, чтобы не замечать различий? В любом случае либерализму, который на словах космополитичен, но действует самым шовинистским образом, стоило забыть эту старую неприязнь, которую он испытывал ранее к церкви, если он мог ожидать от нее помощи в осуществлении своих планов, например содействия в реализации своих намерений в отношении Польши и последующего согласия на рейнское наступление. Сами же эти планы были скрыты дословным текстом мирного договора, который предоставлял либерализму свободу действий, в коей он нуждался для сохранения своей двусмысленности. Договор бы намеренно составлен таким образом, что под любую его букву можно было подвести судебное решение. Истолкование этого договора было очевидным отклонением, отходом и насилием над заложенными в нем понятиями. История заключения этого мира была крайне изменчивой. Она не знала какой-то программы. Все ориентировались по обстановке, соразмеряя претензии, предъявляемые нашими противниками. История Версальского мира — это история сплошного отказа от принципов, которая стала особым предлогом для того, чтобы то, что для одних считалось справедливым, для других являлось незаконным. Она — история последнего и самого большого обмана, который был осуществлен на правовых основаниях. Приговор мирного договора не был построен на своде законов, он сам поднялся до уровня свода законов.

Для этого либерализм нуждался в человеке, который бы выступил как защитник идей человечности, на которых он строил бы свое третейское судейство, и который вдобавок ко всему был бы несговорчивым, но нес перед всем миром моральную ответственность за те уступки, которые он сделал. Либерализм нашел его в человеке, который постоянно говорил о «надпартийной справедливости», который благодаря потокам слов ослабил возможности договора таким образом, что не заметил, уверенный в собственной правоте, как стал инструментом «одной» партии. Это был Вильсон, предопределивший открытые разбирательства, на которые его пустили, но исключили из процесса самих переговоров, когда публично были приняты те решения, которые были ему оглашены. Это был Вильсон, который и слышать ничего не хотел о воз-

мещении военного ущерба, но допустил односторонние репарации, под которыми сторона, которой они доставались, понимала оплату всех издержек, пришедшихся на годы войны. Это был Вильсон, который протестовал против аннексии территорий, но смирился с оккупацией областей, которые завоеватели получили на основании неведомых плебисцитов. Это было скрашено предварительными и текущими сроками, а также видимостью возможности их возврата. Это был Вильсон, который уклонялся от «урегулирования всех колониальных претензий» и избегал «аннексий», но в то же время распределял «мандаты». Это был Вильсон, который отстаивал не только «свободу морей», но «равенство торговых связей» и «разоружение» народов, который на свой страх и риск привез домой только собственную «Лигу Наций», о коей у него на родине не хотели и слышать.

Либерализм нашел этого человека в кабинетном деятеле, оторванном от жизни, но верившем в идеи всемирной справедливости, который положил на одну чашу весов, находившихся у него в руках, только понятие. Он всерьез полагал, что его точку зрения поймут, так как она являлась правильной. Но на другой чаше весов перевешивала тяжелая действительность. Когда на борт «Джорджа Вашингтона» поднялся брат Вудро, то он оставил за собой не богоданный мир, о котором он мечтал, а скорее мир, который принес полное удовлетворение либерализму. Но не более. Однако это был фактический мир, столь долгожданный для всех народов. Мир, подготовленный победителями и одобренный побежденными!

Подобно тому, как у иезуитов цель оправдывает средства, так и в либерализме понятие оправдывает интерпретацию — а толкование оправдывает в свою очередь само понятие.

IV

Кто хочет выйти за рамки системы, тот должен понять ее психологию.

Либерализм основывается на либеральном человеке, с которым мы и будем иметь дело.

Подозрение относительно обмана было подтверждено самими идеями, которые исходят от обманщиков и остаются в реализуемых планах, в основе которых лежало развязывание мировой войны, а теперь они базируются на извлечении прибыли из мира. Только не надо представлять эти планы необъективно и предвзято — они все-таки осуществились и являются действенными. Либерализм оставлял за собой свободу действий, и когда пришел момент, то он целенаправленно договорился, на что указывают политика изоляции и «сердечное соглашение», заключенное между западными державами.

Однако план опирался прежде всего на людей. Он опирался на более или менее молчаливое согласие схоже думающих людей, которые имели одни и те же мотивы. Он опирался на либералов, которые всюду и всегда действовали только им присущим способом, который повсеместно, где это только было возможно, оказывал вредное воздействие. Он опирался на человеческое, психологическое, почти физиологическое родство душ, которое превращалось в политическое родство. Из совпадения инстинктов родилось совмещение целей.

Масонство является лишь намеком. И он указывает на либерализм. Деятельность одних постепенно переходит в деятельность других, так что не всегда можно различить задний и передний план. Но там, где ложи занимаются только масонскими делами, они отличаются от клик, которые в бессильной злости пытаются сделать политику в либерализме. Белая магия пребывает в вечной борьбе с черной магией. Это две стороны одной медали. Если речь о масонстве, которое охотно рядится в белые одежды чистоты и невинности, то мы не можем говорить конкретно об одном из этих двух проявлений. Скорее это смесь, которая слишком двусмысленно и противоречиво составлена, чтобы дать однозначный ответ. В данном случае речь надо вести о серой магии Просвещения, которая рождена из такой серой теории. Или нет? Ведь между магией и Просвещением по естественным и духовным причинам не может быть никаких связей. Как их не может быть между мистикой и рационализмом. Поэтому было правильнее говорить о том, что масонство является всего лишь попыткой создать подобие мира, устроенного от Бога, в котором все люди являются братьями. В данном случае светлый поток милости сломался, ушел в сторону и растворился. В тумане, который бы остался на его месте, расцвело бы вольнодумие бедных духом, а также можно было бы готовить заговоры, строить козни, придумывать хитроумные уловки. То, что возникло, было бы либеральным волшебством, которое больше не являлось магией, а было банальностью — плетением интриг. Либералы никогда не станут магами. Либерализм ведет либо к глупости, либо к преступлению. Нередко одно не подозревает о другом. Но часто они хорошо знакомы друг с другом.

Просвещение также хотело иметь свою тайну. Оно окружило себя ею в виде масонства. Но то, что возникло, было мистерией банальности. Его миф — это дилетантское мировоззрение. Они, придающие себе вид посвященных, как раз и не посвящены полностью в великие, существенные и решающие вещи, которые всегда были доступны только исключительно проницательным людям. Правда, ложи утверждают, что масонство основывается на переживании, которое должно иметь место, но о котором они не могут рассказывать. Масоны говорят об их королевском искусстве, но они делают это подобно людям, кото-

рые ведут речь о шедеврах, но не чувствуют их подлинность, которые не в состоянии выявить подделку, отличить созданное от сделанного. Вместо всеобщих понятий «красоты» и «истины» они прибегают к помощи эрзаца, что в их устах звучит как мнение дилетанта.

Пожалуй, вольные каменщики чувствуют эту недостаточность и убогость. Оно осознают, что в своей безжалостности они являются отстраненными. Вновь и вновь они пытаются проникнуть в сферы мира интуиции, к которому они не причастны и в который они хотят внести из своего мира понятийные качества, но который остается тайным, непостижимым для них. Но они не допускают подобной возможности. И тогда посредственные просветительные натуры, которые в ложах сбиваются в клики, испытывают насмешливое предубеждение к любому откровению, проявляют ребяческую ненависть ко всем традициям, которые, как они полагают, сменит «прогресс». Они проявляют поверхностную и мстительную враждебность не только к церкви и религии, но ко всему, что унаследовано нами из духовного прошлого, что служит опорой для государственности. Или приводят более серьезных, но все еще ограниченных, хотя и образованных, натур, чьим неразборчивым любимым занятием является подсунуть кому-нибудь заумную книгу. Они прилагают дополнительные усилия, дабы понять учителей человечества, «вслед» за которыми они внезапно поверили. Не суть важно, будет ли это Иисус, Святой Франциск, Данте или Гете — их считают первыми вольнодумцами, а потому используют в интересах лож.

Но все эти усилия опять же являются только подменой. Это должно подменять личность, которая никогда не может быть воспроизведена масонством. Пароль масонских лож «Я тот, кем я являюсь» всего лишь банально симулирует личность и льстит дилетантам. Сами ложи выразили отказ от личности, когда учредили различные степени посвящения, которые распределены между их членами в соответствии с их значимостью. Но при этом не было ни одного магистра, который был в состоянии постичь временную, духовную, а также историческую действительность. И эта высокая степень является подменой. Она придает важность узкому кругу людей и удовлетворяет честолюбие хвастунов. Обладатели более низких степеней, естественно, не знают, кто является главой, что он планирует и что он постановляет. Немецкие ложи могут спокойно клясться, что они никак не связаны с международной политикой. Они не дают лжесвидетельства. При всем том они преследуют определенную цель. Если бы их не посвятили, тогда они могли бы сделать вывод, какова эта цель. И как их оценивают.

Деятельность лож является анонимной. Масоны безымянны, они безличностны. В этом их сила, но и в этом же их слабость. В этом кроется их психология. Масонство может привлекать только интеллиген-

цию, мелких демонов, но не характерные личности, не великих гениев. Масонство не имеет даже отцов-основателей. Его история не связана ни с одним именем. Оно не имеет ни героев, ни борцов, ни мучеников. Еще никто не страдал во имя масонской ложи. Если масонство оценить по тем ценностям, которые оно произвело, то масоны являются самым убогим из всех духовных движений. Энциклопедисты могли похвастаться 35 томами, которые благодаря своему отрицанию оказали весьма едкое воздействие на общество. Они, по меньшей мере, способствовали росту сопротивления, которое должно было возрасти по мере борьбы с клерикализмом и абсолютизмом. Иезуиты отсылают нас к духовным практикам баскского ревнителя — Лойолы. Пуританство может предложить Милтона. Пиетизм мог привести в пример исповедание прекрасной души. Масонство осталось никем и ничем. Оно не породило ни одного литературного свидетельства. Оно имело только трактаты, больше напоминавшие брошюры. Это лишь превратило понятие Просвещения из уксуса в воду, а из мифов, с присущим им аллегорическим рационализмом, сделало вольнодумство. Масоны пели массам песни о «человечестве», о «прогрессе», но больше всего о «свободе». Они не очень охотно говорили о «равенстве», которое в некоторых случаях было опасным словом, но с радостью повествовали о «братстве», которое мало чего стоило среди самих братьев. Поэтому ложи стали прибежищем для посредственностей.

Связанное с масонством мудрствование повторилось в либерализме, вновь показав политическое родство маленьких людей, которые умничают с оговорками, наверняка никогда не указывают, но предельно деятельны и оперативны. Различия состоят только в том, что они не ищут братского окружения, а жаждут власти. Эта воля перешла к либералам непосредственно из масонских лож. В «Бюллетене Великого Востока Франции» за 1899—1900 годы сообщалось: «Никто больше не сможет пошевелиться, когда это относится к масонству, властителю властителей Земли». Признание является наивной глупостью, которую либералам случается делать вновь и вновь. Тайные желания не предполагают наличия половины открытого лица. И все же по неосторожности было разоблачено понятие свободы, которое масоны разделяют с либералами. Некие признаки указывают, что и одни, и другие, обладали тайными инстинктами по созданию политической партии. Одиночка в клике не решился бы присвоить себе власть, пока он предоставлен сам себе. Да и как, если большинство сплотилось и только число, подсчеты и взаимодействие устанавливают, кому какое значение достается? Как сохранить свое влияние, если численность определяется выборами, распределением, силами, имеющимися в распоряжении, развитием совершенно определенной и бесцеремонной деловитости? А если пространство, которое нуждалось,

чтобы его назвали свободным, было произвольно сделано местом для интриг? Вильсон соответственно говорил о небольшом количестве людей, которые должны управлять экономической и политической жизнью страны. В Германии кто-то знающий заявил о 300 финансистах, которые сейчас управляют миром. Исходя из этого, сам собой возникает вопрос, нет ли маленькой группы тайных правителей, которые неизвестны даже своим помощникам и сообщникам? Группы, в которую включали масонов, иезуитов, а теперь еще и большевиков? Группы, которая делает историю? Но не так давно недоверие поставило немцев в тупик, а их подозрения стали и вовсе необузданными. Они думают, что нуждаются только в Давиде с пращой. И появилось множество маленьких Давидов, которые имеются повсюду. Они берут и мечут камни своей мести. Либералы дали поводы для подобной мотивации. Приведено в действие честолюбие, которое вызвано обратным чувством актуального («Хотим присутствовать при этом»). Эти люди не хотят возвращаться назад, они испытывают страх обывателя, что тот пропустит свою остановку. Зависть к силе объясняет конституцию духа этих совершенно незначительных людей, которые тем не менее считают нужным иметь свое особое мнение и мечтают обрести силу благодаря либерализму. Зависть к силе объясняет ненависть к гениям и тем великим людям, которые делают свои вещи в одиночку, ибо их невозможно делать многим. Их делают обычно некоторые. Зависть к силе объясняет ненависть к династиям, в центре которых всегда находится личность. Правда, ее предпосылками являются образование и наследственные привилегии. Эта зависть к силе не хуже объясняет ненависть к папству, которое осуществляет свои полномочия как учреждение, построенное на традиции перехода власти от одного носителя к другому. Объясняет нападки на теорию непогрешимости Луи XIV и провозглашение непогрешимости папой Пием IX. С другой стороны, она объясняет пристрастие к конституциям, которые позволяют приходить к власти в результате выборов, а справедливость зависит от воли случая. Она объясняет увлечение парламентаризмом, который получил власть над государством и дает профессионалам и некомпетентным людям возможность избираться в органы власти. Объясняет любовь к республике, в которой народные избранники во власти делятся на партии, партийные руководители оплачиваются из государственной казны, а избиратели получают от партий теплые местечки. Она объясняет симпатии к ограниченной монархии, которая давно отказалась от власти, но все еще поддерживает видимость милости, которая переносит политику в сферу наблюдений и отводит взгляд от действительных правителей. Впрочем, королю разрешается заниматься политикой, но не как монарху, а как частному лицу, что и делал Эдуард VII. Из инициированных возникали заинтересованные.

Взлет либерального человека, который отказывается от ответственности и вызывает разложение повсюду, где надо придерживаться обязательств, становится возможным, только если ослабевает консервативная идея, если она отказывается от руководства в роли обрамляющей идеи, если она отдает предпочтение актуальным вопросам, а не надвременным проблемам. Поэтому история либерализма совпадает с историей заката династий, которые больше не были в состоянии представить каких-то личностей, их представители были женоподобными, почти кастрированными, что стало итогом их обуржуазивания. Мы можем вспомнить династию Бурбонов или династию Ганноверов, которую там представлял Георг, а здесь Людвиг. Мародеры французской революции отступили перед лицом Наполеона, а самые гибкие из них, Талейран и Фуше, тотчас согласились с бонапартистским натиском, а позже вновь придали новому режиму легитимность. Немецкие либералы отступили лишь перед Бисмарком. Но вокруг Вильгельма II, чей романтизм не был консервативен, а в силу своего дилетантства он являлся либеральным, подобные люди толпились повсюду, желая урвать свой кусочек прибыли от власти. При вильгельмовском дворе чувствовалось их тщеславие, а при благосклонности Вильгельма II они делали дела, которые должны были убрать с их пути английских и французских либералов. И вновь мы видим зависть к силе, которая сплачивала любое окружение и жертвой которой стал глупый либерализм. В общем-то немецкий либерал не знал, как лично уклониться от этой жертвы, поэтому в итоге принес ее. Это была зависть к силе, которая поднимала народ против короны, поначалу зависть государственных деятелей, которые под умной опекой Эдуарда Седьмого совершали происки против могущества немецкого кайзера. И, наконец, это была зависть народов, которые сплотились против одной нации, чья политическая готовность отвечать за силовые действия не соответствовала экономическим способностям. Здесь повторяется главный мотив либерализма, когда маленькие и даже мелкие люди нападают множеством, а иногда и большинством на одного. Он повторился в самом большом применении силы, которое только знала новая история. В то же время он перебрался с уровня внутренней политики, которую либеральный человек до сих пор считал безупречной, на уровень внешней политики, где он мог эксплуатировать народ совершенно иным способом.

Либерализм утверждает, что все, что он делает, он делает для народа. Но он как раз отодвигает народ, выдвигая на первый план свое собственное Я. Либерализм — это выражение общества, которое больше не является общностью. Либеральный человек упустил смысл, который заложен в каждом обществе при его возникновении. Он не постиг построения, основывающегося на восхождении личности, которое как построение является общим основанием, но в то же время является

естественным обстоятельством. Тем самым оно способствует обмену сил и сохранению единства. Либеральный человек не обратил внимания на высокоодаренных людей, чьи ценности, которые они создают, заимствуются изначально у народа и народу же возвращаются в оформленном виде, так что народ не противопоставляет себя им. Это пример, когда все улаживается само собой. Либерализм — это выражение общества, которое состоит из ничтожных и малоценных частей народа.

Либеральный человек не представляет органическое общество, а лишь расформированное. Уже поэтому он не умеет производить никаких ценностей, которые бы объединяли народ и общество. Либеральный человек только сфальсифицировал ценности, прибегая к ним по настроению, или же оставляя за собой, как, например, «образование», которому придается особое значение. Он был тем, кто вызвал ужасное дробление народа, дыры от которого сейчас зияют между представителями одной и той же нации. Льстивая апелляция к народу должна была выдать либеральному обществу охранную грамоту, которая разрешала творить произвол. Либеральный человек выдвигал лозунги о демократии, так как надеялся, что народ, согласившийся с ним, в основной массе поддержит его требования, исполнения которых он требовал в качестве особой привилегии для себя.

Но народ полностью безразличен либеральному человеку. Либерализм — это партия карьеристов. Он — партия промежуточной прослойки, который понимает, что надо втиснуться между народом и отбором, который народ осуществлял сам в себе. Но если народ хотел остаться нацией, то этот процесс отбора должен был проходить не формально, а творчески. Приверженцы этого промежуточного слоя пропускают развитие нации и вторгаются в нее как инородное тело. Они чувствуют себя индивидуумами, которые никому не обязаны, а меньше всего народу. Они совершенно непричастны к его истории. Они не разделяют его традиций. Они не сопереживают его прошлое. Они не имеют даже честолюбия во имя будущего. Они ищут только пользу в своем настоящем. Их последняя идея направлена на огромный Интернационал, в котором будут устранены и полностью уничтожены все различия между народами, языками, расами и культурами. Они мечтают о народе, о большой семье братьев, которая будет состоять из интеллигенции всех народов, из всех научных и естественно-моральных величин Земли, которая будет правиться этими крупными специалистами. В целях этого Интернационала будут использоваться национальности, а при необходимости будут прибегать к национализму. В зависимости от обстановки будет использоваться и пацифизм, и милитаризм. Они будут прибегать ко всем средствам, которые могут служить их целям, так как они используют конъюнктуру только в своих интересах. Их скепсис спрашивает: «Во имя чего мы живем?» Их

цинизм отвечает: «Только для того, чтобы жить!» Итак, они живут, дабы создавать средства, чтобы иметь возможность жить.

Этот космополитичный, безальтернативный, безответственный и безапелляционный либерализм, который был оправдан интеллектуалами, считался самым успешным средством для развязывания чудовищной мировой войны, которая должна была послужить его всемирному делу. Ставший националистическим либерализм коварно воспользовался в собственных целях противоречиями между народами. При помощи понятий он стравил их на погибель.

Подозрение, под которое попадает либерализм, основывается на обмане, который он совершал, манипулируя идеями, дабы отстоять свои интересы. Чтобы обосновать свои методы, он злоупотреблял рационализмом. Чтобы найти своих сторонников во всем мире, он направлял свою идеологическую пропаганду. Он разведал в политических сферах, что лозунгами о свободе можно прекрасно увлечь людей и даже целые народы. Но то, что сегодня является подозрением, завтра станет обвинением.

Подобный либерализм имелся во все времена. Это зависело от стремления каждого стать индивидуумом, даже если он являлся ничем. Каждый человек, который больше не чувствовал общности, являлся либеральным человеком. Его общечеловечность являлась либеральной. Его единственной сферой была самовлюбленность. У консерватора, который несет на себе ответственность за святое дело, есть самоотверженность — это дело не умрет вместе с ним. У либерала, который уверен, что его дело — это он сам, есть только эгоизм: после меня хоть потоп. В противоположность консерватизму, который всегда опирался на силу человека, либерализм строится на человеческих слабостях. Он стремится провернуть трюк, как из слабости можно сделать силу. Он доводит до конца этот фокус, как один может жить за счет другого, скрывая эту уловку идеалами. На этом строились его расчеты. На этом они вновь строятся в данный момент.

Подобный либерализм менял свои формы в зависимости от собственных интересов. Он изменял свои формы в соответствии с целями, которые диктовал его индивидуализм, в то время как его интеллектуальность предоставляла ему в качестве средств понятия. И он всегда являлся страшной силой.

V

Либерализм подорвал культуру. Он уничтожил религию. Он разрушил Отечество. Он был самоубийством человечества.

Первобытные народы не знали либерализма. Для них мир — это единое переживание, которым человек делится с человеком. Они об-

ладают природным чутьем, инстинктивно понимая, что существование — это вечная борьба, в которой объединяются все, кто может, против тех, кто им хоть как-нибудь угрожает.

У государственных народов либерализм всегда подавлен. Они защищались от него отношениями, которые защищали их политическое существование. А если в истории появлялся человек, который менял заданное направление, то он повторно втягивал его в формы, к которым данный народ был восприимчив и которые соответствовали его традициям. У государственных народов даже революции были подчинены определенным догмам, которые опять же пытались создать обязательные учреждения. Эти нации оставались государственными народами до тех пор, пока их люди жили в духе непрерывности. Из этого духа они черпали силы к сохранению, которое казалось им плодом, зависящим от них самих.

Но народы общества и нации, которые перестали быть народом, предоставили либерализму место, которое они требовали для себя. Сверху донизу они оставались лишь массой. И они создали прослойку. Это больше не была прослойка, которая предшествовала и собственным примером создавала государство. Это был слой, который подталкивал к разрушению государства. Это был опасный, бесцеремонный, сомнительный промежуточный слой, который выдвигался вперед. Результатом этого стало господство клик, которые состояли из людей, связанных общими интересами, и которые умели скрывать эти интересы. Они охотно называли себя самыми лучшими. С поразительной наглостью они претендовали на это название, хотя сами состояли из переселенцев, нуворишей, бывших заключенных и выскочек. Им было все равно, черпать ли понятия из феодальной или из радикальной идеологии, главное, чтобы они могли скрасить и скрыть их незаконные притязания, их обогащение, их новые привилегии. Они, конечно, охотнее согласились бы стать аристократией, но эффектнее и эффективнее было называться демократами.

Греция погибла из-за этого либерализма. Поймем ли мы, наконец, что опасные литературные труды, появившиеся на античном небосклоне, которые привели к появлению либеральных людей, способствовали закату эллинской свободы? Они появились не случайно. Они прибыли из греческого Просвещения. Софист, который принимал без какой-либо проверки Просвещение, едва ли заявил бы, что извлек принципы индивидуализма из атомизма философов. Это были слова софистов, которые учили людей тому, что они и есть мера всех вещей. Это был тот же Протагор, который обосновывал индивидуализм и в то же время придерживался релятивизма: «Противоположные утверждения в одинаковой степени истинны». И это считалось вполне нравственным. Не правда ли, нет никакой общей

истины, а только особая, которая зависела от точки зрения того, кто знает правду? Но как быть, если человек придерживался двух точек зрения? В зависимости от выгоды, которую он хотел получить, придерживаться одной из них? Не было создано никакой двойственности, которая бы сводила воедино одну и другую позицию. Была создана трудно постижимая относительность, которая придавала вещам так много сторон, что они не могли обладать ими, а только проецировать их. Не хватало только метода. Но его представили философы. Вновь это был тот же самый Протагор, который как софист описал искусство речи, которое могло сделать победоносной достаточно слабую вещь. Считалось, что и это было нравственным. Не правда ли, мы должны лучше понимать слабую сторону, которая может привести к словам, принесшим победу? Но очень скоро сформировалась практика, которая благодаря риторике делала победоносными плохие вещи и стороны. Когда это требовалось, она выворачивала все наизнанку. Не случайно софисты были не просто оплачиваемыми, а самими высокооплачиваемыми среди греческих философов. Из своих идей они извлекали деньги. Материализм воззрений всегда ведет к материализму образа мыслей. Это очень почеловечески. Но это так.

Все это ощущалось как прогресс. Но все же это было разложение. Процессы имеют обыкновение повторяться. Верующие в разум, провозвестники Просвещения, податели прогресса в первом поколении обычно являются великими идеалистами, добросовестными эмпириками и доброжелательными моралистами, которые убеждены в значимости их познаний, так же как и в важности их благодеяний, которые они оказывают человечеству. Но уже во втором поколении возникает зловещая и весьма характерная связь между материалистическими воззрениями и их нигилистским толкованием. В один момент фокусники повернули исследования атомистики и атомизации общества. С быстротой фехтовальщика они сменили рефлексию на диалектику, в которой мог утвердиться индивидуалистичный человек, который, потеряв опору, стал центром собственной Вселенной. Индивидуализм не имеет никакой подъемной силы.

Первоначально софисты не были политиками. Но они вызвали распад, разложение. Если их касалась государственная жизнь, то они сами были скорее аристократами, нежели демократами. Они ведь были гражданами мира, которые предпочитали жить в Афинах, в городе образованности, всяческих умственных и чувственных наслаждений, в городе величайшего греческого самообмана, крайней политической глупости и национального предательства. От софистов можно провести линию непосредственно к эпикурейцам. Конечно, она проходит до эллинистического рассеяния, в котором эллинистический человек,

пожалуй, все еще почитался за свое прошлое, но был презираем за свое настоящее.

Только стоики вернули людям их человеческое достоинство. Только стоики вновь сделали человека ответственным за свои мысли и деяния.

Артерией, по которой текли эти мысли, был Рим. Подобные идеи сопровождали каждого римского офицера. Они вдохновляли еще последних римских императоров. Это был город, принадлежавший государственному народу.

VI

Место возникновения современного либерализма находится там, где индивидуум вырвался из средневековых обстоятельств. Затем либералы говорили: освободил себя от них. Но это свободомыслие оказалось обманом.

Те обстоятельства были успехом. Это были церковные, государственные и, наконец, готически структурированные обстоятельства, благодаря которым на тысячелетие было отложено античное разложение. Это были огромные заслуги, которые во время Средневековья означали то, что позже стали называть прогрессом, подразумевая вещи гораздо меньшего масштаба. Люди твердо придерживались условий, которые сами же и создали, и они создавали эти условия, так как твердо придерживались их. В этих условиях они достигали более высоких результатов. Они стремились ввысь. Средневековые факторы были могущественнейшим фундаментом для могущественнейшей действительности. Никто в просветительном духе не говорил о свободе. Тем не менее свобода, которой люди творчески обладали, была чудесно поднята ими до такого достижения, как воля к действию.

Но за этим могучим временем последовало распущенное поколение. Сначала индивидуализм усилил центр, которым человек обладал в тех обстоятельствах, центр, которым стал он сам. От гуманизма он получил осознание своего собственного человеческого достоинства. В эпоху Возрождения он получил индивидуалистичный образ жизни, его пределы, его формы, его классические манеры. Люди эпохи Ренессанса получали из классической литературы древности силы, в которых, как полагали, они нуждались как в образце. Эпоха Возрождения как некое воссоздание стала последней попыткой, предпринятой людьми, полными уверенности, что они должны иметь основания, дабы их жизнь не распалась. Люди остаются созидательными так долго, пока созидательным остается их народ. Но теперь люди создали общество, которое обособилось от народа. И, наконец, от избытка жизни осталась только жажда развлечений. Монументальное искусство посте-

пенно уступило место декоративности. А мышление полностью устремилось по универсальному пути и проложило специфическую колею, где в узком конце тоннеля больше не находился рассматриваемый космос, а стоял эксперимент, а возможно, и просто статистика. Люди этих столетий приходили к разнообразным химическим, физическим, математическим, астрономическим и, наконец, социологическим результатам. Но они не обрели силы познания, сколько бы интеллектуальных усилий они ни прилагали, все их результаты были только ознакомлением с маленькой частичкой природы. Они превратили их в самоцель, благодаря которой мозг мог непосредственно пролить свет на мнимую истину. Они назвали это Просвещением.

Человек был предан своему разуму. А разум был предоставлен сам себе. Он отменил открытия посредством опыта. Он больше не расспрашивал. Он только наблюдал. Он больше не извлекал догматических выводов, как это делала вера. Он больше не делал провидческих выводов, как это делали мистики. Он не извлекал даже идеалистических выводов, как это делал гуманизм. Он приходил только к критическим выводам. «У идей нет никакой собственной природы». «Нет Бога». «Человек не свободен». Это были громкие отрицания. И это были — ха! — открытия! Он не видел, что сталкивался только с названиями, в то время как сами явления продолжали существовать. Он не предполагал, что по мере познания мир будет становиться все чудеснее и чудеснее. Он не говорил себе, что перемещается лишь по поверхности вещей, отказавшись проникать в их суть, которая оставалась совершенно непостижимой, и что он вообще больше не заботится об этом.

Однако человек Просвещения руководствовался характерным для него высокомерием разума и требовал права отказаться от последних обязательств. Он освобождал себя. И он отказался от них. Он не обращал внимания на последствия. Он сам предоставил жизнь своему перегруженному разуму. Он знал, что делал. Или он не знал? Он поступал благоразумно. Или он так не поступал? Об этом мы должны спросить у либерализма, который, как партия всех просветителей, возьмется за оправдание Просвещения.

Среди открытий разума было и самое роковое — человек не был свободен. Это напрашивалось. Разум, еще владевший рассудком, полагал, что этот независимый человек чересчур крепко втянут в государственные обязательства. Поскольку человек был биологически зависим, то требовалось, чтобы он был свободен не только индивидуально, но и политически.

Данный вывод обладал не только приметами глупости, присущей предвзятой точке зрения, но и чертами целенаправленной дезориентации. Она имела все признаки либерализма, который позволял про-



текать любому разложению и сносил любые противоречия, если только лозунги свободы оставались неприкосновенными.

Либерализм начался с фальшивого понятия свободы, которое он уже извратил, когда создавал. И он закончился вместе с этим фальшивым понятием, которое он использовал и впоследствии, но тогда он не столько защищал свободу, сколько занимался поиском выгоды.

В этом кроется ошибка людей.

И некоторые преступления.

VII

Просвещение было делом Запада.

Оно было делом Англии и Франции, а также с некоторыми оговорками делом Германии.

Англичане всегда говорили о свободе. Но действовали во имя собственной свободы против свободы других. Они рано развили свойственный им образ мышления, который основывался на подмене понятий и дел, о которых шла речь, из коих можно было извлечь некую пользу.

В этом не было никакого лицемерия. Только действовало как лицемерие. Да, там можно было найти удивительную наивность, которая проистекала из свойственной англичанам беспощадности при ведении дел. Однако английское сознание ничего не знало об этом. Английская жесткость была глупой. И очень часто она проявляла высшую благоразумность, чтобы быть такой глупой.

Из подобного способа мышления, целесообразно подменяющего точки зрения в зависимости от того, шла речь о чужих или собственных целях, проистекала воля, которая позволила в итоге выработать английскому народу особую практичную логику. Макиавеллизм еще со времен Возрождения стал проникать в английское сознание, которое было слишком повелительным, чересчур безусловным и бесцеремонным, чтобы довольствоваться сравнением уловок и насилия. Макиавеллизм был энтузиазмом. Выражением разочаровываемого и почти безнадежного патриотизма. Практичная Англия заботилась прежде всего о том, чтобы были готовы средства к применению теории. Когда возник вопрос, что такое свобода, Гоббс дал ответ: свобода — это власть. Это был ответ реалистичного политика, позитивиста, первого тори. Вместе с Гоббсом Англия защищалась от Просвещения. Здесь Просвещение предохранялось само от себя. Теперь английские мыслители могли безопасно предаваться своим либеральным рассуждениям. На вопрос, что собственно является властью, англичанин, в котором находится и политический имморалист и политический моралист, ответит: власть — это право. Без этого ответа совесть не



Артур Мёллер ван ден Брук



Адольф Гитлер на фотопортрете Г. Гофмана, 1934 г.



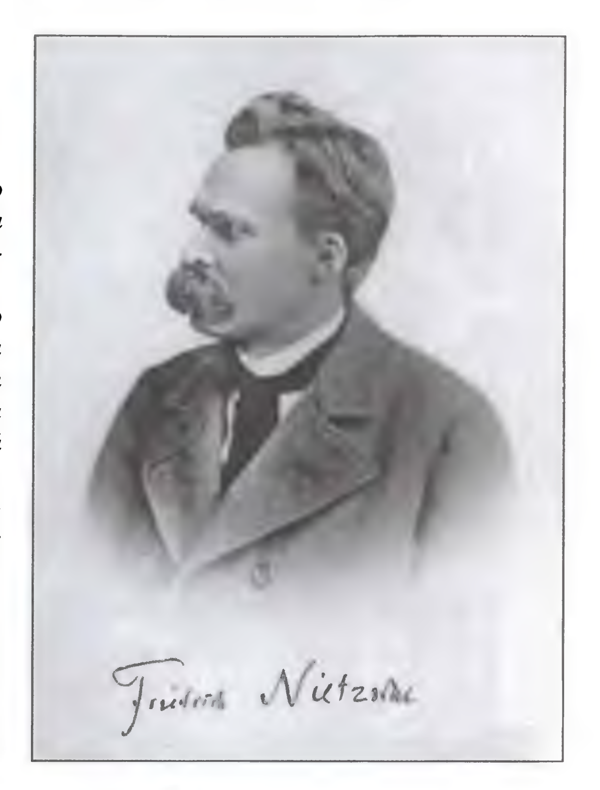
Идеология национал-большевизма прямо ссылается на философию Георга Гегеля



Жозеф Артюр де Гобино (1816—1882). Французский писатель и ученый, в своем основном труде «Опыт о неравенстве человеческих рас» (1853—1855) положивший начало современной расологии



Портрет Ф.М. Достоевского. Картина художника В.Г. Перова, 1872 г. Увлечение Достоевским на всю жизнь заложило в душу Мёллера любовь к России



Фридрих Ницше. Мёллера глубоко потрясли книги философа-соотечественника. Работу немецкого мыслителя «Так говорил Заратуштра» он называл «величайшей книгой столетия», а самого Ницше — «величайшим из всех психологов»



Детлев Фридрих фон Лилиенкрон, близкий ницшеанским идеям немецкий поэт, стоявший, по выражению ван ден Брука, на «продвинутых позициях, которые свободны от морали психо-физиологического понимания человека»



Герб императора Священной Римской империи из династии Габсбургов, 1605 г.

Священная Римская империя в 1705 г. Карта «Германская империя» работы Николя де Фера, 1770 г.



Отто фон Бисмарк (1815—1898)

Канцлер Отто фон Бисмарк, военный министр Пруссии А. Роон, начальник генерального штаба Г. Мольтке



Карл Либкнехт
(1871—1919),
один из основателей КПГ



Активный деятель Коминтерна
Карл Радек.
Портрет из газеты
«Роте фане» («Красное знамя»)



«Конец этой системе».
Плакат Коммунистической
партии Германии (КПГ),
1932 г.



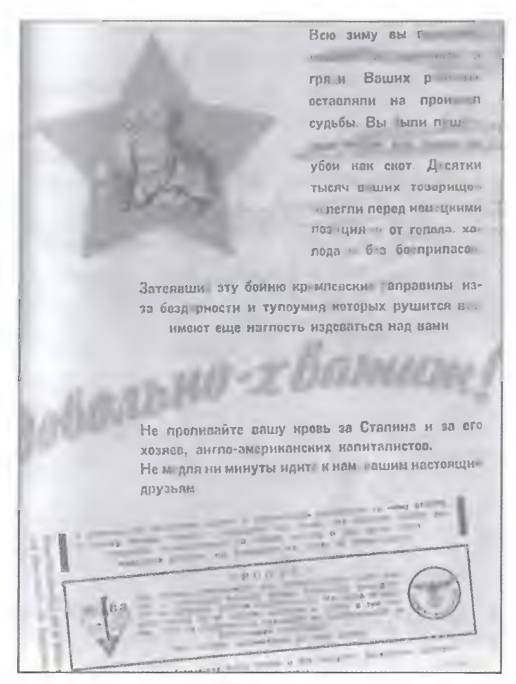
Антанта. Открытка 1915 г.



По заключении Версальского мирного договора, 1919 г. На фото слева направо: премьер-министр Великобритании Д. Ллойд Джордж, премьер-министр Италии В.Э. Орландо, премьер-министр Франции Ж. Клемансо, президент США В. Вильсон



Карта Королевства Пруссия, 1905 г.



Листовка Третьего рейха, обращенная к солдатам и офицерам Красной Армии



Фригия — местность в Малой Азии, где во II в. н.э. в рамках монтанизма — одного из направлений в христианстве — возникло представление о Третьем Царстве (нем. — Третий рейх)



Вальтер Ратенау — известный германский предприниматель, политик и дипломат начала XX в.



Матиас Эрцбергер — депутат рейхстага от левого крыла католической партии, министр финансов Германии после Первой мировой войны. Убит националистами



Леонардо да Винчи.
Автопортрет, 1513 г.



Данте Алигьери.
Картина художника
Сандро Боттичелли,
ок. 1495 г.

«Для нашего германского сознания было бы приятнее, чтобы в жилах Леонардо и Данте текла немецкая кровь, но мы определенно знаем, что <...> эпоха Возрождения была и остается исключительно романским порождением» (М. ван ден Брук)

Провозглашение Германской империи в Версальском дворце под Парижем в 1871 г. Картина художника А. Вернера

Вильгельм II, последний император Германской империи, с генералами

Берлин. Ноябрьская революция, 1918 г.



Совет солдатских депутатов, Санкт-Петербург. Советская идея, реализованная в России после революции, нашла свое выражение в Германии в виде солдатских и рабочих советов



Герб Веймарской республики

Почтовая марка Веймарской республики, 1930 г.

Капповский путч 1920 г.

Фрайкоры, немецкие добровольческие корпуса, входят в город

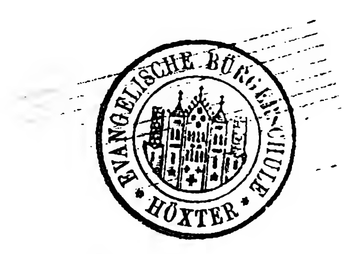
Moeller van den Bruck

Автограф Мёллера ван ден Брука

Moeller van den Bruck

Das dritte Reich

herausgegeben von Hans Schwarz



Титульный лист книги «Третья империя» Мёллера ван ден Брука

30 Pfennige

Gewissen

Für den Ring herausgegeben von Ed. Stadtler

Wider Willen.

Aus dem Inhalt:

Wider Willen.

Sturmanzeige. Von * . *

Der wankende Bau des britischen Imperiums. Von Dr. Otto Strasser.

Revolution und Frontsoldatentum. Von Ernst Jünger.

Kritik der Presse

Sturmanzeige.

Газета «Gewissen» («Совесть»). Печатный орган Ринг-движения

позволила бы спокойно спать вигам, а так они могут не волноваться. А если власть не права, или она даже предшествует праву, то в этих условиях не прекращает ли право быть правом? Итак, англичане утверждали собственное право, не считаясь с правами других. Подобный способ мышления казался англичанам всегда само собой разумеющимся. Правильно или не правильно, в конечном счете это всегда вопрос благосостояния страны, чья воля ее людей нуждалась в политической власти.

Если требовались еще обстоятельства, то они находились в исключительности, с которой английское мышление обратилось к принципам утилитаризма. Утилитаризм стал форменной английской национальной философией. При помощи утилитаризма можно было прежде всего обосновать прогресс, который был любимым понятием Просвещения. Однако этот прогресс был особенно выгодным, если приносил выгоду себе и доставлял убытки остальным. При помощи выгоды можно было оправдать любой оппортунизм, любую беспринципность, которую можно было вновь возвести в ранг принципа. Английская партийная жизнь была по меньшей мере выгодна потому, что она позволяла отдельным личностям и группам изменять своим принципам всякий раз, когда это казалось выгодным, однако сохраняя на словах верность партийным позициям, которые по-прежнему усердно отстаивались. А парламентаризм, который с такой податливостью приспособился к подобной партийной жизни, продолжающей существовать в Англии до сих пор, похоже, был изобретен только для того, чтобы иметь в любой момент конституционно-правовую возможность замаскировать суровые меры либеральной двузначностью.

Английский либерализм первоначально был очень правовым, он считался очень честным, громким и чистым. Английские вольнодумцы сформулировали в итоге понятную всем аллегорическую, почти гигиеническую формулу английскости: свобода, правда и здоровье! Мысль о равенстве, тем более братстве, никогда бы не пришла англичанину в голову. Но даже эти требования либерализма он считал возможными до определенных границ. Он исходил из того, что английская действительность была жестока и безжалостна. Англия могла позволить себе лишь некоторые трактовки свободы. Англия всегда терпела правду настолько долго, насколько было возможным сохранять перед обществом хорошую мину. Эта страна с небрежностью приняла пауперизм, ведь бедность, в которой она пребывала, касалась лишь тех социальных слоев, которые не могли быть опасны государству. Английские либералы молчали об этом, пока все-таки не возникла реальная угроза. Английские либералы были всегда добросовестными и доброжелательными людьми. Но кроме этого они являлись большими глупцами, взрослыми детьми, которые охотно прибегали к симу-

ляции. Когда Бентам поднял утилитаризм до уровня системы, тогда он воистину предавался самообману, что эгоизм, который выводил из стремления к извлечению выгоды, понимается правильно, если он ведет к общему благу. Это было либеральным отупением, которое приветствовало любую идею, если слово «свободный» было вдвойне приятным, когда оно являлось синонимом «полезный». Но, однако, психология английского утилитаризма была очень близка Бентану, если он описывал, как извлекать выгоду из воздуха, если он трактовал честь, совесть и самоотверженность только с точки зрения человека, если он говорил, что его собственная теория призвана урегулировать «эгоизм». Но вместе с этим он воспринимал эпикурейскую линию, которая всегда шла параллельно стоической. Эта направленность создала самоощущение трезвой добродетельности всей нации сразу, а каждый политизированный англичанин почти с садистской радостью стремился «урегулировать» в мире английские интересы. Но она также создала невозмутимую силу — холодную и жесткую, почти бессмысленную самоуверенность, которая никогда не отрицала своей ограниченности, но которая шла всем на пользу, которая защищала нацию от потрясений, а также от изнеженности.

Англичане не замечали, что в той исключительности, которую они придавали утилитаризму, крылось их самообвинение. Порой это приводило к английской справедливости, которая определялась не выгодой, а обстоятельствами. Во время войны против Америки Бурке имел мужество заступиться за американцев. Но Бурке был консерватором. Эта английская справедливость скорее всего была уделом тори, а не вигов. Когда сегодня говорится об отмене, английский либерализм, который осуждает Версальский мир, вероятно, не вполне политически серьезен, так как данный приговор существует только на словах. Асквит очень трогательно жаловался на то, что мирный договор был заключен именно подобным способом. Он также красноречиво сожалел, что его партия не знала раньше, как будет заключен этот мир. В противном случае она добивалась бы другого результата, нежели того, который был достигнут. Но эта словоохотливая маневренность лишь свидетельствовала о ненадежности либералов, которые не допускают даже мысли приложить все усилия, дабы не довольствоваться полученным результатом. Вместо этого они вновь демонстрируют убеждения, спокойно позволяя извлечь из этого выгоды.

VIII

Французское Просвещение имело более интеллектуальные корни. Они крылись уже в средневековом рационализме, в казуистике парижской схоластики, в учении о двойной идеологической и философской

правде. Но как мировоззрение оно прибыло из эпохи Возрождения, до тех пор скепсис французов обладал ухоженной грациозностью Монтеня или совершенной безвредностью Рабле. Они оставались на остроумно-мудрой поверхности, на которой играли собственными наблюдениями. Однако именно гуманизм привел к тем роковым недоразумениям, которые вызвали в конце концов революцию. Человеческое достоинство предполагало права человека! Немецкое и прусское Просвещение, прошедшее от Лютера до Канта, хотя бы проявляло некоторую заботу о том, чтобы закрепить в сознании людей мысль об обязанностях.

В эпоху Ренессанса бытие было исполнено страстей. Могущественнейшие люди придавали форму жизни, а политика определялась инстинктами, которые уже изживали себя. В итоге Макиавелли, гнусный и прекрасный, преступник от патриотизма, наполненный честолюбием за Италию, но при этом совершенно честный и не либеральный человек, написал учебник. Но тогда людьми овладело переутомление. Чувственность, которая была растрачена на Юге, сохранилась на немецком Севере. И мы видим, как она оживала в сангвиниках барокко, в идеях Лейбница, в великих курфюрстах и великих архитекторах. А западу с его жирными и тусклыми королями, с его пританцовывающими и подшучивающими философами от разума достался только эпикурейский эрзац. И французы сразу же стали претендовать на это. Если эпоха Возрождения открыла человека как микрокосм, то Просвещение открыло его как материю. Теперь оно использовало любой повод, дабы показать, что человек не свободен. Из этого посыла извлекался вывод, который навсегда останется памятным в силу своей нелогичности, что человек должен быть политически свободен. Наряду с этим открытием независимости последовало и другое. Тот самый несвободный человек все, что он делает, он делает из корысти. Вольтер в категоричной форме называл корысть «средством для нашего сохранения». И он же говорил: «Она необходима нам, она нам дорога, она дарит нам удовольствия, но ее надо скрывать». Последнее больше всего заботило либерализм. Он вновь и вновь выдвигал понятия, среди которых человечность была на первом месте. А для тех случаев, когда либерал имел какие-либо основания скрывать какие-либо вещи, которые, однако, нельзя было скрыть, то он обеспечивал себя принципом, который сам же и вводил в оборот — «все понявший» значит «все испортивший».

Англичане положили в основу человеческого достоинства их самочувствие. Французы — их самодовольство. Более живая и страстная нация не довольствовалась рассудительной и разумной выгодой, которую Англия смогла извлечь из применения либеральных принципов. Англичане соблюдали их безмолвно и выгодно, но так, чтобы не подвергать

их опасности. Французы же хотели поиметь от следования этим принципам еще и славу. Они жаждали быть нацией, которая придала историческое великолепие этим новым понятиям. Они стремились придать сухому материалу остроумного блеска, который они считали национальным талантом. Поэтому они противопоставляли себя серьезности английского Просвещения. Так делали Монтескье и Вольтер во время своих поездок в Лондон. Они жаждали шумной основательности, которая бы принадлежала всему миру, которая бы заставила заговорить о Франции и все люди обратили бы свой взор на Париж.

Просветители стали жертвами своего же Просвещения. Его жертвами стало дворянство и духовенство, двор и салоны, даже сам король. В этих кругах, уже давно пресытившихся удовольствиями, общее человеколюбие рассматривалось как новое развлечение. Они обнаружили для себя простого человека. Его воспринимали гораздо лучше, нежели он был на самом деле. Так как это было связано с финансами страны, то они занимались экономическими учениями. Но так как это было связано с их собственными финансами, то они к тому же занимались спекуляциями. Теперь экономическое обучение затмило даже классическую учебу. Тем временем государство выполнило одно за другим все требования, высказанные Монтескье и Вольтером, будь то свобода торговли хлебом или свобода печати. Повсюду слушалась лесть в адрес третьего сословия, хотя оно того не желало и не заслуживало. Очень редко разум приводил к более сильным опустошениям мозгов, нежели это произошло в просвещенной голове французского народа. То, что он делал, он делал против самого себя. Но он делал это, так как был либеральным. Он начал с прав человека и безграничного господства либеральных государственных идеалов, которые превратились в революционные государственные идеалы, которые устранились от того третьего сословия, а затем вырезали его, успев сообщить, что оно обладало особыми человеческими правами. Число аристократов, которые, подобно герцогу Ларошфуко, способствовали умственному оживлению нации, или которые, подобно герцогу Сен-Симону, исходили из прогрессивного направления мысли, было несоизмеримо. Остатки дворянства тонули в наивности и простодушии. Придворные склонялись перед литератором. Офицер не значил ничего по сравнению с академиком. Гордое французское дворянство изнежилось, поглупело и стало нелепым, следуя литературной моде в стиле рококо. Оно перестало быть благородным, превратившись в женоподобное, изукрашенное и неестественное. Это было то самое дворянство, которое после позорного поражения разбежалось от Россбаха и которое при Кобленце вело себя крайне недостойно.

Во Франции было хорошо, пока революция, наконец, не всколыхнула новых людей. Это была другая раса. Тогда они ощущали себя имен-

но так. Еще Монтескье говорил об отцах нации, которые в свое время жили по ту сторону Рейна. Но уже Вольтер насмешливо спрашивал, не получится ли так, что французы происходили скорее из бедной галльской семьи. И теперь Зейс требовал, чтобы внуки франкских завоевателей вновь охотились в немецких лесах. Цезарь был абсолютно прав, когда подчеркивал рискованные качества галльского населения. Революция вновь выявила их непредсказуемость, их нерешительность, а также самонадеянность. Очень скоро сформировалось новое национальное самосознание. Оно было жестоким и животным. В нем было нечто от когда-то существовавшего национального культа друидов. Французы, кажется, только и ждали, чтобы Руссо провозгласил идеи суверенитета. Теперь же этот суверенитет выплеснулся на улицы, чтобы «принудить быть свободным» каждого француза, который не хотел подчиняться общей воле. «Народ не ошибается». Ирония истории заключается в том, что первыми жертвами этого народного суверенитета стали жирондисты — либералы от революции, которые хотели установить «республику добродетели». Среди 17 статей человеческих и гражданских прав, которые были позаимствованы из американской конституции, наряду со странным образом понятой свободой стояло совершенно недвусмысленное понятие, которое французы не смогли бы выдумать и которое не имело срока давности. Это была собственность. Они подразумевали не ту собственность, которую можно было наследовать. Они подразумевали собственность, которую они приобрели себе. Подразумевали собственность, которой прирастала Франция, осуществляя революции во имя свободы, равенства и братства. Безопасность этой собственности тотчас стала единственной заботой французского либерализма.

Национальному честолюбию французов не хватало только понятия собственности. Французам не хватало честности англичан, которые признавали, что собственность приносила выгоду Англии. Они не развивали философию дивидендов и психологию рантье. Как нация они воплощали собой самых мелочных собственников, но для признания собственности они нуждались в красивых словах. Некоторое время им вполне хватало понятия «добродетели». Но, наконец, они все же решились на свободу. Кондорсе писал в своем манифесте 1791 года: «Французская нация отказывается от всех захватнических войн; она не хочет никогда применять силу против других народов; это наша священная клятва, которая делает наше счастье счастьем других народов». Точно так же во время мировой войны говорили Бутру и Бергсон. Но уже Бонапарт сменил у выбранной для достижения собственных целей нации лозунги. Вместо «свободы, равенства и братства» он дал французам «славу». Как он вследствие этого увеличил собственность нации? Он сделал это совершенно по-иному. Он сделал французов собственни-

ками других стран, добыл им владения в Европе. И опьяненная нация следовала за ним. «Народ не ошибается». Однако все закончилось трагедией, и нация вновь деловито приветствовала Бурбонов.

Она также приветствовала Орлеанскую династию. Она приветствовала потомка Наполеона. Некоторое время казалось, что гражданский король — это самый правильный для нее монарх. Она видела в нем доброжелательного мужчину в круглой шляпе и с зонтиком, который сделал своими доверенными лицами адвокатов и банкиров. Но либерализм не возместил издержки по своим счетам, которые он мог предъявить. В эти десятилетия политическая борьба шла вокруг либерального избирательного законодательства, которое должно было гарантировать средним слоям право выбирать и быть избранными. Эти права надо было обеспечить как некие «права человека». Либерализм использовал годы реставрации, чтобы осуществить этот замысел. Чтобы победить, он устроил июльскую революцию. Затем он устроил февральскую революцию. Он создал третью республику. Цель же всегда была одна и та же. Вновь и вновь создавать при помощи общественных слов вполне определенную власть, которая бы служила отдельным личностям, которые намеревались использовать ее ради получения выгоды. Ради этой цели либералы были готовы договорить с клерикалами. Ради этой цели либералы были готовы стать националистами. Чтобы скрыть действительные движущие силы французской политики, всегда хватало и красивых слов, и разумных доказательств, и ораторских уловок. Многословно, в вечной взволнованности, которая расхваливала и превозносила все французское, заверяли собственный народ, как и все другие народы, что Франция служит только делу «человечества». Думали ли мы о Гамбетте, Буланже и даже о Клемансо. Все они использовали такие же слова, присущие декларативному либерализму, постоянно ссылающемуся на права и свободы, но в то же время приукрашивающему собственные цели. В подобных словах нуждался также Пуанкаре, человек с тщеславной физиономией великого гражданина, который приложил руку к развязыванию мировой войны, но сбежал от нее при первой же опасности в Бордо, а позже играл роль невозмутимого деятеля. Он тоже использовал эти слова и знал, что лжет. Но цель оправдывает средства, а понятия выступают в роли средства для достижения данной цели.

IX

В Европе другой либерализм. И совершенно другой либерализм в Германии.

Если на Западе встречаются два пророка, то они знают, что такое либерализм: политическая уловка, при помощи которой удалось об-

мануть или по крайней мере использовать поднявшееся общество третьего сословия, все еще остающееся раздраженным, но все продолжающее оставаться раздраженным и докучливым народом, наивно поверившим в обещания 1789 года. Пророки знают, что такое свобода. Это заглавное слово, которое придает притягательную силу лозунгам о человеческих правах. С этим словом восставшие массы отводились от опасных баррикад и направлялись к безопасным избирательным урнам.

Если все-таки имеется отсталость немцев, то они в этой связи ничего не заметили, ни политически, ни психологически. Они считаются отсталыми, поскольку не являются Западом, но они не осознают, что они не являются таковыми, что их сила, превосходство и будущее связаны с Центральной Европой. Вместо этого Германия испытывает иллюзию, будто бы у нас должны проводиться в жизнь все идеи западноевропейцев, будто бы мы должны подражать западноевропейским учреждениям, пока мы не сможем занять достойное место в цивилизованной истории, и пока мы не будем как равные в кругу либеральных наций.

В итоге мы тоже пошли путем либерализма. Мы пошли не за выгодой, не к нашей славе, а к нашей погибели, на что указали последствия нашего крушения. Запад торжествовал в очередной раз. Англия избавилась от конкурента. Франция живет за наш счет. А вместо «прогресса» мы получили разрушение. Могла наша простодушная натура найти более страшные доказательства того, что либерализм не являлся нашим путем? Но мы следовали им. Следовали последовательно и принудительно. Мы шли этим путем, так как подразумевали, что он являлся общей тенденцией в человеческой культуре. Мы следовали им со всей немецкой основательностью. Мы верили, что нам предлагают этот путь как людям двадцатого столетия, а возможно даже девятнадцатого. Мы как социалисты все время взирали на Запад, но видели, что социализм и либерализм являются мировоззренческими противоположностями, политическая реализация которых может закончиться лишь исчезновением либерализма. Как социалисты, мы не видели, что только тогда, когда мы не воспримем либерализм в Германии, появится возможность все-таки осуществить социализм. Несмотря на различия, социализм и либерализм объединяла оппозиция в отношении немецкого государства. Немецкий либерализм было достаточно глуп, чтобы подготовить социализм, в то время как социализм сносил либеральную поддержку. Все это привело к ошибкам, самообманам и ложным демократическим выводам, которые в прошедшее столетие базировались на представлении, будто бы все, что хочет народ, служит интересам нации. Мы не видели опасности, которая могла свести нас в могилу.

И все же мы имели возможность пойти другим путем, нежели путем либерализма, западничества и демократии, которая на самом деле являлась демагогией. Консервативный путь, вдохновленный нашим национальным духом, основывался на наших ценностях, он опирался на все наше устройство, которое не было мертвой традицией, но живой и вновь оживающей. На этот путь в начале века нас направлял барон фон Штайн, который видел могущественную эффективность этого пути в Германии, так как он базировался на фундаменте всей нашей истории. Данное направление могло стать противовесом либерализму, религии разума, обществу индивидуумов, разрушению обязательств и возвышению пресловутого «прогресса». Но консерватизм фон Штайна был оттеснен, и Родбертус не смог смириться с этим. Консерватизм как таковой не отрицал идеи фон Штайна. Он не делал этого хотя бы потому, что фон Штайн являлся «патриотом». Но консерватизм не был в состоянии понять, что существовал человек, который не хотел устанавливать связь между революционной действительностью и прошлым, так как настойчиво стремился в будущее. Впоследствии появились консервативные мыслители, которые прервали это идеологическое направление. Они не были государственными деятелями, а лишь аутсайдерами, которые смирились со своей участью остаться для нации незнакомыми, незамеченными и почти забытыми. Это плеяда ранних консерваторов, начиная от Адама Мюллера до Пауля де Лагарда и Лангбена.

Консервативная партия, которая являлась профессиональной, излагала народу палладиум своих идей, отталкивалась от них. Она сгруппировала фрагменты своего мышления, которые еще оставались, лишь вокруг таких заглавных воззрений, как «трон и алтарь», «церковь и государство», а иногда даже вокруг вспомогательных понятий. Она была легитимной, но со временем превратилась в реакционную, не отказывая себе в том, чтобы одновременно являться парламентской. Она не явила миру ни одного политика, который бы представил консерватизм как идею. Да, она находилась в бесконечном духовном смятении, в котором пребывало все консервативное мышление. Она позволила, чтобы политическое, юридическое и философское руководство перешло к Шталю. Партийный консерватизм по своей природе просто был даже очень рад помощи этого чужака. И сегодня имеются консерваторы, даже специалисты по государственному праву, которые видят в Штале создателя немецкого консерватизма. Партийный консерватизм внял обращенному в свою веру, с добросовестным характером, с налетом интеллигентности, что подкреплялось консервативными воззрениями. Но партийный консерватизм слишком долго не спрашивал себя, не был ли этот крючкотворно-ревнительский дух духовно-национальным порождением недоверия к ценностям, кото-

рые, как казалось консерватизму, он превозносил и должен был защищать. В действительности Шталь был разрушителем, а не создателем немецкого консерватизма. Так он действовал. Он стремился спасти консерватизм. Он пытался выиграть посредством анализа и синтеза. «Если он шел на компромисс, то делал это из принципа» — считают новые легитимисты, которых отыскал Шталь. Но они сами не замечают того, что дают оценку, которая изничтожает консервативного политика! Консерватизм не терпит компромиссов, в то время как либерализм живет за счет их. Реалистичная политика Бисмарка не была политикой компромиссов, которая качается то в одну сторону, то в другую, допускает полумеры и уступки, которая не является откровенной и последовательной. Бисмарк прибегал к категоричным средствам, среди которых на первом месте стояла «поразительная истина». Если мы говорим о политике как о человеке действий, то Шталь как явление скорее принадлежал либерализму, против которого он боролся, нежели консерватизму, за который он боролся. Мы обнаружим в нем этот либерализм повсюду. В строго теологическом, почти бюрократическом консерватизме, либеральных манерах, склонностях и воззрениях, будь то пристрастие к английской конституционности или представления о прогрессе, в который он невольно верил. Он полагал, что Третья империи как христианское государство будет состоять из протестантских и католических, сословных и конституционных, средневековых и современных фрагментов. Это была всего лишь интеллектуальная компиляция. Но самое характерное, что в его системе не придавалось никакого значения понятию, которое фон Штайн ставил во главу угла — национальности. Шталь, бывший рационалистом, был чужд мистических, а стало быть, и национальных переживаний. Он не видел образа вещей, а только лишь конструкции. Он был диалектиком, а потому как консервативный политик исповедовал тот же самый рационализм, против которого он боролся. Когда он выступал против, как он выражался, «самодостаточности разума» в консерватизме, то он не воспринимал его более как мировоззренческое явление, а лишь как благоразумие в политической жизни. Его слова, что мы не должны бояться свержения, а только разложения, вне сомнения, сохранили свое значение. Но, вероятно, эти слова были сказаны кому-то относительно разложения личности. Однако он настолько глубоко познал природу разложения, что все, что он делал, против его воли оказывалось вредоносным.

Поэтому мы не можем сказать, что Шталь подорвал консерватизм как партию. Консервативная партия оставалась реакционной организацией, которая была таковой и по образу мыслей, и по характеру, и по борьбе ее представителей. Пришло время, когда чем более реакционным, чем более невосприимчивым, неподвижным и ретроградным

становился консервативный политик, тем лучше он воспринимался. Он был невосприимчив к самообману и решительно придерживался государственнических позиций и сурового личного и народного опыта. Однако Шталь разрушил консерватизм как мировоззрение. Вместо органических, естественных и народных принципов, которые мы могли найти у фон Штайна и того же Бисмарка, он дал формальную и эклектичную идеологию самосохранения государства. Но прежде всего не обогатил консерватизм в духовном плане, и тот, вместо разложения, вел борьбу против свержения династии. Консерватизм проиграл эту схватку. Со временем он становился все более беспомощным. В духовной сфере, которую он не считал принципиальной, он совершал одну за другой уступки либерализму. Даже Бисмарк, который отдавал себе отчет, что партия стала утрачивать внутреннее право на существование, порекомендовал ей концепцию «консервативного прогресса». Но он чувствовал, что это не было само собой разумеющейся вещью, а неким двуполым гермафродитом. И действительно, эта консервативная беспомощность в конце концов привела к созданию Свободно-консервативной партии, которая предложила объединить несовместимое: консерватизм и либерализм. Но это была вынужденная мера, которая не была воспринята немецкими партиями и не смогла помочь встать на ноги так называемому культурному консерватизму.

Прошлое столетие в Германии принадлежало либерализму. Не тому заносчивому, который при создании империи, называясь национал-либерализмом, не сходил с уст, а более раннему, свободомыслящему и просветительски ориентированному. Тот либерализм, который затем разъел изнутри все наши партии, который в принципе дискредитировал их как тип организации, который накануне войны разрушил наше единство. Его недостаток всегда заключался в программной поверхностности, которая опиралась не на характер, а на рационализм, убедительность и банальность высказываемых мнений. Эта маневренность была тем моментом, который подавал плохой пример, искушая политического противника поначалу укрепиться в своем мнении, но затем изменить его и скрыться от всех парламентских трудностей на неких средних позициях. Его характерная особенность заключалась в том, что его приверженцы регулярно становились жертвами самого же либерализма, так как они были последовательными лишь в своем доктринерстве, но отнюдь не на практике и не в политике. В итоге они только били черепки, которые затем созерцали с удивленными физиономиями. Им всегда оставалось красться как мошенникам. Таким был немецкий либерализм. Самым большим его преступлением была его невообразимая глупость. При зловещем разделении либерализма, которое опиралось на идею о преступлении как глупости, немецко-

му либерализму была оставлена исключительно последняя роль. Мы наблюдаем ее как основную характерную черту, когда либерализм в Германии перестал быть уделом идеалистов, студентов и честных демократов. После 1814 и 1848 годов он стал уделом публицистов. Тогда «рыцари духа» уже не ездили верхом, растаптывая в бумажных войнах прежде всего немецкий язык, который не был испорчен столь сильно, как молодой Германией, они сталкивались с образованными, необразованными и вообще воображаемыми противниками. Они пробили брешь в духовном завещании нашего классического века, и буквально за какие-то полстолетия в нее хлынули приливы пустого просветительства и вульгарного материализма. Именно тогда, чтобы добавить к литературным преступлениям еще и политические, немецкие либералы лишили поддержки, которую, как думается, оказывали всему прогрессивному, Фридриха Листа. Они довели до смерти великого человека своими мелочными нападками. Впоследствии именно они были теми, кто мешал Бисмарку и создавал все мыслимые трудности на пути к достижению национального единства. Незадолго до развязывания мировой войны их политические экономисты огласили успокаивающую доктрину свободной торговли, уверяя нас, что в случае войны Германия будет занимать самое выгодное положение, так как она будет окружена нейтральными странами, что легко позволит обеспечить снабжение. И теперь, когда случилась беда, после того как надежды на Вильсона (в которого никто так не верил, как либералы) оказались призрачными, эти демократы, которые могут быть пацифистами в теории, но империалистами на практике, горюют, что Германия не использовала представившийся ей шанс. Оказывается, немецкое правительство не воспользовалось русско-японской войной, дабы навсегда устранить восточного противника! Как будто бы имелась в наличии воля использовать самую незначительную возможность убедить рейхстаг, который являлся не только парламентским органом, но и телом, зараженным либерализмом, в том, что надо предпринять действия, которые бы вмешивались в историю! Но, делая эти упреки, немецкий либерализм ведет себя так, словно оправдывается. Тем более, что эти упреки не постижимы разумом и произнесены они в пустоту голословных суждений.

У наших врагов все по-другому. Они позволили себе превосходно руководить своим разумом. При всей своей лжи, обмане, отъявленных расчетах, искажениях фактов, столь присущих искусству пропаганды, они все-таки достигли своей цели. Заглавные лозунги борцов за права человека стали для их же народов огромным разочарованием. Разочарованием в моральном смысле этого слова, но отнюдь не в политическом. Внешний успех был настолько велик, что внутренний ущерб почти полностью забылся. И всегда, когда странные чудаки или

сохранившиеся борцы за права человека задавали неудобные вопросы (вопросы об ответственности за войну и мир), пророки западного либерализма имели возможность отвести от них взгляд нации, обратив его на внешнюю политику. Существует подозрение, что эти борцы за права человека, французские легисты, или кем они там сейчас являются, давно уже вросли в систему либерализма. Им отведена роль сохранять перед лицом мира видимость справедливости. Роль, которую они отвели всем либеральным болванам, которые имеются в любой стране. Роль, для которой не нужно особых знаний. Разочарование стало лишь нашей участью, а потому только мы имеем повод задать вопрос об идеях 1789 года. Вопросы о свободе, о равенстве, о братстве, которые мы не в последнюю очередь адресуем нашим либералам, демократам и революционерам. Ведь они верили в эти идеи и обещали нам мир справедливости. И для них было бы лучше, если бы они доверяли этим идеям и сейчас, а не только тогда, когда они появлялись на свет.

Братство? В Версале был нанесен серьезный удар по солидарности народов, от которого он еще долго не оправится. Но этот удар привел нас к мысли, что мы благодаря нашему простодушию стали жертвами лицемерия. Позже мы придем также и к другой мысли, что причины войны крылись в демографии, что борющийся империализм был наилучшей социальной формой для перенаселенной страны, что мы тот самый народ Европы, который в первую очередь нуждается в подобном империализме. После заключения мира, который был навязан нам по совету наций, но не соответствовал нашим жизненным необходимостям, при котором немецкий рабочий утратил возможность работать, для нас единственной возможной внешней политикой является та, которая вновь нам вернет свободу передвижений и выведет нас из тесноты, в которой мы вынуждены пребывать по воле наших европейских братьев. Если мы не вырвемся на простор, то мы зачахнем в этой тесноте. Равенство? Накануне войны Германия была не только страной социальных реформ, но социал-демократии, которая, кажется, хорошо приспособилась додумывать до конца доктрины социализма, которые должны были претвориться в жизнь, как только она получала власть в свои руки. Сегодня стало ясно, насколько тяжеловесным, медлительным, предвзятым и отставшим является социалистическое мышление. Все еще огромным препятствием в длительном удовлетворении классов и классовых интересов является противопоставление рабочих и работодателей. Капитал все еще действует там, где он работает, а не там, где он расходуется впустую, пускается на ветер, растрачивается. Люди делятся не на классы, а на типы. В народных представлениях республика стала некой формой защиты спекулянтов, который, кажется, стал выражением новой эпохи, подобно тому, как выражением прежней являлся — грюндер. Революция принесла нам хотя бы пользу, когда

привела к мысли, что проблемы социализма нужно решать коренным образом, а не посредством того, чтобы в рамках одной нации выражать противоположные интересы. Решение проблем социализма зависит от единства нации, которая является всем: устройством, иерархией, телом, общностью, в которой каждое сословие имеет право на жизнь. Излишними в ней являются лишь выигравшие от революции, вместе с военными спекулянтами, кои являются нашими врагами. Это особая нация — нация наживившихся на войне. Свобода? Накануне войны мы были свободнейшим народом на Земле. Сегодня мы являемся порабощенными. Порабощенными изнутри и порабощенными снаружи. Если соизмерим свободу народа со свободой его состояния, то увидим, что наша свобода существует лишь на бумаге конституции, которую нам навязали. В реализации данной свободы мы, напротив, зависим от воли наших противников. Мы понадеялись на их либеральность, что они захотят заключить мир с демократической Германией, но на немецкие улицы выплеснулось насилие, и они уже заключали мир с социалистической Германией. Это также была польза от революции, правда, не та которую нам обещали. На основании этого печального опыта нация поняла истинное значение либерализма в народной жизни. Для наших врагов понятие свободы имеет другой смысл, нежели для нас. Они обошлись со свободой так, что получили превосходное действие. Они нуждались в понятии, но не отдавали себе отчет, что надо брать обязательства за его содержание. Хватало самого этого пьянящего слова, общеупотребительность которого приводила к многозначности, которая оправдывала любые цели. Поэтому в странах Просвещения нет такой партии, которая бы не называлась либеральной. Либерализм на Западе является демагогической естественностью политических программ. Во Франции либерал может быть радикалом, клерикалом, социалистом и даже роялистом. В Англии либералами являются и тори, и виги. Либеральными являются обе американские партии. Различия проявляются в том, что во всех партиях имеются наивные люди, которые честно верят в либерализм, для которых двусмысленность, напротив, является злым знанием. Но никакая партия не хочет потерять преимущество быть либеральной. Впрочем, она может связать с понятием свободы любую неволю, любую нетерпимость, любое насилие над инакомыслящими. Она может появиться в стране фашизма, где либерализм когда-то связал воедино националистов и карбонариев. Там она отвечает, что не освобождает народы, а закрепощает их, что государство расширяет сферу своих полномочий и пытается прибрать к рукам пограничные территории. Теперь немецкие либералы растерялись, они иногда честно возмущаются, когда указывают на подлости, которые творятся передовыми бойцами идей либерализма или же их сыновьями. Они указывают на предательство старых и высоких идеалов: права нации на самоопреде-

ление, защиту права меньшинств. Они указывают на казуистические и либеральные искажения, истолкования и трактовки, которые должны были скрашиваться видимостью нового права — права человека отмахнуться от народа. Сейчас начинают каяться немецкие масоны, которые все поголовно являются либералами. Если им приводят доказательства того, что до войны немецкие ложи плели интриги, то они клянутся, будто бы ничего не знали об этом, что они не имеют к этому никакого отношения. А мы охотно верим во все это. Они не должны доказывать это. Каждая страна имеет свое собственное масонство. Немецкие ложи долго вскармливали немецкую добросовестность. А либерализму досталось замешательство от понятий, которые пришли с Запада и которые поставили Германию в тупик. Мы всегда свято полагали, что наши враги нас просто разыгрывают. Они дурачатся, выдвигая те лозунги, под которыми началась мировая война. Наши враги пускали их в ход по мере надобности. Они использовали их и против нас, и в своих интересах. Для этого они каждый раз давали им интерпретацию, которая была им на руку. А немецкий либерализм был настолько услужлив, что взялся за посредничество. С успехом он отвернул от немецкого дела все, что являлось в Германии либеральным. Мы не можем сказать, что эти люди стали нашими врагами, но мы рассматриваем их как франкофилов. Как-то мы признали правоту наших врагов. И произошло это не под давлением обстоятельств, а под давлением идей, на которые враги ссылались, ведя борьбу против Германии. Мы же до конца верили в эти идеи, мы доверяли им больше, чем самим себе.

Это соответствовало плану, который лежал в основе мировой войны. Это соответствовало людям, которые рассчитывали на данный план, и прежде всего людям, которые должны были считаться с ним. Это соответствовало немцам. Мировая война возникла не из какого-то заговора, который устанавливал конкретный день и час. Но она возникла, что гораздо опаснее, из предвидения неизбежного столкновения при утверждении интересов, которые проявляли и государственные деятели, и нации, в коих жили инстинкты западного либерализма и кои были обучены его методам.

Германия была предоставлена немецкому либерализму. А можно было спокойно предоставить немецкий либерализм самому себе. Преступники были уверены, что у них не было лучшего союзника, чем глупость обыкновенных людей.

X

Молодежь в Германии чувствует причину этого обмана.

Она догадывается, что это был обман. Запад сулил нам свободу. Но не дал ее, а забрал.

Эта молодежь в силу своей уверенной и хорошей природы видит эту взаимосвязь. Она пока не дает себе определенных политических отчетов. Но она уже просматривается в людях, с которыми мы имеем и должны иметь дело.

И эта молодежь использует свою вечную привилегию не обращать больше внимания на то, что кажется предательством, и отвернуться от либерализма. От либерализма всех партий, всех кругов и классов, который привел нас к тому, что мы имеем — к рухнувшей нации.

Борьба за свободу всегда была привилегией молодежи. Если бы свобода была уделом либерализма, то молодежь бы не отвернулась от этого политического движения, а потянулась к нему. Однако либерализм более не имел ничего общего со свободой. Правда, либеральный человек утверждал, что он профессиональный защитник свободы. Но он как-то сомнительно ее защищает, он подгоняет ее под какие-то критерии, дабы самому извлечь из нее пользу или принести выгоду кому-то еще. Как литератор, он заигрывает со свободными нравами, что соответствует эстетствующему, жаждущему приключений и преступному человеку. Подозрительная близость, в которой он двигается, еще раз указывает, что его либерализм является элементом распада, который переносится с образа жизни одиночки на всю жизнь в государстве. Сам либерал — посредственный человек. Он рассматривает свою жизнь только с позиции удовлетворения своих потребностей. У него нет никаких пристрастий, разве что только те, которые обеспечивают его деятельность по извлечению выгоды. Свободу он воспринимает прежде всего как свободу действий, которая сформировал его эгоизм. Он окружил эту свободу действий политическими формами защиты. Для этого он исказил демократию и приспособил парламентаризм. Либерал — это политический индивидуалист. Он оппортунист от системы. Либерализм — это охраняемый произвол. И это маскировочная раскраска корысти, которая скрывает ее от посторонних глаз.

Молодежь в Германии подозревает все партии. Они чувствуют, что они все причастны в той или иной степени к либерализму, что консерваторы вероломны, что радикалы непоследовательны. Почему Бетман-Гольвег потерпел неудачу? Не произошло ли это потому, что он, как государственный деятель, был либералом? Почему немецкий социализм потерпел неудачу? Не произошло ли это потому, что он ориентировался на Запад? Не потому ли, что он был инфицирован либеральной нерешительностью, а потому утратил свой смысл? Не потому ли революция, которая должна была стать войной для Германии, вновь привела к созданию новых обязательств? Либерализм в корне испортил немецкий социализм, который является немецким лишь внешне, а по сути французским, который позволяет немецким рабочим идти с сознанием рантье в

тягле Версальского договора. Но прежде всего подозрения падают на ту партию, которая сама всегда называлась либеральной, свободомыслящей и прогрессивной. Этими словами была в особенности разукрашена Демократическая партия. Если проследить ее историю, то она связана не только с добросовестностью, на которую немец способен, но и со всеми упущенными возможностями и запоздалыми решениями, которые только имелись в немецкой истории. Мы в конце концов найдем причину, по которой мы проиграли эту мировую войну. Следствием этой войны стало появление нового поколения, которое восприняло нашу судьбу. Это поколение не только скептическое, но исполненное энтузиазма. Поколение, перед которым были очень рано поставлены героические задачи. Поколение, которому никто не может подсказать, когда и как решать эти задачи. Молодежь может лишь готовиться. Она может прочувствовать и узнать причины, которые были слабыми сторонами его народа. И она сможет двигаться вперед, к ценностям, которые все еще являются источниками силы ее народа. Она может сбросить с себя все, что ставилось в вину нации. Молодежь уже делает это сегодня. Делает она это жестко, основательно, не обращая внимания на то, какие привилегии она от этого получит. Поэтому в Германии нет либеральной молодежи. Есть революционная молодежь. Есть консервативная молодежь. Но кому нужна либеральная? Есть, правда, какая-то демократическая молодежь, которая в южно-германском смысле трактует естественные основания, сословную жизнь, народность, которая является не господством народа, а его обязанностью. Еще недавно эта же демократическая молодежь ориентировалась на Лигу Наций и мир во всем мире. Но сейчас в ее ряды усиленно проникают националистические идеи. Формальная демократия, подменяющая у нас собой государство, опирающаяся на клики, напротив, подвергается презрению, от которого уже нет спасения. Молодой консерватор больше не нуждается в том, что насаживает в Германии механический, соответствующий букве закона, пристрастный парламентаризм, который приводит к неспособности действовать. Также и молодой революционер, который пережил в духовном плане крушение марксизма, но все же остался верен мысли о трудящихся, должен разочароваться в революции и демократии, которая предала все реакционные идеи и довольствуется оппортунистическим извлечением прибыли из своей мнимой политической власти.

Если мы выясним причины, которые привели молодых консерваторов, равно как и молодых революционеров к столь единодушному суждению, которое является чем-то большим, нежели суждением относительно состояния, в котором мы сейчас пребываем, а скорее приговором принципам, точкам зрения и установкам, которые привели нас в это состояние, то мы обнаружим, что они презирают либеральную составляющую в мире политических идей. Это общая черта.

Это единственное, что существует общего в Германии, пережившей революцию. Эта общность для нового фронта, который образуется вне партий, который создается и правыми, и левыми силами, если они, конечно, являются силами германской молодежи.

Как только произойдет смена поколений, которая заявит в духовном плане об этой молодежи, то больше в Германии не будет никого, кто бы стал оправдывать либеральные достижения, благодаря которым мы проиграли не только войну, но и революцию, в которых мы намеревались победить.

Либерализм — это то мировоззрение, нет, мир воззрений, от которого сегодня германская молодежь отворачивается. Отворачивается с отвращением, с негодованием и крайним презрением, так как, созерцая мир в своей манере, они не находят ничего более противоречивого и омерзительного.

В либеральном человеке немецкая молодежь узнала врага.

XI

Либерализм сводит народы в могилу. Но как? Разве это не либеральные народы, которые выиграли войну?

Не эти ли народы в 1918—1920 годах достигли всего, во всяком случае, добились договора, по которому мы должны будем выплатить остатки наших долговых обязательств? Не они ли достигли всего, что двигало их тайными желаниями, но они были настолько неосторожны, что высказывали это вслух и до 1914 года, когда думали о Германии?

Мы можем ответить на этот вопрос лишь ожиданиями, что гибель, которая была уготовлена нам, постигнет тех, кто ее готовил. Мы ожидаем, что последний самый тяжелый и самый подлый удар, который будет подготовлен все еще действующим либерализмом, когда он сплотил все народы против одной нации, будет его последним преступлением. Мы ожидаем, что Версальский мирный договор приведет к всемирному разоблачению либеральных людей, которые не переживут либерализма.

Наши противники добились успеха. Они смогли уловить момент. Но у них больше ничего нет. К тому же все против них. Однако есть тайна, которая до поры до времени не открывается. Но мы уже сегодня можем увидеть эту тайны, которая кроется в перестроении людей как народного организма. Мы видим, как все, что не является либеральным, сплачивается во имя борьбы против всего либерального. Мы живем во времена этого переворота. Этот поворот начинается вполне последовательно, так как меняет все коренным образом и нападет на врага там, где кроется причина его могущества. Переворот начинается с отказа от идей Просвещения.

Ценность мировоззрения зависит от его воздействия: растут или опускаются люди. Просвещение превратило мыслящего человека в человека расчетливого. В собственных интересах оно разложило мир посредством идей. Оно вызвало дегенеративные процессы в Европе. Исход мировой войны привел к крушению этого Просвещения. Он позволил практическим подсчетам английской рациональной философии спрятаться за ведомостями, найти моральное оправдание для аморального образа жизни, управления государством и ограбления народов. Для этого в политическом словаре было изобретено слово утилитаризм, которое, по сути, означало эгоизм. Исход войны также обнаружил крушение прав человека, при помощи которых французская революция именем демократии обманывала народ, в то время как они помогали возникшей политической касте использовать государство для эксплуатации нации. Борьба против Просвещения, которую мы начинаем, будет борьбой против либерализма, которая будет проходить на всех фронтах.

В этой борьбе мы познаем, насколько ничтожным все-таки было Просвещение как эпоха, насколько оно было незначительным, несколько немощным и несущественным было все, что оно умудрилось создать, насколько преходящим и мимолетным было все то, что оно оставило после себя. Оно породило целесообразные и остроумные вещи, первые из которых применялись преимущественно в Англии, вторые — преимущественно во Франции. Все великие вещи, которые были созданы по ту сторону Запада, были порождены вопреки Просвещению. Все великие люди, а нам хотелось бы думать, что к таковым относятся и Гете, Бисмарк, не были либералами. Все значительные события, будь то установление наполеоновского господства или создание рейха, не были либеральными событиями. Прежний трюк либерального человека состоял лишь в том, что он участвовал во всех этих переменах как пользователь, что он, возможно, использовал эти события как собственную заслугу, что он приписывал их себе как индивидууму, что он преподносил свободу как подарок, а подарком являлось творчество, воля и действие.

Но все же либеральный человек просчитался, когда он подобным способом отводил взгляд и уклонялся от основополагающих принципов. Он просчитался, так как вновь и вновь наступает момент, когда индивидуум осознает свою беспомощность, сохранившееся общество распадается на составные части, а человек, который еще недавно ставил себя выше общества, понимает, что он хочет жить на земле, в своей стране и единении со своими соотечественниками.

Это мгновение, когда народы, как и люди, возвращаются к обязательствам, без которых намеревалось обойтись потерявшее разум Просвещение.

Это мгновение может наступить только после самого тяжелого испытания, которое безжалостно ударит и по обманщикам, и по обманутым.

Но это мгновение наступит.

ДЕМОКРАТ

Демократия — это причастность народа к своей судьбе.

I

При демократии народ узнает, знает ли, что он хочет.

После 9 ноября 1918 года немецкая демократия хотела того, что хотели наши враги. Эта участь ее постигла по собственной вине.

Но будет ли на протяжении лет немецкий народ желать того же, что хочет демократия? А если эта демократия захочет остаться тем, чем она была и является в настоящий момент: прислужницей мирного договора? Не настанет ли для народа момент, когда он возразит против того, что происходит от его имени? Подчинится ли демократия соответствующей воле народа, после того как она долгое время являлась безвольным инструментом наших врагов?

Право на существование зависит не только от наших демократов всех мастей, но и от судьбы нации, которую та, понимая всю ответственность, избрала сама.

II

Мы не получили благодаря революции никакой демократии, так как народ приобрел свою власть таким способом, который не вызвал уважения ни у нас самих, ни у кого-то другого. Революция победила и в то же время утратила свои понятия. Немецкая революция стремилась быть демократической революцией. Она начала с обещаний, что даст народу демократию. Впоследствии, 9 ноября, она запустила демократический формовочный пресс. Она дала установки, что как раз настал тот случай, когда народ в состоянии сам создать конституцию. Демократические начинания: парламентаризм, самое свободное избирательное право, самая демократическая в мире конституция — были заранее подготовленной выдумкой либералов и социалистов. Они действовали весьма радикально, но прежде всего по-немецки основательно, догматично, привередливо и в строгом соответствии с программой (дословно и внешне последовательно), хотя в то же время совершенно не по-немецки:

рационально и крючкотворно — но все же они шли демократическим путем.

Однако несколько лет спустя мы находим, что народ в Германии с его настроениями, оправданными и не оправданными ожиданиями, не разочаровался так сильно ни в одном понятии, как в демократии. Здесь даже не спасают иллюзии, будто бы народ выступает за республику. Они действовали при каждом удобном случае, когда казалось, что республиканская форма правления находится в опасности. Они действовали с единодушием, которое было единственным, что досталось пролетариату после революции. Но этого единодушия не было у нации, которой предстояло ответить на более тяжелые и значимые вопросы.

Это признание республики имело не столько политическое, сколько психологическое значение. Народ давно уже знает, что его революция была глупостью, которую другие народы не допускали с такой легкостью. Такие глупости можем совершать только мы, немцы! Когда те же самые немцы беседуют один на один и не слушают своих партийных вождей, то они признаются в одном — в поддержке радикальнейших политических направлений. Сначала они предприняли смущенную и беспечную, но в любом случае поверхностную попытку воспринимать эту глупость с привычным оптимизмом. Вначале говорилось: вот увидите, все исправится! Но это были лишь слова. А за этим постепенно пришло познание, что глупость, которая нас так привлекала, значила для нашей истории значительно больше, чем новый нелепый поступок, который иногда совершал добросовестный немецкий народ. Это было ужасное событие, которое принесло нам длительные страдания. И никто не может знать, когда оно закончится и не приведет ли оно к гибели, разложению и полному уничтожению нации. Теперь народ хотел, чтобы далеко не все, что было совершено, было сделано напрасно. Он избавился от формы государства, про которую ему говорили, что ее надо изменить. Он не предвидел последствий, но позволил произойти революции и появиться на свет тому политическому состоянию, в котором мы сейчас пребываем. Таким образом, пребывая в психологическом состоянии, в котором было больше отчаяния, чем предвиделось, и очень много порядочности, которая попыталась еще раз оправдать революцию, народ взял на себя отчасти ответственность за эту политическую обстановку и признал эту форму государственности, которую он своей волей установил ранее. Теперь народ увидел, что был предоставлен сам себе, но он хотел сохранить хотя бы одну возможность наполнить жизнью пустоту, которая являлась ничем, смертью. Символом этой последней надежды для него стала республика.

Признание республики не имеет никакого отношения к демократии. Народ совершенно уверен, что если «эта» вновь станет в Германии «иной», то это произойдет благодаря «отдельным личностям», которые укажут направление массам и подскажут, как ее «изменить». Если бы народ увидел эту новую личность, если бы он был убежден, что она является именно таковой, если бы доверял кому-то из вождей, проживающих в стране, то он бы с радостью освободившейся нации подчинился этому руководству, послав к черту всех демократических и социал-демократических партийных лидеров, которых он давно подозревал в бессилии и корыстолюбии. Подозревал более чем давно. Однако народ не видит такой личности. Он чувствует себя покинутым и лишенным всяких надежд. Он смотрит и соглашается, что должно было быть хорошо, а стало совсем плохо. Он смотрит и соглашается, что 9 ноября 1918 года не было выходом. Но не было ли 9 ноября, возможно, обходным маневром, дабы прикрыть вещи, которых нельзя было добиться в Германии иным способом. И народ стремится, по крайней мере, закончить идти по этому пути, который был республиканским, но для народа он еще являлся и демократическим. В той бесперспективности, которая окружает нас, республика являлась для народа гарантией, но она не вселяла в души никакой уверенности. Народ полагал, что это была единственная гарантия, которая у него осталась. Впрочем, она не обещала ему внешнеполитического спасения, но оставляла народу хотя бы видимость внутриполитической свободы. Народ полагал, что она являлась предварительным условием, дабы нация заявила о своих правах, победила и, наконец, утвердилась в мире. Она является для народа оболочкой, которая однажды может наполниться совершенно другим содержанием. Каким? Мы сегодня еще не знаем. Народ полагал, что пока мы должны довольствоваться тем, что по ряду причин невозможно изменить. А пока в Германии возможна лишь оболочка, которую мы называем республикой.

Но это вовсе не исключало возможности, что народ однажды мог потребовать вещей, которые были бы вполне республиканскими и в то же время недемократическими. Он мог выступить против демократии в рамках республики.

III

Демократию определяет вовсе не форма государства, а степень участия народа в государственных делах.

Но с этим участием народ обманули. Больше чем когда-либо. Не смотря на все преобразования. И в этом кроется различие между республикой и демократией.

Если мы отказываемся от незначительной партии, которая называет себя демократической, и если мы не принимаем в расчет ту массовую поддержку, которой демократия обладает в социализме, то появляются персоны, которые провозглашают себя «демократами», на деле извлекая политическую выгоду из нашего крушения. Подобные типы имеются во всех партиях, которые не только согласно своему духу следуют демократическим путем, но в которых есть хоть какие-то либерально-демократические элементы. Это те, которые благодаря революции забрались на вершину и не только в политическом смысле. Мы подразумеваем под ними и новых богатеев, и расторопных партийцев, и парламентариев-оппортунистов, и партийных вождей, и публицистов. Это те, кто доволен настоящим. Самые бесполезные среди них даже теперь стремятся наслаждаться своей бесславной радостью. Делают это они настолько убого и безобразно, насколько это вообще возможно. Даже после окончания войны они продолжают думать, что Германия — это огромная и свободная империя. Они были готовы отказаться от чего угодно, но только не от собственных удовольствий. Они зарабатывают честные деньги, которые печатает демократическое государство. И они стремятся к его сохранению не потому, что они почитают демократические идеи, а потому, что они обязаны ему своим положением.

Напротив, в народе, как в консервативных кругах, так и пролетарских массах, растет негодование, которое очень скоро будет обращено против демократии, которой будет поставлено в вину наши национальные и социальные бедствия. Негодование, которое сможет положить конец демократическим оправданиям и начать все сначала. Но возможность начать все сначала является смутной и сомнительной. Вполне естественно, что молодежь чутьем догадалась, насколько демократия оскорбляет национальный гений. Дух молодежи жаждет чего-то необычного, и это также является ее привилегий. Она почувствовала банальность демократии, которая является еще более характерной, нежели ее продажность. И она судит ее восторженно-строго. Но даже там, где отрицают национальный гений, где отдают предпочтение нездоровому духу революции и где при все том кроется другая сила нашего народа, в рабочем классе, разочарованном революцией, набирает обороты обратное движение, которое отчетливо ориентировано против демократии. Пролетарские массы являются социалистическими, но не демократическими. Они являются таковыми даже тогда, когда все больше и больше трактуют социализм как демократию. Они подразумевают отнюдь не имеющуюся у нас демократию, а что-то новое, другое, далекое, грядущее и, возможно, никогда не достижимое. То же самое происходит в «народе», который является многослойной массой, которую

нельзя охватить ни по партийному признаку, ни по возрастному, ни классовому, ни сословному, ни профессиональному. В ней росло пресыщение демократическими институтами, что сразу же отражалось на настроениях в стране. Сначала появилось ощущение провала, которое человек ощущает, когда при свете дня рассматривает то, что натворил ночью.

Конечно, излишне сравнивать, чем мы были до 1914 года и чем являемся после 1918 года. Эти запоздалые, слишком очевидные, эти совершенно полярные сравнения были вызваны мелочностью, которая не спрашивает о причинах и, более того, диктуется экономическими, а не политическими соображениями. И все же вслед за этими сравнительными соображениями назревает вопрос о смысле большого переживания, которое вопрошает не только о жизненных условиях и экономических отношения, но и о чести, позиции и положении нации. Теперь немецкий народ учится, хотя и очень медленно, но все-таки учится находить взаимосвязи в участи, которая была ему уготована. Он учится презирать другие народы, которые были демократическими, но в то же время предали немецкую демократию. Политические воззрения, которые были получены таким способом, вели к национальному самовосприятию. И на уровне этого самовосприятия народ давал себе отчет в той демократии, которая была его формой государства.

Чем во всем мире являлась демократия? Она являлась либерализмом. Конечно, она была достаточно осторожна, чтобы сразу во всем мире называться либеральной. В Германии она называлась прогрессивной. Либерализм обещал две вещи: свободу и прогресс. И оба эти понятия не были тем багажом, который теперь имелся в Германии. Но в Германии была демократия. Не правда ли, у нас есть демократия? И мы снова спрашиваем себя: кто обладает демократией? Если бы народ попытался проверить, то обнаружил, что по-прежнему между ним и государством находилась определенная социальная прослойка. Нет, это не была прослойка бюрократии старой системы, которая, впрочем, осталась. Это была политическая прослойка, которая завладела государством, которая создавала правительства, управления, контролировала прессу и различные организации. Прослойка, которая постоянно ссылалась на народ, но всячески от него отстранялась. Действительно, пока эта прослойка заседает в парламентах, где одобряет существующую систему и соглашается с предложенными бюджетами, народ избрал ее сам. Избрал в 1918 году во всей его полноте. Она была избрана мужчинами, женщинами и даже подростками. Это был революционный слой, который должен был стать демократическим. Но как раз «предвыборная кампанейщина» стала выражением того пресыщения, который народ в новом состоянии почувствовал

еще больше, чем в старом. Разум народа говорил себе, что это был обман, когда его вынудили прийти в роли избирателя на выборы и отдать избирательный бюллетень, который, возможно, определял все историю его Отечества. В действительности же он не вносил свой вклад, и ничего не менялось. Очевидно, что затраты на выборы не шли ни в какое сравнение с их результатами, когда избирались депутаты неизвестного происхождения, которые с самого начала были связаны лишь партийной точкой зрения и были снабжены партийными директивами на все случаи жизни. Не значил этот парламентаризм сковывание национальной политики? Народу становилось это ясно не только в теории. Он чувствовал, что это бессмыслица.

Народ в Германии всегда презирал рейхстаг. Он был тем, что в народной традиции связывалось с воспоминаниями о противодействии Бисмарку, который как государственный деятель делал то, о чем другие только говорили, чем еще больше ему мешали. Во времена Вильгельма II у рейхстага остался только контроль, который был ограниченным и во многом мешающим. Но еще больше немецкий народ презирал революционный парламентаризм, который мы получили после 9 ноября 1918 года вместе с Веймарской конституцией. Он мог принимать законы, а мог и не принимать. Поэтому он остался совершенно незамеченным в народе. Народу были безразличны словесные баталии в нем. Он ничего не ожидал от парламентаризма. Он не доверял ему. Народ в него не верил.

Насколько различаются жизнь парламента и жизнь народа, мы узнали из опыта, который мы приобретаем снова и снова. Но самая огромная разница существует между руководителем партии и избирателем. Если избирателя спрашивают его мнение, то выясняется, что он думает совершенно по-иному, нежели голосует его партия. Да и сами партии нередко голосуют не так, как мыслят их деятели. Это обман, при котором всегда будут обманщики и обманутые. Народ же всегда останется жертвой.

Только там, где партии находятся в оппозиции, существует определенное волевое единство. Убеждения есть только у тех партий, которые борются, вне зависимости, являются ли они левыми или правыми. Только они являются силой.

Как раз эти партии смогут преодолеть парламентаризм и демократию.

IV

Кто теперь является либеральным хамелеоном? Демократия.

Кто тот Молох, который питается массами, классами и сословиями и всем, что есть в нас человеческого?

Кто тот непостижимый в своей чудовищности Левиафан, который скрывается за напыщенной риторикой и мнимой порядочностью, к коей обычно прибегают демократы?

Демократия — это причастность народа к своей судьбе. Мы полагаем, что судьба народа является его собственным делом. Но остается лишь ответить на вопрос: как возможно осуществить это участие?

Народы, как и люди, сами выбирают свою судьбу. Ее выбирают лишь за несовершеннолетних. Зрелость может наступить очень рано, она может задержаться или вовсе не наступить. Это и отличает один народ от другого. Есть народы, которые достигли зрелости, а, следовательно, они обрели демократию в самом начале своего пути. Но имеются и другие народы, у которых демократия находится в самом конце пути. А есть народы, которые никогда не обретут зрелость и демократию, так как для их страны, для их государства и национального характера подходят совершенно иные формы господства, сдерживания и самообладания. А есть видимость зрелости, которой соблазняют народы, дабы те отказались от своей самобытности. Утратив ее, не столько из политической надобности, сколько из догматических установок демократии, эти народы гибнут.

Мы не можем сказать, что один из этих примеров является нашим роковым случаем. Немецкий вариант, скорее всего, обладает признаками всех описанных случаев, которые являются лишь гипотетической возможностью. В нашем варианте отсутствует их основная черта, что внутренняя воля вела нас к демократии на протяжении всей нашей истории. И мы признаем право демократии вовсе не потому, что видим в ней исполнение нашей истории. Мы слишком долго позволяли «демократии» быть «демократией». Мы восприняли чужие, а не собственные демократические формы, с которыми нас связывала долгая и счастливая судьба. И лишь в среде оппозиции уже конституционного времени родилась бесплодная и излишняя мысль, что наша прежняя монархическая судьба должна постепенно двигаться в демократическом направлении, пока окончательно не стала бы демократией. Вопрос о немецкой демократии является очень запутанным, но если мы хотим ответить на него, то должны обращаться не к исходу нашей истории, а к ее началу, к ее происхождению.

Мы изначально были демократическим народом. Если мы посмотрим на нашу древнюю и раннюю историю, то мы найдем ответ на вопрос, как возможно участие народа в его судьбе. Это не ответ, продиктованный некими гипотетическими правами, а имеющий под собой естественную основу, ибо демократия и была самим народом. Эта демократия основывалась на кровных связях, а не на каких-то договорных отношениях. Она основывалась на родовом уложении, которое в свою очередь уходило корнями к семье, а из самих родов складывалась

народная общность. Она создавалась из племенных союзов, в которых народная общность делилась и по социальному и по политическому признаку, во время мира это была община, а во время войны — дружина. Демократия была самоуправлением народа, соответствующим его условиям существования. Государство немецких народностей фактически повторяло устройство самой жизни. В самоуправлении происходило распределение прав и обязанностей, что было предусмотрено родовым правом ради сохранения жизни. Это право давало возможность учреждать внутри рода или за его пределами власть, которая была необходима для самосохранения. Из нее возникли вожди и свита, свободный выбор свободных людей, которые для военных походов избирали себе герцога, который должен был привести их к победе. По мере того как племена завоевывали пространство, становясь нацией, возникла необходимость в выборе короля, который гарантировал со временем последовательную, непрерывную политику, а власть, которую он оставлял за собой во имя безопасности рода, обеспечивала эту непрерывность. Все это было истинной демократией. Народ устанавливал правопорядок посредством родовых союзов. А вождь, кем бы он ни был, поднявшись от вождя родового союза до уровня правителя народа, осуществлял свою власть по решению народа, как бы получив ее взаймы. Немецкое государство было содружеством народных общностей, а его неписаная конституция, если здесь вообще уместно употреблять данное понятие, была обобщением состояния, в котором находился народ в соответствии с обычаями, обрядами и привычками. Товарищеский совместный порядок в виде самоуправления во всех областях еще долго находил свое выражение в народных сходах, в которых нация представляла себя с политической стороны, в которых собственную судьбу мог определять любой представитель народа.

Отличительной чертой данного государства были отношения вообще. Отношения, которые сами привели к разделению, иерархии и ячейкам общности. Это отличало данное государство от античных, которые базировались на силе, законе и государственном праве. Немецкая демократия была задумана, зачата, рождена и воздвигнута. Она была телом, в котором все органы находились в живой связи друг с другом. Каждый орган, каждый член находился на своем месте. В данном обществе никогда бы в голову не пришла мысль поменять их местами. Голова всегда выполняла функции головы, рука выполняла задачи, предписанные для руки, другие органы выполняли свои специфические предназначения. При этом каждый орган нес ответственность за то, что он делал. Это органичное деление и наличие обязательств, которые стали наследственным материалом в чувствах народа, создали для государства устойчивый фундамент, который был создан еще во времена ранней истории. Он придавал устойчивости государству и его

уложению и в более поздние времена. Он существовал до того времени, когда возникла имперская идея, а центр тяжести был перенесен из области национальной политики в международную сферу. И все же в этом делении крылась опасность, которая проявлялась, когда составные части общества слишком далеко удалялись друг от друга, а живая связь между ними или обрывалась, или же была недостаточной. Это была опасность обособления частей общества. С внутриполитической точки зрения она была уже заложена в родовой конституции и проявилась, когда благородное сословие стало возвышаться над всеми остальными. В феодальном уложении вождь был крепко связан со свитой при помощи взаимной верности. Но феодальная эпоха привела к размежеванию крупной знати и мелкого дворянства, из-за чего было ослаблено патерналистское общинное мышление, а социальные связи сведены до минимума. Прежде всего это сказалось на крестьянском сословии, которое первоначально было демократической силой нации, но затем погрузилось в пролетарскую нищету, испытав на себе плохое отношение и презрение. Это упущение, которое впоследствии привело к Крестьянской войне. И лишь впоследствии оно было постепенно исправлено. И все-таки феодальное развитие нуждалось во внутриполитических потрясениях. Примечательно, что тогда внутренняя болезненность одновременно приводила к внешней слабости. Уже во времена Средневековья немецкий народ показал, насколько он был невосприимчив к вызовам внешней политики. Он дал королю власть, но не вручил к этой власти приданое. Поэтому королям, которые должны были стать императорами, ничего не оставалось, как создавать у себя в стране династическую власть. Эта идея династической власти не смогла предотвратить утрату Италии. Государство с трудом отбивалось от турков, а тем временем последовала потеря Швейцарии и Голландии. Затем появился указ, что оно не могло содержать орденские государственные образования. История австрийской династической власти закончилась с крушением империи. Внутри страны идея династической власти привела к созданию центробежных сил, к взаимному соперничеству князей, к территориальному государству, и, наконец, к партикуляризму и раздробленности эпохи абсолютизма. Но при всех этих изменениях все еще оставалась живой корпоративная немецкая идея. К счастью, она прижилась в городах, которые все больше и больше становились носителями немецкой культуры. Только они могли создать средневековое чудо, так как они развивали его из ячейки как порождение некой общности, так как в городах придерживались традиций, которые способствовали восстановлению связей. Корпоративная идея должна была воплотиться в социальной борьбе городов, которую нельзя рассматривать как классовую борьбу, когда обобщенные массы выдвигают свои требования, а как корпоративную

борьбу, которая обеспечила права товариществам, цехам и гильдиям. Да, корпоративная идея вела от городов к союзам, к первым республиканским образованиям и внешнеполитически ориентированным коалициям, посредством которых буржуазия своими силами пыталась снискать власть и богатства. Империя в своем бессилии не была в состоянии дать ей ни того, ни другого, поэтому и возникли Швабский Союз и Ганза. Корпоративная идея не умерла даже во времена абсолютизма. Она продолжала жить не в самой системе, а в некоторых личностях. Пруссия была намного демократичнее, нежели подразумевалось благодаря репутации ее королей. Она мечом и эшафотом положила конец феодализму, обязав отныне дворянство служить только короне. Но, служа короне, оно вновь служило народу. Королевская фраза «Я служу» являлась не чем иным, как признанием сверхчеловеческой природы властителя, или богоподобия французских королей. Эта фраза указывала на то, что прусские монархи были все-таки связаны с народом. Это даже не было попыткой восстановить связь между государством и народом, которая была по античному образцу в малом формате разорвана просвещенным абсолютизмом. Это была попытка вновь восстановить связь через живого посредника!

Мы двигались в Германии по этому пути. И снова не смогли. Мы ушли по нему так далеко, что монархически ориентированные народные силы смогли создать новую империю. Но мы не были последовательными. Мы не подвели фундамент под новую империю. Мы уже не были последовательными тогда, когда наполовину восприняли великолепную попытку барона фон Штайна подвести под империю одновременно и консервативный, и демократический фундамент, скрепленный значительными возможностями в области самоуправления.

Бисмарк всю свою жизнь вынужден был бороться с последствиями этих полумер. Но его творение рухнуло по тем же самым причинам. Мы не доводили до конца собственные начинания, но были готовы предоставить место для иностранных идей. Мы не создали сословное государство, а имитировали парламентское, которое было западной идеей. Мы брали образец с Англии. Но в Англии парламентское государство всегда оставалось сословным. Оно было создано знатными семьями, которые еще во времена слабых правителей изобрели для себя средство, дабы сохранить свою власть, а вместе с ней и страну. Когда Монтескье без оглядки увлекся этим тираническим и продажным сооружением, то он при всем том указывал на ее германское происхождение. Он говорил о «прекрасной системе», которая была «изобретена в лесах». Он подхватывал мысль о «представительстве» и считал основным преимуществом представительной системы то, что, как он говорил, представители способны «обсуждать государственные дела». Но он полагал, что народ совершенно не подходил

для этой системы, ибо это был бы один большой беспорядок — демократия. «Демократический» лозунг впервые поднял Руссо. Тот самый, который считал, что вся власть исходит от народа. Тот самый, который всегда проводил различие между «общей волей» и «волей большинства». Для него различия были настолько значительными, что он разграничивал эти два понятия. Естественное право было насилием над природой. Однако понимание государства как договорного института могло соответствовать эпохе, когда люди утратили свою природу, на которую между тем ссылались. Мы бы сказали, это могло соответствовать эпохе, когда государство состояло из цифр, сумм и масс избирателей, которые были лишены своих корней, и претендовало на имя демократии. Но англичане и французы, каждый своим способом, изобрели одинаково необходимые защитные учреждения. Англичане — кабинет и премьер-министра, которыми они дополнили палату общин и коих они снабдили почти суверенными правами. Французы — клики, которые знали, как в собственных целях использовать палаты, а в итоге даже и саму Францию. Немцам же, напротив, осталось использовать парламентаризм едва ли не буквально, вверив ему контрольные функции, что имело весьма негативные последствия. Еще Гёррес полагал, что теперь Германия стала «телом со всеми необходимыми органами». Но впоследствии мы даже не попытались реализовать попытку построить наше государство как органическое тело. Мы отказались от предложенного Штайном самоуправления, которое должно было сделать свободными и в то же время жизнеспособными города и села, от развития представительской системы, которая могла позволить нам как нации в политической сфере самой отдавать предпочтение определенной силе. Мы искали государство не в органической связи органов, а в механическом подсчете голосов. Мы проносились целое столетие с вопросами избирательного права. Мы не спрашивали себя о том, имелись ли политические идеи, которые невозможно было провести в жизнь при помощи избирательного права. Мы жаждали избирательного права лишь ради самого факта его наличия. Последствия были неизбежны. Мы не прибегали к отбору, а брали нечто среднее. Мы нашли среднюю позицию между двумя принципами, которые определяли нашу политическую жизнь: между монархическим принципом, с которым мы взлетели вверх, и между демократическим принципом, который мы стремили воплотить в парламенте. Но эта позиция была только лишь посредственностью. Самое ужасное заключалось в том, что мы не чувствовали падения, которое мы принимали за центр, посредничество. Но это была посредственность, как мы ее понимали тогда и как понимаем до сих пор. Политика оказалась подчинена ей. Активная экономическая жизнь нации шла параллельно с парламентской. Складывалось впечатление, что они не

пересекались, что между ними вообще не было никакой связи. И мы поплатились за это, когда монархия утратила связь с народом. Это было неизбежно, если учесть, кто сидел в парламенте и кто сидел на троне. Теперь партии взяли на себя функции сословий. Но для партий было характерно то же, что и для парламента — они были лишены какого-либо духа. Парламентаризм, при котором деления нации на партии было введено в систему, а в особенности немецкий рейхстаг, который мы мыслили прежде всего как представительский орган, превратился в учреждение по открытому распространению политических банальностей. Мудрость, которая основывалась на наследственной мудрости, обеспеченной человеческими знаниям и личным опытом, сохранялась, скорее всего, в верхних палатах, которые оставались сословными собраниями. Духовные представители нации, крупные предприниматели, любые творчески действующие люди, одним словом все, кто знал, что судьба нации не решается в прениях, все больше и больше отстранялись от парламента. Вследствие того, что парламент стал бедной в духовном плане системой, он стал для народа, расположение которого всегда зависит от оценок, кои он дает, не чем-то достойным уважения, оставляющим надолго следы в общественном сознании, а скорее чем-то пренебрежительным, ежедневно суетящимся, на что можно было не обращать внимания. Программные требования отдельных партий, вопреки всем стараниям привлечь к себе людей, не стремились к идеалам, а потому оставались безделушкой, созданной в одночасье. Надо ли добавлять, что во времена, когда мировая история навязывает вещи, которыми мы занимались политически, партийно-политические проблемы всегда оставались внутренними делами страны? Что внешние вопросы всегда приводили к внутренним переменам, которые соответствовали партийно-политическим изменениям? Подчеркну, что когда в Германии изменилось все, то неизменной осталась одна вещь — озабоченность внутренней политикой, которая до сих пор является национальным недостатком.

Наше крушение, когда оно случилось, принесло нам «свободнейшую республику», а вместе с ней и рафинированный парламентаризм. Теперь мы называем их связь нашей «демократией» — а некоторые называют их «прогрессом». О республике мы еще поговорим в связи с монархистами, в связи с проблемой «реакционеров» и «консерваторов». О парламентаризме надо поговорить в связи с «демократами», но не потому, что они идентичны; напротив, они противоположны. Их приравнивают другу к другу по ошибке. Мы не хотим более задерживаться на том, что парламентаризм является синонимом партийного владычества, политической бюрократии, распределения постов, когда министрами становятся партийцы, а не профессионалы, а также синонимом полного заражения страны проблемами внутренней политики.

В Германии поистине моральным считается то, что Аристофан еще в своих «Всадниках» высмеивал как демократию: то, что демагог может быть побежден еще большим демагогом. Кажутся оправданными наблюдения Моммзена относительно Древнего Рима: «Демократия уничтожила себя посредством того, что она довела до крайности собственные принципы». Впрочем, это не мешало немцу Моммзену быть демократом. Но куда более важны не симптомы разложения «демократии», а растущее в нации протестное движение против парламентаризма, которое возникло непосредственно сразу же после революции. Общим во всех высказываниях этого протестного движения является то, что оно вновь стремится к ячейке, к группе, к естественной общности. И мы видим движение племен, которые вновь хотят империю. Они более сплоченные, решительные, неистовые, чем раньше. Они не хотят верить, что их единство является 60-миллионной атомизированной массой. Они выводят это единство из ландшафтов, сохранением самостоятельных частей при условии сплоченности, совместности и принадлежности к целому. В данном случае было бы правильнее говорить о централизме и федерализме. Соответствующий процесс идет и в экономической сфере. Марксист Карл Реннер, которого война заставила задуматься о предпосылках марксизма, выявил групповые экономические условия и ввел понятие экономических сфер. Если мы будем размышлять о соотношении «общности и общества», то вместо атомизированных суждений получим корпоративные представления. Мы также получим попытку, предпринятую Максом Хильдебертом Бёмом, который решил подвести под государство и конституцию фундамент, который он называл «корпорация и коллектив», введя тем самым понятие корпоративизма.

Было бы вполне логично, что натиск на парламентаризм осуществлялся, с одной стороны, революционерами с их идеей советов, с другой стороны — консерваторами с идеями сословий. Не было ли «сословие» тем понятием, которое практически все органические части охватывало? Которое не сочеталось с понятием «партии» да и не могло сочетаться в силу доктринерства последнего? Речь шла о том, чтобы вновь предоставить сословиям их права, но не в историко-романтическом, а современно-энергичном понимании. Прежде всего подразумевались корпорации, которые должны были вернуть себе определенные политические права и обязанности, дабы воплотить свою волю в государстве и конституции. И экономика снова стала отправной точкой. Именно экономика развивала новые идеи сословно-государственного мышления. Они простирались от идей «хозяйственного самоуправления» до весьма плодотворной мысли о «производственных общинах», которую Браувайлер сформулировал как «производственную семью». Корпоративные и синдикалистские представления смешивались вое-

дино, обращая внимание на идеи советов, которые настойчиво рекомендовались для использования в немецком сословном государстве. Но прежде всего сословность была направлена против парламентского государства. Она не исключала народного представительства хотя бы потому, что общественности надо было оставить право на обсуждение своей жизни. Но она полностью исключала партийное владычество, которое сменило монархию и связанные с ней партии. Она хочет положить конец данной бессмыслице, что немец благодаря избирательному бюллетеню, брошенному в урну, на несколько лет лишается своей политической свободы, что вплоть до следующих выборов партия или коалиционное правительство обладают всеми правами решать все вопросы, от которых зависит судьба страны. Решать даже тогда, когда возникают новые обстоятельства, происходят события, меняется международное положение, что не было никак учтено при голосовании. В подобных случаях в парламентаризме предусмотрена возможность народного референдума, чтобы народ сам высказался о своей будущей судьбе. Это был тот же референдум, который утвердил для Германии Веймарскую конституцию и который оценивался всеми Веймарскими партиями как весьма неудобное средство, так как оно являлось уж слишком «непарламентским» и вынужденным. Но все же референдум был демократическим средством. Но даже референдум, когда к нему можно было прибегнуть, выдавал единственное, но отнюдь не долгосрочное решение. Мы нуждаемся в народном представительстве, которое было бы, повторяем, естественным, а не механическим сооружением, которое бы состояло в органической и постоянной связи с народом. Постоянной и сословной в созвучном значении этих слов[10]. Мы нуждаемся в народном представительстве, которое, основываясь на сословиях, обеспечивает безопасность и постоянство. Мы нуждаемся в народном представительстве, при котором мы будем твердо стоять на ногах, а не падать.

Чувство необходимости этого давно зрело в народе. Не только консерваторы испытывают сегодня сомнения, которые они с самого начала испытывали в отношении парламентаризма. И не только коммунисты возмущаются назойливой опекой, которая на самом деле является затыканием рта народу, что именуется демократией. Засомневались даже социалисты, которые при каждом удобном случае задаются вопросом на страницах своих журналов: «Почему парламентаризм потерпел неудачу?» Мы хотим дать на него ответ, который расскажет не только о фактах, которые мы видим, но и о вызвавших их причинах. Задавшие вопрос видят вещи следующим образом: «Нынешний переходный период характеризуется тем, что благодаря революции с

[10] В немецком языке слова «постоянный» и «сословный» имеют схожее написание: ständig (постоянный) и ständisch (сословный). (*Примеч. пер.*)

формально-юридической точки зрения мы имеем демократию. Но у нас отсутствует демократическое мышление, а также преданность народному государству, что и отличает истинную демократию». А затем следовали замечания, которые не могли быть справедливыми. Но они беспощадно рассказывали о состоянии дел и об установленных причинах, которые, оказалось, лежали на самой поверхности.

Почему у нас нет «политически сознательного пролетариата»? Почему нет «человеческих качеств», которые позволяют осуществить «лучший выбор»? Почему «партийные товарищи», против которых направлена социалистическая критика, не имеют ни малейшего «понятия о сути и задачах парламентаризма»? Почему? Потому что парламентаризм не имеет в Германии никаких традиций! Это относится также к отсталости и недостаточности, а также к политической необразованности (в самом глубоком смысле этого слова) немецких социал-демократов. Когда они слышат слово «традиция», то им невольно представляются охранительные движения. Для них «традиция», несомненно, является реакцией, старой системой, проклятым прошлым, от которого они хотят освободиться. В действительности традиция является безопасностью политического положения и долгим политическим опытом народа. Но с немецким рейхстагом не связано никаких воспоминаний о крупных событиях, которые бы там происходили. История же его неудач, напротив, бесконечна. Он бессилен, так как презираем. Социалист спрашивал, не настанет ли момент, когда «массы вообще потеряют доверие к парламентаризму». Этот момент давно уже настал. В народе нет людей, которые бы не назвали работу парламента говорильней. И вообще возникает чувство, что скоро придет спасение от парламентаризма. Социалист полагал: «Каждый народ имеет такой парламентаризм, которого он достоин». Верно, верно! Но мы приходим к другому заключению. Мы полагаем, что время парламентаризма проходит. И мы надеемся, что Германия родит нужные идеи, разовьет их и воплотит в жизнь. Германия — та страна, в которой парламентаризм скомпрометировал себе самым страшным образом. С ней не сравнятся другие страны. Но вследствие этого Германия больше, чем другие страны, имеет повод преодолеть его и создать новую, более достойную, более подходящую нам форму народного представительства. Ту форму, которая сменит парламентаризм как систему и победит и окончательно расправится с ним. В конце концов, это хорошо, что Германия оказалась слишком хороша для парламентаризма.

Немецкий народ взял противоположный ориентир, нежели народы Запада. Франция и Англия вошли в историю как национальные государства. Они добились успехов как монархические государства, после чего устранили монархию или ограничили ее парламентаризмом, кото-

рый они выдавали за демократию. На нем очень сильно сказался национализм. Мы же, напротив, сначала были демократическим народом, а впоследствии утвердились как монархия. Мы временно прервали нашу историю революцией, которая была не национальной, а интернациональной, ориентированной на братство народов и вечный мир.

Мы обманулись в наших интернациональных надеждах. Демократы Запада даже не намеревались проявлять милосердие, не говоря уже о предоставлении прав молодой демократии немецкого государства. Теперь немецкая демократия предоставлена сама себе. Если она хочет утвердиться в Германии и в окружающем ее мире, то должна пройти тот путь, который уже прошли западные демократии, являвшиеся для нее образцами для подражания. Она должна стать национальной. Кроме этого, она должна зашвырнуть весь идеологический хлам пацифистских идей туда, где находятся лозунги, растоптанные Версальским договором.

Воля к демократии — это воля к политическому самосознанию народа. И к его национальному самоутверждению.

Демократия — это выражение самоуважения народа. Или же она таковой не является.

V

Вопрос демократии вовсе не является вопросом республики.

С исторической точки зрения можно было подумать, что отныне Германия вступила в республиканский век. Может ли дальше существовать республика или вслед за ней придет диктаторская, цезаристская или в определенной степени монархическая форма правления не зависит ни от демократии как государственной формы, ни от революционной демократии, которая теперь цепляется за республику, так как та оказывает ей некоторую поддержку. Это скорее зависит от степени национализации демократии как республики.

На протяжении веков мы приобрели благодаря монархии богатый опыт. Это сделало нас монархическим народом. Но затем пришло поколение, которое снабдило нас и монархию плохим опытом. Это направило нас по демократическому пути. В этих изменениях не было никакой логики. Разве только революционные скачки, которые позволили сменить одну форму правления на другую — в большинстве случаев диаметрально противоположную. Сейчас мы вновь думаем об изменениях, но совершенно других — консервативных и последовательных. После того как мы поэкспериментировали с демократией, они позволяют нам вновь вернуться к монархии, так как мы сказали себе, что хороший монархический опыт был гораздо весомее, чем плохой. Мы говорим себе, что столетия в

любом случае значат больше, чем продолжительность жизни одного поколения.

В действительности участь немецкой демократии зависит от опыта, который вместе с ней обретет немецкий народ. Революция никогда не имела тенденции оставаться революционным процессом. Революция имеет тенденцию становиться консервативной. Если бы путаница в политических понятиях не была столько бескрайней, то возможность консервативной демократии стала бы нашим естественным представлением. Затем в Германии мыслилась бы демократия, которая прежде всего стремилась обеспечить жизнь народа, который определял бы ее продолжительность посредством собственной политической проверки и в соответствии с распространением республики в характерных особенностях страны, особенностях племен, чем бы и достигалось согласие людей. Демократия составляет не форму правления, а дух граждан. Ее основа — народность.

Немецкая демократия, которая получила свою конституцию в Веймаре, очень медленно постигает, что правом на существование она обладает не тогда, когда противопоставляет себе монархии, а когда является ее продолжением. Она ошибалась в тот момент, когда Запад обманывал нас, будто бы мы должны подражать ему. Она была демократией ради демократии. Она хотела сама себя. Повторимся, ее право на существование зависит от того, удастся ли ей стать для нации тем, чем раньше для народа являлась монархия. Управляемая демократия, но никак не парламентаризм.

Реакционеры так не думают. Они вообще не отдают себе никакого отчета о революционных изменениях, которые скорее в силу привычки принципиально считают монархическую форму правления лучше любой конституционной, которые считают эпоху Вильгельма II прекрасной. Так думает, скорее всего, консерватор, который ясно отдает себе отчет о взаимосвязи действий и их причин. Ему абсолютно ясно, что последней причиной подобных изменений была сама немецкая история. Если человек недостаточно консервативен, то он предается политическим иллюзиям, будь то реакционные иллюзии или революционные иллюзии. Только консерватор может заявить, что монархия сама виновата в своем крушении. Мы хотим рассказать, что мы подразумеваем под этим.

Монархия должна действовать в интересах народа. Она делала это во времена, когда немецкая нация перешагнула через свою средневековую зрелость. Если бы появилась абсолютная монархия, то немецкий народ погрузился бы в слабость, которая последовала за 30-летней войной. Случись это, никакая бы сила не сделала из немцев империю. Они бы пропали. Однако монархия сохранила нацию. И народ в Австрии и Пруссии последовал за династическим руководством.

Он принимал участие во всех событиях, которые его касались. Это участие строилось на патриархальных отношениях, что было предварительным условием для всего, что происходило в Германии. Это патриархальное участие поддерживалось великими князьями, которые в XVIII веке жили во имя славы немецкой нации, которая предоставляла им народные силы и делала возможной их политику, прежде всего внешнюю политику.

Но наряду с преимуществами всегда имелся урон, сначала не очень заметный, а затем очевидный. Монархия приучила народ к тому, что государство действовало в интересах народа. И она полностью отучила народ действовать самостоятельно. Это уже очень рано привело к недостаткам. В конце концов народ и монархия перестали быть едиными. Народное единство восстанавливалось только в часы опасности и в дни испытаний. Так было во время освободительных войн. А также во время событий, которые сопровождали создание империи, являясь предпосылками, чтобы Бисмарк, хоть и в рамках монархии, но сформировал нацию, став посредником между ней и троном. В век Вильгельма II это единство между монархией и нацией все больше и больше утрачивалось. Ее наличие симулировалось нарочито подчеркнутыми и вывернутыми наизнанку традициями, которые превратились в конвенции, и дисциплинированным патриотизмом, который превратился в систему. Но в народе больше не было единства. А видимость демократии, которая витала в эти времена и была специфическим выражением романтизма, на деле оказалась только дилетантизмом и губительным прорывом либерализма, который, разрушая все, уничтожил монархию, а затем обратился против революционной демократии. Революция поверила, что ее намерение окончить войну лучше всего было осуществить при условии отказа от национальных идей. Однако революция уличила демократию. Нет, не фактом свержения монархии, а тем, что является гораздо важнее благодаря политическим воззрениям, которые оправдывали революцию саму перед собой, а также благодаря политическим последствиям, которые были вызваны ее ошибками. Революция утверждала, что наступление демократии будет гарантировать благосклонность наших противников. Она бросила страну. Она спустила знамена нашей империи. Она отказалась от присоединения Австрии к Германии. И, наконец, она подписала мирный договор, который включал в себя признание Германией своей вины за развязывание мировой войны, что не соответствовало ее убеждениям.

Демократия более не является революцией. С тех пор как ноябрьские деятели исчезли во тьме бедствий, она больше не воплощена в человеке. В этом отношении она в своих убеждениях являлась не более чем констатацией очевидных вещей: что мы были обмануты нашими врагами, что показателем этого огромного обмана является

преданный нашими противниками демократизм. Но у революции и демократии осталась родственная черта: одинаковая неспособность принимать решения, чтобы идти демократическим путем, то есть действовать во имя народа.

Либерализм, исковеркав в немецких демократах человека, испортил их для немецкой демократии. Если мы хотим спасти для Германии демократию, то мы должны обратиться туда, где человек остался человеком, а немец остался немцем: в сам народ, к его коренному характеру, который хочет видеть воплощенными в своем государстве прежде всего коренные формы. Вероятно, мы можем сказать, что мы сможем признать демократию в Германии, если больше не будет никаких демократов.

Имелись народы, которые воспряли благодаря демократии. Имелись другие народы, которые зачахли из-за демократии. Демократия может быть стоицизмом, республиканизмом, непреклонностью и твердостью. А может быть либерализмом, болтовней в парламенте и беззаботной жизнью. Испытывали когда-нибудь немецкие демократы ужас перед мыслью, что, вероятно, либеральная демократия является той роковой формой, которая сведет народ в могилу?

VI

Мы говорили, что понимаем под демократией причастность народа к своей судьбе.

Сначала немецкая демократия пыталась сдерживать участие немецкого народа. Она использовала его согласие на то, чтобы она действовала в его интересах, но она не выражала их. Но она утверждала, что только это является демократическим путем. Но способствовала отрезвлению народа, который должен был отработать долги революции посредством мирного договора, которым он был обязан своим пацифистским, либеральным и не в последнюю очередь демократическим иллюзиям.

Немецкая демократия будет извиняться и говорить, что ей досталось лишь наследство революции. Она будет говорить, что всему виной был злой рок и обстоятельства, в которых она оказалась. Она будет говорить, что у нее были связаны руки, что немецкое положение было безвыходным, что благодаря уступкам была сохранена возможность для выживания. Но наследники никогда не извиняются, когда получают наследство. Только беспомощные люди обычно ссылаются на обстоятельства. А затруднительное положение очень часто является проявлением наглости релятивистов, которые успокаивают себя мыслью о том, что все идет так, как должно идти. После того как демократия заплатила за лояльное отношение неимоверными мука-

ми, после того как отговорки не имели воздействия, ей нужно было задуматься над обороной. Обороной при помощи сил 60 миллионов человек, которые после революции могли ссылаться на нее как угрожающую, опасную и зловещую власть, но не ссылались. Теперь для этих 60 миллионов имеется только одно спасение, если они проявят 60-миллионную волю, которая вырвется из народа как первая и единственная защитная реакция. Теперь эта воля является нашей единственной уверенностью. И нам совершенно безразлично, будем ли мы называть ее, когда народ проявит ее, демократической волей или нет. Но все зависит от того, будет ли она централизованной, то есть волей нации, которая знает, что она хочет, и которая делает то, что она должна делать, дабы вновь стать свободной.

Если мы оглянемся назад, то мы можем заметить цепь неизбежных событий. Затем мы обнаружим, что каждое звено в этой цепи имело исключительное воздействие. Затем мы можем установить, что даже демократическая политика бездействия тех лет являлась подготовительной необходимостью. Но есть различие в том, должен ли человек воздействовать на положение вещей или действовать, исходя из него. Принуждение не сдерживает нас, принуждение нас освобождает. Если демократия не даст нам освобождения, то мы обретем его в катастрофической активности масс.

Немецкий народ так часто доводился до отчаяния, что он нашел в конце концов выход в ставшем нарицательным негодовании. Сейчас оно варварское, но завтра может стать пролетарским.

VII

За первым августа 1914 года последовало не только 9 ноября 1918 года. Сначала наступил тот пагубный день посреди мировой войны, когда рейхстаг нарушил волю народа.

Все еще возможно, что мы будем переживать пагубный день, когда немцы по своей слабости предадутся самообману, а народ в очередной раз будет искать оправдания. День, когда партии перестанут действовать, а парламентаризм вновь станет извиняться за переговоры и их результаты, которые правительство против воли народа будет вести с нашими сильнейшими врагами. Переговоры, которые лишат нас возможности заниматься работой и в корне избавиться от кабальных условий Версальского договора.

Но мы все еще надеемся на то, что однажды демократия обратит против себя не только правых, но и левых — тот самый пролетариат, который прежде был революционным.

Она обратит против себя не только консервативного человека; на этот раз — класс, массы, народ.

ПРОЛЕТАРИЙ

Пролетарием является тот, кто хочет быть пролетарием.

I

Грядет проблема масс.

Она приближается не только с левого фланга. Здесь люди ушли в демократию, которая выдает себя за народ. Здесь находится либеральное общество, которое существует за счет человеческого труда, товарооборота или выручки от процентных облигаций. Оно существует в полном отрыве от пролетария, который, как он утверждает, и делает эту самую работу. Здесь либеральный человек пытается остановить натиск и успокаивает массы, которые привело в движение его Просвещение. Он красноречиво уверяет их, что они также являются народом, что великая мать Демократия уже приняла пролетариат, что она хочет позаботиться о пролетарии.

Это демагогический, назойливый парламентский народ напоминает моллюска, который с трудом передвигается. Но сзади на него напирают пролетарские массы. Они толкают его. Они увлекают его за собой. Они — сплошное действие!

Правые осознают энергичность и силу этих масс. В правом фланге находятся люди, которые защищают не только собственность и получаемое от нее удовлетворение, но и ценности, неотъемлемые вечные ценности. Здесь находятся те, кто обосновывает мнение, что люди, сотворившие эти ценности, создавали их не для того, дабы их разрушили. Здесь находятся консерваторы, которые являются стражами этих ценностей. Они в силу своей природы вновь призывают противопоставить личность и массы, а также подобно пролетариату защититься от демократической уравниловки.

Но позиции этих людей подорваны. Ценности, которые они отстаивают, после революции утратили свое внешнее значение. А также они все привязаны к личности, гениальной личности или национальной личности. Они связаны с вопросами уникальности и различий, иерархии и конструкции. Но те, кого традиционно представляли эти круги, в век демократии и пролетариата оказались несостоятельными. Они оказались уступчивыми там и тогда, где и когда надо было утверждаться. Этим ослабленным личностям показалось, что не нужно больше противиться массам. Пролетариат получил перевес и тут же заявил о своих правах. Да, носители утраченных ценностей стояли перед угрозой всеобщей пролетаризации, которая бы впоследствии обрушила демократию. Почтенные сословия, престижные профес-

сии скатывались вниз к пролетариату, а разочарованные одиночки стремились спасти свою судьбу. Казалось, вся нация превращалась в пролетариат. И здесь проблема масс приблизилась с правого фланга. Это проблема людей, которые вынуждены стать пролетариями, хотя таковыми не являются. Близится проблема нации, которая по своему замаху после окончания мировой войны должна была стать народом господ, но которой выпала участь стать порабощенной.

Массы поймут этот процесс только с экономической точки зрения. И это весьма характерно для пролетариев, что им не приходит в голову мысль оценить обстановку как-то иначе, с духовных, с более высоких позиций. Но ни один факт их не озадачивал так сильно, как следующий: в Германии имеются люди, которые не только не хотят быть пролетариями, но и высказывают мысль, что не принадлежат пролетарской нации. Это более характерно для немцев. Их представления тесно связаны с определением человеческого и национального, что в свою очередь базируется на ценностях, не доступных для понимания пролетариата.

Пролетарий прекрасно осознает, что в мире имеются вещи, которыми кое-кто владеет как наследственной привилегией, что эти личности обладают особым превосходством при всех личных, социальных и политических недостатках.

Но пролетариат не знает, что, собственно, происходит внутри этих вещей. Он воспринимает их снаружи как некое выражение незаконных притязаний, самонадеянности и потерявших силу за давностью лет привилегий. Он берет в расчет прежде всего материальную и имущественную сторону дела. Он видит имущественные различия и путает духовные ценности с реальными материальными богатствами, кои можно отчуждать. Но тот, кто озадачен, кто пытается заглянуть в суть вещей, кто случайно узнает или открывает на собственном опыте, что имеется непролетарская точка зрения, на чем она основывается и почему существует, — тот в одно мгновение перестает быть сопричастным к подобным пролетарским оценкам. Переживание этого решающего момента выводит его за рамки пролетариата, класса и масс, к которым он по-прежнему принадлежал с социальной точки зрения. Перед ним раскрываются огромные и широкие, а также более тесные и близкие связи, в коих он познает нацию, к которой он принадлежит и с личной, и с политической точки зрения.

Пролетариат начинает размышлять о пролетариате и приходит к первому осознанию жизненно-исторических тесных связей, которые связывают это четвертое сословие с другими народными слоями. Вначале это непролетарское познание пролетарских людей является лишь чувством. Но от того, распространится ли это сознание больше, чем на одно поколение, в итоге зависит, станет ли пролетариат

нацией. Старшему поколению сказали, что оно не имеет Отечества. Более молодое поколение уже прислушивается, когда отец говорит об Отечестве, которое должны завоевать сыновья, дабы то принадлежало внукам. Это уже не пролетарии. Это младосоциалисты.

Эти идеи передвигаются в коммунистический способ мышления. Он берет свое начало в корпоративных идеях, которые делают доступным для него ощущение связи с Родиной, наследием, народом, а стало быть, и с нацией. Это пролетарский идеализм, который присущ молодым рабочим и рабочей молодежи. Он старается быть романтичным и аполитичным, примитивно созерцая противоречия, которые возникают между чистой, подлинной, полной сил природой и мертвым и отвлеченным марксизмом партийных вождей. Напротив, пролетариат, ориентированный на классовую борьбу, никогда не думает о нации. Данный пролетариат думает только о себе самом. В нем берет верх сила корысти. Но это также место, в котором эта корысть наиболее уязвима. Однако пролетариат еще не знает этого. С другой стороны, он потому и является пролетариатом, что не знает этого. Ему обещали мир. Его мир, который рухнул бы только вместе с ним — как ему говорили. Итак, он хочет осуществить послание, которое приведет массы в движение. Он жаждет исполнить предсказание, привести массы в Землю обетованную, а в конце времен начать их снова, но чтобы это время было пролетарским. Но он смущен миром, который застал, так как это ненавистный ему буржуазный мир, который он намеревается в корне изменить. Мы не знаем, будет ли он разложен утомленными и вымотанными силами, или же будет опрокинут сильным, мускулистым плечом.

Проблема масс поднимается снизу.

Пролетариат также хочет командовать этим наступлением. Но массы в некоторой степени заблуждались относительно своих лидеров. Разве они не проповедовали и не пророчили мировую демократию? Пролетариат теперь видит результаты, к которым привела революция, и которая изначально должна была быть его революцией. Он видит и протестует против того, что он вынужден отрабатывать Версальский мир. Он делает то, что никогда не делал, — он начинает мыслить внешнеполитическими категориями. Вероятно во всей Германии не найдется никого, кто бы более жестко, отрицательно и гневно думал о демократии, нежели пролетарский человек. Пролетариат стал подозревать демократию, которая искала выход из труднейшего положения в неосуществимых комбинациях, что та выбрала его, дабы переложить на его плечи этот неподъемный груз. Это бы естественный провал обещаний, данных революцией. Пролетариат, который не был в состоянии произвести на свет из своих ни одного лидера, который бы по личным качествам и политическому авторите-

ту мог соответствовать пролетарским идеям. В результате пролетариат следовал за карьеристами от оппозиции и мародерами революции. Однако не использовал ли эти интеллектуалы в 1918 году власть масс, дабы самим прийти к власти? Эта власть называется демократией. А массы так и не были освобождены. Но пролетариат хочет считаться с руководящей волей лишь тогда, когда он сам выражает эту волю масс. Он не хочет по собственному почину отказываться от давления на власть и исполнения силы, которая основывается на факте существования масс, и может быть в любую минуту использована как против демократии, так и против реакции. Он не допускает возможности, что использование этой силы, которая придает не только решительную устойчивость массам, но и ударность, маневренность и направление, может добыть руководство, которое основывается не на воле масс, а на воле к массам. Пролетариат не хочет лишаться единственной возможности, которая, как он полагает, досталась ему еще от революции, а потому по-прежнему оправдывает эту революцию. Это возможность масс активно действовать! Массы очень прекрасно ощущают, что профессионализм, таланты и призвание к лидерству не являются уделом собственных людей. Они чувствуют, что пролетариат не может управлять сам собой. И он спрашивает: не должно ли руководство быть врученным правом, привитой пользой, а, вероятно, даже вечной привилегией непролетарского человека? Но не демократа, а консерватора? Но об этом спрашивают не руководители партии. Они, напротив, подавляют там, где только могут, подобные вопросы, так как в случае утвердительного ответа они утратят ни больше ни меньше как владычество над массами. При всей ненависти к противоположной стороне этот вопрос тихо лежит среди масс. В ее скрежещущем чувстве бессилия, а также в откровенном проявлении духа свиты, который все еще остался в ней.

Под давлением невозможно изменить безнадежные и невыносимые условия, в которых мы живем. Но возможен всплеск пролетарски ориентированного массового сознания, если только будет ощущаться не столько внутриполитическое, сколько внешнеполитическое давление.

Но тогда массовое сознание вновь круто станет классовым.

Не достает доверия, которое основано на доверии ведомых к руководству, которое предполагает близость руководства к внутренним надеждам, склонностям, устремлениям массы, пролетариата, и, наконец, народа. Во время четырех лет мировой войны еще хватало руководящих кадров. Но 9 ноября 1918 года стало катастрофой для руководства. И с тех пор секрет руководства, кажется, был утрачен.

Это кроется в духовном превосходстве, с которым лидер использует волю масс, как если бы его воля была их волей, а их воля была его волей, в то время как он задавал бы массам действительное на-

правление. Сегодня это было бы политическим превосходством, которое удается использовать массам и позволяло им действовать ради сохранения или достижения ценностей, среди которых повторное обретение свободы стоит на первом месте, отныне действуя в интересах нации. Это крылось в духовно-политическом превосходстве, которое прибывает из точного знания пролетарских проблем и пролетарского человека. Это превосходство дает массам уникальный случай выправить политически ошибочную революцию. Не хотим сказать, что ее можно было бы повернуть вспять, но эта революционная ошибка оказалась очень поучительной для нации. Приведя в движение эти массы, которые скучились в пролетариате, мы должны быть даже благодарны ей. Она пробудила волю, которую класс может всегда проявить, но по собственной инициативе не может осуществить, разве что в разрушительных целях. Она будет соответствовать нашей национальной судьбе, так как будет разрушена собственно пролетарская участь. Мы не нуждаемся в том, чтобы собрать много умных голов, которые так охотно пытаются повести наш расколотый, сверх нормы политизированный народ каждая по своему пути. Здесь, в социальных союзах, уже миллионы людей собраны вместе, так что можно ставить цель о создании движения. Народ лишь ждет повода и знака, который ему должны подать.

Сейчас у нас есть то, что удаляет друг от друга враждебные стороны, тем самым сближая. Повсюду видны признаки недовольства и предрассудков: здесь — революционных, там — реакционных. Нация разделена на две половинки, хотя ей уготована одна судьба. Массы преграждают дорогу этой судьбе, кажется, только благодаря маневру вроде кризиса масс мы попадем туда, куда нас несет этот вихрь, снова к видимости национальных ценностей, которые во имя нации готов признать даже пролетариат.

Но массы запнулись и остановились. Они разочарованы и разозлены. Они не знают, что им больше подходит. Но они существуют!

Маркс называл пролетарскую революцию «самостоятельным движением подавляющего большинства». Ленин говорил о «движении, толкающем массы вперед», которое уже должно было охватить европейский пролетариат. Демократическая толпа является лишь сбитой с толку оравой. Но пролетарская масса означает сплошную внушительность. Русский пролетариат сбросил Учредительное собрание, передав себя диктатуре, которая им сейчас руководит. Немецкому пролетариату, который настаивает на идеях классовой борьбы, без другого партийного руководства, чем то, которое кроется в самостоятельности его партийной организации, кажется, остается только непрестанно атаковать капитализм. Бороться в наивном ожидании, что крушение немецкого капитализма приведет к крушению капитализма

всего мира, некой экономической Антанты, а затем повсюду будет установлен коммунизм.

Массы заявляют о своем желании. Они выдвигают марксистские требования, или то, что они выдают за них, или то, что от них осталось.

II

Когда в 1918 году массы стали наступать, то их движение возникло на бурлящей поверхности во взбудораженный момент.

Оно было пролетарским движением. Оно называлось социалистической революцией. И оно ссылалось на Маркса. Тогда революция была лишь бунтом. Единственный звук, который в те дни вырывался из глоток демонстрантов, было слово «Прочь!». Они могли выйти на улицы. Они могли срывать флаги. Они могли срывать погоны. Они больше ничего не могли. Но этого оказалось достаточно, чтобы испортить народ, страну и государство.

Как-то Вельтлинг пророчески заметил: «Я вижу, как новый Мессия приходит с мечом, дабы наставлять первых». Но это светлое и чисто пролетарско-мистическое возвещение о приближающейся всемирной справедливости впоследствии было замутнено марксистскими вычислениями, которые отталкивались не от человека и человеческих сыновей, а от способа производства и политических предпосылок. Социализм должен был быть порожден материалистическим и рационалистическим Интернационалом. Теперь нация, чей пролетариат был воспитан в марксистских представлениях, выпустила меч из рук и вместо мессианских чаяний позволила действовать ожиданиям масс. Теперь во вражеских городах внезапно избавившиеся от военных ужасов люди обнимали друг друга. Но они обнимались не от умиления, а злорадствуя, что народ можно было соблазнить доброй верой в пацифистскую солидарность всех наций, что война была прекращена во имя пресловутого мира во всем мире. Обнимались офицеры и гражданские лица, буржуа и пролетарии. Все они радовались немецкой наивности.

Немецкие бунтовщики, социалисты и марксисты потерпели неудачу. И они не имели времени, чтобы размышлять над тем, была ли эта неудача вызвана их глупостью или предательством. Прошло 10 ноября, полное опьянения и восторга. Тогда трибун с маленькими бачками и тщеславными кудрями (человек, который во время войны разлучал людей) со ступенек рейхстага объявил: «Немецкий народ победил на всех направлениях!» Так же прошли сомнительные дни, когда печатались идеологические бумажки, прокламации, полные тумана, а оплаченные большевистским золотом независимые социал-демократы, которые с удовлетворением от совершенного вреда могли уверять:

«Товарищи по партии! С гордостью и радостью сообщаем вам!..» Впоследствии они сообщали о своих намерениях. На лице действительности застыла гримаса революции. Последствия не заставили себя ждать. Еще не были завершены переговоры о перемирии, как те же беззаботные, недобросовестные людишки с проворной готовностью были готовы заключить эту отвратительную сделку. Теперь действительность принадлежала им, которые получили в свои руки высочайшую государственную и национальную ответственность, хотя до этого момента они не думали о нации. Они думали лишь о том, как в социалистическом мире обеспечить права и привилегии пролетариату. Тому самому пролетариату, который они готовили к классовой борьбе, но который проиграл занявшую ее место борьбу народов.

Это была клика мелких людишек, которые собирались в канцеляриях свергнутого правительства. Отметим, что они волей случая заняли вакантные места. Когда они переступали порог, то они попадали не только в основное место действия эпохи Вильгельма II, но также железной и почтенной прусской государственности, место, связанное с тем же Бисмарком. Все-таки вторжение черни в государство произошло через эти исторические залы. Имена этих деятелей были связаны с процессами, которые больше не были связаны с этой историей. Они сами вызвали эти процессы. Но навсегда характерным признаком немецкой революции останется обезличенность ее носителей, которые вряд ли могли превзойти уровень депутатов рейхстага, партийных секретарей, активистов и прочих заурядных политических деятелей.

Каждое дело получает свое выражение в людях, в своих представителях. Великое дело — в великих людях, плохое — в омерзительных. Так и революция получила своих революционных представителей. Среди них можно было найти усердных и дисциплинированных людей, которые посвятили жизнь партии и строительству ее организации. Даже теперь они проявляли добрую волю, которая диктовала им задание распутаться с революцией во имя народа. И они с характерным для них постоянством и настойчивостью пытались собрать воедино то, что еще можно было собрать. Но среди революционных представителей были также бесцеремонные и злопамятные люди, которые посвятили всю свою жизнь агитации, существовавшие за счет противоречий и кризисов. Они проявляли полное безразличие ко всему, что не соответствовало их программе и не помогало их демагогии. В принципе одни охотно бы отказались от революции. Другие в глубине души сожалели, что не существовало чего-то еще более революционного, чем сама революция. Они являли собой разные типы людей. Так же отличались и их партии.

Социалисты большинства воплощали собой пролетарскую мелкую буржуазию, рабочих мещан, которые через разнообразные общности

были связаны со всей Германией. Они были мясом, а также мышечной силой нации, ее отнюдь не гениальной солидностью, ее политической малоподвижностью и национальной беспристрастностью, но также и крепкой, застоявшейся и очень выразительной мужественностью, которую нельзя было долго безнаказанно дразнить. Они были огромным здоровьем нации, ее терпением и уступчивостью. Они воплощали собой добродушие и добросовестное усердие, которые, кажется, были свойственными им чертами, позаимствованными у самой природы. Всем тем, что распалось во время революции и что тотчас социал-демократы, или по меньшей мере демократы, пытались снова объединить. Представители этой прослойки чувствовали себя немцами, хотя они никогда не думали о своей немецкости. Им вообще не было присуще делать какие-либо национальные выводы. Хотя этот скрытый патриотизм они нашли скорее всего в политическом понятии нации, которое ускользнуло от немецких социал-демократов, особенно в их внешнеполитической неосведомленности. Но это понятие вновь вводилось в оборот, когда некоторые из социал-демократов стали народными представителями и не могли не понять, что народ снаружи выглядит несколько иначе, нежели он видит сам себя изнутри.

Независимые социал-демократы, напротив, воплощали собой радикализм литературно-пролетарской полуинтеллигенции, которая полагала, что с революцией настал их день, когда она может освободить собственную необузданность, выражая свои доктрины и выражая свои лично-политические интересы. Это был день гнилого урожая, который распространялся неукоренившимися людьми, приведенными в движение жителями больших городов, во время войны и среди народа. Их поверхностное мышление зациклилось на лозунгах, найдя в банальности хорошую питательную среду. Эта партия была сбродом, не важно, хорошо или плохо одетым. Он собрался странным образом и, когда он стал наиболее зависимым, то назвался независимыми социал-демократами. Их представители были людьми, полными ненависти, озлобленными и терзаемыми. Они были либералами от социализма. Повсюду, где только могли действовать, они оказывали вредное влияние. Посреди немецкой катастрофы они продолжали оставаться космополитами, при каждом удобном и неудобном случае они выступали за социалистический Интернационал, скрывая, а иногда и не очень свое франкофильство.

Таковыми были люди, которые за спиной держащейся из последних сил армии вручили политическую судьбу немецкой нации совету рабочих и солдатских депутатов. Называли ли они себя социалистами большинства или независимыми социал-демократами, все они пришли из своего тесного партийно-политического мира. И они теперь вынуждены ориентироваться в этом огромном поли-

тическом мире, в котором им предстояло вести переговоры с мировой демократией. Уже во время обсуждения условий перемирия стало ясно, что она решительна. Она использовала свой счастливый шанс — революцию, дабы использовать все националистические, захватнические и империалистические принципы. Она обманула немецких бунтовщиков, потребовав возмещения за крушение, при этом отказавшись от всех обещаний, которые ранее она так охотно давала. Это были обманутые революционеры. Шесть из них находились в совете народных депутатов. Они не могли скрыть своей беспомощности, но все же они не могли смириться с тем, что было сделано. Они спрашивали: что нужно было делать? Они спрашивали: что можно еще было сделать?

Но они не могли ничего сделать, так как были пролетариями. Они были вынуждены обратиться к услугам перебежчиков из несоциалистических партий, крайне сомнительных карьеристов и политических мародеров, воспользовавшихся ситуацией. Подобные революционные победители объявлялись при каждом свержении режима. И они должны были быть благодарны, если для внешнеполитических дел находился грамотный дипломат, который ради нации пересиливал себя и, пытаясь сохранить достоинство, представлял беспомощное правительство в переговорах с противником. Мы видели затем, как наш посол в Версале, бледный, дрожащий, нервный, разочарованный находился в окружении государственных деятелей, которые под маской бесчувствия скрывали свое чувство победы и раздраженность тем фактом, что они вообще должны были выслушивать по этому поводу какого-то немца. И, наконец, в том же зеркальном зале славы, где когда-то была основана Вторая империя, мы испытали на себе холодный взгляд и дикую усмешку противников, с которой они следили за росчерком пера. Среди столпившихся любопытных договор подписывал немец, человек с невыразительным лицом, который не уйдет потом в забвение, возможно, он даже станет рейхсканцлером и будет изображать из себя наследника Бисмарка. А пока он представлял крупную партию, подписывая договор по поручению национального собрания, заседавшего в Веймаре. Начиналась история немецкого унижения. Сначала пролетариат как сложно поддающаяся национальному пониманию часть общества не заметил этого. Сначала его лидеры, как наименее национально восприимчивые немцы, пытались скрыть это. Они в глазах народа приукрашивали это унижение как политику исполнения договора, которую теперь они были обязаны проводить. Под давлением, с нарушением прав, но все-таки были обязаны исполнять так, чтобы от нашего крушения не последовало экономических последствий. Они пытались приводить доказательства невозможного.

Заботой тех лет была не внешняя, а внутренняя политика. Она оставалась бременем, нечистой совестью, которая была предательским состоянием страха, кое правительство вынесло из революции. Вину за внешнеполитические разочарования в конце концов всегда можно было свалить на Антанту. Но за внутриполитическое разочарование в революции должно было отвечать правительство. А здесь для него имелись экономико-политические требования, которые оно не могло выполнить, а потому их решение как минимум должно было быть отложено на время. Прежде всего революция намеревалась заключить мир, а кроме этого изменить форму правления, но собственно не форму экономики. Но разве революционеры не были социалистами? Разве социализм не был обещанием, которое давалось пролетариату на протяжении 75 лет? Разве массы не должны были осуществить не только пацифистскую революцию, не только политическую, но и социальную? Итак, массы хотели теперь иметь социализм! Но всерьез нельзя было мечтать о социализме. Этому не соответствовали даже экономические предпосылки марксизма. Однако теперь пролетариат обладал политической силой, о чем Маркс говорил как о предварительном условии, которое должно было достаться массам через свержение старого режима. Маркс говорил, что это условие может обосновать «новую организацию труда». Но экономическая власть оставалась у экономического руководства, у предпринимателя, у работодателя. Но капиталистически организованная экономика предполагала наличие не только капитала, а также интеллекта, технических навыков, организаторских талантов, и, наконец, способности к коммерции. В итоге она обладала силой опыта, который она использовала в своих целях, в то время как пролетариат, который восстал против нее, обладал лишь силой масс. И силы масс не хватало, чтобы сломить власть капиталистической экономики. Она оказалась сильнее. Пролетариат напрасно намеревался взять в свои руки предприятия, которые держались на его труде, но не были обязаны его инициативе и предприимчивости. Вполне справедливо, что пролетариат проявлял на этих предприятиях физическое и экономическое участие, но это не было духовным участием, которое бы могло оправдать владение и руководство ими. Пролетариату лишь оставалось смириться с превосходством человека, который первоначально придумал это средство производства, обучил ему и предоставил возможность работать. Нельзя было исключать экономическое значение предпринимателя, а уже тем более заменять голословными притязаниями рабочего на право обладания предприятием, в то время как тот же рабочий умел только обслуживать средства производства. Но только он мог обладать экономикой, только он создавал хозяйство. Только он представлял ее изнутри. Все это проявилось, подтвердилось и оправдалось в последние годы. Если

мы попытаемся заняться причинами, почему провалились попытки социализировать все крупные немецкие предприятия, превратить их в социалистическое хозяйство, а государство сделать экономическим товариществом, коммунистической общиной (что было целью немецкой социал-демократии на протяжении последних 75 лет), то мы неизменно будем сталкиваться не только с политическими причинами, которые крылись в людях, но и с биологическими причинами, которые крылись в самом пролетариате. А затем мы столкнемся с существенными социологическими, психологическими, типологическими различиями, наличие которых приводит к возникновению трещины в предвзятом понятийном мышлении, которое ограничивает социальную проблему материалистическими установками, а потому данная проблема не может быть решена. А затем мы, скорее всего, придем к мысли о взаимной компенсации двух человеческих групп — предпринимателя и рабочего — которые должны прийти к соглашению о материальных требованиях и их разрешении, но при этом не нарушая деятельность друг друга. Мы натолкнемся на политическую революцию, которая не могла перейти в социалистическую революцию, так как Маркс, готовивший к ней пролетариат, не учел метаматериалистических предпосылок социального строения, так как вследствие этого оказалось, что пролетариат в духовном плане не был готов к ней, как он не готов к ней до сих пор.

Спартаковцы не видели этой взаимной компенсации. Они нигде не видели различий, так как для них существовало одно-единственное, огромное классовое различие, которое подтверждалось идеями классовой борьбы. Они повсюду видели лишь полную противоречий экономику, возникновение которой, ее обусловленность, существующие условия, возрастающие связи, вместе с поводами не были им понятны, так как марксизм учил их видеть экономику только с точки зрения теории о добавленной стоимости, и они не изучали ничего, кроме этой доктрины. Перед глазами Либкнехта стоял только красный цвет. Он, в котором идеи моментально сменяли друг друга, который был лишен корней и инстинктов, но постоянно действовал с энергией сангвиника, которая переходила во враждебный холерический темперамент, не был способен адекватно воспринимать действительность. Он видел лишь, что немецкая революция была революцией политической и никак не хотела становиться революцией социалистической, грозя лишить пролетариат единственного и последнего повода организовать марксистское классовое восстание. Итак, он стремился задержать уходящий момент, пытался приблизить час решающей классовой битвы, которая должна была последовать за мировой войной. Он хотел вызвать эту битву, вынудить ее, подхлестнуть. Он не видел, что растущее сопротивление брало свои корни в нашей катастрофе, что оно

стремилось сохранить, по крайней мере, основы нашего хозяйства. Он больше не видел, что это сопротивление оправдало вычисления марксизма, его мировые политические прогнозы, которые становились экономическими. Либкнехт оставался преданным Марксу. Он был последней и единственной (не могу сказать личностью) марксистской персоной, недостаточным представителем недостаточной системы, путчистом, совершенно аполитичным человеком, который при всем том делал революционную политику. Он оставил после себя патетичные слова о «счастливом томлении пролетариата», которое опять же выводил из материи, а не из человека. Он, шатающийся, запинающийся и заикающийся, взывал к массам, хотя ему был безразличен народ и ненавистна нация. Когда его убрали с пути, то устранили не только сумбурного мечтателя, но и иллюзию. Еврей и интернационалист, который был пацифистом и жаждал быть террористом, не пал от рук случайных и безразличных убийц. Адвокат-подстрекатель был убит ландскнехтами, солдатней, так как оставшиеся в живых после мировой войны встали на дыбы, желая положить конец великому идейному обману или хотя бы введению в заблуждение посредством идей. Он был убит, так как в стране имелся человек, который воспринял действительность. Так он был солдатом, хотя в то же время социалистом, но все-таки солдатом. Это был Носке.

Но то, что осталось, было ворчащим Ледебуром и поджавшим губы Брайтшайдом. Остался лишь страх революционной демократии перед массами. Страх сам по себе. Коммунистический манифест по сравнению с ним был ничем. И даже Эрфуртская программа была ничем. Социал-демократия могла указать народу, по крайней мере, на несколько пунктов программы, которые она выдавала за достижения. Чтобы сохранить чувство триумфа и просветительную идеологию 9 ноября, указывалось на стереотипный, но все же неверно истолкованный 8-часовой рабочий день, что якобы выдавалось за мировую идею. Народные уполномоченные видели, что вынуждены сказать народу «мучительную правду», что теперь «уделом народа будет бедность и нужда». Но они не сказали, что это следствие проигранной войны. Они с большим удовольствием говорили: «Это следствия преступной военной политики, которая осуществлялась на протяжении четырех лет». Получалось, что революция, как и обещали, была политическим действием, а также социалистическим действием, для чего не требовалось доказательств.

Однако в то же время пролетариат предостерегали от организации стачек и забастовок, предостерегали и умоляли отказаться от этого проверенного средства классовой борьбы, так как его применение после революции было чем-то иным, нежели до революции. Массы и профсоюзы заклинали не превращать революцию в «движение по по-

вышению заработной платы». На каждом уличном углу, на каждом здании, на каждой стене, и даже на банях, висели плакаты, провозглашавшие: «Социализм — это работа». Народ утешали социализацией. Его обнадеживали социализацией. Но иногда отказывались от социализма. Но делали это по возможности тихо, маскируя потоками слов, как то и подобает трусам. Однако при каждом удобном случае говорили о «восстановлении нашей экономики». Только социалистическое мышление не родило ни одной мысли, разве только, что спасительную идею относительно рабочих сообществ, в которые бы входили работодатели и представители рабочих союзов. Это осознание собственной беспомощности. Идея о плановом хозяйстве так и осталась на страницах книг, которые иногда позволяли вспомнить, что объединенная экономика является наследием нации и что Фихте, Штайн и Лист являлись крупнейшими немецкими специалистами в области народного хозяйства.

Чтобы социалистическая доктрина, по крайней мере, полностью не погрязла в недочетах, в дело вступил Каутский. Проворный глупец должен был дать новую интерпретацию Маркса. Он отыскал изречение, что общество не может «перескакивать естественные фазы развития, ни миновать какую-либо из них». Эту оговорку Маркс сделал в месте, где рассуждал о различиях наций, о возможности и необходимости одним нациям учиться социальной революции у других наций. Но эти слова относились не к самой революции, а к предшествующим ей событиям. Каутский, напротив, применил эту формулу к самой революции, к попытке спартаковцев, которые по русскому примеру хотели перескочить из одной революции сразу же во вторую, и на полном серьезе намеревались ликвидировать классовые противоречия, предоставив это право пролетариям и Интернационалу. Эта попытка была бы безумием. Но об этом не мог говорить революционер, который посвятил всю жизнь подготовке данной революции, который все время наслаждался своей славой, лелеял свой авторитет, но как только красные чернила его книг рисковали превратиться в красную кровь действительности, он предал марксизм. По ту сторону социалистического мышление готовились более радикальные доктрины. И если социализм хотел сделать шаг «от утопии к науке», то радикалы шаг «от науки к действию». Коммунизм был готов сделать этот шаг. Это могло стать возвращением утопии. Но Каутский решил разоблачить свою же собственную научность. Научность, о которой он вел речь и как теоретик марксизма отрывал от практики. Когда же массы, которые в течение 75 лет обрабатывались партийно-политическими обещаниями, потребовали воплотить их в жизнь, он заявил: «Только практика в каждом случае может указать, действительно ли пролетариат созрел для социализма». Авторитет как-то раз предположил, что с «уверен-

ностью может сказать лишь следующее»: «Пролетариат неуклонно растет в своей численности, силе и интеллекте, что больше и больше приближает его к возрасту зрелости». При помощи таких отговорок Каутский подготовил социализму отступление, отступление из страха перед социализмом в сторону демократии. Немецкая социал-демократия из своих двух составных частей предпочла опустить социалистическую и оставить лишь демократическую. Каутский знал, как оправдать это. Он уверял: «Эта демократия не только ускорит созревание пролетариата, но и позволит определить, когда она наступила». Он категорично подчеркивал: «Поэтому мы хотим изучить, какое значение имеет демократия для пролетариата». И он изучил. Его трусость диктовала ему в первую очередь отговорить рабочих от «диктатуры пролетариата». Он уверял, что Маркс «подразумевал диктатуры не в буквальном значении этого слова». А после этого он признавал свою ответственность за парламентаризм: «Поэтому мы хотим и должны придерживаться общего, равного, прямого и тайного избирательного права, за которое мы боролись последние полвека». Посредством избирательных бюллетеней он пытался сделать демократию более легко воспринимаемой и разумной формой правления, когда каждая партия не оставалась в убытке: «Демократия значит господство большинства. Но не в меньшей степени она означает защиту меньшинства». Он был настолько любезен, что пообещал и левым, и правым партиям, выступающим против демократии, определенные перспективы участия в политическом действии. Он говорил: «Политическая партия существует, когда требует демократии». И еще. «Небезопасно оставаться у руля, но не предосудительно долгое время оставаться в меньшинстве». Да, передовой боец классовой борьбы воистину являл чудеса бесстыдства, когда при виде приближающегося класса он предавал во имя демократии классовые идеи, которые он представлял, утверждал и обосновывал. «Класс, — говорил он, — может господствовать, но не может править, так как он является бесформенной массой. Править может только организация». В Германии, в России, во всем мире социалисты, являющиеся коммунистами, и марксисты, которые верят в Третий Интернационал с его радикальной позицией, вполне обоснованно отзываются о Каутском только с крайним презрением. Наконец, они разгадали за важностью его ничтожность. Но если они теперь осуждают его, как он отрабатывает деньги, то их приговор в большей степени касается не личности, но их самих и социализма, который Каутский как экзегет Маркса и апологет марксизма обосновывает через возраст и достижение зрелости. Они делают это вместо того, чтобы заблаговременно постичь его ничтожность, в которой с самого начала можно было найти любую подлость, двусмысленность, нелогичность и предательство.

Благодаря марксизму, который поносил класс как таковой и раскрывался в избирательных кабинках парламентаризма, рабочее движение достигло западного оппортунизма. Форма правления, рекомендованная Каутским как форма государства, которая должна была правиться народом и управлять им, была социал-демократическая республика. За капиталистической эпохой вовсе не последовала коммунистическая, как предвещал Маркс. Феодальные фавориты, которые обычно присущи радикальным монархиям, и бюрократия, характерная для конституционных режимов, уступили место партийно-политическому парламентаризму, кабинетам и кликам. Едва ли можно было вести речь об экономической власти, которую хотел захватить пролетариат. Впоследствии от него ускользнула даже политическая власть, которую он добыл во время свержения монархии, когда в одно мгновение господство народа превратилось в царствование масс. На этот путь народ направляли демократические партии. Лидеры демократических партий захватили все посты. От имени народа они распространили свое влияние во всем государстве. Демократия больше никого не сдерживала. Спартаковцы раньше всех поняли, что она была обманом народа. Однако на них были натравлены псы революции. И теперь в Германии наступило господство посредственности. И оно утвердилось. Казалось, что оно идеально годилось для менталитета нации, которая пожертвовала честью быть величайшим в мире народом во имя бесславного мира, оставившего после себя исковерканную империю. В народном государстве, которое именовало себя самым свободным, а на деле являлось поработительским, народ так легко свыкся с новой жизнью, как будто бы он того и хотел.

Правда, в коммунистах неистовствовало марксистское разочарование. Они разочаровывались и свирепели, так как видели, что их наука действия вновь превращается в утопию. Но имелись другие немцы, которые жаловались на не предательство доктрин, а на самоубийство нации. Они не видели различий между народом, пролетариатом и демократией. Они видели лишь преступления, совершенные массами. В революции они видели конец немецкой истории. Разве народ не разрушил империю вместо того, чтобы ее защищать? Разве не пролетариат совершал безрассудные действия? Обычно в них раскаиваются, когда приходит время, и народ, оглянувшись, горько восклицает: что же мы наделали? Не сама ли нация порвала со своими традициями, со своими воспоминаниями, со своим назначением, со всеми претензиями на величие, которое отличало ее от прочих народов? Не сама ли нация променяла все это на общность, которая называлась демократией, но в которой она обрела закабаление, спекуляцию, ветреную полуобразованность? Демократию, которая медленно загоняет ее в могилу.

III

Видя такую перспективу, некоторые немцы, которые в эпоху масс остались индивидуалистами, восприняли стихийную мысль Ницше, который в духовной истории века был противопоставлен Марксу, находившемуся на другом полюсе. Маркс, вне всякого сомнения, раскопал бы причины событий, которые нам довелось пережить, в материализме, умирающем сейчас в революционных демократах. Маркс сначала предложил людям, тысячелетиями находившимся среди идей и привычно живших во имя идей, приманку в виде материи, материалистичного мышления, материалистического восприятия истории. Поменяв идею на материю, Маркс совершил самый чудовищный обман в истории человечества. Но действие всегда вызывает противодействие. И если теперь марксизм утопал в демократической сутолоке, не зарождалось ли в Ницше новое аристократическое мышление? Не был ли Ницше провозвестником встречного протестного движения, которое должно прийти после окончания массового столпотворения, которое предсказывал, и как принципиальный противник любой «средней позиции», точно знал, что крайность производит на свет другую крайность? Осталось ли немцу, который духовно причисляет себя к таковым, что-то иное, по возможности далекое от смешения людей и понятий? Признает ли он (по крайней мере, в мыслях) исключительность личного сознания и внутреннее право личности?

Однако сам Ницше давал другой ответ. А также он давал социологический ответ, который мы должны вспомнить, когда выступаем против Маркса. Ответ, который он дал — философский, противоречивый и совершенно противопоставленный Марксу. Ницше предрекал эпоху «большого осознания ужасного землетрясения». Но он добавлял, что эта эпоха снова поставит один из «новых вопросов», вечных вопросов, героических вопросов, как он их хотел понимать, консервативных вопросов, как мы должны понимать их. К этим «новым вопросам» он также причислял пролетарский вопрос. Однако Ницше был профессиональным борцом против всего, что было массой, а не иерархией, делением, дифференциацией. Он как реставратор человеческой иерархии, чувствовал «времена универсального избирательного права, то есть когда любой через каждого может судить любого». Он говорил об «ужасных последствиях равенства», заявив: «Наша социология не знает другого инстинкта, кроме стада, то есть быть суммированным нулем, когда каждый нуль имеет равные права, где сам нуль является добродетелью». Но по биологическим причинам Ницше проводил различия между народом, пролетариатом и демократией.

Он знал, что демократия — это поверхностное общественное явление, которое умрет, в то время как в пролетариате он видел гораз-

до более глубокие проблемы, которые для него были также связаны с обновлением человека снизу. Когда он сказал о немецком народе, что тот не имеет сегодня, а только вчера и завтра, то он приобщал к этому будущему и пролетариат. И он понимал, что социализм, который являлся не доктриной, а жизненно-историческим выражением подъема человечества с сильными, еще не зачахшими изначально приобретенными инстинктами, был стихийным феноменом, от которого нельзя было уклониться и нельзя было игнорировать.

Для Ницше и для нас остается открытым вопрос: имеет ли социализм отрицательные стороны? Будет ли он вести к полному нивелированию человеческих ценностей, и вместе с тем к их полному обесцениванию, или же, наоборот, он послужит фундаментом для новых ценностей? Вначале Ницше видел только отрицательную сторону. Тогда он трактовал нигилистское движение, в которое он зачислял и социалистическое как нравственно-аскетическое наследие христианства, что было вынужденным социальным состоянием или же физиологической дегенерацией и личностным разложением. Все это он приписывал «воле к отрицанию жизни». Однако, с другой стороны, социализм являлся волей к утверждению жизни. Комплекс коммунистических устремлений и представлений жаждет для пролетариата действительности в мире. Материальной и определенной действительности, так как пролетариат ничего не знает об идеальной действительности. Он хочет существовать в экономически отрегулированной жизни, ибо, по сути, ведет животный образ жизни. Однако последняя мысль является хилиастической. Она ведет не к расторжению, но к исполнению закона, а совершенное государство являлось гарантом этого закона. Он полагал подобный социализм основанием, когда в случайных заметках воспринимал «чувство социальной ценности» как временное, историческое явление, принадлежащее будущему. Но он со своим требованием индивидуалистической цели существования выходил далеко за пределы содержания этого явления, которое определялось материалистическим восприятием истории. Однако, он отмечал: «Временное преобладание социального чувства ценности понятно и полезно: речь идет об изготовлении фундамента, на котором наконец-то будет возможным более сильный вид. Масштаб силы: могут жить при перевернутом уважении и вечно хотят его снова. Государство и общество как фундамент: всемирно-экономическая точка зрения, воспитание как селекция. Основная точка зрения: задача не в том, чтобы высший сорт руководился низшим, а в том, чтобы низший стал фундаментом, на котором высший жил своими задачами и мог на нем твердо стоять».

История каждой революции: римской, английской, французской — указывала, что ее смысл заключался в том, чтобы подготовить новый подъем людей и людских сил как сил народа. С немецкой ре-

волюцией вряд ли будет по-другому, если только вместе с ней не прервется немецкая история.

Если лозунг подъема самых толковых и прилежных должен был получить другое, а не банальное толкование, состоявшее в педагогическом отборе вопиющей посредственности, то это могла быть только биологическая трактовка, которая подразумевала рабочий класс не как надвигающийся класс, а как новый слой населения, который с соответственными качествами вступает в общественно-политическую жизнь нации. В перспективе было недопустимо, чтобы нация имела пролетариат, который не воспринимался как ее часть, хотя был связан с ней по языку, истории и общей судьбе. Массы очень скоро догадались, что не могут сами о себе позаботиться, а потому кто-то должен быть ответственным за них, оставив их в том же положении. Но из масс восставали одиночки, которые одновременно поднимали и массы. Эти множественные новые личности, а в большей степени их дети и внуки, придавали нации новые силы, которые поначалу были неуклюжими материальными пролетарскими силами, но они духовно преобразились, когда не только приспособились к жизни нации, но соединились с духом нации. Так Ницше думал о пролетариате. Он думал об обязанностях, которые возникают из его прав. И он думал о достоинстве, которое большинство людей демократической эпохи простонапросто утратило. Это был самый тяжелый урон, который человек нанес сам себе в эпоху обезличенных масс. И он выдвигал требование рабочим: «Рабочие должны учиться чувствовать себе солдатами. Жалованье, оклад и никаких вознаграждений». Или, как он выразился в другом месте: «Никаких отношений между авансовыми платежами и выполнением задания! Но ставить индивида в зависимость от его типа, чтобы он в своей сфере деятельности выполнял еще больше». А если он как аристократ придавал коммунизму возвышенное значение, то он видел будущее, «в котором больше не будет большего наслаждения и блаженства, которые не были бы общедоступны сердцам всех». И если он предвидел, расхваливал и требовал приблизить время, когда «оскорбление, которое до этого наносилось словом “общий[11]”, больше не будет является клеймом».

Так Ницше заменил равенство, которое, конечно, являлось ужасным понятием, на понятие более высокого, более прекрасного и более нравственного уровня — равноправие, которое он примирил с собой. Он стремился к тому, чтобы даже пролетариат вошел в царство ценностей, которые до сих пор были для него недоступны. Он стремился к тому, чтобы утвердить вечные ценности, которые должны были стать мерой всех вещей для человека. Да, есть слова Ницше, в которых

[11] В немецком слово «общий» имело еще значение «пошлый».

он просил пролетариат о конкуренции с ценностями творческой буржуазии, которой аристократ в нем давал оценки несколько с других позиций, чем коммунист, но все же они были похожи. Он видел, что буржуазия утопала в демократическом изнеможении. Он говорил: «Рабочие однажды должны жить так же, как сейчас живут буржуа. Но с непритязательностью, присущей высшим кастам. Бедно, просто, но обладая властью».

Немецкая революция привела пролетариат к власти, чтобы тут же ее отобрать и передать демократии. Но пролетариат вновь и вновь стремился к власти. Он добьется ее лишь в той степени, насколько поймет, что обладание властью зависит не от распределения материальных благ, а от духовного и умственного участия, не от владения, а от права, не от присвоения, а от равноценности.

Проблема пролетариата — не в его внешних проявлениях, а в его внутреннем росте.

IV

Тот самый марксизм, который брался системно решить массовые проблемы пролетариата, никогда не задавался преюдициальным вопросом, не говоря уже о том, чтобы ответить на него: как возник пролетариат?

Марксизм спекулировал на одном моменте, от которого он уходил с поразительной поспешностью. Возникновение капиталистического способа производства значило первоначальное решение проблемы перенаселенности. Но марксизм выдвинул понятие, даже скорее политическое требование, пропагандистское заключение, при помощи которого можно было получить власть над людьми и массами: это была идея классовой борьбы.

Маркс во имя целей пролетариата расторгал все естественные связи. Как интеллектуал, он был выше любых национальных обязательств. Как еврей, он был космополитом и не имел Отечества. И он уверял, что пролетариат также не должен иметь никакого Отечества. Он разубедил его, что страна и народ образуют одно целое. Он убедил его, что единственным общим благом являются экономические интересы, что пролетарии должны объединиться, игнорируя границы государств и национальные языки. Он стремился повсюду отнять у рабочих веру, которая досталась им от национальной принадлежности, а также ценности, совладение которыми в духовном и этническом отношении обеспечивалось историей соответствующего народа. Ценности, которые были доступны каждому, кто был связан с народом, который их и создал. Ценности, которых пролетария не лишали, потому что он был пролетарием. Если он не выпадал из нации, то он мог



по-прежнему быть причастным к этим ценностям, созданным его родителями и предками, которые были крестьянами и горожанами.

Действительно, вследствие индустриального развития, которое все больше и больше отчуждало от предприятий, не чувствовалось сознательной сопричастности этим ценностям. Прежде всего это касалось народов с незавершенной историей. Они не могли осознавать эти ценности, чье значение становилось все меньше и меньше. Но Маркс никогда не высказывал мысль о том, что надо по-социалистически укреплять осознание этих ценностей, вместо того чтобы ослаблять его и в конце концов полностью разрушить, как это сделал марксизм. Маркс, бывший рационалистом и космополитом, не был в состоянии осудить собственную пустоту чувств, он не мог понять, что обеднял людей, которые поверили ему. Он был из народа, который обычно извлекает пользу из чужого Отечества. Однако в то время, как его еврейские соплеменники использовали и эксплуатировали титульные народы, Маркс рассматривал себя в качестве того, кого они тоже использовали и угнетали. Он считал себя пролетарием. Он обратился не против капитализма, который еврейство занесло в Европу, что было вполне логично, ибо так он мог искупить вину, в которой была повинна его раса. Он обратился против европейского индустриализма, весьма по-еврейски перепутав предприятие и гешефт, бизнес. Исходя из этой ошибочной отправной точки, Маркс как представитель национально подавленного народа стремился помочь всем угнетенным других народов. В этом он видел собственную миссию, хотя она оставалась еврейским предназначением, ибо Маркс, как интернационалист, не представлял себе ясно свою национально-расовую обусловленность. Он действовал как еврей, что было весьма пагубно. Он протискивался без тени смущения, без сомнений, как это умеют делать евреи, с правом экономической науки. Он как гость вмешивался в жизнь хозяев титульного народа, не понимая его традиций и духовных принципов. Он не принимал их в расчет как случайные факторы, хотя именно они определяли авторитет и положение народа. Он позволил холодной логике своего разума рассечь эти народные установки и обесценить человеческое наследие: они казались ему подозрительными. Он был повинен перед людьми, а потому дал им замену, которая оказалась пролетарским сознанием, материальным возмещением, которое шло навстречу их материальным потребностям. Он дал им идею о классе, который стал единственной Родиной, убежищем и надеждой на то, что он поможет им добиться в этой жизни всего, чего можно было только добиться. Маркс исходил из класса как действительности, как возникшей реальности, появление которой даже не огорчило его.

И на классе как на естественном, абстрактном, искусственном и в то же время крепком фундаменте он построил колоссальное здание

своих идей, на самой верхушке которого он позволил развеваться яркому флагу с неистовой надписью: «Господствующие классы могут дрожать от страха перед коммунистической революцией. Пролетариям нечего терять, кроме собственных цепей. Они должны обрести мир».

Доктрина умышленно отрезала пролетарию все возможности роста, которыми он мог воспользоваться как класс, оставила без корней, которые пролетариат никогда бы не обрел, находясь только на предприятии.

Но как доктрина, которая считалась, без каких-либо сомнений, с историей возникновения пролетариата, не учла условий, с которыми он до сих пор остается жизненно связанным? Если доктрина противоречит предпосылкам, на которых основывается происхождение пролетариата? Если в итоге она обратила против себя даже пролетариат? Затем выясняется, что пропагандистская истина является временной, непостоянной. Она не сохраняет свое значение на длительных промежутках времени, когда действительность не только не соответствует ей, но и опровергает ее посредством произошедших событий. Тогда концепцией классовой борьбы подтверждается, что история доктринерского насилия над разумом сменяется историей принятия политических решений, которые являются окончательными. Тогда рушится все, что является надуманным — все то, что могло быть неумолимым, выглядящим как неминуемое. Только Энгельс, немец по национальности, который был не рационалистом, а скорее социологом природы, порой говорил о пролетариате как о «рабочем классе, которого неуклонно ухудшающиеся условия жизни перебрасывали из деревни в город, из сельского хозяйства в промышленность». Но даже Энгельс не предпринимал попытку связать теорию классовой борьбы с историей возникновения. Даже для него факт наличия рабочего класса являлся отправной точкой для социализма. Но все-таки он чувствовал себя связанным с европейской историей более тесно, нежели Маркс. Эта история жила в нем, даже если он объявлял, что ради социализма был готов отказаться от ее будущего. Он, по крайней мере, занимался общественным уложением прошлого. Он как-то сделал замечание, что согласно хозяйственному уложению Средневековья цеховые ученики и подмастерья работали не столько из-за денег, сколько из-за стремления стать мастером. Как мы полагаем, это не совсем материалистичная историческая установка. Но он не спрашивал себя, что бы стало сейчас из тех, кто не стремился к мастерству. И все же это был существенный вопрос, который вел к наблюдению, что во все времена количество рабочих увеличивалось непропорционально быстрее, чем расширялась прослойка работодателей. Вопрос, который привел его как социолога к наблюдению, что не каждый мог стать мастером

в своей профессии, из-за чего возникала проблема переизбытка. Прежде всего, избытка людей, который наблюдался во все времена, который рос от поколения к поколению, приводя к слишком большой плотности населения. Из этих лишних людей, для которых оказались слишком тесны городские стены, но которых больше не мог прокормить крестьянский труд, возникли средневековые бродяги, ландскнехты и пионеры восточной колонизации. Во все времена люмпенпролетариат, существовавший во все времена, состоял как раз из этих лишних людей. И всегда вслед за победой угнетенного сословия будет появляться новое сословие, которое вновь будет состоять из лишних людей. В индустриальном веке таким сословием стали рабочие, пролетариат. Когда-то лишний человек являлся индивидом. Теперь он встречается нам как целый класс. Когда-то он все еще имел пространство. Теперь его пространство ограничено. Избыток людей уступил место недостатку пространства.

Марксизм не заботили эти связи. Он был вполне удовлетворен собственной социологической трактовкой, когда возникновение современного промышленного пролетариата приписывалось изобретению машин и созданию фабрик. Он не говорил себе, что расширению индустрии и как следствие появлению капиталистического способа производства должны были предшествовать демографические и политические процессы. Он не был озадачен тем фактом, что новая экономическая форма уже нашла необходимое количество человеческого материала, который и стал ее предпосылкой, который оказался предоставленным для всех ее предприятий, без которого она не была бы возможна, оставаясь совершенно абстрактной и пустой тратой времени. Марксизм воспринимал только действия, которые неуклюже, грубо и плотно лежали перед ним, но никогда не искал причины, которые скрывались за этими действиями. Доказательства этих действий и их причин располагались так близко друг к другу, что нередко одни невозможно было отличить от других. Марксизм никогда не задавался вопросом, от которого зависели эти обстоятельства и который был решающим, так как обращался к самим корням проблемы: откуда взялись эти люди и эти массы? Об ответе говорить не приходится, если избегали даже делать подобную постановку вопроса. Маркс и Энгельс разработали на фундаменте неадекватных, недостаточных и полных противоречий представлений о классовой борьбе теорию «добавленной стоимости». Они понимали эту стоимость дополнительного труда как «голое добывание избытков рабочего времени». Но при этом не давали себе отчет о наличии избытка людей, который должен был, в различной степени, заранее появиться в различных странах. Но эта экономическая доктрина не учитывала народы как таковые, не говоря уже о различиях между ними. Эта доктрина подразумевала лишь, что

во всех странах есть пролетариат, выводя из мировой общности пролетариата понятие класса. Этим помешанным на принципах доктринерам от экономики не приходило в голову провести исследование, например, имели ли классы в различных странах различное значение; существовала ли зависимость между ростом добавленной стоимости и демографическим ростом народа; не была ли нация в больше степени зависима от политики, чем экономики. Им не приходило на ум, что понятие Интернационала, опиравшееся на понятие класса, которое в свою очередь выводилось вообще из повсеместного заявления своих прав на добавленную стоимость, являлось пропагандистским. После проверки его интернациональное понимание разрушилось бы и на первый план вновь бы выступила национальная трактовка. В итоге это бы привело к изучению генезиса, динамики и психологии капиталистического метода производства, на который они низвергали проклятия пролетариев всех стран.

Весьма соответствовал материалистической точке зрения, которая в марксизме выразилась в материалистическом восприятии истории, тот факт, что очень долго скрывалось, что машины изначально были изобретением людей, что машине предшествовали технические изобретения, которые основывались на радости от процесса познания, применения и использования законов природы.

Маркс игнорировал то, что люди первоначально пытались при помощи машин решить собственные проблемы, технические проблемы, которые придавали идее облик вне зависимости от того, приносил ли новый способ производства выгоду фабриканту, могли ли впоследствии дать новые изобретения блага работодателю или рабочим, или им вместе. Но это соответствовало агитационным потребностям марксизма, когда предприятие и предпринимательство истолковывались ложно, когда преднамеренно их поводы истолковывали с капиталистических, а не с промышленных позиций. Тот же самый марксизм не считался с возникновением капиталистического способа производства как следствием проблемы перенаселенности страны. Пожалуй, он не мог понять взглядов предприимчивого человека, который понял демографическое значение масс, в коих он сам по себе внезапно увидел феномен. Марксизм не видел, что фабриканты создавали свои фабрики в момент наивысшей демографической опасности, когда пролетариат выбивался из народного организма и действительно становился «пролетариатом», или же был вынужден искать спасения в эмиграции, или же должен был погибнуть. Он не видел, что предприниматели дали массам возможность обрести на заводах новую почву, где-то между небом и землей. Он не видел, что они давали будущему стесненному миру не только возможность работать, но и возможность существовать. Вполне логично, что марксизм не заметил одного

специфического, исключительного, но очень важного с психологической точки зрения момента. Он не заметил, что возникновение первых предприятий, становление первых фабрик, развитие мелких заводиков в большое и даже крупнейшее производство очень часто происходило благодаря предпринимателям пролетарского происхождения. Это было трудом его семьи, которая с трудом выбивалась наверх. После этого они не чувствовали себя больше пролетариями, что очень важно с точки зрения психологии.

Маркс, который всегда оценивал динамику предприятия лишь с точки зрения пролетариата, даже не пытался постичь психологию предпринимателя. Он стремился к тому, чтобы объяснить предприятие как-то иначе, чем материальным феноменом, например при помощи психологических качеств: инициативы, энергичности, хозяйственного воображения. Вместо этого он довольствовался шаблонами, которые больше напоминали грубую и саркастическую карикатуру на предпринимателя, изображавшую его рабовладельцем. Это было равной степени жестоко и банально, но подобное представление находило отклик у масс. Марксизм не мог сказать пролетариату, что машины и фабрики благодаря продукции как товару приобретают определенный экономический смысл, но в то же время они обладают более значительной и глубокой демографической сутью, которая позволяет индустриальным способом использовать человеческие силы и помогать им с социальной точки зрения. Он не мог согласиться, что добавленная стоимость — это стоимость, выражение силы реализации, которая предстает в изобретенных машинах и созданных фабриках, которая превращается посредством тех же предприятий в капитал и расширение предприятий. Он не мог признать по своим доктринерским, а также агитаторским соображениям, что не имеется никакого абсолютного соотношения между стоимостью предприятия и добавленной стоимостью, так же, как его не было между величиной издержек и стоимостным эффектом, или же между товарным балансом и платежным балансом, или тот факт, что в экономической сфере, как нигде, множество иррациональных предпосылок. Поэтому марксизм никогда не исследовал отношение, существовавшее между стоимостью предприятия и добавленной стоимостью; он вообще скрывал, что подобное соотношение существует. Пожалуй, он делал различия между постоянным капиталом, который шел на эксплуатацию предприятия, машин, фабричных сооружений, приобретение сырья, и переменным капиталом, который шел на выдачу заработной платы. Но он оценивал эту разницу снизу, с позиций рабочего, а не сверху, с позиций управления хозяйством. Он исходил из того, что добавленная стоимость — это стоимость эксплуатации. Эксплуатация была для него аксиомой, не требующей доказательств. Он не мог позволить возникнуть мысли,

что пролетариат сопереживает добавленной стоимости, которую он сопроизвел. Он не мог сказать массам, что добавленная стоимость не является выражением стоимости, которой лишают пролетария, но выражением той стоимости, которая больше не причитается за его работу. Он не мог согласиться, что эквивалентом, за который рабочий принимал собственный труд, являлась другая работа — труд работников умственного труда, изобретателя и фабриканта, инженера и руководителя предприятия, мелких и крупных предпринимателей, которые дали рабочим возможность превратить их труд в стоимость. Причем вопрос о том, хорошо или плохо, достойно или недостойно, справедливо или несправедливо живет пролетариат, он оставлял за собой. Этот вопрос, с которого только начинается социальная проблема, является отнюдь не вопросом распределения добавленной стоимости, а вопросом участия в стоимости предприятия. И мы считаем, что именно с него должен начинаться социализм, так как социалистический принцип предполагает давать каждому свое.

В особенности твердо Маркс придерживался взгляда на добавленную стоимость, которую он во всей полноте требовал для пролетариата, и исходя из которого он уверял класс, что предприятие принадлежит ему, как будто бы массы изобрели машины, позволившие создать фабрики и расширить производство. Его социальное мышление, которое не имело никаких демографических оснований, считало «накопление» собственности более важным процессом, нежели аккумуляцию людей, которые собирались на принадлежащих предпринимателям фабриках и обслуживали там машины. Там же, где он все-таки говорил о «перенаселенности», он хотел подразумевать ее лишь в «отношении безотлагательных потребностей по использованию капитала». Во всех вопросах он исходил лишь из материи и видел только «расширение капитала», которое он затем приравнивал к «расширению пролетариата». И даже Энгельс, который исходил скорее из человека, в своем изучении родового уложения выдвигал не самые оригинальные идеи. Однако все-таки он выдвигал интересные мысли о проблеме происхождения, когда говорил о том, что под материальным влиянием (это он позаимствовал у Маркса) возникало «излишнее население» как продукт «излишнего человеческого труда», которому он затем приписывал «совершенствование машинного оборудования».

Он исходил из того, что «внедрение и расширение машинного оборудования» оказывали непосредственное влияние на «вытеснение миллионов ремесленников несколькими станками». И он полагал, что мог установить, как «улучшение машинного оборудования» непосредственно вело «к большему и большему вытеснению рабочих, трудившихся на них».

Вместе с тем он выявил противоречие: изобретения, которые изначально должны были сэкономить человеческие силы, в конечном счете привели к скоплению человеческих ресурсов, и именно они создали массы, затем превратив их в пролетариев. Но не смог разрешить этого противоречия. Он также обошел стороной тот момент, что уже изначально имелось достаточное количество излишних и вытесненных людей. Он мог лишь увидеть исходный пункт, который находился в пространстве, откуда появились эти лишние люди. Он всегда видел лишь, что они искали место, где могли найти работу, где они могли осесть. А когда им не предоставлялось случая найти работу, то они пополняли «резервную индустриальную армию». Энгельс не отдавал себе отчета в том, что он наблюдал позднюю стадию капиталистического способа производства, и судил о ней, принимая во внимание, особенные английские условия.

Он принимал преходящие явления за общие признаки и не замечал, что проходил мимо решения демографической проблемы, которую он случайно затрагивал в этом месте, но так как он исходил с позиций классовой борьбы, то не был в состоянии ее решить. В конце концов Энгельс использовал эти наблюдения как свой вклад в теорию обнищания, чья несостоятельность должна была выявиться очень скоро. А также несостоятельность теории крушений, подтверждение которой марксизм предсказывал на ближайшей практике. Ее несостоятельность проявилась уже в формулировке, которую дал ей Энгельс, так как он думал более живо и наглядно, чем оперирующий рационалистическими категориями Маркс. Энгельс также говорил о «кризисах». Он говорил об «анархии продукции». Он говорил о «столкновении и ошибочном круговороте» капиталистической продукции. Но в действительности имелся инициативно понятый капитализм, который брал курс не на крушение, а на сплочение. Уже накануне мировой войны он искал пути стабилизации через картели, тресты и концерны. А после мировой войны он воспринял мысль о хозяйственных районах и экономических провинциях, чтобы при их помощи создавать основы плановой экономики.

Но Маркс и марксисты не предвидели подобного развития событий. Социалисты скорее представляли сферу своей компетенции аутсайдерам столетия, которые могли сформировать мысли об экономике, кои они сами не были в состоянии выдвинуть. Они предоставили ее таким людям, как Лист или Константин Франц, которые мыслили категориями политической экономики, и, наконец, тому же Ницше, который сначала ввел в оборот слово «мировая экономика», а затем увидел «перспективу» «неизбежно предстоящего экономического администрирования Земли». Энгельс лишь изредка говорил о «потребности расширения», сам того не подозревая, что прибли-

жался к империалистической проблеме, которую социализм всегда из партийно-политических соображений оппозиционной тактики отвергал как политический вопрос. Хотя если бы социализм встал на демографические принципы, то понял бы, что самую социальную из всех проблем нельзя было решить силами одного класса, а лишь стараниями всей нации, живущей на этой земле. Теперь Энгельс стал тем социалистом, на которого социализм указывает с особой гордостью, так как тот обладал не только политическими и историческими знаниями, но и стратегическим талантом! Но даже Энгельс был не в состоянии поменять фундамент классовой борьбы на всемирно-политическое основание. Он оставался сыном торговца из «маленькой Германии», где он родился. Он не воспринял подобно Листу мировоззренческие взгляды в Америке, которые он затем принес в Европу и Германию. Он жил в представлениях о классе, которые воспринял из Англии прошлого столетия, полагая, что в состоянии отстоять позицию манчестерской школы и преодолеть антиманчестерские взгляды. Он пал жертвой идеи фикс о «капиталистическом способе производства», которая всегда трактовала экономику при помощи товаров, но не при помощи людей и уж тем более нации.

Есть что-нибудь удивительное в том, что социализм, который никогда не думал о внешней политике, а только о внутренней политике, которую сводил к партийной политике, был снесен великим кризисом мировой войны, которая противоречила всем марксистским установкам? Есть ли что-то удивительное в том, что социализм, который ожидал, согласно своим излюбленным постулатам, краха капиталистической экономики, пережил день ее триумфа в странах-победительницах, и ее день ее крушения в побежденных странах, причем эти процессы были вызваны не экономическими, а политическими причинами? Есть ли что-то удивительное в том, что программа Интернационала села на мель в пункте о национальности, которая отрицалась подписавшими коммунистический манифест, и преднамеренно игнорировалась их последователями в Германии?

До сих пор еще над массами властвуют слова Маркса: «Освобождение рабочего класса является делом самого рабочего класса». Но массы ошибаются. Ужасная действительность гораздо сильнее этих лукавых слов. Теперь пролетариат испытал на своей шкуре, что есть не только угнетенные классы, но и понял в душе, что есть угнетенные нации. И здесь нельзя скрыть вопрос, который возникает сам собой, может ли восстание масс, которое последовало за войной и свержением монархии, стать третьим народным движением? Может быть, пролетариат сможет обрести избавление только в национально-освободительной борьбе, в единстве с нацией, которой принадлежит?

Маркс настойчиво требовал, чтобы рабочий класс освободил сам себя. Мы полагаем, что только народ может избавить сам себя. И настойчиво задаем вопрос: а может ли рабочий класс вообще освободить сам себя?

Марксизм прошел мимо происхождения пролетариата, мимо его социологии, мимо его социальной психологии. Если мы хотим ответить на этот вопрос, то мы должны дать себе отчет о его психологии.

Кто такой пролетарий в лоне нации?

И что является пролетарским?

V

Пролетарием является тот, кто хочет быть пролетарием.

Ни машина, ни механизация труда, ни зависимость заработной платы от капиталистического способа производства не делают человека пролетарием. Таковым его делает пролетарское сознание.

Это было на собрании в 1919-м пробном революционном году. В оправдание революции и ее перспектив один пролетарий констатировал, что в Германии пролетариев имеется гораздо больше, чем это было принято считать. Он провозглашал, что девяносто человек из ста у нас являлись пролетариями. Другой революционер парировал: «Но они не хотят ими быть!» Собрание выразило единодушное одобрение обоим определениям. Оно, пожалуй, почувствовало противоречие, но не смогло осмыслить его до конца. И все же это противоречие содержится в судьбе пролетарского движения. Это противоречие указывает, где заканчивается притягательная сила движения. Она заканчивает на человеке, который больше не чувствует себя пролетарием и хочет быть кем-то другим. И этот человек своим бытием отвечает на вопросы: что есть пролетарское? И что есть не пролетарское?

Мир воззрений пролетария предельно прост. В этом кроется его сила. Но этот мир воззрений также узок, подспуден, элементарен; он является недостаточным, малоопытным, непроверенным, не стремящимся к росту, без чувства гармоничного построения, без знания взаимосвязи находящихся вокруг него вещей. В этом кроется его слабость, беспомощность и в некоторой степени бесперспективность. Отчуждение, которое лежит перед ним, является предопределенным от рождения. Все мы, все люди, изначально были первобытными людьми, если хотите, пролетариями, которые появлялись на свет нагими на сырой земле. Но очень рано вступала в дело социальная стратификация, которая одержала верх над внутренними привилегиями и передавала по наследству внешние привилегии. Кто не был достаточно развит, чтобы попасть в эту иерархию, тот, оставаясь внизу, не рос, а падал.

Это был пролетариат. Он рос, множился и стремился предъявить свои права, дабы запоздало получить свою долю в этом всеобщем движении. Но всегда своей доли добивались люди, которые больше не хотели быть пролетариями. Пролетариат являлся тем, что всегда оставалось внизу. Также и нынешний пролетариат получит свою долю в этом движении, если сам же не откажется от предпосылок к стратификации, к национальному делению. Но это будет доступно в лучшем случае его детям. Массы растут с поколениями. Так же и этот взлет — это отбор, селекция. Основная часть массы так и останется массой. Пролетариат будет существовать всегда. Социализм — это попытка ускорить этот рост и предотвратить его во имя развития. Но пролетариат будет существовать всегда. Вслед за четвертым сословием, которое еще пребывает в возрасте детства, но скоро будет буржуазным, мрачно и решительно надвигаются пятое и шестое сословия, которые, вероятно, больше не являются порабощенными классами, а целой угнетенной нацией. Нацией, которую поработили под знаменами, цвета которых еще никто не знает. Пролетариат будет существовать всегда.

Между тем человек, который не захочет быть пролетарием, будет отличаться от пролетарского человека унаследованными и приобретенными ценностями, которые дадут ему интеллектуальную подвижность, широкий кругозор, что еще больше разделит их. Индивиды, из которых состоит народ, отличаются не только условиями, в коих они работают, но и талантом, который они вкладывают в свой труд. И они обретают свободу действий, которая предполагает этот отличительный труд, но не в рамках плотно двигающей массы, а в свободном пространстве нации, где непролетарские люди могут проявить свое мужество, предприимчивую волю, изобретательность. Но этот отличительный труд привязан не столько к личности, сколько зависим от традиций, которые он воспринимает и которым придает на предприятиях форму работы. Это создание форм, из которых состоит весь мир. Пролетарский человек ничего не знает о подобных вещах. Пролетариат еще не стал сопричастным ценностям, которые оставили после себя наши предки, которые отличают более сознательного и более образованного человека. Эти ценности возникли прежде, чем пролетариат внезапно прибыл в непонятный для него мир. Они должны были быть у пролетариата врожденными. Но у него не было предков. У него не было опыта. Он воспринимал теории, которые выдумывались не имеющими корней идеалистами из других классов. Прошлое? Но им вряд ли можно питаться. Пролетариат видит только современность. И по образу своих невзгод он формирует более справедливое будущее. Он не чувствует себя частью общности, скорее он чувствует, что общество злоупотребляет им. Он возник из перенаселенности и считается

лишним. Пролетарий думает, что он отвергнутая часть человечества, для которой не нашлось места на Земле. Так что пролетариат требует свою долю не столько в духовных ценностях, о которых он ничего не знает, сколько в материальных ценностях, которые он видит у привилегированных слоев. Он думает как пролетарий, так как полагает, что именно он создал эти материальные ценности.

Пролетарий представляет себе мир точно так, как он его видит. Но его бессвязное мышление позволяет ему жить лишь в его собственном, непосредственно пролетарском мире, а не в окружающем и охватывающем его, им же основанном мире. Мышление пролетария очень острое. Но оно короткое. Пролетарий не имеет никаких умственных традиций. Он наивно полагает, что он делает правильно, когда поступает так, как думает. Так думают и действуют простые люди, которые не знают, что они творят. Также и во время революции пролетариат полагал, что поступал правильно. Если бы пролетариат мог думать исторически, тогда он знал бы из глубочайшего исторического опыта, что участью каждой попытки пролетарского возвышения было разочарование. Всегда из пролетарской массы вырывался непролетарский человек — одаренный человек, человек со свойственным ему правом, человек, берущий свою долю в виде духовных ценностей большой общности, из которых он черпает силу, человек, который преодолел классовый принцип. Пролетариат никогда не может быть уверен, что его сыновья в ближайшем и последующем поколении больше не будут пролетариями, что в соответствии с их социальной самооценкой они подключатся к общим духовным связям общества. Правда, этот процесс могла бы ускорить революция. Но во время революции политическая воля пролетариата направлена на силу, а не на власть. И он обретает силу. Но сила является временным явлением. Длительно может быть только власть. И всегда революция порождает человека, который, несмотря на то, что является пролетарием и не мыслит консервативно, вынужден действовать как консерватор. Он сохраняет ради жизни.

Закон творческого консерватизма имеет наибольшее значение для политической работы, из которой великие и вечные идеи всегда приобретают новую форму. Но революция перепутала литературу и политику. Она поверила, что политикой является акцентирование внимания на мире, свободе и справедливости. Благодаря этой ошибке Просвещения мы сейчас вынуждены жить в раздоре, порабощении и несправедливости. Это была типичная ошибка дилетантов. Пролетариат не имел никакой политической традиции. Его школой была партия. Но партия не имела гениев. Гении всегда свидетельствуют о времени и вечности. Но у времени случились преждевременные роды. Мы все поначалу порождены временем. Но непролетарский человек

думает о времени, затем забегает вперед и возвращается назад. Он думает о причинах и о связанных с ними действиях. Он размышляет над значением собственных действий.

Пролетарий, напротив, думает только о времени. Он думает один момент и об одном моменте. Он думает примитивно и материалистически. Так как ни один человек не может жить без перспектив, так как в каждом человек, даже самом духовно бедном, проявляются стремление и желания, то он, кроме всего прочего, думает о будущем, которое является наивным материализмом, наивным эгоизмом, которые стали исключительно утопической характеристикой его собственного класса. Но он не прилагает никаких стараний, чтобы это будущее хоть когда-то наступило: действительность созданного им сегодня, к великому ужасу, говорит ему, что в ней нет ничего хорошего, но она, напротив, становится все хуже и хуже. Это происходит не в последнюю очередь потому, что имелись люди, которые доверчиво полагали, что отныне все будет хорошо.

Консервативный человек не может ограничивать свое мышление экономикой, а руководит своей жизнью в соответствии с влечениями и сильными страстями, идеями и большими планами, которые и определяют ее как историческую жизнь. Ему присуще надвременное мышление. Он мыслит вечными условиями человеческой природы, которые определяют повседневную жизнь как ход истории. Он извлекает уроки из всех эпох, из всех уголков земли, дабы направить их на жизненные необходимости собственного народа, который для него является естественной человеческой средой. В нации как сообществе он вновь обретает свое Я. Нация является для него сущностью всего того, что он знает о человеке, что он сделал на Земле, куда он направляет свою волю и во имя чего он действует в этой жизни. Пролетариат сможет обрести избавление только тогда, когда возвысится над гиперэкономическим мышлением и вырвется из него. Теперь он будет не строить свой пролетарский мир, а искать возможность встроить его в исторический мир. Любое человеческое несчастье облагораживает. Не облагораживают лишь пролетарские страдания. Бессилие не может облагораживать человека. А бессильным является тот, думает только экономическими категориями, но не понимает духовных. Пролетариат имеет право на признанное и устойчивое положение в обществе, зависящем от индустриальных предприятий и труда пролетария. Но он не имеет никакого права на узурпаторское, бесполезное и недостойное могущество, которое пытались ему вручить социалистические партии, ориентировавшиеся на революционную конъюнктуру. Ведь чем скромнее является положение, тем оно более ценно, истинно, оправданно и долговечно.

По всей Земле ощущается натиск пролетарского мышления на духовный мир. С чувственной точки зрения это стремление лежит в тоске пролетария по счастью, которая делает его борцом классовой идеи. Он легковерно надеется, что исполнение этого счастья вновь сделает его человеком. И он умственно прилагает усилия к истолкованию материалистического восприятия истории, воспринимая из него иррациональные точки зрения, которые присущи младосоциалистам. Прикоснувшись к этому духовному миру, пролетарий перестает быть пролетарием. Тот, кто вырывается из пут пролетарского мышления, перестает быть пролетарским человеком. Рабочий класс является составной частью народа. В этом движении, которое запустил пролетариат, сейчас находимся все мы. Оно идет параллельно консервативному протестному движению, которое само по себе возникло в народах. Он исходит главным образом от рабочих угнетенной и истерзанной страны и стремится к предкам. Социальная проблема не может быть решена, пока не будет решен национальный вопрос, а народ вновь не получит свою свободу.

Все еще возможно, что вслед за первой революцией последует вторая. За социал-демократической — коммунистическая, за парламентской — террористическая, за внутриполитической — мировая. Эта вторая революция только активизирует консервативное протестное движение, которое попытается остановить распад и восстановить связи, благодаря которым люди могут существовать как народ. Может быть, жизнь в Европе вообще не наладится, мы не можем знать этого, но мы должны быть готовы к этому.

Но все еще есть человек, который готов использовать все возможности. Консервативный человек — не тот, кто отрекается, когда все отказались; а тот, кто пытается сохранить, когда, казалось бы, нечего сохранять.

Реакционер всегда ищет политический выход там, где обрывается история.

Консерватор вновь и вновь готов начать все сначала.

VI

Но имеются и другие расчеты, которые нам показали немецкие пролетарии — те, которые не хотят быть пролетариями, но вынуждены быть ими.

Со времени Версаля мы знаем, насколько много пролетариата в Германии: двадцать миллионов. Но мы не знаем, кто принадлежит к этим двадцати миллионам, кто является «излишним». А ведь у нас ежедневно почти каждый третий человек погружается в огромную общину нищих. Эта неизвестность позволяет всех нас причислить к пролетариям. Мы идем по пути пролетаризации нации.

Судьба такой нации, участь принадлежащих ей двадцати миллионов людей, которые являются в Германии «излишними», угрожает прочим массам, которые имеют пролетарское сознание, — они хотят быть пролетариями. Если вследствие революции Германия идет ко дну, то скорее всего первым падет немецкий пролетариат, так как он меньше всего оказался готов к сопротивлению против истории. Для немцев нового поколения, которые обладают не классовым, а национальным сознанием, невообразимо и не укладывается голове, что эти двадцать миллионов человек могут жить в социальном положении, которое недостойно ни человека, ни немца. Эти люди нового поколения, которые не хотят быть пролетариями, являются социалистами товарищества. Для них более невыносимо, что те двадцать миллионов человек, одна треть нации, обособились в своем политическом сознании, хотя и живут с ними на одной и той же земле и говорят на одном и том же языке. Так и пролетарское сознание не в состоянии понять, что естественная сплоченность обуславливается национальным единением. Эти люди нового поколения, которые не хотят быть пролетариями, являются националистами, сплоченными единой судьбой. Они не намереваются мириться с представлением о том, что немецкий народ неуклонно пролетаризируется. Им невыносима мысль, что не только те двадцать миллионов, но шестьдесят, семьдесят, сто миллионов на все времена будут презираться народами, будут запрещаться другими народами, будут испытывать издевку других народов, будут в тягле других народов. Эти люди нового поколения, которые не хотят быть пролетариями, являются немцами хотя бы из чувства собственного достоинства.

Они признают настоящее время. Они несут наследие, которое досталось им, и считают себя нацией, признающей даже то, что было сотворено во времена темноты и замешательства. Они полагают, что мы стоим где-то посредине нашей истории, что вечное повторение является нашим преходящим предназначением, что нельзя препятствовать тому, дабы наше тысячелетнее прошлое продолжилось в нашем тысячелетнем будущем. Марксист ничего не знает о подобной связи. Марксизм даже не узнал, что проблема перенаселенности и связанная с ней проблема пролетариата являются вовсе не интернациональным, а национальным вопросом. Маркс так и не воспринял теорию Листа о емкости населения, о различных экономических этапах разных стран, о разделении туда между отдельными народами и взаимном пробуждении производительных сил. Перенаселенность — это лишь тогда проблема территории, когда на ней имеются государства. Это проблема государств, которые являются перенаселенной нацией, а потому в каждой отдельной стране существует совершенно различная демографическая проблематика. Социализм устанавливал международ-

ные связи пролетарского движения. Но эти интернациональные отношения, в которых доминирует экономическое мышление, являются второстепенными и случайными. Национальное единство, на котором базируется политическое мышление, напротив, является ключевым и закономерным.

Пролетариат сможет занять свое место в обществе только тогда, он не будет воспринимать себя как класс, а как часть народа, когда он больше не будет пролетарским классом, а рабочим сословием. Это различие между пролетариями и рабочими гораздо больше, чем просто разница в понятиях. Оно кроется в политическом сознании. В пролетарском сознании, которое нанесло ущерб рабочему сословию, его разделили с единственным сообществом, которому оно еще могло принадлежать — с собственным народом. Если изменилось политическое сознание, то затем меняется место рабочих в недрах нации, но перед этим изменилось их отношение к самой нации. Только пролетариат, который осознает себя рабочим сословием определенной страны, может вновь быть причастным к общественной жизни своего народа. Участие в жизни нации, к которой принадлежат рабочие, поможет отринуть само понятие пролетариат. Это очень хорошо поняли пролетарии западных держав, обладающие политическим чутьем. В то же время русский пролетариат должен был в этом убедиться только тогда, когда западные державы напали на Советскую Россию. Немецкий пролетариат лишь после борьбы в Руре начинает находить и осознавать национальные, экономические и политические взаимосвязи, имеющиеся в истории.

Немецкий коммунизм хотел понять эти взаимосвязи только с марксистской позиции. Но он уже стал использовать в своих целях не только рабочих. Он уже начинает приглядываться к крестьянам, сельскохозяйственным рабочим и солдатам. Он уже говорит о правительстве рабочих и служащих. Немецкий коммунизм уже начинает считаться с непролетарскими элементами. Это нововведение в истории марксизма. Это выходит за пределы речей о работниках физического и умственного труда, до которых снизошел даже социализм. В то время как коммунизм приобщает непролетарские слои, социализм обходит их стороной, выходя прямиком на нацию, тем самым желая обеспечить политическое положение немецкому пролетариату. Однако его политика все равно остается интернациональной. Он скорее обходит стороной непролетарские слои, в то время как его позиции сосредоточились на экономических и общественных преобразованиях, от которых марксизм ожидал освобождения конкретного пролетария, а затем и всего человеческого рода. Но она начинает действовать как национальная политика. Это связано с направлением, когда устанавливается связь между личным закабалением, которое рабочий

рассматривает как цепи, коими он потрясает как класс, и огромным порабощением, которое мы разгадали как народ. Возникает только один вопрос. Найдут ли в себе силы национальные элементы из рабочего движения изменить боевые диспозиции пролетариата и повлиять на него в «национал-социалистическом» духе? Изменить фронт борьбы, который до сего момента был ориентирован на классовую борьбу, а потому наполовину выступал против собственного народа? Направить его против врагов нашей страны? Наша духовная судьба однозначно не зависит от этого. Но совершенно точно, что от этого зависит наша политическая участь.

Внешняя политика является тем самым моментом, по которому позиции пролетарских и национальных элементов совпадают. Она становится все более и более ощутимой во всех движениях революционных рабочих. Народ не хотел изо дня в день не покладая рук горбатиться на другие народы. А еще имелось ощущение обмана, который был совершен в Версале от имени демократических идеалов. В конце концов народ понял, что к этому обману его подбили уговоры собственных вождей. Народ хотел положить конец. Но конец не республике, а слабому государству, которое рассчитывало на успех благодаря своей уступчивости, которое видело спасение в работоспособности народа, которое ожидало от него добродушия и долготерпения, а вместо политики нарушало права, вновь и вновь причиняя этому народу несправедливости. Из социалистических партий только коммунизм обладал мужеством, дерзостью и присущей всем революционным партиям резкостью, чтобы сказать народу правду. Прочие партии, участвовавшие в революции, социалистическая и либерально-демократическая, увильнули от этой правды. Они боялись признаться, так как опасались, что от них потребуют отчета. Даже теперь все еще остались социалисты, которые живут в мире самообмана и лозунгов, которые апеллируют к разуму, к мировому благоразумию, к силе обстоятельств, которые позволят пересмотреть Версальский мир или хотя бы добиться некоторых уступок. Они ведут за собой бедных людей и оголтелых франкофилов. Они снова и снова заявляют, что хотят мира — мира, который был сокрушительным для этого времени. Они проявляют мягкую, трусливую и честолюбивую готовность вести переговоры с врагом, который вновь появился, но отнюдь не с этого дня, с момента оккупации Рура. Коммунизм высказался по этому поводу, что весь этот пацифистский космос является огромнейшим обманом. Но коммунизм продолжает все так же верить в Интернационал. Он все еще надеется объединить всех пролетариев мира. Он даже рассчитывает на французский коммунизм. Он скрывает от немецких рабочих, что французский пролетариат в аграрной стране является политически беспомощным. Скорее всего, он тешит себя фантазией

о французском военном восстании, которое все-таки возможно и которое должно быть направлено по пути классовой борьбы. По-иному немецкий коммунизм полагается на Россию, на Советское государство, которое он обожает как единственное пролетарское правительство, которое смогло продержаться в капиталистическом окружении. Немецкий коммунизм превозносит рабочим Советскую Россию, которая занимает одну шестую часть суши. Немецкий коммунизм, правда, очутился в неловком положении, когда был вынужден смириться с тем, что Москва отступила от большевистской модели и сделала капиталистические уступки Антанте. Он стремился скрасить этот факт. Он пытался приуменьшить значение этого события. Он даже, пожалуй, предпринял попытку оправдать Россию. Он говорил, что Россия должна жить именно так. Но разве не так должна жить Германия?

К ценностям, которые немецкий пролетарий до сих пор не разделяет, принадлежит осознание нации, коей он принадлежит. Он верит, а может быть, и нет, но до вчерашнего дня верил в солидарность трудящихся всех стран. История для него началась в тот день, когда он услышал это послание. И отныне он поставил себя на службу интернациональной идее. Он делал это беззаветно и жертвенно. И это было весьма по-немецки. Но самым немецким в нем было то, что он не думал о собственном народе. Немецкий социализм никогда не приходил к мысли, что немецкий народ оказался обманутым другими народами. Он никогда не говорил себе, даже перед войной, что «двадцать миллионов людей являются лишними». Он не видел проблему перенаселенности и недостатка территории. Однако щедрая немецкая социал-демократия весьма охотно поддерживала классовую борьбу в других странах. А французский пролетариат с великой радостью принимал средства, которые жертвовались ему из Германии. Немецкий пролетарий мог уверенно говорить, что он являлся социалистом. Война была неизбежна. Исход войны, Версальской мирный договор, ультиматум Лондона и политика Пуанкаре были необходимы, дабы показать немецким социалистам, что в этом мире один народ является естественным врагом другого народа, что каждый народ думает только о себе, что сегодня немецкий народ является одиноким, покинутым и преданным. Немецкий пролетариат столкнулся лицом к лицу с этим фактом во время оккупации Рура. Но только человек, который не хочет быть пролетарием, в состоянии постигнуть основы, глубокие отношения, таинственную и все же очевидную связь с историей европейских народов, которая не позволит насмехаться над ним. Если пролетариат хочет сохраниться в этой истории, то он должен быть причастен ей. Он должен воспринять осознание нации, к которой он принадлежит. Возможно, будущее покажет, что смысл революции заключался в том, чтобы немецкий пролетариат вернулся в лоно немецкой нации.

В рейхстаге три социалистические партии при случае поднимали возмущенный шум по поводу реплики, ставшей упреком, что «коммунисты не могут быть немцами». Среди тех, кто от негодования сжимал кулаки, были и независимые социал-демократы. Однако разве они не позаимствовали дух наших врагов? Разве они не согласились с пунктом Версальского договора о нашей виновности? Разве они нам постоянно не вредили, соглашаясь с нашими противниками? Разве не они дали возможность Антанте ссылаться на свидетельства немцев, которые оборачивались против Германии? Руководители этой партии дружили с французами по родству души. Они призывали страну к большой революции хотя бы потому, что они наделись стать авторами маленькой революции, совершенной по французским парламентским образцам.

Впрочем, они все равно оставались интернационалистами. Один из них, с надменным и мессианским выражением школьного учителя, уверял, что «Отечество — это весь мир». Затем в этом возмущенном обсуждении приняли участие социалисты большинства. Среди их избирателей было достаточное количество усердных немцев, которые считали войну своим догом, а потому верили, что обладали правом на мир. Демократическая партия не предалась обману об этом мире, она скорее была уверена, что демократы Запада обманули нас. Это была та самая партия, которая не пошевелила и пальцем, когда левая рука подписывала то, что отказывалась подписать правая. И, наконец, это возмутило парламентских коммунистов, представителей группы, которые понимали коммунизм как солидарность. Все они, как оказалось, соглашались с правом коммунистов быть немцами.

Вопрос должен был иметь ответ. С мировоззренческой точки зрения следы коммунизма уходят очень далеко. Они простираются от иллюзий крайне левых, которые живут в ожидании тысячелетнего царства, представляющегося им обществом благоденствия, благодаря которому все человечество на Земле должно спастись, до радикализма крайне правых, которые думают прежде всего о собственном народе, которые говорят о народном сообществе, а сегодня об обществе взаимопомощи. Эти связи способствуют смычке, которая порождает особые группы и отдельных аутсайдеров, разделяющих лишь отдельные коммунистические положения. В итоге как слева, так и справа имеет некий религиозный коммунизм. Имеется не только интернациональный коммунизм, но и национальный коммунизм. Это не просто объединенная оппозиция, которая складывается из сторонников революционных и консервативных воззрений. У них есть общая ось. Обе стороны намереваются преодолеть либерализм. Тот либерализм, который свил себе гнездо во всех партиях, который заразил их и разложил. В этом либерализме и революционер, и консерватор видят

выражение индивидуалистичного, что является синонимом эгоистичного взгляда на жизнь, вызванного общечеловеческим влиянием. Поэтому обе стороны отрицают парламентаризм, в котором они узнали защитную форму, созданную либерализмом. Только одни хотя сменить парламентаризм диктатурой пролетариата, а другие господством государства, деятельностью профессионалов и созданием слоя ответственных руководителей. Общим у обеих сторон является корпоративный фундамент. Остается лишь ответить на вопрос: может ли вообще коммунизм осуществить такой порядок (если вообще может), который бы действовал и интернационально, и национально?

Являются коммунисты немцами? Не вопрос, что есть немцы, которые являются коммунистами. Вопрос в другом. Есть ли коммунисты, которые имеют осознание нации, к которой они принадлежат? И обладают ли они таким осознанием во имя самой нации? В споре, который предшествовал отвратительной сцене в рейхстаге, коммунисты попытали опровергнуть упрек, что они не могут быть немцами. Но тогда они заявили, что будут со своими товарищами бороться всеми средствами против националистических ревнителей. И если бы не националист, который благодаря своей реплике предоставил социалистическим партиям возможность для гневных обвинений, то было бы правильнее и вернее, если бы он сказал коммунистам: «Вас необходимо победить любыми средствами, а если вы принесете на нашу землю гражданскую войну, то и уничтожить! Мы не оспариваем, что вы являетесь немцами. Вы являетесь настоящими немцами, так как поступаете так, как они поступают, когда мир находится в смятении. Вы — упрямые, запутавшиеся немцы, которые не знают, что они творят. Но в любом случае немцы, которые хоть что-то делают. Немцы, которые в Германии после революции в некоторой степени являются редкостью. Мы лишь сожалеем, что эти немцы, запутавшись, сражаются не на той стороне, сражаются против воображаемого противника. Мы сожалеем, что они выступают против своих соотечественников, а не борются против французов и поляков, от жадности и вероломства которых мы вынуждены защищаться!»

Но так выражают свое отношение к коммунизму не представители Немецкой национальной партии, заседающие в рейхстаге, а вообще националисты, имеющиеся в стране. Между коммунизмом и национализмом существуют очень давние связи. Напомним хотя бы о весьма странных корпоративных и синдикалистских воззрениях, которые после революции возникали в среде энтузиастов, желавших поставить нашу жизнь на новый, но в то же время старый средневековый фундамент. Эти энтузиасты всегда остерегались смехотворности, в которую впали послевоенные интеллектуалы. Эти энтузиасты внезапно открыли в пролетарии человека и поклонялись ему как мученику

цивилизации. Они всегда почитали в пролетарии человека. В глубине эти связи между национализмом и коммунизмом уходят в годы войны, когда человек сближался с человеком. В первый раз эта связь ожила, когда немецкая молодежь сошлась с рабочими. С политической, а не только партийной точки зрения коммунисты и националисты видят друг в друге врагов, обращая друг против друга оружие. Но эта боевая дислокация не мешает тому, чтобы студенты, офицеры и национально мыслящие солдаты испытывали определенные симпатии к немецким рабочим, которые сами по себе являются их противниками. Мы стали экономически неустойчивым народом. И никто не является более обездоленным, чем гигантское количество тех, кто когда-то воспитывался и готовился для участия в жизни государства, которого больше нет. И все-таки эти симпатии мотивированы более глубокими чувствами, чем схожее социальное положение. Из него вытекает лишь понимание общей беды, в которой оказались все немцы. Эти симпатии, напротив, возникли в течение четырех лет войны как товарищеское взаимопонимание, когда так называемые образованные люди делали то же самое, что и необразованные, приобретая общий опыт, что делало их народом. Именно тогда произошло открытие простого человека. И это открытие было равносильно удивлению, смешанному со стыдом, который должен был чувствовать каждый, кто разделял ценности, в которых не находилось места этому простому человеку.

Это было непосредственное, само собой разумеющееся, неискаженное чувство. Это была надежность, которая демонстрировалась не по приказу, а из человеческих побуждений. Это была естественность, которая, как оказалась, была равносильна характеру. И как оказалось, она не исключала возможности здравых суждений. Всегда подразумевалось, что образованный человек являлся человеком сам по себе. Но эта возможность тут же исчезала, когда рабочий чувствовал себя не как человек, а как пролетарий, когда он создавал массу и думал положениями доктрин, которые навязывались ему партийными вождями. Политический рассудок позволяет нам сомневаться, что мы имели для революции некоторые причины.

Или нет. Это не политический рассудок — это политический вывод, который надо извлечь. Ознакомление с политическими связями как раз весьма распространено среди коммунистических рабочих. Они презрительно усмехаются, когда им говорят, что сейчас у нас демократия. Они презрительно усмехаются, когда им говорят, что нас ждет вечный мир. Они презрительно усмехаются, когда им говорят о Лиге Наций. Но они все еще ожидают пришествия мировой революции. Они не видят, что у них существует другая перспектива. Ужасная перспектива, которую наши рабочие, хотят они того или нет, не смогут избежать, если они не как отдельный класс, а с силой всех шестидеся-

ти миллионов одолеют предназначенную им участь. Только так можно избавиться от длительного рабства, столетней кабалы на благо наших врагов, которую демократия решила сделать делом чести нации. Только так мы можем избежать нашего исчезновения как свободного народа. Немецкий коммунизм не хочет этого рабства. И немецкий национализм тоже не хочет его. И это объединяет их. Но спрашивают ли они себя, могут ли они оба идти в ногу? Ответ зависит не от национализма. Ответ зависит от коммунизма. Немецкий рабочий должен спросить, что было причиной того, что он разочаровался в мировой революции? Причина кроется в нем самом. Она кроется в зависимости немецкого коммунизма. Она кроется в том, что немецкий коммунизм был зависим от русского союзника. Она крылась в том, что коммунизм успокоился на идее русско-немецкого дополнения, которая хочет уподобить не только с экономической, но и с политической точки зрения развитую индустриальную страну и аграрное государство. Два союзника могут тесно взаимодействовать только тогда, когда каждый из них является силой, построенной на собственных национальных, экономических и политических особенностях. Немецкий коммунизм восхищался русским примером, но не был готов явить миру немецкий пример. Правда, как мы видим, немецкий коммунизм очень быстро отказался от пацифистских принципов, с которыми он вошел в революцию. Возможно, он учился и понял, что для того, чтобы победить, революция должна быть вооруженной. Но сделал это, так как пришло указание из Москвы, так как пришла директива из России. Видимо, еще не наступил момент, когда он отдаст себе отчет в том, что в России другие условия борьбы против капитализма Антанты, нежели в Германии. Если бы в 1919 году Россия пришла в Германию, то следствием стало бы не возникновение «Фронта от Рейна до Владивостока», которым в борьбе с Антантой командовал Буденный, следствием стало бы отнюдь не возникновение красной, большевистско-спартаковской армии, но повсеместное политическое и экономическое крушение сначала Германии, затем Европы, а потом и Азии. Коммунизм сделал же из мировой революции лишь партийную политику, так как революция потерпела неудачу.

Отнимать у человека надежду — это очень жестоко. Но мы должны лишить их надежд, которые по глупости ведут к гибели. Не имеется никакого тысячелетнего царства. Всегда есть только царство действительности, которая претворяется в жизнь народом в своей стране. Ни один немец не сможет жить, если перестанет существовать Германия! Демократия говорит нам: Германия могла бы, по меньшей мере, прозябать. Это возражение, которое должно было оправдать все компромиссы. И если прозябание является целью нашей нации, то коммунист совершенно напрасно упрекает демократию в том, что она упустила

момент революционного соединения с большевистской Россией. Вина падает на революцию, ту мнимую пролетарскую революцию, которая осуществилась не как национальное, а как интернациональное движение. Вина падает на социализм, которые вел не к немецкому социализму, а к бессильной демократии. Воздействие революции проявилось в том, что мы должны были оберечься от русских условий, которые для страны, где «лишними являются 20 миллионов человек», оказались бы и вовсе катастрофическими. И пока мы оборонялись от России, демократия заключила сделку с Западом и принесла нам прозябание. Но немецкий народ не хочет прозябать, он хочет жить. А также хотят жить немецкие рабочие.

Сегодня немецкие рабочие видят только собственные дела. Они не видят, что речь уже идет о деле всего народа. Они чувствуют себя новым сословием. Они впервые вступают в нашу историю. И они полагают, что могут не считаться с этой историей. До сих пор они не были причастны к ней. Они полагают, что сами в состоянии начать эту историю заново, что у них может быть будущее, даже если нет прошлого. Но уже в настоящем они познают, что не смогут добиться своей цели, если не разделяют некоторых ценностей, которыми обладают соотечественники, создавшие нашу прежнюю историю. Немецкие рабочие не выпадают из истории. Но она приобретет значение для них, только когда они будут сознательно причастны к ней. А это сознание они могут получить только тогда, когда рабочие будут обладать теми же ценностями и разделять их с соотечественниками, как они уже делят с ними язык и историю. В нашей истории мы всегда побеждали, когда были едины. И всегда проигрывали, когда были раздроблены!

В истории Германии однажды уже было время, когда нация по классовым причинам раскололась на противопоставленные друг другу половины. Это было тогда, когда крестьяне от Майна до Неккара наступали на княжеские замки, а небеса полыхали войной. Это было время, когда безумие анабаптистов опустошало Саксонию и Вестфалию. Это было время, когда социальные страсти смешивались с политическими и религиозными, а над страной и сердцами людей господствовал лозунг «Божественной справедливости». Тогда некоторые рыцари перешли на сторону повстанцев. Праздное дворянство, рисковавшее утратить свои права, боролось вместе с Францем фон Зикингеном против имперских князей за независимую империю. И тогда Ульрих фон Гуттен превратился из гуманиста в патриота. Но это время не достигло ничего из того, что намеревалось обрести. Причина крылась в самих восставших. Крестьяне чувствовали себя так, как сейчас себя чувствуют пролетарии. Они не понимали мирового положения, в которое они вступили со своими требованиями. Они думали «правильно», но слишком узко. Они не доверяли своим друзьям, если те были

из другого сословия. Они отказались от их лидерства, которое было предложено.

Среди них не было согласия. В их головах было только недоразумение. Они с жадность хватались за ближайший успех, но никогда не обдумывали конечный исход. Сегодня все это повторяется. Это был тот же немецкий коммунист, который напомнил своим крестьянско-пролетарским боевым товарищам слова Флориана Гейера: «Знаете ли, что вы сделали? Самую хорошую вещь, самую благородную вещь, самую святую вещь; вещь, которую Господь однажды вложил вам в руки и может больше не даст никогда — в ваших руках она выглядит как драгоценный камень в свинарнике». Таким образом, тогда немцы упустили великое дело, прозевали, растратили его. Крестьяне из тайного союза «Башмак» проиграли борьбу против своих мучителей, угнетателей и вымогателей, так как у них было слишком узкое мышление. Их глупая близорукая зависть не позволяла поверить молодым (пролетарским) рыцарям, которые повели бы их против князей. Люди, которые сегодня носят в Германии советские звезды, больше могут думать свободно. Вожди никогда не имели свободных взглядов — массы, которые следуют за ними, обладают только одним чувством. Но вожди хотят сделать их уделом только одну вещь — политическую партию, внутриполитическую вещь. У нас еще есть надежда. Она зиждется на том, что в этот раз наши мучители, наши угнетатели являются иностранными армиями, генералами и политиками. Угнетение, которое мы сейчас испытываем, пришло не изнутри, а снаружи. И вследствие этого наше бедствие может считаться внешнеполитическим.

В то дикое время, которое весьма походит на наше, прав оказался Лютер, произнесший: «У волнений нет разума, и они обычно касаются больше невиновных, чем виноватых. Поэтому смятение не право, во имя какого бы правого дела оно ни начиналось. Во все времена наибольший ущерб наносился улучшениями. Вместе с тем надо помнить пословицу: зло порождает неприятности». Над немецкими рабочими нависла угроза, что из зла, которое уготовано всей нации, им достанется самое неприятное. В таком бедственном положении пролетариат приглядывается к новым лидерам. И вскоре к немцу приходит осознание, что такими лидерами могут быть только люди, которые не хотят быть пролетариями. Не стоит ждать, что пролетариат воспримет руководство того поколения, которое проиграло войну и против которого был обращен гнев революционного радикализма. Здесь на одной стороне находятся грубые инстинкты, а с другой стороны — реакционеры. Но подрастает новое поколение, которое не будет организовывать революций, а произведет духовный переворот, которое не будет чувствовать себя обязанным вильгельмовской эпохе, так как поймет, что ее тяжкая вина заключалась в растрате

консервативных форм. От этого поколения будет проложен путь к пролетариату.

Однако немецкий рабочий должен знать, что он, которому сказали, что у него нет Отечества, сегодня больше не имеет ничего, кроме своего Отечества!

VII

Крики и обещания мировой революции все еще отзываются эхом в пролетариате.

Мировая революция — слишком сильная идея, чтобы ее можно было похоронить под обломками разочарования, которое пролетариат испытал от социализма, ставшего демократией. Эта идея больше, чем просто ожидания новой экономики, когда бы коммунистический век сменил капиталистический, как тот в свое время сменил феодальный. Эта идея — надежда на новое человечество. Надежда, которая позволяла вспыхнуть Просвещению в сердцах и головах, тому самому Просвещению, которое говорило массам, что вся прежняя жизнь на земле была бессмысленной и проклятой, но теперь становится радостной и предельно осмысленной, а сам человек наконец-то становится человеком.

Социализм, все меньшевики, вся буржуазная социал-демократия не поверили призывам и обещаниям. Они предпочли рискованному будущему уверенное настоящее. Они поспешно смирились с ним. Однако коммунизм, который являлся партией, разочарованной революцией, вдохновляется на борьбу идеей мировой революции, ведет борьбу под ее знаменами и во имя ее. Эта идея является единственным, что может использовать пролетариат в своей классовой борьбе, что еще может сплотить массы. Во всех странах пролетариат является слишком слабым, чтобы самостоятельно вести классовую борьбу. В странах, вышедших из мировой войны победителями, пролетариат вынужден перейти в оборону. Во Франции классовая борьба подавлена милитаризмом. В Италии ее исключил фашизм. В Англии рабочие являются слишком политизированными, чтобы поддерживать какую-то иную политику, кроме национальной британской. В России пролетариат подчинил себе государство. В Германии, где подобная попытка провалилась, как никогда популярна идея о том, что только объединенный пролетариат всех стран может осуществить этот натиск, который по отдельности пролетарии различных стран не могут исполнить, так как они слишком слабы.

Коммунизм извлек урок. Сейчас он насмехается над пацифизмом, который был для пролетариата распрекрасной идеей, с коей он начал революцию и благодаря которой в конце концов данную революцию

проиграл. Теперь коммунизм знает, что вечный мир на Земле надо завоевать. Он знает, что, отказавшись от оружия, он отрекается от победы. Он как минимум положил конец «празднословию о государстве», о государстве, о котором Энгельс говорил как о «не государстве», которое, по мнению Маркса, должно было «отмереть». Вместе с тем марксизм в течение 75 лет занимался болтовней. Энгельс, сам говоривший о пристрастности материалистического мышления, зря тратил время, пытаясь доказать, что государство не является «вечностью», а всего лишь «изделием общества», «выражением классовых противоречий», а потому при удобном случае предложил заменить понятие государства словом «коллектив». Он видел в нем «хорошее старое немецкое слово», которое весьма хорошо соответствовало французскому слову «коммуна». А в то же самое время Бебель намеревался превратить классовое государство в народное государство. Теперь эти праздные беседы, не закончившиеся и по сей день, кажутся привлекательными хотя бы потому, что отложены в сторону. Россия показала пример применения силы, которое может восприниматься только как проявление государства; впрочем, только время может показать, сможет ли данная властная конструкция стать государством. Немецкий коммунизм с его партийным сознанием прекрасно осознал политическое значение русского примера, он трансформировал традиционную государственность применительно к потребностям рабочего класса. Он срастил идею «рабочего правительства», которая виделась ему как проблема власти, с идеей о «государственной власти», от захвата которой силами пролетариата зависит решение (в коммунистическом духе) социальных проблем. Он, немецкий коммунизм, вероятно, еще не имеет ясного представления о пролетарской государственной власти, и уж вовсе не представляет, как она должна складываться в Германии. Он полагает, что она может находиться в руках определенной партии, а именно его собственной, а потому он думает, что вопрос «рабочего правительства» напрямую связан с «единым пролетарским фронтом». При этом немецкий коммунизм не хочет сориентироваться на местности. С упрямой непреклонностью он отвергает саму мысль о коалиции, вне зависимости от того, идет ли речь о пролетарско-националистической коалиции или же пролетарско-демократической. Более того, исходя из идей классовой борьбы, немецкий коммунизм отвергает государство и правительство, которые существуют во имя нации. Но в то же время он убежден в необходимости государства, из чего он выносит мысль о диктатуре как переходной форме современности. Именно диктатура должна в будущем вызвать «гармонию» как исполненное состояние человечества.

А еще в немецком коммунизме зреет третья трансформация. Изменение, которому он сопротивляется как партия, но который готовится

самими людьми: обращение сознания к национальности. Коммунизм противится этому, так как это равносильно отказу от интернациональных идей, на которых покоится мысль о мировой революции. Однако национальная проблема является слишком могущественной, чтобы от нее можно было отказаться на длительный срок. Последние события, страдания, которые мы выносим, враг, которого мы терпим в нашей стране, подталкивают пролетариат к осознанию того, что существуют не только угнетенные классы, но и угнетенные нации, а немецкий народ является самым угнетенным из них. Россия подает нам пример. Красный флаг — это русское знамя. С этим символом Советское государство вопреки Антанте и реакции смогло добиться национальной самостоятельности. Оно держится за него и благодаря ему. Даже учение, которое фашизм даровал европейскому пролетариату, не обошло стороной немецкий коммунизм, и не только для обороны он него, но и внутреннего осознания. Так, в немецком «Красном знамени»[12] высказывалось мнение, что «сильное национальное чувство», которое фашизм связал с «реакционным чувством», в коммунизме должно соединиться с «революционным чувством». Этот поворот нашел свое выражение не только как частное мнение, но как признание национального поворота, который присущ младокоммунистам, как признание национализма. Эти настроения ширятся, и даже Клара Цеткин в своей программной речи сделала уступку: действительно, пролетариат не имеет Отечества, но он должен завоевать его! Это созвучно нашим требованиям: пролетариат должен быть сопричастным судьбе нации. Партийный коммунист этого времени все еще наивно полагает, что речь идет о причастности к распределению материальных ценностей, на которые он предъявляет права. Младокоммунист предвидит, что говорится не о материальных (внешних) ценностях, а о внутренних, сопричастности которым надо добиваться на духовном уровне. Немец этого времени знает, что речь идет о сопричастности ко всем ценностям, которые были созданы немцами.

Даже мировая революция может быть воплощена с национальной точки зрения. Каждая нация имеет свою особую миссию. А потому революционная нация может выполнять свою революционную миссию лишь как национальное предназначение. Мы полагаем, что миссия немецкого народа состоит в том, чтобы осуществить мировую революцию во имя Европы. Но мы не верим, что претворение в жизнь мировой революции будет таким, как его представлял Маркс. Мы скорее верим в то воплощение мировой революции, чье приближение видел Ницше. Маркс и Ницше в этом вопросе являются противоположными полюсами. Маркс говорил о «юридической и

---

[12] «Красное знамя», «Роте Фане» — печатный орган Коммунистической партии Германии.

политической надстройке», которая поднималась над «совокупностью производственных отношений» и которую он хотел «свалить» и уничтожить. Ницше видел в «государстве и обществе фундамент». В этом чувствуется грандиозный взгляд великого человека, который мыслил не преходящими категориями, ориентировался не на партийные тенденции, а взирал на пространственную реальность и долгие взаимосвязи. Ницше, «рассказавший историю грядущих столетий», уверявший, «что наступит и что неизбежен приход нигилизма», отнюдь не уклонялся от пролетарской проблемы. Он даже находил временное «преобладание социального стяжательства понятным и полезным». Однако Ницше, который «взял слово» как одиночка, который «до самого конца прожил нигилизм в себе, за собой, под собой и вне себя», хотел установить «фундамент социального стяжательства», дабы создать базис, на котором, как он говорил, «своими задачами жил высший тип», на котором бы он «мог твердо стоять». Если Маркс мыслил о массах, то Ницше думал об индивидууме. Это было его романтикой. И было его реакционностью, реакционностью на высшем эстетическом уровне.

Катастрофа, которую мы пережили, и ее проблемы лежат по ту сторону и Маркса, и Ницше. Катастрофа обошла ветхий и слабый индивидуализм, являвший лишь мнимую силу решения проблем в либеральные времена, которые были отречением и в то же время переходными периодом. Будущее требует не проблематики, а характера.

Мы еще не видели человека, который бы во времена катастрофы утверждал, что был способен управлять ею. Между тем массы, миллионы, которые порождены ею, но являются «излишними» на этой земле, весьма рискуют, что будут без сострадания растоптаны той же катастрофой. Весьма возможно, что пролетариат, ширящийся как класс благодаря катастрофе, станет самой огромной ее жертвой.

Проблемой катастрофического порядка является вопрос сохранения исторической жизни в Европе. Для нас речь идет о немецкой жизни, что сделает из народа единую политическую нацию. Жизнь, которая охватывает нас всех, принадлежащих одной нации. Даже после мировой революции эта жизнь будет подчиняться всем тем же человеческим законам, что и до революции. Революция может изменить человека изнутри, но даже этот преображенный человек должен будет продолжить великую историческую жизнь. Во всяком случае, найти в ней свой закат или свой рассвет.

Проблемой катастрофической является вопрос связи жизни в общностях, которые после распада тут же восстанавливаются. Вопрос любой революции: как, когда и кто ее будет заканчивать? В качестве победителей, если таковые останутся в живых, будут выступать не классы, а те нации, которые при всех эти злополучных катаклизмах

сделают упор на народные ценности, а когда потрясения закончатся, вновь восстановят равновесие.

Проблема катастрофы консервативна по своей сути. И тут возникает один вопрос, который диктуют не партии, а сама судьба: после воссоединения нации должны ли мы повернуться назад или смотреть вперед?

РЕАКЦИОНЕР

Политику можно повернуть вспять,
историю — никогда.

I

Революционный человек опрометчиво считает, что мир будет навсегда управляться теми политическими принципами, согласно которым он его ниспроверг.

Реакционный человек стремится в диаметрально противоположном направлении и всерьез считает, что революцию можно стереть со страниц истории, как будто бы ее никогда и не было.

Революционер очень скоро натыкается на свои ошибки. В тот же день, когда он уничтожает существующие общественные формы, он сталкивается с необходимостью вдохнуть жизнь в новые формы. Он, который обычно не очень заботился о государстве, которое он критиковал как оппозиционер, должен сделать поразительное для него открытие, что политический мир, в который он вступил, базируется на законах, принципах и связях, кои просто-напросто он не может игнорировать. Он, который до этого момента был безалаберен, в первый раз ощущает ответственность, которая не позволяет ему заменить государство какой-то импровизацией. Он, который, возможно, полагал, что можно обходиться без упомянутых форм, вынужден радикальным образом пересматривать свои новаторские идеи и идти на компромисс. Чаяния миллионов людей, всего народа, который после тяжких потрясений жаждет вновь обрести спокойствие, заставляют его идти на уступки действительности. Итак, он отказывается от того, к чему стремилась революция. Революционер становится оппортунистом.

Реакционер, напротив, настаивает на собственной точке зрения. Он полагает, что мы должны обновлять только старые формы, чтобы в итоге все было так, «как было раньше». Он не склонен мириться с изменившимися общественными формами. Его характер склонен к половинчатости. Но в своей жизни он привык к целостности. Эта прямота определяет его политическое видение мира, причем, если бы у него в руках оказались политические средства поддержания власти,

то он бы позволил себе реорганизовать мир в соответствии со своими мечтами, уходящими в глубь истории. И он уверен, что весьма просто вновь упорядочить немецкий мир, подобно тому, как он прежде привел в порядок свои убеждения. Реакционер также является оппортунистом. Оппортунистом в высшей степени. Он слепо, упрямо, самозабвенно пребывал бы в старых условиях.

Реакционный человек признает только факт революции, но не признает ее саму. Однако не доказывает ли та энергия, с которой он требует реставрации, глубокое, непоколебимо правильное понимание положения вещей? Чувство, которое присуще ему от природы как консервативному человеку, которое он позаимствовал из устоявшихся традиций, которое имеет очевидное преимущество перед грубоестественной рассудительностью? Не являет ли он полную противоположность революционному человеку, представляющему собой предубежденного доктринера, который впервые с трудом начинает чувствовать и находить общественные связи?

Не является ли реакционер человеком, который прав хотя бы в силу того, что революция обнаружила свою ошибочность? Не политическую неверность, относительно которой мнения партий расходятся! Но историческую неправомочность, что в итоге становится очевидным для каждого.

Не будем спешить — мы должны различать консерватора и реакционера.

II

Реакционер, подобно революционеру, видит в революции только политический процесс.

Консервативный человек, напротив, видит в ней исторический процесс. Он видит в революции духовное движение, которое сопровождает ее или в котором она изначально зарождается. Он видит в ней духовное движение, даже если дух этот вызвал у него сомнения.

Народ мыслит суммой опытов, которые он ставил на других народах — или другие народы ставили на нем. Немцы поставили опыт революции над собственным же народом, сделав открытие, которого не хватало в его самопознании — собственное познание мира. Реакционный человек говорит: в этом жизненном опыте не было никакой необходимости. Консервативный человек придерживается других позиций, а потому говорит: опыт, приобретенный нами в политической сфере, мы должны отрицать вместе со всеми процессами, связанными с ним — но исторический опыт, мы должны принять, не столько ради себя, сколько ради осознания его последствий. Консерватор живет

осознанием вечности, которая охватывает всю человеческую жизнь. Он открыто смотрит из настоящего в будущее.

Он знает, что исторический мир, в коем мы живем, является миром, следующим определенным законам, которые всегда берут верх, но ищет восстановление этих законов не в формах, а в элементах — которые являются лишь выражением формы. Он считается с неизменными инстинктами людей, которые вновь и вновь возрождаются в народах. Он считается с неизменностью страстей и естественным правом, которые в любые времена подталкивали к власти: естественным отношением сильных и слабых, с превосходством, но в то же время с неуверенностью одиночки, пассивностью и требовательностью масс, с результатами, которые в историческом контексте были мужеством или изменой, предусмотрительностью или безрассудством, решимостью или безволием. Но он также знает, что положение дел зависит от обстоятельств, которые могут казаться нелепыми, но в то же время иметь значительные последствия, когда-то случайные, а когда-то весьма полезные. Он подразумевает, что смысл всех событий проявляется лишь в их последствиях, которые поначалу не смогут сказать, в каком направлении будет развиваться процесс и какие плоды он принесет. Но самые консервативные немцы после революции говорили самые неконсервативные слова: «Кто знает, может это и к лучшему». На эти последствия консервативный человек накладывает свою метаполитическую энергию. И он оберегает свою веру от непредсказуемости тем, что будущее предсказуемо: можно вычислить действия и революционеров, и реакционеров — разницы здесь нет никакой.

Реакционер — это некая дегенеративная форма консерватора. Реакционер — по своей сути рационалист. Он придерживается фактов. Он видит лишь непосредственные действия. Его не заботят их причины. В итоге он знает только о факте революции. Он не ведает о ее причинах. Он не способен увидеть их хотя бы потому, что сам является косвенной причиной революции — не как личность, а как тип. Он больше не в состоянии понять изнутри живую консервативную идею. Во времена, когда еще не было революции, на его месте должна была возникнуть консервативная идея. Он, сам того не подозревая, благодаря своему духовному манкированию, которое вело к политическим упущениям, опосредованно готовил революционный прорыв, которого он уже не мог предотвратить. Он все еще не понял эту революцию. Он даже не пережил ее. Он лишь отрекся от нее. В лучшем случае он говорит, что научился на ее примере. Но это лишь заученная фраза, а не слова, пропущенные сквозь себя. Он не нашел место в революции, так и стоит вне ее. Консервативный человек, напротив, понимает проблемы революции. У него было достаточно времени, чтобы непосредственно познакомиться с этими вопросами.

У него такое мировоззрение, что в него вписывается значение — или бессмысленность — революции. Таким образом, консервативный человек живет в некоторой революционной сопричастности, что, в отличие от реакционера, дает ему полное право не только поддержать революцию, но и выступить против нее.

Каждый народ творит собственную революцию по-своему, только ему свойственным образом. Политический народ осуществляет ее политическим способом, а неполитический народ — неполитическим. Как мы узнали, немецкий народ осуществил ее именно так. Но революции меняют народы. Никто не выходит из нее таким же, как и был ранее. Народы живут под ударом революции лишь одно мгновение — одно мгновение из вечности. Но в этом революционном вихре открываются пути, которые были раньше закрыты. А это куда важнее, чем новые позиции и перемешивание слоев, профессий, классов, которыми обычно вначале сопровождается революция. Куда важнее, что она вызывает перестановку сил. Он обрывает обыденность и вновь позволяет думать людям о необычном. Революция делает их носителями новых духовных установок, из которых может произрасти новая историческая эпоха.

Реакционный человек настолько же поверхностно воспринимает историю, насколько глубоко чувствует ее консерватор. Реакционер представляет себе мир таким, каким он был. Консерватор видит то, что будет всегда. Он испытал преходящее. И он зрит в вечность. То, что было, больше не повторится никогда. Но то, что есть в мире всегда, будет возвращаться в него вновь и вновь.

Реакционная политика отнюдь не является политикой как таковой. Консервативная политика — это великая политика. Ничтожной истории соответствует такая же политика. Подобная политика очень скоро забудется. Политика становится великой, если она сама создает историю — тогда ее не стереть из памяти.

Реакционер — это тот, кто перепутал одно с другим и захотел повернуть историю вспять.

III

Настоящее никогда не может быть полностью историей или полностью политикой. Оно неизменно является и тем и другим: переход, в котором эфемерная политика превращается в неизменную историю.

В современности даже сложно провести грань между революционными и реакционными элементами. Всеобщий оппортунизм способствует смешению противоположностей в неменьшей степени, чем политическая беспомощность, в которой мы живем, чем нерешительные и многозначные позиции партий, которые так и не могут умереть.

Левые, обожающие Просвещение, находят защитников своего демократизма в сегменте, который простирается вплоть до самого центра, где, казалось бы, можно было найти лишь верующих, только поборников нравственности и исповедников надвременной морали. При этом всем именно из центра прибыли сторонники «политики исполнения[13]», которые, мысля экономическими категориями, совсем как приверженцы материалистического мировоззрения, умудрялись как государственные деятели примирить это с верой в Бога и следованием традициям. А в вопросе о «виновности» Германии надо было, как они говорили, «положиться на них». Опять же имеются католики, которые чисты перед Отечеством, которому сохранили верность, — они выступают как крайние националисты. Есть социалисты, которые больше не доверяют Интернационалу, превратившись в патриотов. А также хотелось бы заметить, что коммунистами стала овладевать мысль о диктатуре, которая ранее была уделом милитаристских насильников. Таким образом, сегодня любой немец, состоящий в какой-либо политической партии, в зависимости от уровня надежд или разочарований, которые ему принесли мировая война и крушение Германии, зависит от других немцев, также состоящих в разных политических партиях.

У правых, как мы видим, была одна общая ошибка. Допустим на некоторое время, что консерваторы и реакционеры являются одними и теми же людьми. Но все же имеются признаки, что даже сейчас немцы в принципе делятся на две большие группы. С одной стороны, это реакционные признаки, которые присущи не только правым, но и всем, кто в большей степени в своей партийной деятельности уделяет внимание соглашательству, а не легитимности. Следы приверженцев подобной тактики можно найти во всех политических партиях и группировках. Эти реакционные признаки можно найти даже у левых. Среди многих демократов и революционеров можно найти испуганных и слабых людей; устрашенные будущим, они вздыхают в тишине: «Ах, если бы все могло бы быть снова так же, как это было прежде!» У них всех один отличительный признак: реакционером можно считать того, кто полагает, что жизнь, которую мы вели до 1914 года, была прекрасна, величественна и просто великолепна. Консерватор в этом вопросе не допускает никакого льстивого самообмана. Он мужественно признает, что все было отвратительным.

Только такое положение вещей было продиктовано отнюдь не теми причинами, которые оглашались оппозицией до 1914 года. Не потому, что империя работала с перебоями, за что, собственно, и подвергалась критике слева. И отнюдь не потому, что в ней отсутствовали вещи, которые сейчас принято называть завоеваниями революции: свобода во-

---

[13] Подразумевается исполнение мирных обязательств, в том числе выплат грабительских репараций.

леизъявления людей, избирательное право для женщин, советы для детей, черно-красно-желтое знамя, в которых выражается то ли мнимая важность, то ли действительная никчемность. Наша жизнь до 1941 года была отвратительной совсем по другой причине. И если мы сегодня решились говорить об этом, то мы должны сказать, что она крылась в повсеместном и необузданном дилетантстве, которое проникало во все общественные дела империи. Той самой империи, которая должна была являться формой, великой формой, присущей 70-миллионному народу, которым тогда мы являлись. Формой, которая в своем естестве должна была соответствовать нашему национальному проявлению, а не кичливым порождением, чьи тщеславие и помпезность были призваны скрыть то, что нация не была причастна к империи. Это была империя без формы. Она отказалась от консервативной формы, которая породила эту империю. Империя заменила ее империалистической формой, которую она полагала вполне оправданной. Она тянула за собой массу поверхностно понятых традиций, которые ей было тащить не по силам. А еще была не менее поверхностно понятая, но весьма акцентированная прогрессивность. Подобное странное смешение даже не вызывало ни малейших смущений. Напротив, эпоха Вильгельма II была преисполнена напыщенной самоуверенности. И эта напыщенная самоуверенность стала вывеской, шумной и неслыханной ранее рекламой, прокатившейся по всему миру, которая, по сути, прославляла бесформенность и аморфность.

Несомненно, эта реклама относилась к достижениям, к ценностям, к весьма развитым навыкам. Это были достижения в области техники, индустрии, крупного бизнеса, которые мы почерпнули у мировой экономики. Их деловитость имела собственный стиль. Именно в эту эпоху, когда из энергии народа, из взаимодействия на современных предприятиях предпринимателей и рабочего класса империя, чьей лучшей традицией было прусское наследие, приобрела свой новый стиль. Только милитаризм сохранил свой стиль. Возможно, несколько резкий и пестрый, по-солдатски громогласный, но в то же время усердный в труде.

И все же политика империи, опиравшаяся на этот милитаризм, была рассеянной и нерешительной, несостоятельной, робкой, без цели, которая могла бы выдержать четкую линию, которую проводил и завещал нам Бисмарк. Эта политика вопреки обвинениям диктовалась не ощущением власти, а чувством боязни, которая находила выражение в полумерах. Она определялась чувством раздраженного и ревнивого опасения, что под удар будет поставлена привычная и обыденная очевидность показного могущества. Она обуславливалась тщеславной самоуверенностью Вильгельма II, лелеявшего свой престиж, без которого он не видел сути империи.

Вполне возможно, что победа в мировой войне положила бы конец этой империи дилетантизма. Не исключено, что не полыхни столь неожиданно мировая война, то немецкая нация постепенно благодаря собственным силам обрела бы достойное положение в мире. Может быть, что проблема перенаселенности оказала бы влияние не только на социализм, но и на капитализм, воспитав его во внешнеполитическом духе, дав новое содержание нашей индустрии, торговле, экономической политике, построенной на обращении.

Возможно, что наши колонии положительно повлияли бы на метрополию, освободив нацию от мелкобуржуазных привычек, зарегулированного бюрократией и полицией уровня жизни, дав свободу действий всем решительным, предприимчивым и авантюрным элементам общества.

Нет никаких сомнений в том, что накануне имелись отчетливые признаки превращения наших немцев в светских людей, что угрожало тогда революцией, которая могла отбросить нас обратно к узкосемейным связям. Можно было бы спросить жителей Гамбурга, Бремена, Киля, была ли у них как у народа живая сопричастность империи; сопричастность, порожденная пониманием мира, на самом деле оставшегося лишь у немцев, проживавших за рубежом.

Но вместе с тем шли изменения в молодежи, которая вначале существовала параллельно империи, но затем погружалась в нее. Она постепенно проникала в самые глубины, которые позволили бы возродить духовное содержание, вновь приведшее к империи как общественной форме. Если бы у нас только было время, то за нами бы последовало поколение, которое уверенно и неуклонно привело к иному, более свободному и более достойному пониманию немецкости, нежели вильгельмовская самоуверенность, бытовавшая накануне 1914 года.

Внезапное, неожиданное начало скоротечно развивавшейся мировой войны неожиданно сделало нацию вновь сопричастной делам империи. Четыре года, следовавшие друг за другом, еще раз показали нам, что мы являемся народом, находящимся перед реальной угрозой. Но крушение 1918 года продемонстрировало, что мы оказались не готовыми к опасности. Война смогла извлечь на свет из народа его лучшие, его сильные, его истинные качества. Верность, готовность, самоотверженность, с которыми нация вступила в войну, отвага, сила, упорство, которые она демонстрировала на всех полях сражений, еще раз показали агрессивному миру, на что способен обороняющийся народ. Но крах показал нам, что у нации не было политического содержания. Лишь после тягот войны и последовавшим за ней переворотом наступило то, что мы ждали так долго — нация стала обретать свою политическую суть. Она приобрела ее поздно в виде ужасных

проверок — и никто не может предвидеть, обрела ли она свою политическую сущность слишком поздно или нет.

Консерватор признает взаимосвязь с судьбой, которой слишком много обусловлено и предопределено, чтобы просто наивно отказываться от нее. Реакционер полагает, что может изменить эту судьбу при помощи политики, придерживаясь все той же политики, которую он проводил в жизнь накануне войны и революции. Но тот же самый реакционер, который продолжает придерживаться ценностей, которые он исповедовал в сомнительное мирное время и во время крушения, а также во время, когда нация предавалась спокойствию или была унижена, оставался активистом. Он все обратил против себя: силы молодежи и рабочего класса; силы, которые все еще крылись в народе, которые жаждали творческого обновления.

IV

Революция является всего лишь промежуточным событием.

Маркс называл ее локомотивом истории. Но если мы хотим определить место революции в историческом процессе и остаться при этом приверженцами материалистической картины мира, то мы должны, наверное, называть революцию крушением истории: неимоверные несчастия, которыми платят ее жертвы, не способные узреть ее результатов. Банально, но революцию можно назвать случайной катастрофой.

Катастрофы напоминают нам о человеческой небрежности. Катастрофы продолжают нас провожать даже тогда, когда мы задолго до этого предвидели, что они произойдут. Они могут быть неизбежны в силу неполноценности и, напротив, совершенства чего-то. В любом случае они следуют жестокой логике стихийных сил, которые они выпускают на свободу. Никто не будет утверждать, что в области, где они свершаются, они преследуют правильную цель, а также дают нам реальную возможность воспользоваться их результатами.

Самое большее, что дают нам катастрофы — это то, что мы с ужасающей ясностью обращаем внимание на те недостатки, которые позволили разрушить наши привычки, нашу глупость и самонадеянность, уверенность в собственной правоте. И все это происходит бессмысленно, не во имя какой-то идеи, как кажется некоторым. Конечно, имеются катастрофы, которые провоцируются саботажниками и политическими мародерами, которые, как хотелось бы нам думать, лишь воспользовались удобным случаем. Но уже работу по наведению порядка революционер должен предоставить другому человеку, который знаком с жизнедеятельностью государства и экономики. Человеку, который, исходя из собственного опыта, мог бы вновь вдохнуть жизнь в сломанное, искореженное и искалеченное суще-

ствование, которое отныне является уже не революционным, а вновь консервативным. Жизнь, выведенная из состояния равновесия, вновь выравнивается. И с ней восстанавливается консервативный уклад, на котором базируется мир.

Сегодня мы находимся в консервативном протестном движении. В нем находится Россия. Германия размышляет над его проблемами. Европа, вздрагивая всем телом, чувствует эти процессы. Нет такой страны, над которой бы не парили духи революции. Нет таких стран, которые бы не были повергнуты мировой войной в пучину страданий, которые бы не испытали на себе ее экономическое и мировоззренческое воздействие. Повсюду имеются люди, которые видят, как новая историческая эпоха взрывает реальность, которая призвана для их народа или же всего «человечества», как говорят истово верующие в разум, стремящиеся быть причастными к этой эпохе. Но как раз те народы, которые накануне прорыва революции смогли уберечься от распада, с двойным рвением стремятся сохранить присущие им формы и связи.

В странах-победительницах консервативное протестное движение вдохновлено желанием сохранить политические моменты, которых придерживался народ и государство, те традиции, которые позволили не только сохранить прошлое нации, но и выиграть в мировой войне. Здесь консервативное движение усилено желанием увековечить победу в мировой войне, дабы сохранить навязанный мир и вовсю пользоваться его плодами. Здесь консервативное протестное движение является реакционным.

В странах, проигравших войну, консервативное протестное движение, напротив, направлено вперед, туда, где из низвергнутого мира возникают новые идеи, которые пока являются сами по себе революционными, но будут неосуществимыми. Здесь консервативное протестное движение обращено от вечности к настоящему, но в первую очередь оно ориентировано, чтобы достичь актуальной цели, а именно расторжения мира, который намереваются увековечить в современности. Здесь консервативное движение не является законченным, но только начинающимся, одновременно являясь и консервативным и революционным. Именно поэтому оно не вдохновлено волей к революции. Напротив, оно должно дать возможность объясниться революционерам, которые себя уже объявили отчасти банкротами. Одно уже сделано русскими революционерами. Другое должны совершить немецкие революционеры.

Россия, откуда произошли революционные потрясения, пошла первой на консервативные уступки и совершенно по-иному рассмотрела утопические требования свой доктрины. Первой уступкой был отказ от пацифистской идеологии. Появление Красной Армии со-

крушило один из основополагающих пунктов рационалистической программы, с которой поначалу выступали большевики. Они были вынуждены считаться с действительностью, а также были вынуждены признать, что правда не может победить сама по себе, даже если это революционная законность, которую они используют в собственных целях. Бессильному праву они предпочли бесправную власть, они отдали предпочтение военно-политической государственной власти, а не социально-пацифистским идеям. Они закрыли эпоху мирного блаженства. Не раздумывая, спустились на землю, во имя самосохранения прибегнув ко всем силовым средствам, которые они смогли найти, дабы суметь противостоять внешним и внутренним врагам. Второй уступкой стала производственная политика. Так Советское государство называет свою внешнюю политику, которая была вызвана явным бессилием, дефицитом товаров и потребностью в кредитах, потребностями, которые повторно испытала на себе голая теория. Наряду с внешнеполитическими компромиссами экономического характера были сделаны и внутриполитические уступки, согласно которым в России вновь была разрешена свободная торговля[14]. Рынки вновь стали процветать, вновь заработали известные ярмарки. Это примирение с международным капитализмом, без которого нельзя обойтись, а также, что еще важнее, это возвращение к народно-психологическим устоям, консервативным традициям татарско-великорусской купеческой природы, которая никогда не будет в состоянии отказаться от торговли. Это примирение сложно далось большевизму, так как оно вызвано к жизни коммунистическими принципами и подразумевает признание того, что марксистский эксперимент не состоялся. Но в то же время эти компромиссы направлены на сохранение Советского государства. Ни одна из трех составляющих основ уваровской формы русской народности: православие, самодержавие, народность — не была уничтожена. Напротив, имеется Русская Церковь, которая после слома революцией бюрократии Святейшего Синода получила возможность укорениться в русской жизни, как это было в допетровские времена. Автократия восстановлена большевизмом на совершенно русском и феодально-московском уровне. Она вновь господствует в Кремле, возвышающемся, как и прежде, над столицей и гигантской империей. Народность, нация — это такая же революционно-русская самоочевидность, каковой она была и в царские времена. Нация проявляет все те же самые империалистические устремления. Оказывается, народность переживет любые трансформации государства, а из революционной государственности народность строит собственные формы.

[14] Мёллер ван ден Брук подразумевает новую экономическую политику (НЭП).

Консервативное протестное движение в Германии, по-видимому, во многом случайно, неуравновешенно, безвольно. Без цели оно не имеет ясного представления, как воспрепятствовать реакционным порывам, которые неизбежно сопровождают его. Как оказалось, оно не имеет четкой направленности, кроме самого общего пути, по которому ощупью идет нация, пытаясь освободиться от невозможных условий, навязанных Версальским договором, стремясь выбраться из страшной пространственной стесненности, в которую вогнали Германию наши противники по мировой войне. Внутренняя политика повсюду переплелась с внешней. Когда отдельные националисты, пытаясь освободить страну, предпринимали акты отчаяния — будь то «капповский путч» или убийство Ратенау — то они ничего существенно не меняли, достигая совершенно иного результата, нежели они предполагали.

Но если посмотреть поближе, то все это имеет в большей степени отношение к последствиям революции, нежели к консервативному протестному движению. В принципе это истошные судороги, в которых помирает реакция. Когда они пройдут, то консервативное протестное движение в Германии приобретет гораздо больше. В то время как в России консервативное движение воплощено в государстве, в Германии оно вынуждено находиться в оппозиции. В то время как в России консервативное движение осуществляется самим государством, в Германии ведутся бурные дискуссии, которые с политической точки зрения значат много больше, чем просто пребывание в оппозиции. Они являются чем-то большим, чем государственническая, правильнее даже будет сказать, национальная оппозиция, которая направлена против революции, так как та, в отличие от русской, не была немецкой революцией. Революция в России была глубоко национальной, в то время как в Германии — западнической, пацифистской и интернациональной. В глубине своей консервативное протестное движение является самосознанием нации. Консервативное движение — это дискуссия со всеми немецкими проблемами: с республикой и монархией, с централизмом и федерализмом, с социализмом и капитализмом, в конце концов, даже с самим понятием консерватизма. Консервативное протестное движение не хочет возвращения в прошлое. Оно — познание, которое следует после самообмана. Консервативное протестное движение ищет действительность, в которой можно было бы собрать нацию. Народ видит, что его обманули, будто бы спровоцированный революцией мир принесет свободу, справедливость и благополучие. Теперь нация начинает размышлять над своей судьбой. И проявлением этих глубоких размышлений как раз и является консервативное протестное движение. Это движение выходит за пределы политических партий. Оно является тем явлением, которое можно было бы охарактеризовать таким политическим термином, как

«надпартийное». Оно распространяется на все политические партии, так как в Германии нет такой партии, у которой не было бы консервативного крыла, воплощенного не то чтобы в массе избирателей, но хотя бы в ярких представителях. Консервативных идей придерживаются все: оппортунисты, либералы, демократы, представители конфессий и даже революционеры. Это первое устремление человека. Подобно лозунгу мы называем его «уклоном вправо». Он указывает направление, в котором после непредвиденных перемен следуют все, отдающие себе отчет в том, что жизнь состоит не в ее разрушении, а в созидании, что потоки революционной бури в конце концов втекают в консервативное русло.

Консервативное протестное движение не ищет возмещения и восстановления. Оно ставит идею нации выше всяких идей, в том числе монархической. Консервативное движение не является реакцией и стремится к реставрации, которая хотя бы по внешнеполитическим причинам была катастрофическим явлением. Эпоха Вильгельма II не касалась нации. Типажи из кайзеровских времен продолжат жить в новых немецких республиканцах, в послереволюционном парламентаризме рейхстага, который в своем бессилии настолько же пронырлив и самодоволен, как постбисмарковский империализм, пребывающий в зените своей славы. Революция обнажила все противоречия, все контрасты, все слабые места нации. В чем должна проявиться консервативная идея, дабы вновь добиться национального единства? В прусской идее? Или в идее федерализма? Или в централизме? Если так, то в централизме бисмарковского образца? Или социалистическом централизме?

С духовной и политической точек зрения у нас есть все эти возможности. Нет только немецкого республиканизма, который обладал традициями. В Германии он ни к чему не привязан. Немецкая республика не имеет корней. Германия никогда не была республикой, а все республиканские попытки в ее истории оставались лишь жалкими нововведениями. Если же Германия действительно должна была вступить в республиканскую эпоху, что, как мы видели и обозначали ранее, было вполне допустимым, то тогда в немцах в качестве национального самосознания должен был воспитываться республиканский образ мышления. Несмотря на то что революционные республиканцы при каждом удобном случае заявляли о национализации демократии, а некоторые даже честно пытались быть «хорошими немцами», но они, как и прежде, далеки от этого. Эти революционные демократы не дали нации ничего, на что могли бы сослаться как на свою заслугу. Они не сделали ничего даже условно положительного и символического, чтобы получить нашу благодарность.

Оппозиционность, в которой консервативное протестное движение пребывает с момента революции, направлена против республики, не потому, что та является республикой, а так как политика ее правительства является политикой исполнения Версальского договора, то есть можно сказать, что она ведет к полнейшему развалу империи, закату нации и разложению людей. Из мусора революции в народе, несмотря на все его противоречия, вопреки всем ландшафтам, племенам и классам проснулась воля к империи, за которую держался и будет держаться немецкий народ. Эта приверженность крепче, чем какие-либо партийно-политические воззрения. Если хотите, то идея об империи, которую республика как хранительница черно-красно-золотой печати намеревается использовать в своих целях, отражается, имея обратное действие на консервативной идее.

Консервативное протестное движение в Европе отличается от России и Германии прежде всего тем, что соответствующие европейские державы обладают полной свободой международных действий, а самое большее, с чем им приходится мириться, так это внутриполитические неудобства. Повсеместно народы стремятся вернуть себе цель, предназначенную историей, стремятся сохранить традиции и восстановить прежние связи. Консервативное протестное движение направлено против интернациональной мировой революции, против предполагаемого изживания государств и распадения наций.

В Италии, стране, откуда проистекает современный национализм и стремление к единству, стране, национальная идея которой была поставлена выше любых идеалов, фашизм оказался окрашенным в цвета ирредентизма[15], что предопределило его отношения с другими национальностями. Но именно это может показать непосредственную практику обуздания военизированным правительством экономического радикализма. Практику с немногими, но риторически сильными, скорее в большей мере римскими, и даже макиавеллевскими максимами, которые претворяются в жизнь террористическими методами, но во главе всего стоит государственная дисциплина.

Англия, которая в своей истории искусно имитировала противостояние жесткого консерватизма и испытанного либерализма, предпринимает жалкую попытку продолжить свою старую челночную политику, дабы сдержать мировой кризис, который угрожает мировой британской империи. Английский рабочий класс, наверное, окажется

---

[15] Ирредентизм (от итальянского *irredento* — неосвобожденный), политическое и общественное движение в Италии в конце XIX — начале XX веков за присоединение к Италии пограничных земель Австро-Венгрии с итальянским населением — Триеста, Трентино и др. Вначале ирредентизм был представлен демократической оппозицией, в XX веке стал использоваться для оправдания широких территориальных притязаний на Балканах и в Адриатике.



эгоистичным (что в английском понимании является синонимом консервативного), чтобы и далее поддерживать данную политику.

Франция не имеет больше никакой идеи, конечно, кроме той, которую когда-то она почерпнула из заключенного Версальского мирного договора — утверждения любыми военными средствами своего доминирующего положения на Европейском континенте. Во имя сохранения власти французы цепляются и за параграфы договора, и за пулеметы. Держась за букву закона, когда-то революционный народ оказался подчиненным реакционной идее. В конце концов у французов оказался самый сомнительный консерватизм. Этот консерватизм насаждается в мелких, безыдейных, лишенных глубоких традиций нациях, которые возникли в Европе на обломках российской и австрийской империй, выполняя теперь роль французских военных марионеток.

Таким образом, консерватизм, равно как и революционность, сегодня существуют во всем мире. Народы лепят из них то, что соответствует их интересам. Германия обращена в страну идей. Так говорят, когда хотят вписать свой народ в список умерших наций. Но это вызовет достойную месть: политическую месть консервативно-революционной идеи как единственного фактора, который может обеспечить непрерывность надломленной смутными временами истории и охранять ее как от хаоса, так и от реакции.

Германия вновь становится страной сосредоточия внимания, которая находится в центре всех политических, социально-экономических и духовных проблем. Все они указывают на Германию, которая может заявить ожесточаемому миру, в котором консерватизм и революционность борются друг с другом: спасти мир можно, если только он хочет спастись, если вообще заслуживает спасения. Но на этот раз идея не будет довольствоваться тем, что проблемы будут приведены в философскую систему, в консервативно-революционную систему, которая будет жить только в немецких книгах, а остальной мир будет извлекать из них пользу.

Немецкая нация получила такой тяжелый урок, какого не было еще ни у одного народа. Воистину этот горький опыт ведет не к успокоению, а озлоблению сознания, к ожесточенным и холодным чувствам, которые толкают к действию. В Германии революционные и консервативные идеи соприкасаются, пересекаются, взаимно проникают друг в друга. В Германии пролетарские классовые идеи все еще проникают в массы, позволяя им надеяться на Интернационал. Но в Германии консервативное протестное движение вздымается и как идея надвременного сохранения, и как вновь назревающая революция. Для этих двух идей не нашлось бы места на земле, и осталась бы только одна идея, которая уничтожила другую, если бы консерваторы

не противопоставили революционной одержимости умственное превосходство. Консервативно мыслящим людям хватило политического самообладания, дабы признать, что при соответствующих предпосылках можно достигнуть консервативных целей даже революционными методами. В то время как революция лишь вынуждена непроизвольно переходить в консерватизм, консерватизм воспринимает революцию непосредственно, чтобы через нее (и благодаря ей) сохранить жизнь: жизнь в Европе, жизнь в Германии. У сраженных народов консервативное протестное движение не может иметь другого смысла, кроме как признание истины: даже после жутких потрясений возможно продолжение жизни. Революционер запоздало узнает, что имеется другая жизнь, не та, которая рисовалась его революционными доктринами. Он узнает, что это единственно возможная жизнь, на которой базируются условия жизни на земле, люди и народы, что ее природа всегда будет консервативной.

Народы сами хотят этой консервативности. А если не получают ее, то предпочитают довольствоваться эрзацем из демократической конъюнктуры и оппортунизма. Однако эта подмена лишь на время. Этот самообман достаточно слаб и сомнителен. Это точно такой же эрзац, как и реакционность, которая воспринимает любые проблемы поверхностно и дает иллюзию их преодоления, на самом деле не решая их. Как одна иллюзия, так и другая могут погубить народ. Но консервативность, присущая народу, всегда означает утверждение в мире. Это политическое искусство утверждать народ как нацию. Утверждать в зависимости от международного положения, в котором находится эта нация.

Сейчас часто сталкиваешься с повсеместным недоразумением, когда «консервативное» путают с «реакционным», не видя между этими понятиями больших противоречий. Но консерватор должен выдвинуться вперед, чтобы все поняли, как он выглядит.

Прежде всего, он должен ответить (и чем быстрее, тем лучше) на вопрос:

Что является консервативным?

V

Немецкий метафизик говорил: «Консервативной для меня является способность все больше и больше откапывать в нас то, что является вечным».

Это отнюдь не поверхностное мнение политизированных личностей: не партийно-политическое суждение, которое демонстрирует в прессе свои принципы, выбирает в парламентах хитрую тактику, в кабинетах идет на выгодные компромиссы. Но в то же время мы не

намереваемся вести речь только о поверхностных воззрениях улиц, демонстраций, акций протеста с их традиционной демагогией.

Путаница в политических понятиях является всего лишь выражением беспорядка в нашей жизни. Мы путаем демократию с демагогией, аристократию с олигархией, федерализм с партикуляризмом, единство с централизмом, свободу с либерализмом, «благоразумие» с рассудительностью, монархию с суверенным руководством, нацию с массами. Схожим образом мы путаем консервативную идею с ее выродившейся политической формой. Мы путаем консерватизм с реакцией. Этому заблуждению более ста лет. Это заблуждение существует с тех времен, когда консерватизм сам откликнулся на собственный же призыв стать обскурантистским движением, а европейские государственные деятели стали высказывать от его имени идеи, которые стражи порядка тут же деформировали. Они превратили консерватизм в карикатурного жандарма, казака с нагайкой, в полицейского, который приходит для того, чтобы взыскать с человека его гражданский долг. Эта реакционность повсюду использовала силу, чтобы подменить явно не достававшую ей духовность. Так происходило в Австрии, когда стареющая империя стала блеклой идеей, цветом и морщинами меттерниховского лика, но все равно стремилась сохранить свой престиж, на который не имела никакого права. Так происходило во Франции времен Реставрации, когда у Полиньяка была лишь одна политическая забота — как бы искоренить все новореволюционные устремления. Не важно, подразумеваем ли мы секту Сен-Симона, которая из утопии создала религию, а ее адепты устраивали в латинском квартале свои ребяческие богослужения, или же имеем в виду более опасные «реформистские банкеты», которые проложили путь на баррикады. В России это делало Третье Отделение и антинигилистская бюрократия, которая, ссылая студентов в Сибирь, возводила их в ранг мучеников. Вероятно, то же самое, хотя и в меньшей степени, можно было наблюдать в Пруссии, которая как реакционное государство оставалась консервативно организованным построением. Но ни до, ни после потрясающего года она не заслужила репутации самого ужасного порождения реакции.

Консервативная идея базируется на власти, а не на силе. Обыкновение путать силу и власть в конце концов приводит к невольной привычке не делать никакого различия между консерватизмом и реакцией. Силу применяют реакционеры, ее используют революционеры. В этом они находят точку соприкосновения. Реакционеры нуждаются в силе и злоупотребляют ей как единственным средством сохранения власти, когда их банальная мудрость подходит к концу. Революционеры стремятся захватить власть, которая для них является силой хотя бы потому, что они не понимают, как ее применить. Их власть является

узурпацией, незаконным притязанием. Консерватизм же, напротив, стремится получить власть; власть, которая достается ему не откуда-то извне, а приходит изнутри. Эта власть выше людей, народов, сословий, привычек и общественных учреждений, из коих она создает фундамент консолидирующей идеи, которая передается по сверхличностному праву и обладает надвременным вечным значением.

Эта власть могла бы быть чисто духовным служением, если бы она не была вынуждена считаться с человеческим несовершенством. Только опыт научил консерватизм политическому общению с людьми и народами. Он сохранял сословия, обычаи, общественные учреждения, дабы власть была превыше их. Консерватизм отдает себе отчет о сроке существования вещей. Ибо он закон, который управляет миром, игнорируя скоротечные изменения. Реакционная идея также признает этот закон. Однако она превращает его в обыкновение, которому соответствуют внешние формы. Она жаждет, чтобы они никогда не кончались. Революционные идеи вообще не обращают внимания на подобные вещи. В качестве мирового принципа они признают мнимый закон катастрофы. Консерватизм знает, что имеются вещи, которые всегда останутся таковыми же. Это человеческие дела: духовность, половое влечение, экономические и государственные вопросы. Величайшими фактами в истории человечества остаются любовь, ненависть, голод, которые делают людей изобретательными, манящий риск, предприимчивость, открытия, столкновения с другими людьми и народами, торговля и конкуренция, воля, честолюбие, инстинкт власти. Над всеми этим преходящими переменами царит надвременное постоянство, которое включает их в себя, подобно тому, как пространство включает в себя время.

Саму консервативную идею можно понять только через пространство. Пространство стоит выше всего. Время предполагает наличие пространства. Лишь в пространстве время начинает свой ход. И было бы нелепо представлять, что, наоборот, время было отправной точкой пространства. Пространство самодостаточно. Оно является божественным явлением. Время же, наоборот, является подначальным. Оно земное, оно человеческое, даже слишком человеческое. Консерватизм является совершенной идей в политическом пространстве. Мы всегда можем сохранить то, что является пространственным, но никогда то, что является временным. Вещи изначально и навсегда возникают в пространстве. Во времени эти вещи лишь развиваются, становясь преходящими и мимолетными. Пространство «остается». Время «убегает». И только в пространстве, где возможно начало вещей, мыслимо повторное воссоединение, которое гарантирует логику развития событий. Напротив, во времени мы можем представлять себе «прогресс», который как временное явление никогда не рассчитан надолго,



скорее уж он обрывается катастрофами, крушениями, катаклизмами и потрясениями, после которых вновь остается только пространство. В этом пространстве вновь возникают вещи. Во времени они истлевают. И только тогда, когда время поднимается до уровня пространства, когда оно не будет «надрываться», но через себя и благодаря ценностям, которое оно создает, увидит, что они величественнее, чем оно само, время перейдет в пережившее их пространство. В пространстве, включающем в себя проходящее время, можно добиться того, что мы привыкли называть человеческим бессмертием.

Консервативная идея как политическое явление стремится обеспечить условия для развития и рост определенных ценностей. Это совпадает с тем, что консерватизм ориентирован прежде всего на государство, на твердую государственность, которая гарантирует эти ценности. Именно поэтому консерватизм жестко противопоставлен либеральным идеям, которые «с пользой» применяют время. Впредь можно согласиться с тем, что консервативная идея понимает историю этого «человечества», которая всегда воплощается только в народах и их политических действиях как событие в одинаковой степени и временное, и пространственное. Оно постижимо лишь при помощи непоколебимых законов пространства. Если же история однажды прерывается революционными катаклизмами, то политические пространства вновь и вновь воспроизводят ее. Чтобы что-то со временем изменилось в истории народа, надо желать, чтобы это произошло. Однако нечто неизменное, некая константа будет всегда весомее и сильнее, нежели переменные, которые всегда состоят в том, что что-то убавляется или прибавляется. Неизменное — это предпосылка всех перемен. Вечно происходит так, что перемены по истечении некоторого времени принимают свой прежний неизменный вид. Консервативная идея перед лицом пространства как повелителя мира пытается дать ответ на вопрос: что же такое жизнь? Она стремится обнаружить условия, при которых люди могут жить в определенных обстоятельствах. Жить не только сегодня и только завтра, но всегда, а стало быть, и сегодня, и завтра. Попытка сохранения этой взаимосвязи, а также, пока позволяют политические условия, следование в данном русле политической жизни, в которой, собственно, и создается эта взаимосвязь, приводит со временем к сакрализации форм. Они могут восприниматься как власть, кою консерватор воспринимает как ответственность во имя сохранения жизни.

Консерватизм сам жаждет, чтобы его воспринимали именно как «сохранение». Длительность и взаимосвязь являются столпами, на которых покоится данный собор. Сакральность и ответственность — священнослужители человечества. Консерватизм воплощает власть, которой он обязан. И эта взаимосвязь — это тайна его власти. Кон-

серватизм нуждается в неприкосновенных персонах, символах и традиции, в которых он воплощает свое право на власть. Для этого консерватизм нуждается в признании не просто одного поколения, а длительной череды поколений, которые изведали на себе его постоянство, которые были хранимы и выросли под сенью этой власти. Подобными величинами была средневековая имперская идея и католическая церковь. Любая укоренившаяся, поднявшаяся и познанная государственная идея — это идея власти, которая оберегает условия существования народа. Там же, где имелась действительная демократия, она была консервативным воплощением воли нации по отстаиванию собственных прав. В каждом отдельном случае подобная демократия принимала формы, которые соответствовали данном народу. Хотелось бы верить, что никакая форма государственного правления не могла быть консервативнее демократии. Однако понятие «демократии» нередко фальсифицируется. Воистину, все империи — светские и духовные — сохранялись посредством того, что они оберегали связь с народом, что они оставались близкими народу, во имя которого они существовали, а потому, являясь национальным проявлением, оставались народными.

Однако, когда демократия стала либеральной, она обезобразилась. Либерализм вырвал человека из всех общественных связей. Он превратил государство в структуру по выражению интересов, поставив индивидуалистическое общество на служение правящим кликам. Либеральная идея, растворившая консервативное мышление, занялась его разложением изнутри. Либерализм отверг принцип сохранения, на котором базируется консерватизм. Это привело к революции, а затем к изменению узурпаторами традиционной власти. Конечно, эта власть снова стала «консервативной», но на деле наверху оказались оппортунисты, желавшие лишь сохранить собственное господство. Но даже в данном случае консерватизм сохранил свою мировоззренческую основу. Мир пребывает в бесконечном движении. Сохранение и движение не исключают друг друга, но блокируют. И то, что носится над миром, является не разрушительной, но охранительной силой. Революционность лишь провоцирует рост либерализма, что закончится его полным крахом и гибелью.

Мы видели, что революционер не признает сохранения; он признает только волнения, которые он ошибочно полагает движением. Когда он нападает на консерватизм, он путает постоянство с застоем: цель его нападок не консерватор, а реакционер. Все революции — это пустой шум, признаки волнения, но отнюдь не путь, предложенный Творцом, не следование Его указаниям, не подчинение Его воле. Мы полагаем, что именно люди сохраняют мир. Но если мир был потрясен, то он сам тотчас все улаживает при помощи собственных же сил:

он сам себя возвращает в состояние равновесия. Вся революционность может двигаться только в этом направлении, в конце которого путь ведет к высвобождению консервативного человека, если только резкая смена курса не приведет к наступлению реакции, которая вызвала и произвела на свет революцию. Революционер путает потрясения с движением. А само движение он путает с «прогрессом». Он полагает, что движение является эволюционным, способным к развитию по мере того, как повышается качество произведенных им ценностей. Он верит, что оно постепенно, пошагово, понемногу приведет к совершенству человечества, что является для революционера не просто желаемым, а вполне осуществимым, достижимым, весьма определенным. Идеи консервативного человека, напротив, никогда не являются утопическими — они обращены к действительности. Он стремится утвердить человека в жизни, о которой консерватор знает, что это катастрофическая жизнь.

Политические идеи консерватора предполагают твердое убеждение, восприняв которое, человек продолжает свободно исповедовать его даже в самых сложных условиях. И это как раз является консерватизмом. Не только в философском, но в личном и политическом планах. Иметь принципы, не отказываться от них, придерживаться их до самого конца, следовать им — это вопрос характера.

Принципы либерала всегда относительны. Если общая конъюнктура и соображения по извлечению выгоды позволяют, то он в тот же момент готов отречься от своих прошлых принципов и воспринять иную точку зрения. И в этом состоит либеральный лозунг, позволяющий оправдывать свой оппортунизм.

Реакционный человек имеет абсолютную точку зрения, которая приводит к его окостенению. Характер превращается в упрямство, жизнь, подобно государству, замирает. Она замирает в нем, она замирает вокруг него.

Революционер придерживается хаотичных принципов, которые ведут его сквозь бурю и увлекают в небытие. Революционный человек не имеет характера, у него — только темперамент, который позволяет ему шарахаться из кровавого неистовства санкюлотов в ледяную неприступность циника.

Консервативный человек придерживается органичной точки зрения. Консервативное мышление — это Божественная идея, что вручена творческим людям, дабы те продолжали дело Творца на Земле. Консерватизм — это политическая идея, которая касается общежития народов на Земле.

Из этого консерватизма вещей возникло то Вечное, о котором говорили немецкие метафизики. Если мы оглянемся на историю, то обнаружим это Вечное повсюду, где великие люди формировали свой

характер, передав нам великие ценности. Все великие люди были консерваторами и, подобно Ницше, «хотели быть правыми на века, а не на сегодняшний и завтрашний миг». Консерватизм — это макрокосмическое мышление, которое приобщает себе микрокосм, а как политическая идея является гарантией сохранения жизни. Консерватизм не верит в «прогресс». Он скорее полагает, что «история» состоит из гигантских промежутков, которые вздымаются, а затем вновь исчезают. Консерватизм ищет то единственное, что под силу людям — придать этому промежутку продолжительность. Можно добавить, что органические принципы, которых придерживается консервативный человек, приводят государственную идею к взаимосвязи с природным мышлением, которое также базируется не на развитии и «прогрессе», а на происхождении и милости.

Реакционер ничего не создает. Революционер только разрушает, хотя в лучшем случае он может случайно, сам того не подозревая, создать новое пространство. Консервативный человек творит из вечного пространства. Он придает форму явлениям, которые могут существовать в этом пространстве, устанавливать связи, которые неотъемлемы от этого мира.

Консерватизм — это познание фундаментального консервативного принципа, на котором покоится мир, и сил, которые можно черпать из него.

VI

Политика — это сцена времени. Она — режиссура истории. Она — титанический механизм, который приводится в движение рычагами людской глупости или благоразумия.

Однако история — это действо, которое играется на этой сцене. Сыграна трагикомедия империи Вильгельма II, которая закончилась как драма. Действо закончилось, а реакционер так и продолжает стоять на опустевшей сцене. Он все еще верит в то, что занавес упал на самую лучшую в мире империю. И он не знает никакого другого рецепта, кроме как попытаться еще раз посмотреть этот шумный спектакль.

Реакционер является внутренней угрозой. Должно быть, он знает, что представляет опасность для парламентского государства. Пожалуй, в годы, которые остались позади нас, он не мог представлять серьезной угрозы для государства хотя бы потому, что в Германии не имелось основательного государства. Однако реакционер представляет угрозу для нации. Он не движется в направлении, ведущем к национальному предназначению. Он стоит поперек этого движения и не испытывает внутреннего единства с национальной волей и национальным подъемом. Он не в состоянии ощутить непредвиденные факторы,

которые Бисмарк, коего реакционер называет своим учителем, заблаговременно предчувствовал, считая судьбой.

Реакционер — это тот, кто играет с судьбой, полагая, что может изменить ее мановением руки. Он не может ждать, не может готовиться. Он хочет выждать удобного момента, чтобы добиться успеха. Он хотел бы помочь, но вновь и вновь сталкивается с тем, что он только вредит. Его политика является вторичным дилетантизмом. Он не знает психологии, не понимает людей, а потому беспомощен перед каждым наушником, который льстит его самолюбию, но на самом деле играет на его слабостях. Реакционер недооценивает людей и не видит сути проблем. Он не знает, что такое пресса, и неправильно понимает смысл пропаганды, которой уделяет большое внимание, но в силу своей неуклюжести он все портит и достигает своими действиями полностью обратного эффекта. Он не в состоянии почувствовать наступление новой ситуации. Он не может вовремя поменять тактику, что требуется в новой ситуации. Он попадает впросак в одном и непременно обмишуривается в другом. Его спонтанность — только лишь фикция, являющаяся скорее выражением поспешности и горячности, нежели проявлением сильной воли. При его рациональном рассудке он полностью лишен политического глазомера и интеллектуального фантазирования. Реакционер является человеком настроения, который не в состоянии нести бремя ответственности, которое берет на себя консерватор. Реакционер настолько поверхностен, что считает легкими сложные задачи. Очень сложные. Неимоверно сложные задачи.

Почти сразу же после 9 ноября реакционер стал замышлять реставрацию. В течение нескольких лет он мечтал об освободительной борьбе, которая для него была, само собой разумеется, простым и смелым поступком. Но реставрацию он представлял себе как уверенное возвращение к уже пройденным этапам. А саму освободительную борьбу мысли на основании имеющихся в его распоряжении исторических образцов. Он воображал ее так, как немецкая нация уже была однажды высвобождена. Он полагал, что можно было вновь освободиться от оков таким же способом! Он мыслил ее по образцу 1813 года, представляя себе Шилля, Блюхера и систему ускоренного военного обучения. Не исключено, что он вдохновлялся примером Фихте, Теодора Кернера и королевы Луизы. Они казались ему героями и блестящими гениями, имена которых должны быть с нами, в чьем духовном огне мы нуждаемся. Однако нам не суждено втиснуться в эти исторические наряды. Окунаясь в исторические воспоминания, реакционер мыслит себе освободительную войну так, что она, с одной стороны, должна вестись против внешнего заклятого врага, а с другой стороны — против пролетариата. Реакционер одним махом хочет

расправиться с обоими нарушителями спокойствия, которые мешают ему жить так, как он жил прежде, в «старые, добрые времена». Буйная фантазия реакционера приводит к тому, что он отворачивается от внутренних дел и обращается к делам внешнеполитическим. Мы помним, как он проявлял готовность к действиям, желая заполучить в свои руки власть. Но в итоге он стал ландскнехтом Антанты, который жаждал уничтожить большевистскую Россию. Но борьба против России автоматически предполагала гражданскую войну в Германии. А в условиях гражданской войны и речи не могло быть об освобождении немецкого народа! Реакционер был слишком недалеким, дабы понять, что нашим единственным шансом на спасение было создание единого фронта народов Востока против народов Запада. Народов социализма против народов либерализма. Континентальной Европы против африканизированной Франции.

Реакционер — это неполитический тип. Дух оставил его. В нем даже не сидит демон, который нашептывает творящим историю государственным мужам, как постигать суть вещей. Реакционер не видит взаимосвязи вещей. Он полагает, что настолько тесно связан с нашей национальной историей, что вправе вновь потребовать себе привилегированного положения. Но реакционер не в состоянии увидеть современное ему время, понять связь между мировой войной и крушением режима. Он в состоянии лишь трактовать все события с национальной точки зрения, противопоставляя ее социальным позициям.

Реакционер находится где-то между нацией и пролетариатом. Именно он как никто другой препятствует тому, чтобы сомкнулись крайне правый и крайне левый политические фланги. Он с присущими его классу горькими чувствами может рассуждать о несправедливости 9 ноября, того фатального дня, когда рухнуло наше и его великолепие. До него доходит, что это было одновременно справедливым и несправедливым действием, но в любом случае не политическим и уж точно не национальным. Реакционер не понимает, что освободительная борьба, которая нам предстоит, может вестись только силами всего народа. Он не понимает, что ему, как и всем нам, надо подготовиться к прохождению последнего испытания, но если мы не сможем пройти эту проверку, то тогда действительно наступит наш окончательный закат. Реакционер не понимает, что перед нами открывается возможность не только освободительной борьбы, но и гражданской войны, которая, начавшись, похоронит под обломками не только ненавидимую всеми республику, но и наше возлюбленное Отечество. Реакционер не понимает, что в освободительной войне должен принимать участие ненавидимый им пролетариат. Если для пролетариата эта борьба станет не только социальной, но и национальной, то он искупит все ошибки 9 ноября. Реакционер не понимает, что немецкий

пролетариат как самая угнетаемая часть самой угнетенной нации воспринимает освободительную войну как войну мировоззрений, как «гражданскую войну», которая ведется не против нас, его соотечественников, а против мировой буржуазии. Той самой буржуазии, которая хочет принести нас в жертву. И если мы одержим верх в этой итоговой войне, то мы вновь обретем империю. Но не империю для реакционера, а империю для нас всех вместе взятых.

Консерватор думает о Третьей империи. Он знает, что подобно тому, как в бисмарковской империи Гогенцоллернов нашла свое воплощение средневековая империя наших племенных императоров, так и в Третьей империи воплотится Вторая империя. Консерватор живет осознанием того факта, что история — это наследование, что история — это передача совокупности всех вещей, которые народ наследует из прошлого, в будущее. Но мы должны вновь и вновь добиваться этого наследия, чтобы свести воедино великую Триаду: то, что мы знаем о *прошлом* и *настоящем*, мы должны пронести в *будущее*, дабы воплотить в жизнь наше представление об империи.

Настоящее является всего лишь точкой времени на пути в вечность. Прошлое — это вечность, которую надо сопереживать. Будущее — это вечность, которую надо открыть. Но эту вечность мы не должны дожидаться — мы должны жить в ней, так как она незримо окутывает нас. Завтра она непременно станет явью, но только при условии, что сегодня мы примем правильное решение.

Третья империя наступит в тот же момент, когда мы этого захотим. Правда, эта империя сможет выжить, если только будет не копией, а принципиально новым творением.

КОНСЕРВАТОР

> Консерватизм — это вечность для себя.

I

Мы живем для того, чтобы бы оставить что-то после себя.

Тот, кто не верит, что цель нашего существования заключена в коротком временном промежутке, в каком-то мгновении, которое освящает наше бытие, является консерватором.

Он говорит себе, что нашей обыкновенной жизни не достаточно, чтобы добиться вещей, которых можно достигнуть при помощи духа, воли и решимости человека. Он видит, что мы, родившиеся в определенное время, всегда лишь продолжаем то, что было начато другими. Консерватор видит, где закончимся мы, видит, что там наше дело под-

хватывают другие. Он видит, что отдельные личности исчезают во времени, но продолжает сохраняться совокупность их отношений. Он видит, как целые поколения посвятили себя служению одной-единственной идее. И он видит нации в их историческом строении.

Итак, консерватор отдает себе отчет в том, что является проходящим, изменчивым и бессмысленным. Но он также в курсе того, что сохранилось и что надо сохранить в будущем. Он признает лишь власть, которая связывает прошлое с будущим. Во всем сущем он признает лишь неизменное. Консерватор признает только надвременное.

И он устремляет свой перспективный, стремящийся вперед взор далеко за пределы мелочных, преходящих точек зрения.

II

Либерал придерживается совершенно иных понятий, нежели консерватор. Для либерала жизнь является самоцелью. Для него свобода является лишь средством, дабы прожить жизнь, полную наслаждений, что, как он уверяет, является единственным счастьем для человека. Если одно поколение, вкусившее наслаждений, будет сменять другое, то тогда, согласно представлениям либерала, и наступит всеобщее человеческое счастье. В любом случае личное благо либерала зависит именно от этого.

Но, с другой стороны, либерал не охотно говорит о самих удовольствиях. Он предпочитает говорить о прогрессе. Но если либерал добросовестен и его мучает стыд, то он не гонит его прочь. Его благоразумие говорит, чтобы он не обнажал действительные мотивы своих поступков. Для маскировки своих истинных мотивов он изобрел идею прогресса. Он утверждает, что люди становятся совершеннее по мере того, как на свет появляются средства, которые облегчают им жизнь. Либерал учит, что путь человека лежит от свободы через прогресс к постепенному завершению истории. При помощи таких общих понятий либерал всегда стремится отвести сторонний взгляд от собственного эгоизма, который не только породил либерализм, но и создал особую философию.

Консерватор раскрыл этот обман. Теперь либерал вынужден признать, что он как живущий индивидуум зависит от жизненных условий общности, в рамках которой он существует. Либерал вынужден признать, что он, не намеренный считаться с условиями, пользуется тем, что было приготовлено другими. Он вынужден признать, что либерализм — это нахлебник эпохи предшествующего консерватизма.

Но совершенно иного мнения придерживается революционер. Он вообще не хочет ничего создавать. Для начала он жаждет все разрушить. Он отвергает любое прошлое, но при этом готов пожертвовать

собой во имя будущего. Впрочем, это будущее он отодвигает все дальше и дальше, так что оно рискует никогда не настать. Он говорит о тысячелетнем царстве благоденствия, наступление которого вот-вот настанет. Но это лишь умозрительная формула, вряд ли возможная в реальности.

Революционер разделяет либеральную идею прогресса. Или же нет? Он подменяет рациональный прогресс фантастическими идеями. Он проклинает настоящее и стремится вырваться из реальности в утопическое будущее. Революционер не разделяет с либералом биологических иллюзий, которые предопределили все течение XIX века. Революционер не верит в иллюзии о том, что вся жизнь основывается на развитии, вследствие чего имеются безграничные экономические возможности, которые способны удовлетворить все человеческие потребности.

Для консерватора не существует никакой эволюции. Для консерватора есть лишь только отправная точка. Он, само собой разумеется, не отрицает, что развитие как факт все-таки имеет место быть. Но в то же время он утверждает, что некоторые вещи не могут развиваться — те вещи, для которых развитие является всего лишь следствием их возникновения. Если бы наше мышление не было настолько обыденным и не утратило бы под грузом поверхностных ощущений внутреннее живое созерцание, то тогда бы мы не одно столетие пронесли представление о мире, которое сейчас ставит нас в тупик. Теперь же консервативное мышление объясняется жизненными позициями, но лишь для того, чтобы выявить политический обман: развитие соотносится с возникновением в такой же степени, как либеральный паразитизм соотносится с консервативным приумножением. Между тем у нас появился этот опыт. И нам он требуется еще.

Консервативное мышление рассматривает все вещи в их изначальной точке отсчета. У всех великих вещей бывает великий почин. И подобный взгляд был сам собой разумеющимся, если бы либеральное мышление с ловкостью политического фокусника не навязало нам идеи прогресса, которые заставляют рассматривать финал вещей, а не их основание. Этот обман был настолько же огромным, как и наша катастрофа, которая стала одним из его следствий. Мы можем облазить историю всех народов, но не найдем никаких признаков наличия прогресса. Мы сможем увидеть лишь ценности, которые порождают решительность, людей сильной воли и мощнейшие народные движения. Но если соотнести эти ценности с развитием, то они не продолжают, а обрывают цепь событий, дабы начать все заново. Если только посмотреть на происхождение ценностей, то можно обнаружить связь между ними. Можно выявить, что они происходят из одного пространства, что они передаются во времени и находят здесь свое

самозавершение. Можно открыть, что эти ценности обладают родством формы, которое основывается на их происхождении. Можно также выявить то, что формам, которые образуют данные ценности, присуща целеустремленность, которая проявляется везде и всегда. Суть природы, равно как и истории, заключается не в прогрессе, а в непрерывном продолжении, то есть традиции. Но даже традиции всегда должны восприниматься по-новому. Мы не можем воспринимать традиции с реакционных позиций, путая происхождение и условия возникновения. Или же разлагать традиции, подобно прогрессу, который с самого начала являлся упадком. Ценности нельзя ни законсервировать, ни заново создать.

Данные ценности во многом являются милостью. Они появляются внезапно, спонтанно, даже демонически, когда приходит их время. Там же, где люди, повинуясь рационализму, пытаются воспроизвести эти ценности, придавая им в итоге обратное значение, их творческая сила умирает. С тех пор, как люди подхватили идею «прогресса», они идут только лишь по «регрессивному» пути. Так мы получили либеральный век.

Консерватор вполне оправданно полагает, что всё наше время было ошибочным. Революционер же считает, что мир вообще заблуждался до сегодняшнего дня. И он мыслит свою помощь в установлении совершенно нового уклада жизни. Либерал же, неисправимый, как всегда, продолжает утверждать, даже в условиях катастрофы, веру в демократический прогресс. Будь его воля, он даже стал бы отрицать, что наши противники превратили мировую войну в самоцель, исходя из его свободных принципов. Он не признает, что именно его принципы стали причиной заката Европы и нынешних бедствий Германии. Сегодня консерватор вновь ищет место, которое может стать отправной точкой. Но теперь консерватор одновременно является и хранителем, и бунтовщиком. И он снова задает вопрос: а что же достойно сохранения? Но теперь он, подобно революционеру, стремится не разрушать, а сращивать. И этого достаточно, чтобы связать консерватора и революционера. Они оба отвергают мелочность, хитрые уловки и лицемерие, которые, собственно, являются питательной средой для либерала.

Либерал — это главный враг консерватора. Консерватор думает о человеке в одно и то же время и слишком хорошо, и слишком плохо. Консерватор знает, что люди могут добиться достойных почтения результатов, когда они, объединившись, защищают свое существование, борются за свое будущее, утверждают свою свободу. Но консерватор не предается самообману. Он знает, что когда люди, народы или целые поколения высвобождают свой эгоизм, разрешают ему утвердить-

ся, живут только своими желаниями, то их существование становится грязью и мусором.

III

Немецкая революция была делом рук либералов, а не революционеров. В этом заключалась ее судьба.

Революцию творили оппортунисты, а не фанатики. Это была пацифистская революция, которая должна была положить конец войне, считавшейся невыносимой. Само продолжение войны казалось бесцельным. У революции не было никакой идеи, она стремилась всего лишь воспользоваться идеологической конъюнктурой. Поборники революции полагались на обещания, приходившие с Запада — родины либерализма. Они надеялись, что изменят конституцию, и, сдавшись на милость победившим противникам, смогут спокойно жить дальше. Они следовали либеральным инстинктам, которые были присущи всем демократически ориентированным партиям. Но прежде всего они были свойственны социал-демократии, ответственной за 9 ноября.

Немецкий социализм очень рано был инфицирован либеральными идеями. Его первоначальные идеи социальной справедливости были позаимствованы у партий Просвещения. Взяв на вооружение идею прогресса, социал-демократия охотно довольствовалась цветастыми фантиками «свободы», «равенства» и «братства», превратившись в партию приспособленчества. Немецкая социал-демократия была партией «эволюции» в специфическом значении этого слова, которое более подходило для XIX века, за той лишь разницей, что «эволюция» была перенесена из естественно-научной сферы в историческую, внутриполитическую, экономическую и даже конституционную области. Разве не поражает, что социал-демократия даже не была партией идеи возникновения? Разве не удивляет, что она не уделяла никакого внимания геополитике и проблеме перенаселенности, которая существовала на нашей территории? Разве не ошеломляет, что она не воспринимала всерьез тот факт, что растущие и трудящиеся народы должны возвышаться, а чахнущие и паразитические народы должны были лишаться своего влияния? И при всем этом партия говорила о социальной справедливости. Но партия социальной справедливости должна была исходить из того, что данная социальная справедливость могла быть дарована людям, группам и классам, если только она существует в отношениях между народами.

Но немецкая социал-демократия очень быстро приспособилась к либеральной эпохе и моментально сменила революционный галоп на парламентскую рысь. Социал-демократы стали оппозиционной

партией, позволявшей себе проявлять радикализм лишь в критике, которую в типично немецкой манере она обрушила на собственное же государство. Социал-демократия была партией мелких бюргеров, которые назвали себя интернационалистами. При этом их отнюдь не беспокоили международные условия существования национального государства. Немецкие социал-демократы всегда предпочитали выносить сор из избы и не обращали своих взоров на внешнюю политику. Они прочитали у Маркса, что диктатура пролетариата устранит у всех народов национальные противоречия.

Они с нетерпением ожидали дня наступления этой диктатуры, но не заметили (или не хотели замечать), как век классовой борьбы сменился эпохой национальных войн. Социал-демократия утешалась Эрфуртской программой, которая предполагала рабочее законодательство, светские школы, права женщин, свободу совести. Однако все политические действительно важные вопросы она обошла стороной, обмолвившись о них несколькими словами. В доброжелательных формулировках социал-демократы излагали оторванные от реальности требования: вопрос войны и мира должен решаться «народным представительством», а все международные дела надо стремиться улаживать путем переговоров. Неудивительно, что такую партию застала врасплох мировая война. Социал-демократия предвидела, что приближается «большой переполох», но пропустила проблематику, которая лежала в его основе.

Социал-демократы меньше всего подходили для того, чтобы взять на себя руководство революцией, которая была вызвана скорее внутриполитическими, нежели внешнеполитическими поводами. Они смогли лишь вызвать ее. В то время как для осуществления связанных с революцией национальных, политических и международных действий требовались мировые революционеры, их-то у социал-демократии и не было. Эта немецкая революция должна была быть социалистической. Она должна была закончиться заключением социалистического мира, который бы даровал всем народам одинаковые права. Она не должна была заканчиваться «либеральным» миром, который попирал права собственного народа. Она не должна была заканчиваться западническим миром, который, прикрываясь демократическими идеалами, стремился ущемить права народа и осуществить эксплуатацию. Марксизм считал эксплуатацию уделом классов, но по воле победителей она стала судьбой целой нации, которая неуклонно пролетаризировалась. Революция не должна была заканчиваться капиталистическим Версальским мирным договором, который был диктатом картеля государств, ополчившихся против одной страны, который узаконивал право ленивых народов присваивать себе результаты труда более работящей нации.

Революция должна была вызреть в народе. Сама революция должна обладать традициями, которые должны быть присущи осуществляющему ее народу. Революция также зависит от людей, которые ее претворяют в жизнь, а те в свою очередь зависят от гениальности или бездарности нации, к которой они принадлежат, а еще и от того, связаны ли они со своей нацией и несут ли они ответственность, если считают себе интернационалистами.

Гений немецкого народа не революционный. И ни в коем случае не либеральный. Немецкий гений — консервативный.

Уже поэтому революция осталась всего лишь интермедией.

IV

Впрочем, немецкая революция не была даже революционной интермедией.

Политическое бессилие немецких социалистов оказалось настолько вопиющим, что они смогли всего лишь несколько неистовых дней и недель удерживать государственную власть, которой они внезапно овладели в результате событий 9 ноября. Тогда революция позорно отступила перед демократией, и место пролетариата, ожидавшего наступления собственной диктатуры, заняло правительство. Реалисты и оппортунисты из числа немецких революционеров оказались довольны этой демократией, так как они смогли удовлетворить и свои личные и фракционные потребности. Они смогли отстоять свое влияние в парламенте, создать коалиции, из которых впоследствии сложились нынешние социал-демократы, демократы центра, партийные демократы из народной партии, и даже национал-либералы. Все это происходило формально демократическим путем по всей Германии: в Пруссии и большинстве земель. Немецкая революция была либеральной интермедией.

Либерал смог воспользоваться последующими годами. В это время он смог укрепить свое положение посредством демократических достижений революции. Однако все началось как раз с исполнения Версальского мирного договора. Он принял условия, которые, положив конец войне, разрушили империю. Он был доволен ими и, приукрашивая эти условия, он находил их вполне сносными и подходящими. Либерал всегда был соглашателем. Он соглашался на все хотя бы ради жизни, которую он так обожал. Он даже смирялся с той жизнью, которую были вынуждены влачить по приказу партийных вождей. Либерал был готов питаться отбросами, которые ему кидают. Со свойственным ему от природы эластичным оптимизмом, который было бы правильнее назвать беспардонным оппортунизмом, либерал соглашался со всем. Положение либерала в государстве было шатким. Его

положение было неустойчивым, так как после переворота либерал даже не смог захватить власть. Можно сказать, что он лишь проник в нее. Проникновению во власть либерал был обязан не собственным силам, и отнюдь не силам немецкого народа, хотя он и назывался демократом. Скорее он был обязан сомнительному стечению обстоятельств, общим ужасом перед русской революцией и, как следствие, благосклонности западных демократий.

Мы могли бы стерпеть это в случае, если бы либерал, устроив свое народное государство, не привел к очевидному национальному угнетению. Его можно было бы простить, если бы в силу трагической неизбежности он в новых условиях втихаря подготавливал последующее сопротивление. Но либерал, получивший от революции все блага и преимущества, стремился сохранить дистанцию от народа и сохранить сложившуюся ситуацию. Кажется, за прошедшие годы он был озабочен только одним — массы не должны были осознать гибельность положения страны, которое он стремился скрыть от них. Миг, когда бы народ отвернулся от демократии, мог быть очень опасен для либерала. А те годы не было исключено, что подобный момент бы наступил, и мощный коммунистический натиск вылился бы во вторую революцию. Не социал-демократическую самонадеянную революцию, которую история поручила делать мелким партийным функционерам, но революцию предельного отчаяния, которая бы охватила весь 60-миллионный народ, которому отказали в праве на жизнь.

Либералы и демократы не могли воспрепятствовать тому, чтобы по-прежнему имелись консервативные круги, которым было присуще чувство позора, в котором они были вынуждены жить. Это осознание позора всегда было присуще политически сознательным людям. И ощущение этого позора инстинктивно направило политическую молодежь на националистические позиции. Однако либералы и демократы стали полагаться на государственные идеи этих консервативных кругов. Хотя по административно-управленческим соображениям они были вынуждены опираться на те немногие консервативные элементы, которые им удалось находить в стране и государстве. В течение последних лет либерал приучился обращаться к надежности данных звеньев каждый раз, когда ему требовалось защититься от угрожавшего ему пролетариата. Впрочем, это не мешало ему заигрывать с левыми, натравливать правых на левых, а одновременно со всем этим принимать под себя законы о защите республики, которые он мог использовать по своему усмотрению как против одних, так и против других. Теперь демократы, которые из революционных событий шагнули в правительственные кабинеты, стали ощущать потребность в «стабильности». А потому они начали призывать нацию взять на себя ответственность за возникновение республики, признать Вей-

марскую конституцию, что позволило бы им расценивать изменение государства как свершившийся политический факт.

По сути, любая революция выступила бы с подобными требованиями, когда дело бы дошло до формирования правительства. Революционер, пришедший к власти, тут же вынужден искать консервативную основу для своего государственного творчества. Этот принцип лежит в самой основе власти, государственности и консерватизма, без него вообще невозможна жизнь человеческого общества. Вопрос лишь заключается в том, должен ли консерватор предоставлять себя в распоряжение революционного государства, или же, наоборот, должен, доказывая свой консерватизм, сторониться его. Ответ на данный вопрос не является проблемой, если принять во внимание тот факт, что революционное правительство вынуждено занять оборону от внешней агрессии. В данной ситуации консерватор предоставляет себя в распоряжение правительства, которое сформировано не ради удержания власти, а во имя сохранения нации. Этот вопрос сводится к проблеме испытания консерватизма революцией, республикой и демократией. А потому данный вопрос надо формулировать следующим образом: что сейчас является консервативным?

V

Идея демократической государственности не является консервативной. Но как мы видели, государство может быть задумано как институт, в котором совмещены и демократия, и консерватизм.

В Германии более нет безотлагательной необходимости поднимать типично внутриполитический вопрос о конституционной совместимости демократии и консерватизма. Но вместе с тем он остается принципиальным вопросом, уклониться от ответа на который мы не можем хотя бы потому, что причины, по которым мы так и не получили консервативно-демократическое государство, выводят нас на темы о виновности, о демократии как разновидности консерватизма. Эти проблемы левые и правые рассматривают каждый по-своему. Отвечая на эти вопросы, мы будем вынуждены определить, как связаны между собой консерватизм и идея демократической государственности. И если мы будем принимать левую и правую точки зрения на эту проблему, то мы в итоге выработаем третью позицию. Повторимся, несмотря на то что принципиальные и изначальные вещи, которые привели к данной полемике, касаются (и должны касаться) прежде всего либерала, в то же время консерватор не должен бояться данных разговоров, а сам должен инициировать их.

Государство, которое было сметено революцией, является всего лишь государством ради государства. Оно могло также существовать

ради империи, ради единства немцев, ради являвшихся для нас неким символом Гогенцоллернов, которые согласно консервативной традиции сами существовали во имя народа.

Но государство не существовало во имя нации. Оно даже не могло стать таковым. Нация — это народ, который живет осознанием своей национальности. Мы должны уяснить сами для себя, что мы никогда не были нацией. Мы жили осознанием нашего государства. Мы привыкли к этому, так как знали, что государство нас защищает. Это обыденная точка зрения консерватора. Впрочем, подобной позиции придерживается большинство партий, даже самые радикальные группировки.

Либерал перед войной требовал политизации немецкого народа. При этом он подразумевал демократизацию, одержимость парламентским духом. Либерал не понимал, что народ может быть политизированным только тогда, когда проникнут национальным духом. Демократизация без предшествующей национализации приводит к формированию демократии, существующей только ради демократии. Для незавершенного народа подобная демократия является такой же имитацией, как и государство, существующее во имя своего собственного существования. Но даже при этом всем подобное государство, в отличие от демократии, могло достигнуть внутренней консолидации и отразить внешнее нападение. Если говорить о недостатках обоих явлений, то в одном случае это — аморфные парламентские группировки, в другом — закостеневшая бюрократия. И те и другие провозглашают себя государством, удерживая нацию от ее окончательного формирования. Они никогда не принимают живого участия в судьбе народа. Только когда каждая структура будет сопричастна народной судьбе, тогда все люди вместе будут чувствовать себя нацией. Вместо того чтобы выждать окончания нашей внешнеполитической войны, мы оказались настолько неразумными, что согласились на внутриполитическую междоусобицу, когда партии вдобавок ко всему в резолюциях рейхстага присваивали себе право на демократическое решение. Это была преднамеренная политика, ориентированная на то, чтобы не считаться с единственно возможной в тех условиях политикой государства. Это полностью соответствовало народу, у которого не было предпосылок стать нацией. Подобный беспомощный народ-либерал мог спокойно отказаться от консервативных принципов. Междоусобица, шаткость положения и чувство собственной неполноценности были использованы революционером в собственных целях. Он не намеревался создавать из народа нацию. Революционер планировал свержение режима ради самого свержения.

Когда революция разрушила государство, существовавшее только во имя себя, то она должна была вершить с народом не только полити-

ку, но и историю. Если бы на обломках самодостаточного государства возникло государство во имя нации, то мы, оглядываясь на этот трагичный день, праздновали бы его в будущем как одно из самых светлых событий, подобно тому, как прочие народы празднуют дни своих революций.

Но этой перемены не произошло. Народ отказался от попыток стать нацией. Народ не послушал внутреннего голоса, который убеждал его отныне утверждаться в роли нации. Народ, не раздумывая, ударился в бунт, перепутав шумиху с демократическими свободами. Народ охотно слушал и верил всему, что ему вещали. Он был совращен соблазнами, пришедшими из-за границы. Его будущее назойливо делали зависимым от этого изменения Германией своей формы государственного правления. Народ слышал лишь слова о мире во всем мире, который должен был наступить после окончания мировой войны.

Народ полностью полагался на пацифистов, забыв спросить у них, являлись ли они гарантией мира. После нескольких тяжелых лет народ купился на обещания лучшей жизни, которая должна была наступить у всех народов. В своей доверчивости он поверил, что если немцы добровольно сложат оружие, то им будет тоже уготована та же славная участь. Народ не смутили ни пропагандисты, ни то обстоятельство, что среди них преобладали гнусные, недалекие и ничтожные типы. Народ не смутило, насколько легко подготовили крушение режима стоявшие на каждом уличном углу легкомысленные фантазеры, глупые неудачники и карьеристы из рядов весьма сомнительных организаций. Народ был простодушным и не заметил, что за идеологией таилось своекорыстие. Он завороженно смотрел на Запад. Народ доверил Западу свою собственную страну. И он доверил своим врагам заключение мира. Мир оказался подобающим.

Так кто же виноват? Явная вина лежала на самих людях, на массах, которые в течение нескольких недель действовали от имени немецкого народа. Вина лежит на предводителях народных масс, которые кроили свою политику по демократическим лекалам. Так как сегодня эти вожди не в состоянии отрицать последствия предпринятых ими действий, они пытаются скрасить свою идиотичность, свою глупость, свою подлость некими мировыми демократическими идеалами. Перед лицом действительности они выглядят смущенными и жалко лепечущими что-то про здравый смысл, который рано или поздно все-таки одержит верх.

Но на ком же лежит большая вина? Мы будем искать виновных не среди обольстителей и обольщенных, а среди лиц, которые ответственны за то, что 9 ноября в Германии в очередной раз возникло государство во имя государства. Виноваты не те, кто поверил обману или предавался самообману, а те, кто готовил изменения, произошед-

шие с Германией. Виноваты те, кто изначально повел себя так, что нация, которая, казалось бы, создала себе государство на века, внезапно оказалась обманута. Виноваты те, кто с самого начала планировал захватить власть в государстве, для чего низверг народ в пучину революционных бедствий!

У консерватора есть привилегия задавать подобные вопросы. Вина и долг не являются понятиями, присущими либерализму. Вместо того чтобы понять и простить противников либерализма, он мстительно преследует их, проявляя крайнюю нетерпимость.

Вина и долг — это понятия, которые принадлежат консерватизму, так как консервативное мировоззрение базируется на ответственности. Консерватор приучен предъявлять людям определенные требования, так как он сам нравственно ответственен за свои действия и не привык прикрываться обстоятельствами, которые привели к каким-то событиям. То, что он дает себе отчет относительно действий или бездействия, которые привели к данным обстоятельствам, является характерной чертой консервативного мышления. Человек, придерживающийся консервативных государственных идей, сам возлагает на себя ответственность, и если он ищет причину событий, то он не останавливается там, где находит консервативные основания. Он проявит свой консерватизм наилучшим образом, когда добровольно и осознанно возьмет на себя ту часть вины, которая выпала на его долю.

Положение консерватора в демократическом государстве зависит от самого государства. Для самого консерватора возможность сосуществования консервативного мышления и демократических идей не является проблемой. Он знает, что эта согласованность заложена в самом развитии немецкой истории. Он знает, что она содеяна в нашем национальном становлении. Он не знает лишь — не погубит ли нас демократия. Он также не знает — не погубим ли мы сами демократию.

Консерватор свободен от скрытых намерений и интриг, присущих партийной политике. Его партией является вся Германия. Формы государственного правления: республика, диктатура, а также которые могут еще появиться на свет и предстоят нам в будущем — являются для консерватора всего лишь средствами для достижения цели. Сегодня консерватор существует не ради государства, а во имя нации. Сама же власть, без которой немыслимо ни одно государство, нужна ему лишь для сохранения свободы своей страны.

Момент, когда будет решаться вопрос о свободе, не будет часом ни либерала, ни парламента, ни партий. Это будет моментом истины для консерватора. Этот миг будет нуждаться в консерваторе так же сильно, как и сам консерватор ожидал его. Это будет миг немецкого человека, который учился на ошибках 1918 года. Этот миг не будет принадлежать ни либералу, который не может ничему учиться, ни ре-

волюционеру, который до сих пор не хочет ничему учиться. В этот момент настанет время нового немца, который настолько скрыт в нашей истории, что можно говорить о вечном, древнем немце. Этот немец будет предназначен для Германии. Он будет воплощением своей страны. Он будет одновременно сохранять и продолжать ее традиции.

Но консерватор только тогда дорастет до этого уровня, когда он сможет преодолеть партийную пропасть, которая пролегла между левыми и правыми, являющимися до сих пор идеологическими противниками. Этот час торжества не настанет, пока мы не сможем соединить эти две крайности, разделенные пропастью. Злая судьба заключается в том, что политика левых вносит раздор в наше развитие, и политику правых, которым доверена забота о нашем национально росте, постигает та же самая участь.

Консерватор должен признать, что люди консервативных идей XIX века виноваты в том, что они позволили неверно трактовать консерватизм.

Консерватор должен признать, что в Германии со времен ранней истории имелась консервативная традиция основания империи, но она была отвергнута в эпоху Вильгельма II.

Пропасть будет преодолена, если консерватор, которому судьбой всегда было предписано действовать, будет не просто *готов* мужественно поступать, но и *способен* воздействовать духовно.

VI

У левых есть рассудок. У правах есть понимание.

Беспорядочность нашего политического мышления привела к тому, что мы нередко путаем эти два понятия. Это присуще и самим левым, которые опираются на рассудок и в то же время приводят разум в замешательство.

Данная путаница началась с рационализма. Она началась с формулы: «Я мыслю, стало быть, я существую». В век Просвещения она была трансформирована: «Я — просветитель, стало быть, мои рассуждения верны». Итоги размышлений безоговорочно приравнивались к истине. Этот ложный посыл приводил к опустошительному воздействию рассудочного мышления на постижение истины. Рассудок шагнул за свои границы, превратившись в интеллектуализм. Рассудок должен был управлять чувствами. Он не должен был их убивать. Но разум убивал эмоции. Разум сам отказался от всех направляющих сил, от вдохновения, от интуиции. Разум появляется от «постижения». Но этот рассудок больше ничего не «постигал». Он только подсчитывал. Рассудок стал интеллектуальным исчислением. Разум оказался предоставлен сам себе.

Следствия этого проявились очень рано. Раньше всего они отметились в политической сфере. Оказывается, разум мог предоставить любые выводы, которые были выгодны по каким-то соображениям. Именем разума, которым Ришелье оправдывал абсолютную монархию, 150 лет спустя стали подтверждать права абсолютной демократии. Разум пришел к убеждению, что если собрать всю его мудрость, то можно достичь наивысшей мудрости. Это было слишком по-человечески, так как каждый человек в каждое мгновение полагает, что действует весьма благоразумно. Действует в своих интересах. Но только понимание способно на основании эмпирического факта сделать простой вывод о том, что когда все творится в голове, то в сумме бесконечность истинных мнений очень скоро превратится в безрассудство, которое изобличит нам фатальную значимость данного миру разума. Рассудочность стала злым роком для людей. То, что каждый считал хорошим для себя, оказывалось плохим для всех. Рассудок утратил понимание.

Понимание и разум исключают друг друга. В то же время понимание не исключает эмоций. Руссо понимал это, а потом он стремился противопоставить Просвещению рассудочные чувства. Но он также не был в состоянии подорвать господство разума. Напротив, увязывание разума с сантиментами сделало его еще более бесцеремонным. Теперь рассудочность, которая была дамой XVII века, превратилась в проститутку, спутницу всех просветителей. Французская же революция возвысила ее до уровня богини, позволив полностью передать ее призывы. Рассудочность приняла непосредственное участие в формировании европейских политических идей, пока не превратилась в ленивый разум, который Кант изобличал как самый скверный самообман. Разум ввел наше мышление в состояние, в котором мы считаем его порождения совершенными, только если они являются понятиями. И, наконец, он привел нас к тому, что мы спутали наши моральные оценки и стали полагать, что разум гарантировал справедливость.

На Западе, равно, как и во всех странах, где отъявленный разум творил делишки с политическими понятиями, очень скоро поняли, что очень выгодно говорить о правах человека, о свободе, о равенстве, о братстве, но очень опасно следовать этим принципам. По этой причине разум очень скоро ввел двойные стандарты, которые менялись в зависимости от того, шла ли речь о собственном или чужом благополучии. В целом же в мире создали такое настроение, которое приучало к тому, что всё происходившее в западных странах или прибывавшее оттуда без критической оценки считалось прогрессивным. Франция больше не говорила о суверенитете монарха, а только о суверенном государстве, которое она передала в руки коррумпированных партий. Англия повсюду говорила об общественном благосостоянии, но ее

граждане жили в чудовищных социальных условиях. Весь Запад говорил не о чем ином, как о мире и любви, а сам тем временем готовился к войне.

Но в Германии мы попались на этот трюк. Либерализм, который на Западе давным-давно считался мудростью авгура, здесь стал мировоззрением людей, готовых воспринять любую глупость, которую только можно было оправдать при помощи разума. Перед войной мы считали вполне благоразумным всерьез говорить о «мировой политике без войн», как это было сформулировано Лихновским и его товарищами. Мы предпочитали видеть в «окружении» всего лишь «побочный результат блестящих политических дискуссий, проводимых в мирной форме». Даже во время войны мы, подобно тому, как нас учили, надеялись на разумный мир, доверяя государствам и государственным деятелям, ибо только они могли уладить все в пацифистском стиле. А после войны мы совершили повторную глупость. Это была рассудительная ярость, которая бушевала в оторванных от жизни мозгах. Конечно, это были ущербные человеческие чувства, которые обращались против собственного же народа. Тогда немцев сделали виновными за начало войны, ожидая в обмен добровольного признания этого мягкого приговора. Наши противники воспользовались благоразумием этих немецких самообличителей, которым не хватило силы разума, чтобы отличить повод от намерения, случайное от решающего, формальную вину от психологической вины, но они согласились с такими доказательствами, которые привели к разумным предвзятым выводам и бедственному положению Германии.

Правым всегда хватало понимания, чтобы увидеть опустошение человека, причиненное разумом. Только от самого человека зависит, должен ли он прислушиваться «к голосу разума». Понимание берет на себя это задание. Разум не в состоянии анализировать самого себя. Понимание — это сила человека, разум, скорее всего, является его слабостью. Понимание — это властитель. Его суть — это мужественность. И в силу своего характера оно не склонно предаваться самообману. Консерватор наряду с физическими способностями обладает именно таким характером и проистекающей из него духовной решимостью предпринимать действия, когда это потребуется. Он обладает даром судить, делать выводы и распознавать, что является действительным, что не может быть отвергнуто как фикция. Консерватизм основывается на человеческом знании. Оно приходит к консерватору во время его деятельности, которая всегда стремится заглядывать в завтра, преданно служить народу и государству. Консерватор знает, что люди могут добиться многого, почти всего. Как сын своего народа он многое испытал. В нем течет кровь людей, которые когда-то создали этот народ. Если в нем живут традиции,

то он помнит, как тяжело это было и какой ценой это досталось, как поколение за поколением, столетие за столетием неутомимо строилась Германия.

Все консервативные требования: защита нации, сохранение семьи, признание монархии, организация жизни в дисциплине, поддержание авторитета, а также познание сословной, корпоративной, административной иерархии — все это не более чем следствие человеческих познаний. Длительная жизнь может базироваться только на испытании. А испытание людей во многом зависит от того, идут ли их действия от корней, от истоков. Консерватизм — это коренное воззрение. В нашей природе есть нечто Вечное, что всегда восстанавливается и возвращается в изначальную точку, отвергая и прекращая тем самым любое развитие. На фоне этого Вечного люди выглядят чем-то вторичным, особенно если они поддались искушению действовать против самих себя. Тогда они расписываются в своей беспомощности. Для этого Вечного имеется исконное консервативное решение, грандиозное политическое народное понимание, которое приходит из врожденного человеческого чутья. Оно создает формы, в которых возможна жизнь. Формы, которые способны пережить все революции реформы, если только они воплотятся в новом консерватизме. Эта вечность присуща всем великим людям, которые являлись великими консерваторами. Они были в корне правы, когда не доверяли рационализму, который развивал лишь мозг, но позволял чахнуть самому человеку. И как результат мышление, вместо того чтобы формировать мысли, занималось надуванием мыльных пузырей. Разум оказался рационализированным пониманием. Разум не является духом. Разум — это затмение.

В конце концов немецкие интеллигенты стали путать дух и Просвещение. Они собрались в левом лагере, требовали «духовной политики», но были только лишь просветителями, которые принимали участие в каждой банальности, провозглашая ее «разумной». Разум, прибывший с Запада, был новшеством для Германии, которая до тех пор являлась страной духа. Разум был опасен для этой юной в политическом отношении страны. Разум как новшество был особенно опасен для литераторов, которые восприняли его как политические дети, которыми они, по сути, и являлись. Но правое, правильное понимание вновь и вновь восстанавливалось в этих людях, которые могли воспользоваться этим. Дух устанавливается там, где мы видим наше миропонимание. Понимание утверждается там, где мы должны воплощать наше государственное искусство.

Консерватизм — это понимание нации. Немецкий консерватизм, не как партия, но как сознание, мог стать предпосылкой для нашей победы в войне. А после войны консервативное понимание — это един-

ственное, что могло трактовать события, не удивляясь проигранной революции и мировому обману, воплощенному в 14 пунктах.

Но пониманием человека владел, увы, не немецкий, а именно французский и английский консерватизм, которому удалось повести за собой вверенные ему народы и выиграть войну. А в Германии консерватизм упустил свое предназначение.

А затем наступила расплата. Говоря о вине консерваторов, мы собираемся отвечать за те фальшивки, которые после революции распространяли левые, чтобы дискредитировать правых и навязать людям, что в наших бедствиях повинна вышедшая из строя в прошлом консервативная система. Но рухнувшая система отнюдь не была консервативной, она была конституционной. Вильгельм II не был консервативным монархом, он был либеральным кайзером. Ценой за его либеральные полумеры стала проигранная война. Именно либерализм и кайзер проиграли эту войну. Дела либерализма сейчас обстоят так же, как и на войне — он терпит поражение на всех фронтах, теряя людей, принципы, партии. И если он смог захватить государство в виде демократии, то все равно он имеет оппозицию в лице социализма, с которым он вынужден считаться. Социализм хотя и не выиграл революцию, но порвал с демагогией.

Вина консерватизма кроется не в его принципах. Они никогда не смогут стать неустойчивыми понятиями — они непоколебимы. Вина лежит на надзоре, под которым они находились и который задул духовную свечу консервативного мышления. Данная вина вообще находится в духовной плоскости. Вина лежит на том духовном запустении, в котором нация пребывает уже целый век. Очень сложно воздать должное, если нация доверила себя людям, которые хотя и мужественно справлялись со всеми испытаниями, но не были людьми духовного превосходства.

Консерватизм в Германии совершенно забыл, что для того чтобы что-то сохранять, надо сначала этого добиться. Он забыл, что, только сохраняя, можно добиваться еще большего. От консервативного нападения он постепенно уходил в консервативную защиту. Он находился в обороне до тех пор, пока не проиграл. Консерватизм кончился, когда последний великий человек, Вильгельм фон Гумбольдт, перешел в стан гуманизма. Консерватизм не последовал за ним. Вместо того чтобы мужественно совершить этот шаг, консерватизм позволил либералам занять эту сферу и рассматривать ее в будущем как свою вотчину. Консерватизм не продвигал вперед дело, начатое бароном фон Штайном и Меттернихом, прекрасно себя чувствовавшими во время создания Священного Союза на Венском конгрессе.

С тех пор немцы высказывали некоторые важные, значительные и великие вещи. Все они уходили корнями в консервативное миро-

восприятие, являлись близкими ему по духу, воссоединялись с ним. Вряд ли могло быть по-другому. Однако эти вещи высказывались консервативными аутсайдерами, к которым можно отнести не только Лагарда и Лангбена, но и самого Ницше. Тем не менее консерватизм и как образ мышления, и как общее направление, и как политическая партия не был причастен к их творчеству. Он совершенно не понимал их. А потому он их не поддерживал. Он предоставил их своим противникам.

Сам консерватизм не выдвинул из своих рядов ни одного человека, который занялся бы делом. Его вина заключается в том, чтобы иметь хоть каких-то ораторов, он должен брать мозги взаймы у других рас и национальностей — это касалось и Шталя, и Чемберлена. Даже Бисмарка консерватизм поначалу воспринимал как мятежника. То, что в Германии еще оставалось немецкого, позже изображалось как исключительно плохое. Управление внешними делами Германии все более и более концентрировалось в руках некомпетентных дипломатов, ни один из которых в своем министерстве не высказал свежих идей о том, что мировая политика должна строиться, исходя из общей картины мира, что искусство управления государством является историей, воплощающейся в жизнь. Пангерманисты, которые, по крайней мере, жили осознанием проблем, которые возникали перед нацией в связи с ее мировым положением, всегда говорили только о физических угрозах, об уменьшении населения, о сокращении рождаемости и умирании расы. Но они никогда не говорили о духовном разложении.

В это время либерализм воспользовался преходящим, которым он всегда подпитывался. Он устранился от проблем нации, но стал господствовать в литературе, вводил с дельным видом в заблуждение, участвовал во всех изменениях мышления, во всех научных исследованиях и даже в вопросах моды, духовная ценность которых была, правда, весьма сомнительной. Но либерализм стал контролировать торговлю лозунгами.

Консерватизм, напротив, замкнулся сам в себе. Он все еще полагался на вечные ценности, к которым он относил свое восприятие мира. Но он предоставлял их формирование самому себе, воспринимая это как данность. Не предполагая иного развития событий, он занимался самоуспокоением. Консерватор не знал, что вечные ценности, которые не сходили с его уст, не стояли на месте. Не знал он и того, что началось движение (не путать с прогрессом), которое было круговоротом вещей. Оно вновь и вновь возвращало в традицию изначальные, извечные ценности. Консерватор не понимал, что консервативным является создание вещей, которые надо сохранять.

VII

Правые партии не смогли предотвратить наше крушение. Они были оставлены Богом, чье имя поминали всуе. Правые партии более не могли убеждать. У них не осталось доводов. Они привыкли к традициям, которые они по особому, но не исключительному праву использовали в собственных целях. Они не понимали духа времени, его видоизменений, которые свершались извечными силами. В мировоззренческом смысле это относилось и к традициям.

Правые партии не сохранили того, что было передано им как наследие. Они попали из мира устремлений и взаимосвязей, которым они должны были управлять, в сферу обыденных вещей. Они не смогли найти убедительных слов и не проявили стойкость духа, чтобы защитить хорошие, но ослабевшие принципы от злой, но весьма мобильной воли. Правые партии были незыблемыми и могли только хвастливо упрямиться!

На их место выдвинулись левые партии, которые заявили свои права на позиции. Они заняли место правых как мнимые представители народа, осуществляющие свое мнимое руководство. Подобные процессы идут во всех парламентских государствах.

Но на Западе принципиально доминируют правые партии. И даже если левые партии представлены в парламенте, то западные государственные деятели все равно знают, что в любых политических вопросах они могли опереться на консервативный компонент в социалистических рядах. Речи о братстве народов там звучали лишь от случая к случаю. Речи о мирном сосуществовании там звучали весьма специфически. Впрочем, данные речи ни чему не обязывали, но производили благоприятное впечатление. И если это не было намерением обмануть, то уж в любом случае было обманным маневром.

Германия вновь и вновь попадалась на этот крючок. Здесь придерживались патриотической патетики. Но мы обманывались в том, что обращали эти фразы к нации, которая лишь в некоторой степени добилась внешнего единства, но была лишена внутренней сплоченности. Прекрасно чувствовалось, что здесь зияла пустота, что отсутствовали предпосылки. Были все причины, чтобы быть не слишком уверенными в наших делах. Но в эпоху Вильгельма II мы весьма неохотно соглашались видеть вещи такими, каковыми они были на самом деле. Тогда мы их воспринимали неверно. В данных условиях правые партии вызвали клокочущую ненависть у отдельных слоев народа, чьи интересы представляли левые. Сами же левые изображали европейской общественности правые партии лишенными поддержки, а при каждом удобном случае представляли Германию как отсталую страну.

И все же имелась единственно возможная консервативная тактика — национальная психология давала шанс вернуть эту недовольную часть народа в лоно нации, ввести ее в национальную идею. Со времен Родбертуса не предпринималось ни одной серьезной попытки доказать немецкому пролетариату, что цели государства могут стать его классовыми устремлениями. Немецким массам никогда не говорилось, что спасение перенаселенной страны кроется во внешней политике. Не предпринималось ни одной попытки обучить нацию политике, подобно тому, как ее воспитывали духовно. Таким образом, мы упустили шанс занять свое место в истории.

Мы не успели подготовиться к войне. Когда она разразилась, то люди, оказавшиеся перед лицом угрозы, инстинктивно сплотились. Народ объединился. Больше никто не думал о партийной политике. Верх взяли элементарные чувства. Мы выдвинули нашу армию. Это была самая боеспособная армия, которая не разрывалась различными мнениями, а была сплочена единой волей. Но тогда мы совершили самую роковую ошибку, которую только могли совершить. Мы уступили оптимистическому настрою, который брал начало из либеральной мягкотелости, а также был пагубным порождение эпохи Вильгельма II. Мы приукрашивали ситуацию. Смотрели сквозь розовые очки. Привирали сами себе. На самом деле оказалось, что будет настолько тяжело, насколько легким поначалу мы считали это предприятие. Народу не говорили, насколько тяжелой и продолжительной будет эта борьба. Народ не знал, что если эта борьба будет напрасной, то последствия будут немыслимыми. Народ поспешно заверяли, что война будет короткой. Разве мы ее уже не выиграли наполовину? О, народ, был решителен и решительно счастлив! Но по мере того, как откладывалось исполнение обещаний о скоро победе, правые теряли свои позиции, а левые набирали очки.

Начало войны опровергло все доктрины левых. Кажется, они даже хотели затяжной войны. Посреди войны, когда на каждом из фронтов бушевали сражения, в Германии стали поговаривать о мире. Народ заверяли, что мир, о котором всё сильнее и сильнее мечтали как об избавлении от неуклонно растущих невзгод, являлся отнюдь не делом победы, но должен быть продиктован разумом. Консерваторы знали, что это обман. Но они позволили, чтобы война и ее ведение оказались связанными с внутренней политикой, которая в государстве определялась левыми силами. Но было уже слишком поздно, так как люди консервативного мышления хромали в политике и готовили ряд уступок оппозиции. Консерваторы действовали неубедительно и беспомощно. Они были лишены силы новых идей, которые могло породить их мировоззрение, которые бы могли разметать весьма мир.

Было бы куда логичнее [кайзеру. — *Примеч. пер.*] занять жесткую и непреклонную позицию, в духе «охранительных традиций», как это делали его предки, нежели вести переговоры с духом разложения, корнем всех наших бед, которые теперь пришли сразу ко всей нации. Жесткая политика была бы политическим удержанием, но в то же время политическим превосходством мужчины, который испытал людей и не имел к ним веры, а потому охранительство было бы его последним словом для нации.

Но слово взяла демократия. Перед войной стыдливо и смущенно, а во время войны нахально и бесстыдно. В ее распоряжении был интеллектуализм, который прибегал к доводам разума, которые, как выяснилось позже, были безрассудностью. Но консерваторы, отучившиеся от самостоятельного мышления, не были в состоянии парировать эти выпады. Их сыновья остались на полях сражений. И это было единственной жертвой, которую они могли принести. Но так получилось, что их отцы ничего не смогли изменить. Их консервативные партии неуклонно выходили из игры. Их приперли к стенке и выгнали из политики. Сторонники этих партий по всей стране оказались обманутыми. Когда настал день крушения, то они оказались испуганными и забитыми.

Либеральные деятели, которые отрицали консервативные воззрения; политики, которые не хотели упустить предоставленный шанс поднятья по карьерной лестнице; публицисты, которые даже не намеревались скрывать своих симпатий к Франции; пресса, которая словно была предназначена для поражения в войне; пропаганда, которая осуществлялась такими же подлыми людьми; восприимчивость народа; либерализм с его тяготением к общечеловечности; демагоги, которые источали свои предательские слова, исполненные тщеславия и жажды мести, — вся эта публика собралась вместе и от имени разума подготовила перелом в войне, который закончился нашим поражением и последующим крушением Германии. Правым партиям по-прежнему было присуще понимание. Они не испытывали никаких иллюзий. Взирая на действительность, они предвидели исторические последствия подобных политических решений. Понимание оставалось привилегией человеческого знания. Понимание было привилегией консерватизма.

Но у понимания не было возможности тягаться с разумом, на который постоянно ссылались левые партии. В своем радикализме они абсолютно наивно полагали, что высказываемые ими разумные требования всегда были рациональными, убедительными, по крайней мере правильными.

Вина консерватизма начинается там, где перепутали традицию и идею. Консерватизм остался жив как традиция. Но как идея консер-

ватизм умер. Он прекратил свое существование вместе с идеей. Консерватизм как тип характера был еще пригоден на войне. И все эти немцы, которые осознанно выбрали свою судьбу, вне зависимости от того, были ли они крестьянами или рабочими, дворянами или бюргерами, социалистами или клерикалами, были консерваторами хотя бы в силу своей мужественности. Они нутром чувствовали, о чем шла речь. Но их жертва оказалась напрасной, так как они были связаны лишь патриотическими фразами, а отнюдь не имманентной идеей, которую надо было дать неподготовленной нации, пока это позволяло время.

Живой консерватизм — не мертвый — существует в вечности. Консервативная идея до войны была уделом замкнутого в себе общества. После нашего поражения было предложено вернуть его сообществу, которому он принадлежал извечно. Возвращение консерватизма позволит почувствовать людям, принадлежащим и правому, и левому лагерю, что они дополняют друг друга как части одного народного тела, что они объединены самой природой. Вернувшийся консерватизм оставит ленивый разум тому ленивому обществу, которое противопоставляет «здравый смысл» провидению. Тому кружку людей, которые постоянно пытаются провести «среднюю» линию, а в политических делах уже давно скатились к разумному оппортунистическому доктринерству. Той компании, которая теряется на фоне понимания консервативного человека, но все равно позволяет себе предрекать, что есть, что будет и как должно быть.

Для нас этот «здравый смысл» так же ничтожен, как «добрая воля» или наша пресловутая «деловитость». Мы следовали за этой триадой, но всегда оставались обманутыми. Они казались нам привычными и само собой разумеющимися. Однако нормальным и естественным является только понимание.

VIII

Консерватизм должен всегда одерживать верх.

Консервативное мышление видит во всех человеческих отношениях вечное возвращение, но не в смысле возраста, к чему-то идентичному. Возвращение в смысле чего-то длительного, которое то отступает, то придвигается, но неизменно рано или поздно проявляется. Этот принцип заложен в самой природе и людях.

Но даже это вечное должно вновь и вновь духовно обращаться к преходящему. Только этот творческий консерватизм можно передать народу. Только в него может поверить народ как нация. Именно этого творческого консерватизма не хватало Германии во время правления Вильгельма II. Именно в это время консерваторы поступились духовным фундаментом, сложенным из идей великих немцев начала

XIX столетия, которые все являлись великими консерваторами. Он допускал, что на свободное место в народных представлениях вторгнутся либеральные взгляды. Общедоступные либеральные мнимые понятия, полупонятия, междупонятия, которые должны были принести людям личную выгоду, были одобрительно встречены массами. Консерватор как ответственный человек должен был следить за изменением обстоятельств и от него можно было ожидать большей осмотрительности и сопротивления попранию ценностей. Но он предпочел оказаться в стороне, а потому не оправдывал своего изначального предопределения. Он отказался от духовного руководства нацией. И потерял ее.

Сейчас мы стали ориентироваться на идею консервативного государства. Но это государство было для консерватора всего лишь некой политической привычкой. Он воспринимал государство как что-то неизменное. Для него государство не могло быть иным, кроме уже существующего. Он не мыслил себе существование государства, которое не было бы консервативным. Он действительно правильно полагал, что консервативное государство не могло быть временным, а только вечным. Вероятно, не за горами то время, когда люди признают правоту этого суждения. Неконсервативное государство — это политический нонсенс. Государства и консерватизм — это равноценные понятия. Ведь государство — это сохранение. Только вот консерватор XIX века отнюдь не сам сформировал данное суждение. Это была унаследованная точка зрения. Это было решение его отцов, которые кровью, а затем духом создали консервативное государство. Консервативная трагедия, которую мы пережили во время крушения государства, существовавшего во имя себя, является трагедией внуков.

Внуки жили по примеру своих отцов. Они жили безупречно, дерзко, одним словом, по-мужски. Они служили королям и кайзерам, как это завещали им предшественники. Но этого не было достаточно. Предки осознавали консерватизм как некую политическую привилегию. Консерватизм все еще жил в их крови. Однако он больше не жил в их душе. Они отказывались от связи с народом. Консерватор не отказывался от своего положения в государстве. Напротив, он считал и был свято убежден, когда настанет час испытаний, то именно консервативная, а отнюдь не либеральная идея спасет государство. Из традиции он почерпнул консервативные знания о том, что мнимую миролюбивость не стоит путать с действительными намерениями. Реальность всегда была связана с борьбой. Но он чувствовал, что отдельно взятое национальное самосознание и народные чувства не совпадали. Эта оплошность стала нашей злой судьбой. Консерватор, казалось, потерял дар речи. Мы до сих пор воспитываемся в таком же духе. Мы учили Германию патриотизму. Народ воспитывали словами

готовности к делу. И это сохранило нас 1 августа 1914 года. Тогда в головах 60-миллионного народа звучало слово «Мы».

Но народ остался глух к национальными идеями. Внутренне он оказался не готов к великим потрясениям, с которыми бы справился любой политический народ. Кроме этого сыграло свою роль недоверие народа к консервативной идее. Тем более что это недоверие специально взращивали.

Все это воздалось 9 ноября. Тогда в головах 60-миллионного народа крутилось слово «Я». Впрочем, сам народ полагал, что в этот день он действовал как «Мы», которые созрели для того, чтобы стать свободными. Это было либеральным заблуждением, которое смогло соблазнить даже социалистов. Прорвавшаяся народная воля передала свои задачи уполномоченным представителям, а свое выражение нашла в избирательных бюллетенях, предназначенных для парламентаризма, который установил демократию.

Лишь затем, во время заключения мирного договора и последующих лет политики его исполнения, результаты революции стали бедой, которая настигает людей, привыкших доверять разуму, а не пониманию.

Однако в то время, пока революция разочаровывала революционера, которого она увлекала лозунгами, а затем демонстрировала их лживость, консерватор стал абсолютно свободным. Революция вернула ему возможность нахождения взаимосвязей, что некогда было главным преимуществом его политического мышления. Революция указал консерватору место, через которое он как человек преходящий и надвременный мог политическим путем вмешаться в судьбу своего народа. Она вывела его на уровень вопросов о позиции в отношении революции и социализма, а вместе с тем о его отношении к республике и монархии. Этот вопрос касался принципов консерватора, а потому ответить он должен был основательно.

1918 год научил нас всех. Мы учились на примере правых, а большинство немцев обучалось на примере левых. Пути наученных и необученных разошлись. Социалисты увидели, как в самих предпосылках рухнула социалистическая система, что предполагалось в связи с наступлением эпохи высокого капиталистического развития. Случилось непредсказуемое, к чему социалисты оказались не готовыми. В тот момент, когда они должны были установить экономическое господство, случилось окончание войны, которое оставило нацию в состоянии хозяйственной разрухи. Эта неожиданность поставила крест на всех социалистических расчетах. Более не было возможности установить социализм, при котором менялось экономическое господство отдельных классов. Социализм получал смысл только тогда, когда он охватывал весь народ и соответствовал его жизненным потребностям.

Консерватор, напротив, преодолел механический социализм, который оставался теорией, через органический социализм, который должен был стать практикой. Консерватор мыслил социализм, который должен был вести к группе, к общности, к корпоративному единению нации. Он мыслил социализм категориями умножения, структуры, иерархии. Консерватор разделял атомизированный социализм от корпоративного социализма. Правые представляли такой социализм как идею профессиональных сословий, которая уходила корнями в консервативное и собственно немецкое прошлое. Левые же представляли такой социализм как идею советов, что было развитием русского опыта, взятого за образец.

Духовное сближение левых и правых могло привести к их политическому сближению. Коммунистические левые и консервативные правые связаны недоверием к партиям, к либеральному и эгоистическому содержанию всей их партийной жизни, которая уделяет больше внимания программам, а не делам, к партийному парламентаризму, который действует не в интересах народа, а в интересах собственных партий, что прикрывается именем нации. Левых и правых объединяет идея диктатуры, которая учитывает печальный опыт, что человеческое благополучие не может быть никогда предоставлено на людское усмотрение. Процветания можно достигнуть только лишь через принуждение, наставление, предзнаменованный курс и вышестоящее руководство. В итоге произошло бы взаимное проникновение задач, они бы искали общие пути решения, стремились бы найти их в воле к взаимному примирению, что было возможно в тот момент, если бы левые отказались от марксистских принципов, а правые оставили реакционные позиции.

Но левые не сделали этого. Они не отказались от партийного мировоззрения. Они продолжали придерживаться идей классовой борьбы, хотя социал-демократические левые, идя на многочисленные компромиссы, поступились ими. Если мы попытаемся ответить на вопросы: кого научил 1918 год? кто учился в большей степени? отчего это зависит? — то на них мы сможем ответить следующим образом. Новое социалистическое мышление, которое пришло в течение этих лет, привело к вынужденному пониманию, но оно оказалось не в состоянии освободиться от партийных предубеждений и озлобленных классовых чувств. Рабочих по мере постижения ими опыта мировой войны, ожидавших участия в новой народной истории, успокоили формально демократическими полумерами и хитрыми парламентскими уравнениями. Но младосоциалистические идеи являются еще только попыткой формирования мировоззрения, являются чувством, которое предвосхищает, но не волей, которая наносит удар. А коммунистические идеи являются волей к воле. Однако их воля направлена

против природы, а потому совершает насилие над непрерывностью человеческой истории.

Консерватор в течение этих лет по своей воле совершил некоторый промах и выбрал в качестве главного врага революцию, чем расколол левых и правых, стремившихся к сближению. Но консервативное мышление, в отличие от социалистического, которое способно понимать только собственные проблемы, воспринимает весь комплекс проблем и постоянно стремится решить их. Консерватор сперва пытается ответить на самые противоречивые вопросы, что может стать предпосылкой для возобновления консервативной жизни.

Самым лучшим способом ответа на эти опросы является размышление над собственными предпосылками. То есть размышление о себе самом.

X

Консерватизм — это не реакция.

Реакционеры утешаются условиями жизни, в которых они находятся, или желают вернуть их назад, если обстановка вокруг них изменилась. Они представляют себе мир именно таким, каким он был в день, когда они родились. Их мышление настолько же узкое, сколько ограниченно мышление революционера, который представляет себе мир только в день, когда он его низвергнул.

Консерватор, напротив, привык действовать. Консерватизм, не лишенный честолюбия, отнюдь не является собранием раритетов. Консерватизм — это заводской цех, в котором стремятся создавать такие вещи, которые могут быть основой для новых принципов. Консервативное мышление отличается от революционного тем, что не доверяет вещам, которые возникли в спешке в хаосе катастрофы. Консерватизм позволяет себе ценить только те вещи, в которых заложены подобающие им способности. Консерватор видит эти вещи произрастающими из традиции, кои он мыслит, конечно, по-иному, нежели реакционер. Традиции постоянно разбиваются катастрофами, за которые мы ответственны, и революциями, которых мы не в состоянии избежать. Но традиции неизменно восстанавливаются. Так жизнь сохраняется в пространстве. Так из времени приобретаются новые ценности, которые обогащают консерватизм, или же недостатки, которые консерватизмом тут же отвергаются. Время вечно возвращается в пространство, из которого оно вышло, и воспринимает то, что возникло, и то, что существовало всегда. Революция обращает вечность против себя.

Консерватизм использует вечность для себя. Сам космос, основанный на четких законах, является отнюдь не революционным феноменом, а консервативной статикой. Природа так же консервативна. Она

основывается отнюдь не на потрясающем постоянстве явлений, а на их смене, на предрешенном уходе и новом возрождении. Самые мощные потрясения выглядят ничтожными на фоне могущества рождения. Из года в года, из века в век на протяжении тысячелетий мы видим одно и то же появление жизни. При этом меняется только поверхность. Но поверхностные изменения ничего не значат, так как великая общность видов, которая остается неизменной, все же важнее отклонений, которые возникают во времени и также со временем исчезают, или же возвращаются в прежнее русло.

Эта консервативная статичность находит свое повторение в политической жизни. Постоянство, воплощенное здесь в течении событий, испытанных учреждений, привычек, обычаев, непременности расы и народа, а также в типично человеческих проявлениях, гораздо могущественнее, чем неустойчивые лозунги, которые рождаются на потребу дня и которые проходят так же, как проходит этот день. Консерватор не думает об индивидуумах, как это делает либерал, чье мировосприятие начинается и заканчивается на своем «я».

Консерватор так же не думает о человечестве, не имеющем различий, как это делает революционер, дабы подкрепить аргументами идею классовой борьбы. Консерватор не может связывать с понятием «человечности» никаких обозримых и очевидных представлений. Он никогда не видел этого единого, сплоченного человечества, разве что только в фантастическом мире революционера, который в Германии с исключительным усердием следует за идеей человечности. Причем другие народы не следуют его примеру сокрушать свой собственный народ. Консерватор признает, что жизнь народа воплощена в нации. А потому он стремится сохранить жизнь нации, которой он принадлежит. Реакционность относится к форме, а консерватизм является содержанием? Так каким же сегодня является наше содержание? Каковым оно может быть? А каковым оно должно быть? Либерал хотел, чтобы у немецкого народа было западное содержание, а революционер — всемирно пролетарское. Но опыт Версаля и наработки Москвы, приведшие к проникновению в Советский Союз национального духа, в состоянии отговорить их от следования излюбленным представлениям. Консерватор давно уяснил для себя, что он действует во имя нас и во имя немецкого народа.

Как консерватор, которому от отцов в качестве прочих политической предпосылки достался девиз «Я служу», может послужить немецкой сути? Поставленный перед этим вопросом консерватор должен критически проанализировать, с одной стороны, республиканскую идею, с другой стороны, принцип легитимности.

Мало кто мог предположить, что немцы, на протяжении тысячелетия являвшиеся монархическим народом, когда-то станут респу-

бликанцами. Впрочем, эта мысль пугает меньше всего именно консерватора. Он смог увязать консервативную идею с любыми формами государственного правления. Римские консерваторы были республиканцами. Их Катон не видел спасения для Рима, если бы тот стал эллинистическим или цезаристским. И все же он прислушивался к неизбежным изменениям формы римского государственного правления, и даже за изменениями римской культурной формы, которые представлялись величайшему римскому патриоту неминуемой гибелью, что еще более возвеличивало римскую эпоху. Но римская монархия при помощи имперской идеи тотчас создала новый консерватизм, который отодвигал сроки крушения Рима, пока легионы во главе со знатными патрициями не растратили впустую панримскую идею, которая даже во времена императоров продолжала в себе хранить республиканские традиции. Подобное можно было наблюдать во Франции, в Англии периода Кромвеля, да и в самой России, которая благодаря Петру пережила глубочайшие системные изменения, связанные с трансформацией консервативной идеи.

Только Германия всегда оставалась монархией. Мировая война стала важным событием, поворотным пунктом и переломом в духовной жизни Германии. И это еще не самые революционные изменения, которые нас ждут. Мы должны будем окончательно изменить германскую форму государственного правления, которую мы привычно привыкли считать традиционной и которую мы не смогли сделать вечной. Можно допустить, что отныне все изменения будут идти от монархии в сторону новых государственных форм. Всегда было возможно, что Старая Германия будет погребена, но на ее могиле взрастет Новая Германия.

Однако для воплощения этого примера в жизнь требуются силы. Даже возникновение республики всегда возвращается к образцам, которые даны людям, ее создавшим. Начало немецкой республики было беспрецедентным. Она возникла из революции. А революция возникала из предательства. А само предательство возникло из глупости.

Тяжело, наверное, почти невозможно удалить из памяти народа, почувствовавшего себя нацией, воспоминания об этой сплоченной общности. 9 ноября, которое было настолько же грязным событием, насколько чистым было 1 августа, мы упустили шанс провести это обновление. А еще ведь шла война. Но революционеры достали красные знамена, которыми стали размахивать перед нашими врагами. И что стало с Германией? Они не задавались этим вопросом. Они думали о человечестве. И массы думали так же. Вот когда общечеловеческие идеи победят во всем мире, то тогда бы их представители позаботились о Германии. Но в большинстве случае они просто не помнили о ней.

У революционеров полностью были развязаны руки, лишь пока шла революция. Заграница не стремилась сдерживать их, чтобы навязать социалистический мир, который революционеры обещали народу. Но «на обломках» князей, министров, генералов не возникло ни одного великого социалиста, который бы мог дать толчок к новому устройству мира. Эти странные государственные перевертыши могли только трусливо ожидать, что им позволят заключить мир, который был миром лишь для Антанты. У них была возможность для смелых и рискованных шагов, которые должны были отбросить в сторону прошлые времена комфортного существования людей. Но они, используя полноту власти, даже не смогли осуществить присоединение немецкой Австрии к Германии. Когда же они обнаружили, что Антанта обманула их, то они не смогли слушать ничего иного, кроме трусливых советов старого тщеславного глупца, который с видом политического мудреца провозглашал: «Признайтесь во всем, возьмите на себя всю вину за развязывание войны, тогда, может быть, получите милосердный мир». В итоге ничего не оставалось как скреплять обломки Германии при помощи избирательных урн, в которые терпеливый народ мог бросать избирательные бюллетени, выбирая национальное собрание, кое распускало революционную клику и ее учреждения, установив республику, на которую перекладывалась все ответственность. В немецкой революции не было гениев.

Даже у республики должны быть традиции. Не может быть республики без республиканцев. Не может быть республиканцев, не гордящихся собственной республикой. Мы уже имели в нашей длинной истории республиканские формирования. У нас были союзы городов и Ганза. Но они не были в состоянии действовать ни в интересах всей нации, ни в интересах политики, проводимой империей. 1848 год, когда мечтали о Великой Германии, был наполнен громким идеализмом, но не пробивной политикой. Немецкие революционные республиканцы, которые пришли вслед за ноябрьскими деятелями, приспустили их красные полотнища. Вдобавок они вспоминали о своей принадлежности к немецкому народу, что выразилось в извлечении на свет черно-красно-золотого знамени, которое когда-то было символом огромных немецких надежд, но стало символом еще большего немецкого разочарования. Революционные республиканцы не смогли предотвратить того, что черно-красно-золотой стяг вновь стал знаменем символом заблуждений, а не стягом энтузиазма. Республика, в которой мы живем, является республикой, лишенной энтузиазма. Мы не может даже сделать ее «интересной», как того желали демократы, произнося свои банальные призывы.

Только пример республиканцев, чьи символы станут общественным мышлением, которые дадут нам свободу, а для себя заслужат уважение, может гарантировать наличие республики.

Является ли вообще Германия республикой? Не является ли она до сих пор монархией, у которой всего лишь отобрали ее символику? Не является ли она униженной монархией, лишенной символов, в которые верили люди? Легитимисты придерживаются именно такого мнения. Они приходили к выводу, что как только будет восстановлена монархия, немцы сразу же займут свое прежнее положение в мире, подобно тому, которое они занимали, являясь монархическим народом.

Консерватор высказывает иные суждения. Он — монархист, поскольку верит во власть лидера как образцового человека. Но, в отличие от легитимиста, верящего только во власть символа, консерватор доказывает монархическую идею как наивысшее политическое воззрение. В течение всех этих лет немецкая республика была вынуждена искать поддержку у наших врагов. Это было очень тяжело для Германии, и, допускаем, очень горько для самих республиканцев. Для монарха это было бы просто нестерпимо. В то время как Франция притесняла нас самым беспардонным образом, наследники революции становились франкофилами. Они надеялись, что все уладится и своими действиями они успокоят нашего мучителя. Это полностью соответствовало той беспомощности, в которую нас ввергла революция. Это всецело отвечало политике политиков, которые думали только о конъюнктуре. Для монарха это было бы бесчестьем.

Но вопрос о монархии все же остался открытым. Когда стало ясно, что демократия не может нам помочь, не было ли единственным выходом из сложившейся ситуации спасение монархии? На этот вопрос можно однозначно ответить: нет! Монархию можно было бы восстановить. Но сегодня мы не видим фигуры монарха, который мог бы добиться нашего спасения. Даже если допустить, что такая фигура всетаки существовала, что она где-то ожидала нашего приглашения, все равно мы не видим возможности, которая бы позволила избавить нас от невзгод. С политической точки зрения не было ничего нереального в том, чтобы нам в течение какого-то времени позволили вернуться к монархии, ограниченной конституцией. Это могли нам позволить, дабы положить конец вечному немецкому беспорядку, с которым мы были не в силах справиться. Европа не хотела, чтобы хаос перекинулся и на нее. Но в данном случае это была бы допущенная, любезно предоставленная монархия, согласованная с чужими парламентами и созданная под поручительство чужих правительств. Это не была бы монархия «Нашей милостию», как ее представляет консерватор. И уж подавно она не была бы монархией «Божией милостию», которая до сих пор живет в представлениях легитимиста.

Монархии надо добиться. Монархию не могут подарить или пожаловать. Монархическая идея — это мысль о Посвящении, которую развенчал последний немецкий монарх. Тот, кто сегодня осознанно является монархистом, должен молчать. Тот, кто по-прежнему убежден в том, что дуалистичный народ может быть воплощен как нация только в монархическом принципе, должен ждать. Тот, кто объединяет идеи освященного короля и имперского великолепия, сегодня должен отступить. Для восстановления монархии нет политических предпосылок. Еще меньше духовных предпосылок. В мире больше нет ничего королевского и христианского, а потому не может быть и короля. В мире больше нет императорских качеств, а потому не может быть и императора. Есть только народ, который хочет жить в духе Просвещения, жаждет силы масс и демократической самоуверенности. Есть только немецкий народ, который хочет стать немецкой нацией.

На этой исторической стадии монарх исключен. Проще привести монарха к власти, чем восстановить монархию. Реставрация предполагает внутреннюю монархию, которая должна быть в виде символа заложена в человеке. Но это сегодня столь же маловероятно, как и появление монарха. На нынешнем этапе мы нуждаемся в вожде, который подготовит восстановление монархии и превратит народ в нацию. Мы не нуждаемся в демократах, которые с самого начала являлись партией. Нам требуются народные вожди. Не важно, будут ли они демократами или аристократами, будет ли у них характер Мария[16] или манеры Суллы[17]. Важно только одно, чтобы они по своей природе служили только одной партии, которая зовется Германией.

Нам требуется вождь, который бы чувствовал себя сплоченным воедино с нацией, который бы связал национальную судьбу с собственным предназначением преодолеть крушение. Нам нужен вождь, который может происходить из старой руководящей прослойки или же будет сам повсеместно создавать новый круг руководителей. Главное, чтобы у него была воля стать ответственным за будущее нации, чтобы он мог принять решение, чтобы его честолюбие шло на пользу Германии. Не исключено, что мы нуждаемся в смене нескольких вождей, которые бы насытили народ политическим духом, который мы прежде всего понимаем как национальный дух. Нам нужны вожди, которые бы повели Германию из вчерашнего через революцию в завтрашний день немецкой истории, в который бы мы вошли уже без вождей. Нам необходимы вожди, которые взвешивают все возможности, и те, ко-

---

[16] Марий, Гай (157—86 до н.э.) – вождь партии популяров, победитель Югурты и кимвров, семикратный консул.

[17] Сулла, Луций Корнелий (138—78 до н.э.) – вождь оптиматов, соперник Мария, диктатор (82—79 до н.э.).

торые достались в наследство, и те, которые только что открылись перед нами. Нам требуются вожди, которые испытают эти возможности не в партийном стиле «соблюдения прав», а в духе личного повеления. Мы ждем вождей, которые в переменчивом мире будут прокладывать четкий курс, удачно преодолевая все превратности, сомнения и помехи. Мы хотим вождей, которые сохранят свои установки и передадут их другим.

Революция не породила таких вождей. Она породила только революционеров, которые обанкротились на следующий же день. Как следствие мы довольствовались лидерами, которые вышли из партийной среды, которые выражали мнение соответствующей партии и отличились своей посредственностью. Тогда лидеров выбирал народ, но не нация. Народ еще не учился распознавать их, но обязательно научится. Рано или поздно он пожелает вождя, которого изберет себе уже как нация. Идея вождя не может являться уделом избирательного бюллетеня. Она может быть воплощена в согласии, которое основывается на доверии. Мечту о вожде не смогла убить даже революция. Напротив, она произвела ее на свет. Разочарование в политических партиях подготовило идею вождя. И молодежь охотно ее восприняла. Монархии не нашлось места в вождистских идеалах. Монархия предполагала правление. Но правление монарха рассматривалось как привилегия, а не как заслуга. Только революция смогла высвободить идею вождя. Революция упустила идею революционного вождя, но породила консервативную мечту о вожде. Революция не уничтожила ее, а сохранила.

Теперь у республики есть руководство. И если она не является республикой ради республики, а республикой во имя нации, то она, скорее всего, воспримет идею вождя, которую мы поминаем не в партийном, но личностном смысле. В конце концов монархия была самоцелью. Вождистская идея — это лишь средство для достижения целей нации. Именно так мы и понимаем республику. Накануне войны мы нуждались в правлении монарха во имя монарха. После революции мы нуждаемся в вожде ради нации. Республика — это совокупность вещей, которые мы должны пройти. И опять же мы мыслим республику, которая, дабы покончить с неуверенностью государственного бытия и обрести устойчивость, свяжет революцию более традиционными и крепкими формами, нежели те, которые были порождены 1918 годом. Отнюдь не формами западного парламентаризма, который зиждется на партийном господстве, а формами нашей немецкой традиции, которые покоятся на правлении и руководстве.

Наши бедствия начались тогда, когда консерватор отказался от своего призвания сохранять государство, а революционер медленно, но неуклонно стал уничтожать плоды его трудов. Когда революционер

овладел массами и он потерял последние сомнения, то вышел на захваченные врасплох улицы. Но теперь время хочет реализоваться. Это осуществится не ранее, чем будет проделана работа по национализации немецкого народа. До тех пор пока консерватор не будет уверен в нации, пока под гнетом невыносимой жизни в народе не проснется духовная готовность стать нацией, пока не появятся национальные вожди, мы сможем ожидать изменения нашей судьбы, так как каждый немец будет понимать ее по-своему.

Сегодня консервативность значит, что немецкий народ должен найти форму своего будущего.

X

Из вопроса, что является консервативным, вытекает другой вопрос: когда консерватизм снова станет возможным?

Неразбериха в понятиях, которая привела к смешению консерватизма и реакции, возникла, когда наша политическая жизнь утратила истинные консервативные принципы, а их место, с одной стороны, заняла реакционная фразеология, а с другой стороны, туда стала протискиваться революционная идеология. Первая постепенно сдала свои позиции. Эта путаница закончится тогда, когда консервативная идея вновь станет основой политики. А политическим фундаментом консерватизм станет не ранее, чем он сможет очиститься и избавиться от всего, что пристало к нему с реакционным самобичеванием. То есть когда консерватизм сам станет снова консервативным.

Консервативное протестное движение, которое сегодня набирает обороты в Германии, по сути, является борьбой против революции, которую хотят остановить. Но в то же время это борьба — это столкновение консерватора и реакционера. Реакционер живет прошлым. Консерватор, который находится посреди вещей, живет одновременно и прошлым, и будущим. Этим он отличается от революционера, который живет только будущим. Революционер — наследник либерала, выдумавшего «прогресс». Того самого либерала, который стремится в странах-победительницах сохранить потребительский контроль над благами, которые он считает своей добычей. Либерал стал реакционером от революции, который стремится заполучить в свое распоряжение сегодняшний день. Против либерала направлено как революционное движение, которое потрясает его настоящее, так и консервативное протестное движение, которое хочет укрепить позиции вечного в сегодняшнем дне, но не путем реставрации, а посредством повторного воссоединения.

Революционер не признает это протестное движение. Он возражает против него. Он пообещал людям слишком многое, а потому жаж-

дет сделать мир совершенно иным, нежели он был до этого. Революционер не может согласиться с тем, что, изменив мир, он поменяется сам. Он понимает консервативное протестное движение, хотя и не признается в этом. Когда-то со страниц коммунистического манифеста он предвещал «крушение всего прежнего общественного устройства». Это была революционная идея. Но в новой программе немецких коммунистов капиталистическому империализму делается всего лишь светский упрек, что, мол, тот не в состоянии «создать новый, устойчивый и долговременный мировой порядок», а «экономическое мировое равновесие такое же шаткое, как и политическое». Эти слова пронизаны консерватизмом.

Идеи революции, социалистические проблемы, проекты измененного сосуществования людей, классов и наций никогда не исчезнут. Но заложенное в этих идеях рациональное зерно не может быть воплощено в жизнь при помощи революции. Немецкий коммунизм полагал, что пролетариат во время революции был очень близок к достижению марксистской цели, и надо было только протянуть руку, чтобы получить доступ к прибавочной стоимости и отчуждению ценного имущества. Немецкий коммунизм убыстрял события и совершил ошибку. Он стремился форсировать революцию, о чем даже говорилось в лозунгах. Но коммунистическое мышление ясно осознает, что революция провалилась, так как она была либеральной революцией.

Оно все еще не хочет признавать, что силы, которые противодействуют ему, являются консервативными силами, существовавшими всегда и всегда будущими существовать. О сопротивление этих сил разбивается любая революция. Коммунист вновь и вновь отчетливо ощущает, что эти силы явлены миру — силы традиции, постоянства, уравновешенной настойчивости и неизменно заявляющей свои права законности. Коммунист полагает, что изменит себе, если признает эти явления. И все-таки тогда пролетариат не был готов обустроить Землю на марксистский манер. Это было возможно, только если существование человека началось бы с пролетариата, как если бы никогда не было никакого другого бытия. В даже в этом урегулированном марксизмом существовании тут же бы проявился великий консервативный принцип порядка, и элементарные инстинкты привели бы к формированию группы, семей и нации. А от пролетариата, который внезапно раз и навсегда ощутил свое равенство, извечные силы тотчас бы потребовали неравенства, невольного возвышения в одном месте и подчинения в другом. Это те противоположности, которые всегда предъявляют свои права и воплощают их в структуре, те силы, которые всегда определяют бытие, заставляя историю повторяться вновь и вновь.

В этом месте социалисты смогут возразить, что социализм никогда не обещал другого равенства, чем то, которое можно получить при новом общественном устройстве от устранения экономико-политических контрастов, что само по себе является вполне реальным. Коммунисты под равенством понимают обобществление средств производства, из которого вытекает обобществление продуктов производства. Демократы, если они, конечно, являются демократами, должны довольствоваться равенством классов, которое подразумевает и политическое, и экономическое равноправие.

В теории все звучит правильно. Но идея, как всегда, ошибочна. Если бы социализм не обладал идеей равенства, то у него вообще не было бы никаких идей. Он был бы социологией, то есть прикладной статистикой, или же агитацией, прикладной политикой. Но он не был бы мировоззрением. Но все же социализм превратил равенство в пропагандистский лозунг, причем сделал он это осознанно и преднамеренно. Таким образом, равенство стало грядущим и поражающим принципом социализма, подобно тому, как любовь стала изумительной идеей в христианстве. Социализм почерпнул идею единства из триединства французских революционных лозунгов, предоставив свободу и братство сентиментальным либеральным демагогам. Социализм приправил идею равенства крикливыми ораторами, уличным агитаторами и поэтами, которые взяли на вооружение радикальные идеи Бабефа, полагавшего, что равенство и справедливость являются одним и тем же. Если мы отдаем себе отчет об изменении социализма, то мы обнаружим, что те же доктринеры, которые нисколько не размышляли над биологическими и психологическими предпосылками их доктрин, впоследствии будут с серьезным видом трактовать равенство. Они будут говорить об отношениях, в которых находятся понятия «равенство» и «справедливость», положенные в основу их идеологии.

На предыдущей стадии развития, когда социализм еще не был партийным термином, а всего лишь человеческим понятием и стремился к познанию вечной человеческой природы, Сен-Симон в критике человеческих привилегий высказал отличительное требование, которое должно было стать условием для наступления справедливости на Земле. «От каждого по способности! Каждой способности по ее ценности!» Это требование было подхвачено Марксом, который в то время развивал холодную диалектику «порабощения индивидуума разделением труда». Маркс истолковал эту формулу весьма материалистически, добавив: «Каждому по потребности». Ленин подхватил требование Сен-Симона, приобщив, что равенство еще не значит равноправия, что одинаковые права для разных людей (от себя мы добавим и наций) приводят скорее к несправедливости. В результате Ленин приходил к

выводу, что большевистское равенство труда и его оплаты является всего лишь «формальным правом», а теперь перед человечеством стоит задача сформировать еще и «фактическое право».

Ленин завершил обращение социалистической идеи. Ленин не мог согласиться с тем, что его выводы возвратили людей именно в то место, где они пытались обустроить свое бытие через государственность. Мы не хотим сказать, что он их возвратил в старое государство, рухнувшее, когда стало проявляться вырождение идеи, на которой оно основывалось. Он привел их туда, где новая государственность смогла реализовать свои права, что приводит любое общество, даже революционное, не к окончательному равенству, а к новому неравенству. Права зависят от стремления к правам. Ленинизм предпринял в России попытку испытать это на практике. Он познал, что при переходе от капиталистического к коммунистическому обществу существует некий «переходный период», который называется диктатурой пролетариата. Нам кажется, что направление, которого придерживается Советское государство, является как раз не «курсом на коммунизм», о котором говорил Ленин, не стремлением к утопии, а ориентацией на реальную политику.

Для консервативного мышления любые революционные эксперименты — это окольная дорога. Как только такой эксперимент становится фактом, без разницы идейным ли, или прикладным фактом, то консервативная идея считается с ним и пытается приобщить его в политическом смысле. Для консервативной идеи история никогда не начинается с нуля, она находится в постоянном продолжении самой себя.

У консерватора есть преимущество перед пролетарским сознанием, так как он обладает знанием о великих исторических взаимосвязях, которые врастают в каждую новую реальность. Они образуют петлю из известного и ощутимого прошлого, а затем связывают мир с неведомым и незримым будущим. Именно эти связи определяют настоящее. Это не книжные знания, которые можно постигнуть, несмотря на то, что сделать это все-таки трудно. При каждом удобном случае пролетариат ощущает на себе мощь противопоставленного ему образования, которое отличает сознательного человека от инстинктивного. Даже там, где так называемое буржуазное образование рухнуло, оно все равно дает техническое превосходство над пролетарием, чье пролетарское самообразование, несмотря на настойчивость, остается несколько примитивным, недостаточным, убогим и односторонним.

В данной ситуации мы ведем речь о знании крови, которое возвышает консерватора. Это природная способность проникать в действительность и утверждать свои унаследованные от природы воззрения. Это естественная склонность у лидерству, которое вновь и вновь выпадает в удел консерватору, так как оно принадлежит ему по пра-

ву. Он носит в себе титаническое наследие суждений, которое люди когда-либо оставляли людям. Этот человеческий опыт существует в сознании консерватора в виде традиций и заветов, которые он мог передать дальше. У реакционера эти знания застывшие, отмершие, и, как следствие, разрушившиеся. Революционер вообще отрицает человеческий опыт, он не знает и не хочет знать ничего о нем, так как смутно чувствует, что эти знания опровергают его представление о прошлом.

Мир реакционера рухнул, когда он обесценил свои принципы, а жизнь с ними стала привычкой. Это произошло тогда, когда постоянно свершающийся консервативный процесс превращения настоящего в будущее утратил свою жизненную движущую силу. Революционер пребывает в иллюзии, что вместе с этим крушением настало мгновение, когда бытие будет определяться совершенно новыми принципами, которые родились в его голове и которые, по его мнению, можно будет навязать настоящему. Эти умозрительные законы еще не стали событием в истории, однако они уже трактуют прошлое как историческое и злосчастное время, а будущее характеризуют как неопределенную, но безоблачную эпоху. Революционер создал новое летоисчисление, которое делится на два периода. Первый начинается с появлением жизни на Земле и длится до Карла Маркса, второй — исчисляется от Карла Маркса и длится до конца земной жизни. Однако против незаконных притязаний этой иллюзии выступает сама непрерывность человеческой истории. Если мы допустим, что в один момент революционер уничтожил «прежнее общественное устройство» и стер с лица Земли все его следы, то в тот же самый день история как консервативный закон движения вновь начнет свой бег. Временам, которые возомнят себя подводящими черту, история воздаст насилием. Мировоззренческие духи проигнорируют декреты, которые якобы создают новый мир, умершее вновь станет живым.

Непрерывность и консерватизм дополняют друг друга. Это грани того высшего принципа, который лежит в основе всего происходящего. Коммунизм имеет в лучшем случае семьдесят пять лет, во время которых пролетариат, который обязан был победить, должен подготовить мир к классовой борьбе. Но этим семидесяти пяти годам противостоят совокупность тысячелетий, космическая природа нашей планеты, биологическая природа населяющих ее существ, а также человеческая природа, которую не смогла исправить и подавить самая великая, самая духовно всесторонняя революция — явление Иисуса и возникновение христианства. Эти годы обратят против себя расовые особенности, влияние культуры, законы геополитики, которые переживут любые изменения исторической авансцены и действующих на ней людей. Им подчинены даже Христос и христианство. Ими были вызвано влияние, которое оказывал античный человек на средиземно-

морский регион, пока Европа не оказалась полностью трансформирована нордическим человеком. Для революционера история начинается с него самого. В этом отношении Маркс говорил о пролетарском движении как о «независимом движении абсолютного». Но он перепутал движение и самодвижение, а потому не видел того, что все движущееся перемещается отнюдь не само по себе, а приводится в движение тысячелетиями, оставленными позади.

Марксизм полагал, что может не считаться с этой непрерывностью человеческой истории. Он верит в то, что условия, в которых человек сам творит свою историю, сокрыты в материальных предпосылках и жизненных обстоятельствах. Марксизм полагает, что после того, как будут полностью раскрыты эти условия, он в состоянии сделать грядущую историю человечества полностью материальной.

Но куда важнее духовные условия. В тонкой брошюре, содержащей памфлет, называемый коммунистическим манифестом, непритязательные социалисты хотели бы увидеть книгу Фауста. Но против нее восстали Святой Августин и Данте, мифы древности и средневековая мистика, протест, критика и идеализм немецких людей нашего величайшего времени. Против подмены европейской культуры пролетарским культом выступают формы, которые глубоко и неизгладимо отпечатались на нашем восприятии вещей. Против эпохи космополитических масс, которая должна быть сломлена, поднимается национальная история каждой отдельной страны.

Пример России подтверждает это. Повсюду в мире коммунистический эксперимент наталкивается на консервативные силы, повелевать которыми революционер не в состоянии. Русские ли это или европейские силы, но они определяют политическую действительность. Ленин при случае упоминал эти силы. Он как теоретик говорил об «остатках прежнего», которые мы можем, отмечал он, наблюдать «повсеместно в новом», «как в жизни и природе, так и в обществе». Наблюдение, сделанное Лениным, могло иметь решающее значение. Но он не извлек из него никаких выводов. Он всего лишь констатировал факт. Как русский он обладал исключительным чувством понимания процессов и состояний. Являясь революционером, рационалистом, фанатичным поборником идей прогресса, сознание которого было одержимо эволюционными представлениями, он все-таки смог даже в этом увидеть проявления прошлого. Но как государственный деятель, который должен был ставить опыты над людьми, над собственным народом, над своей страной, он во всяком случае признавал, что между «новым», которое он создавал, и «старым», которое ему досталось, существовала связь. А именно консервативная взаимосвязь, с которой революционер не мог не считаться. Отныне умножение жизни зависит от того, в какой степени будет восстановлена эта взаимосвязь, от

времени и от силы этого процесса, от взаимоотношений, которые, порвав с революцией, вновь станут консервативными. Для консерватора «старое», о котором говорил Ленин, является не остатком чего-то, но цельным явлением. Явлением вездесущим, всеобъемлющим, неувядающим. А новое «является» всего лишь продуктом времени. Если «старое» застаивалось, превращаясь в «привычное», если консервативное становилось реакционным, то «новое» должно было вновь привести их в движение. Определенно революция будет иметь именно такое воздействие, только если она закончится не полнейшим развалом, но всеобъемлющим обобщением.

Но это отныне будет не революционное действие. Не будет никаких революционных заключений, а только консервативное обобщение, которое жаждет своего исполнения. Россия сегодня уже проявляет признаки этого процесса. Когда Ленин изменил форму русского эксперимента и как вождь большевистских «правых» через свои взгляды и свое влияние определил дальнейший ход революции, то этими действиями он был обязан своему тайному и подавленному консерватизму. Напротив, в Германии революционное мышление не было самостоятельным, оно было зависимо от Маркса, от Ленина, от России. А потому непосредственное воздействие оказалось направленным на консервативную идею. Под ударами судьбы консерватизм начал вспоминать о предпосылках своего существования в мире, которые внешне могут показаться полностью трансформированными, но в действительности они сохранили свое подчинение законам движения и принципам сохранения, которые всегда уравновешивали друг друга. Теперь консерватор возьмет на себя проблемы революции, которые не смогли решить ни пролетариат, ни демократия. Он предложит третий путь решения данных задач. Третий путь, являющийся великой консервативной традицией, которая переживет любую историческую эпоху и в конце концов окажется правой. Когда консерватизм основательно проанализировал проблемы государства и общества, проблемы человеческого сосуществования, он копнул огромную глубину. Но впоследствии консерватизм позволял засыпать эти глубины, в которые своими корнями уходили национальные и жизненные условия европейской жизни. Но протестное движение, носящее консервативное имя, вернется к этим корням.

Согласно признакам, можно говорить, что и в России, и в Германии «вторая фаза» революции будет носить консервативный характер. Впрочем, революционер все еще наивно полагает, что она будет коммунистической. Столкнувшись с несоответствием действительности, он натужно пытается спасти свою теорию. Ленин, выдвинувший идею «привычки», в очередной раз обнадеживал революционера тем, что человеческая натура при условии соответствующего коммунистиче-

ского воспитания рано или поздно бы «привыкла» к «элементарным правилам человеческого сосуществования без насилия, без подчинения, без принудительного государственного аппарата», как формулировал сам Ленин. Вновь и вновь Ленин возвращался к этой мысли о «привычке». Он стремился сделать ее правдоподобной, стремился убедить в том, что люди, которые придерживались «сохраняемых на протяжении тысячелетий традиционных правил», должны быть отлучены от них и заново к ним «приучены».

«Привычка» — это последняя надежда революционера. Но эти чаяния носят уже консервативный характер. Мы полагаем, что это уже почти реакционные упования. Консерватор, выбравший третий путь, не может довольствоваться привычками, которые являются застойным идеалом и более подобают стаду, унижая тем самым человеческое достоинство. Консерватор хочет защитить взаимосвязь сохранения и движения, в которой человек сберегает себя и свои ценности.

Революционер хочет «нового», о котором говорил Ленин. Он хочет его только ради самого себя. Он продвигает «новое» и ставит его выше всего остального. Консерватор же придерживается убеждения, что это «новое» возникает, но не из рамок «старого», а из «целого», которому он принадлежит. Революционер исходит из его целей — как мы полагаем, абсолютно недостижимых. Революционер мысленно сформулировал эту тенденциозную цель и полагает, что она достижима. Он свято уверен в ее реальности! Будущий мир, который должен быть создан революционером, мыслится им только лишь как конструкция, которая была предсказана марксизмом. В этом сила революционера. Однако в этом же кроется и его слабость. Он вербует массы, предлагая им однобокое видение мира. Прибегая к скудной, но разрушительной логике классовой борьбы, революционер смог завоевать пролетариат, мышление которого доросло до осознания лишь собственных пролетарских проблем. Но он неизбежно столкнется с превосходством более сложной, более разветвленной и совершенной разносторонней проблематикой, которой является сама жизнь. Жизнь, которую надо трактовать в консервативном смысле как нечто целое, небольшой частью которого является пролетарская жизнь.

Целое всегда исчерпывающе. А часть всегда недостаточна. Консерватор не может следовать логике революционера, которая является рационалистическим насилием, в соответствии с которым предпринимается попытка решения проблем части, отдельного класса в ущерб целого — человечества, народа и даже отдельного человека. Когда революционер говорит о человеческом «сосуществовании», то не исключено, что он вместе с тем обнаруживает цели, которые признает и консерватор. Действительно, то, чего хочет революционер, и то, чего

добивается консерватор, находится в одной политической плоскости. Но консерватор никогда не проникнется ребяческим просветительным духом и не станет считать «государство аппаратом насилия». Напротив, для консерватора государство — это средство и само выражение человеческого сосуществования. Но достижение этих целей возможно, если пути их осуществления ищут не на революционном, а на консервативном уровне, на который, как мы видели, сам революционер непредумышленно выходит. Остается лишь ответить на вопрос: должен ли консерватор преодолеть революцию или же революционер должен сам по себе стать консерватором? И тогда оба эти воззрения, представители которых борются друг против друга, будут взаимно сближаться.

Революционер живет присущими ему представлениями об окончательной власти. Но он чувствует себя пролетарием, а потому может лелеять всякого рода надежды на ее достижение. Революционер полагается на массовое движение. Он доверяет его идеям.

Даже представители консервативного лагеря вынуждены признать, что революция привела мир в движение. Но в то же время вызванный ею экономический переворот является не столь впечатляющим, как последствия мировой войны. Но все-таки мы можем говорить, что по ходу революции мы достигали момента, когда мы освободились от капитализма во имя наступления социализма, как когда-то капиталистический век сменил феодальную эпоху.

Консерватор берет за основу данность. Но при этом пытается дистанцироваться от превратностей жизни. Он стремится определить истинное значение происходящих событий. Он желает придать им несущую силу. Он хочет предвосхитить время и узреть предпосылки воплощения грядущего в пространстве. Именно это отличает консерватора от революционера. Политически сознательного человека от политически наивного. Именно из этого проистекают все различия в политической стратегии, за которыми следует разница в политической тактике.

Революционер исходит из того, что человек по своей природе «хороший», но был озлоблен историей и, конечно, «плохой» экономикой. Консерватор, напротив, исходит из того, что человек сам по себе слаб, а потому вынужден становиться сильным. Революционер доверчиво полагается на прогресс, который, как он полагает, является для людей добром в той степени, насколько изживает зло экономики.

И революционер ожидает движения «абсолютного большинства», которое будет вызвано к жизни пролетариатом, взбудораженным идей классовой борьбы. А это большинство захочет наступления «действительно массового прогресса» во всех областях «общественной и личной жизни».

Консерватор является великим скептиком. Он не верит в какой-то прогресс, который по воле разума, существует только ради прогресса. Консерватор, наоборот, верит в катастрофу. Он верит в беспомощность людей, которые не в состоянии ее предотвратить. Он верит в неизбежность судьбы и в страшное разочарование, которое постигнет в конце пути всех излишне доверчивых людей. Консерватор доверят только силе милости и милостивому выбору, которые предоставлены человеку. Человек должен уловить судьбоносные знаки, поступающие ему от других людей, народов, времен. Только тогда ему удастся разобраться с делами.

Если революционер пытается убедить других в утопии, то консерватор опасается не победы мировой революции, а торжества демократии. Он боится наступления космополитической, западнической, либерально-формальной продажной демократии подавляющего меньшинства богатеев. Он страшится демократии, которая при всей ее бессмысленности поняла, как можно манипулировать большинством. А потому консерватор совершенно напрасно борется против коммунистического пролетариата.

Консерватор в своем историческом видении будущего отчетливо представляет, что тогда, когда революционное движение не удастся сделать консервативным, то Германия будет погублена демократией и демократической борьбой, которая раздирает Европу на части. Демократия дарует нам на века горе, разногласия и собственную ничтожность.

XI

Теперь у нас есть опыт русской и немецкой революций, из которого мы почерпнули, что своевольная судьба неизменно берет верх над любыми нашими несостоятельными расчетами. Когда русская революция перевернула всю Россию, а Германия все еще билась в революционных конвульсиях, то многие немцы позволяли себе следующее сравнение: мол, у России было много времени, а у Германии это времени нет.

На самом деле все было с точностью до наоборот. У России как раз не было времени, а у Германии его было предостаточно. Но получилось так, что сейчас, когда Германия ожидает помощи, каждый миг является судьбоносным. К тому же индустриальная страна совсем по-иному переживает свое крушение, нежели аграрная держава. Когда после 1918 года Германии представилась возможность, то ее снова стали ожидать потрясения — революционные или контрреволюционные, в данной ситуации абсолютно не важно. С одной стороны, это было проявлением внешнеполитического давления, но с другой стороны, они были расплатой за экономическое положение Германии, за

промышленные кризисы и коммунистические путчи, люмпенизацию, которая охватила все образованные слои и вела не столько к восприятию идеи классовой борьбы, сколько к борьбе за свободу. Германии надо оправиться от потрясений, вызванных революцией, и ударов, которые нанесли в Версале ее враги. И Германия ждала. Сегодня мы можем сказать, что ожидание стало ее судьбой, хотя, собственно говоря, страна не знала, чего она ожидала. Укрепления России? Сознательности Америки? Английского решения? Союза с нейтральными странами? Или все-таки собственной готовности? До настоящего момента главной угрозой для Запада была Россия. Теперь этой опасностью стала Германия. Но эту опасность может представлять только консервативное протестное движение, которое не будет оставаться участью определенной партии, но станет ненамеренным спасительным движением народа, столкнувшимся с реальной угрозой. Только тогда протестное движение станет самозащитой народного авангарда, который отбросит опасность туда, откуда она прибыла.

Даже революционер не сможет уклониться от этой оборонительной борьбы, которая после мнимого окончания мировой войны должна положить конец битве народов. Но революционер хочет вести эту борьбу во имя собственных доктрин, которые он выдвигает на оборонительный рубеж. Он собирается сражаться во имя классовой борьбы, победу которой он намерен обеспечить, во имя лозунгов, которые просочились к нему из России. В итоге он будет вынужден вести войну под двойными лозунгами, которые направлены в целом против «капитализма», но при этом он подчеркивает, что ведет борьбу против «капитализма Антанты».

Но при этом революционеру недостает либо честности, либо логичности, чтобы отличить агрессивный французский капитализм от вымотанного немецкого империализма. А потому он обязан верить в классовую борьбу и то, что пролетариат выступает как против одного, так и против другого. Но при этом он не замечает, что одно является либеральным порождением, а другое — по сути социалистическим. Революционер, который придерживается интернациональной теории, приравнивает все человечество к пролетариату и на самом деле представляет своей собственный народ мучителем этого пролетариата. Это тот пролетарий, который до сих пор придерживается партийной политики. Это делает его позиции шаткими и ненадежными.

Консерватор, наоборот, принимает участие в этой оборонительной борьбе во имя жизни, во имя нации, во имя ее сохранения, которое возможно только при наличии свободы. И это делает его дело надежным. Эта борьба становится непосредственным делом всех естественных людей, которые, чтобы начать сопротивление угнетателям, не прикрываются надуманными доктринами, а полагаются на элемен-

тарные чувства. Мы надеемся, что жизнь в конце концов повсеместно и всегда будет сильнее всяческих концепций.

Революционер и консерватор имеют общего противника. Им является отнюдь не реакционер. Реакционер — всего лишь препятствие, с которым без проблем справится революционер. Истинный консерватор раз за разом подавлял в себе реакционные порывы. Но, несмотря на это, реакция до сих пор возможна. Но только в том крайнем случае, если консерватор и революционер откажутся действовать. Но реакция бы означала лишь откат, который допустило разбитое человечество. Она заняла бы место оставшейся жизни, которую будут вынуждены безразлично влачить разочарованные люди. Они смиренно довольствовались бы любым существованием. Эта жизнь не будет иметь для них смысла, так как не будет обладать предназначением для творческих представлений человека и народа. Не суть важно, революционно творческих или консервативно творческих представлений, так как это существование будет замкнутым, вчерашним и мертвым, как и сами реакционеры. Как мы помним, времена реакции всегда были никчемными, пустыми и бессмысленными. Реакция на мировую войну и революцию была бы такой же жалкой.

Общим противником является либерал. Эта мысль живет в инстинктивных чувствах революционера и сознании консерватора. Впрочем, революционер называет этого врага несколько по-иному. Он дал ему имя капиталиста. Он интерпретирует его с экономической точки зрения и видит в нем эксплуататора масс, угнетателя современного пролетариата. Во имя получения прибыли капиталист отказывает пролетариату в праве на жизнь. Консерватор, наоборот, испытывает к либералу застаревшую вражду. Консерватор видит в либерале духовного флибустьера, политического носителя рационалистических и утилитаристских жизненных установок. Замаскировавшись, этот враг мог проникнуть в недра любой формы государственного правления, главное, чтобы она могла разлагать религию и даже подрывать позиции консерватизма. Сегодня либерализм воплощает в жизнь свою тиранию от имени свободы. Мы уже познали лживость его оправданий, равно как и беспардонность его действий. Мы уже знаем о преступлениях крупной французской буржуазии, которая была заинтересована в развязывании войны, ради достижения собственных целей. Мы уже знаем о планах европейской гегемонии, разработанных ее честолюбивыми адвокатами и благочестивыми генералами, которые притащили на наши земли туземные части и белокожих оккупантов.

Революционер любит увлеченно говорить об исторических эпохах, которые сменяют друг друга. Но его взгляд устремлен исключительно в будущее, в которое он хочет затащить сам себя. Он марширует про-

летарским шагом, будучи уверенным в приближении классовой битвы, в которой он должен одержать марксистскую победу.

Консерватор, напротив, придерживается фактов, причем не только экономических, но политических и даже моральных. Хотя консерватор не готов скидывать со счетов экономические факты, так как он, в отличие от революционера, отнюдь не уверен, что капиталистическая эпоха доживает свои последние дни. А может быть, он находится только в самом начале пути, а мировая война разрушила мировую экономику лишь для того, чтобы освободить дорогу капитализму. Консерватор только знает, что мир непременно станет таким, каким он является от природы — консервативным. И консерватор несет ответственность за то, что любые изменения мира (хотя бы в силу его природной сути) могут закончиться кризисными, катастрофическими и совсем непацифистскими способами. Но он также ответственен за то, чтобы подпереть, сплотить и объединить этот мир в политическом смысле на уровне государства, в нравственном отношении на уровне человека.

А еще консерватор знает, что мир был консервативным до того момента, пока в нем не появился либерал, а потому для того, чтобы мир стал снова консервативным, надо искоренить либералов. Консерватор продолжает свою борьбу против либерала, осознавая, что она является продолжением столкновения, которое началось в то время, когда Просвещение погрузило мир во тьму. Консерватор понимает, что эта битва длится три столетия и может длиться еще столько же, пока одно из воззрений не одержит окончательной победы.

Революционер не видит этих связей. Он не видит их хотя бы потому, что он сам по своей сути вышел из Просвещения, разделяет ее обман и самообман, потому что он является радикальной разновидностью либерала. У него нет никакого цельного внутреннего восприятия мира, ему чужды нравственная чистота, порядочность и целенаправленность. На протяжении последних трех столетий его терзает пустота, которую он почерпнул у Просвещения. Он обращен ко времени, но понимает только современность. Согласно его представлениям история начинается с него самого. И он намеревается своим мозолистым кулаком проложить путь в тысячелетнее царство.

В этом заключается одновременно и сила, и слабость пролетария. Ему не хватает связей с прошлым, с коим он не считается, и с будущим, которое он себе представляет. И прежде чем пролетарий осознает, что консерваторы или революционеры (но не пролетарской направленности) обошли его и достигли того, чего ему не хватает, он потеряет возможность определять свой настоящий день. Разве либералы не уткнулись ему в спину своими пулеметами и танками, прессой и пропагандой, ликующим милитаризмом и торжествующей идеологией?

Консерватор видит эту опасность. Революционер станет его соратником, если будет просто человеком, а не революционным деятелем. Консерватор не обращается к партийным немцам, так как считает их, состоящих и в левых, и в правых партиях, воплощенным злом, вредящим собственной нации.

Консерваторы третьей партии протискиваются между всеми противоречиями политических партий и обращаются не к политическим идеям, которые искалечили Германию и Европу, а к человеку, сокрытому в каждом немце, и немцу, который отыщется в человеке. Консерватор верит, что в Германии имеется достаточное количество людей, которые сохранили ясность понимания и не были изуродованы просветительским разумом. Он верит в людей с правильным, простым, скромным пониманием, но с сильными, мужественными, извечными чувствами и стремлением действовать в соответствии с ними. Консерватор верит, что в Германии еще живет народ, состоящий из подобных людей. Он верит, что, пройдя через все страдания, этот народ найдет свое предназначение в империи, которую он так ожидает. И он верит, что страна этого народа будет приведена в порядок, после того как ее испохабил порочный европейский мир.

Утратила ли благодаря революции консервативная идея свой смысл? Нет. Она его заново обрела.

ТРЕТЬЯ ИМПЕРИЯ

Мы должны иметь силы жить среди противоречий.

I

Третья партия предполагает третью империю.

Это партия непрерывности немецкой истории.

Это партия всех немцев, которые хотят сохранить Германию немецкому народу.

Немцы всех партий могут воскликнуть: мы ведь тоже хотим этого! Мы охотно верим вам. Но мы слишком хорошо знаем, что думает о Германии ваша партия, и как вы хотите перекроить жизнь в ней в соответствии с вашей программой.

Вы протягиваете собственные знамена, которые бы хотели навязывать стране. Вы приходите с красным знаменем, которое является лишь заманчивой тряпкой, окрашенной в цвет бездуховной крови. Она не сможет быть нашим флагом, даже если вы водрузите на нее серп с молотом и пятиконечной звездой. Или достанете черно-красно-золотое знамя, которое когда-то было символом прекрасных

заблуждений романтиков, считавших его стягом Первой империи. Но со временем это знамя потеряло свою позолоту, которую нанесла не нее экзальтированная молодежь. Или вы все еще храните черно-бело-красное знамя Второй империи, которое, воплощая собой идею могущества, развевалось над всеми морями еще до того, как смогло завоевать сушу. Но вот настал тот день, когда это знамя, являвшееся объектом нашей исключительной гордости, пошло ко дну в водоворотах Скапа-Флоу.

Сейчас над Германией реет только одно знамя, которое является символом наших невзгод и отражением нашего существования. Это то единственное знамя, которое не терпит рядом с собой никаких других цветов, а люди, проникнувшиеся его мрачностью, более не вздымают вверх пестрых вымпелов и праздничных штандартов. Над Германией реет черное знамя нужды, унижения и затаенной обиды, и только самообладание не позволяет стать ему знаменем полного отчаяния. Это черное знамя беспокойства мысли, которая день и ночь вращается вокруг участи, уготованной нашей разоруженной стране столковавшимся против нее миром. Это знамя сопротивления людей, которые не хотят покорно мириться с истребительной деятельностью, которая начнется с расчленения нашей страны, а закончится искоренением нашей народности. Это знамя выступления немцев, которые решились бросить в лицо обманщикам их подлую ложь, которые намерены спасти нацию и сохранить империю.

II

Сегодня это волевое устремление именуют не консервативным, а националистическим.

Оно стремится к сохранению в Германии всего того, что действительно достойно сохранения. Это стремление сохранить Германию во имя самой Германии. Это вполне осмысленная воля.

В отличие от патриотизма национализм не говорит о том, что немецкое достойно сохранения, так как оно является немецким. Для националиста нация не является четкой, ощутимой и уже исполненной самоцелью, которая почерпнута им из прошлого.

Национализм непременно ориентируется на будущее нации. Национализм является консервативным, так как он осознает, что будущее невозможно без укоренения в прошлом. Национализм является политическим, так как понимает, что прошлое, равно как и будущее, может быть обеспечено только тогда, когда оно защитит нацию в сегодняшнем дне.

Но в духовном смысле национализм выходит далеко за пределы настоящего. Если бы мы рассматривали только прошлое немецкой

истории, то мы были бы весьма близки к тому представлению, что она в нынешний день завершилась. Нигде не написано, что народ обладает правом на вечную жизнь. Нигде не зафиксировано, что он вправе ссылаться на убогий сегодняшний день, чтобы все-таки урвать от него свой кусок. Для каждого народа рано или поздно приходит час, когда он умирает или заканчивает жизнь самоубийством. Вряд ли можно придумать более великолепную кончину для великого народа, чем гибель в ходе войны, когда весь мир должен напрячься, чтобы сокрушить одну-единственную страну.

Национализм постигает нацию через ее предопределение. Национализм понимает ее через противоречия, существующие между народами, а потому каждому из них он поручает свою собственную миссию. Немецкий национализм является в своем роде выражением универсализма. Он во что бы то ни стало обращен к идее европейского Целого, но не для того, чтобы «всецело раствориться», как выражался возмужалый Гёте, но дабы утвердить нацию как уникальное явление, как нечто особенное. Национализм есть выражение немецкой воли к самосохранению. Он пронизан волнением, которое нашло выражение в словах пожилого Гёте, писавшего, что искусство и наука являются лишь «слабым утешением» и что «гордое сознание» никогда не сможет заменить «принадлежности к сильному уважаемому народу, которого опасаются». Романтический национализм сосредоточен лишь на самом себе. Немецкий национализм мыслит себя в связях с другими вещами. Он думает об изменении сути истории. Национализм намеревается сохранить немецкое отнюдь не потому, что оно является немецким. Как мы видели, это могло бы значить желание сохранения прошедшего. Наоборот, немецкий национализм хочет воплотить немецкое в грядущем, в наступающем дне, в революционных событиях предстоящей эпохи. Он хочет сберечь Германию, так как она является центром, опираясь на который Европе все еще удается сохранять равновесие. Причем Европа опирается не на Запад, куда Паннвиц поспешно поместил творческое средоточие нашей части света, и не на Восток, которому Шпенглер опрометчиво вручил право наследования континента. Он хочет сохранить немецкость не для того, чтобы затем отказаться от нее, как призывают слабаки из космополитических партий, являющиеся продуктом вырождения отбросов нации. Национализм предполагает сохранение немецкости отнюдь не для того, чтобы променять ее на какую-то «наднациональную конструкцию», с которой Фр. Фёрстер, этот итог упадка немецкого идеализма, связывает наивные упования своего помутненного разума. Он верит в превращение «серединной европейской страны» в «центр гуманизма», который этот ренегат все еще наблюдает у французов. Национализм хочет сохранить немецкое для того, чтобы нация осознала, что немецкость

проистекает из решения задач, которые не предназначены для других народов.

Есть лишь одна извечная проблема, из которой происходят в свою очередь австрийские и прусские задачи, и опять же миссия Бисмарка. Мы сейчас окончательно изведали, что справиться с этой задачей мы сможем, лишь повернувшись на Восток, когда у нас за спиной на Западе будут защищенные тылы. После ошибок западнических революций нам осталась одна-единственная и самая немецкая задача — сделать себя свободными. Фёрстер называл Бисмарка оплошностью немецкой истории. Но Бисмарк, являвшийся создателем Второй империи, шагнет за рамки своего творения и станет основателем Третьей империи.

Консерватизм, который соответствовал самодостаточному государству ради государства, решал проблему национальности на слишком примитивном уровне. Потому он и потерпел крах.

Патриотизм, в коем нас воспитали, уже пытался объяснить национальность при помощи понятий о стране, в которой родился человек, и понятий о языке, на котором он разговаривал. Но и этого было недостаточно.

Немцем является не только тот, кто говорит на немецком языке, кто происходит из Германии или даже является германским подданным. Страна и язык являются естественными основаниями нации. Но историческую своеобразность нация обретает от того, на какой манер жизнь людей одной крови воплощена в духе. Жизнь в постижении своей нации оказывается жизнью в осознании ее ценностей.

Национальный консерватизм намерен сохранить эти ценности: сохраняя традиционные ценности, поскольку они сохраняют у нации способность к росту, и приобретая новые ценности, постольку они приумножают жизненную силу нации.

Нация — это сообщество, хранящее данные ценности. А национализм есть осознанное признание этих ценностей. Народы, которые в качестве наций обладали познанием этих ценностей, в годы мировой войны отстаивали не только свою страну и свой язык, но и свою культуру. Мы проиграли этим народам, несмотря на то, что были сильны в государственном, а стало быть, и в военном отношении, то есть во всем, что должно было защищать. Но мы были поразительно слабы во всем, что требовалось защитить.

Мы вообразили, что даже если мы проиграем войну, то это будет всего лишь разгромом государства. И только сейчас мы поняли, что это стало поражением нации.

Мы должны сделать новой отправной точкой консерватизм, который стремится не к сохранению государства, но к сохранению нации. Мы должны заявить, в чем ошибался наш патриотизм, что явля-

ется национализмом в настоящий момент и что он значит для нашего будущего.

В Первой империи мы ясно осознавали наши ценности. Мы связывали с этой империей глубокие и могучие средневековые представления об особом европейском предопределении, которые подкреплялись верой в христианское и имперское предназначение немецкого народа. Это империя, созданная ради самой империи. Мы восприняли от Первой империи бесстрашное и надменное самосознание, которое относилось в первую очередь к нашей собственной персоне, но это самосознание было присуще народу даже тогда, когда рухнула империя. И после этих событий мы все еще продолжали говорить о нашей когда-то очень прославленной нации.

Но мы были аполитичным народом, а потому не распространили это самосознание на все немецкое общество. Носителями этого самосознания являлись князья, которые, выработав его, очень редко пускали на пользу простых людей. Сама же нация не смогла сформировать собственного самосознания, которое бы базировалось на общих для всех ценностях. А стало быть, нация не смогла утвердить свое политическое единство. Это огорчало отдельных немцев, которые все-таки жили осознанием этих ценностей и выводили из них миссию, присущую нации. Они пытались пробудить в народе осознание этих ценностей, подобно тому, как оно было пробуждено в те времена у французов, испанцев, англичан. Но эти немцы, постигавшие свою национальность на чужбине, в межнациональных конфликтах, оказались непонятыми, когда попытались дома поделиться своими переживаниями с родным народом.

В этом кроется причина того, почему немецкие националисты, начиная с Ульриха фон Гуттена, постоянно оставались аутсайдерами, не воспринимаемыми нацией всерьез. Это объясняет, почему до сегодняшнего дня отвергалась их деятельность. Людям не было до них дела. Люди предпочитали заниматься своими делами. А государство во имя государства следило за тем, чтобы они делали это в тиши и спокойствии. В свою очередь оно требовало от людей повиновения и признательности. Патриотизм, который государство, подобно школьному учителю, преподносило сельским детям, являлся непреложной обязанностью. Националисты же, напротив, были для подобного патриотизма неким неудобством. О них вспоминали только во времена великих бедствий. Но им никогда не позволяли стать тем, для чего они были предназначены — быть лидерами нации. По возможности государство пыталось действовать самостоятельно. Оно стремилось делать для себя то, что эти немцы страстно хотели делать ради нации.

Адвокаты этого государства ради государства несомненно ощущали ту пустоту, которую оно оставляло в душах людей. Впрочем, сами

они не испытывали таковой, ибо во всех делах они привыкли доверять государству. Чтобы сохранить верноподданность немцев, государство попыталось заполнить этот духовный вакуум. Оно ощутило потребность духовно подкрепить привычное патриотическое отношение граждан к своему государству. В качестве оправдания этого патриотизма выступили легитимистские и религиозные принципы. Государство оперлось на престол и алтарь. Изначально оно ссылалось на мистерии, сокрытые в этих двух понятиях.

Государство ссылалось на монархическое устройство мира и христианство, причем оба эти понятия дополняли другу друга и обеспечивали взаимное сосуществование. Государство указывало, что монархия несет правовую ответственность за жизнь людей, а христианство — духовную ответственность. Государство указывало на единство этих взаимодополняемых понятий. Земное Отечество дополнялось Отечеством Небесным, создавая тем самым фундамент, на котором базировалось государство. Престол и алтарь обеспечивали неизменность земных дел Волей Божией. Государство же выступало в роли защитника этих принципов.

Но в итоге оба эти понятия, как и сам патриотизм, улетучились. Они стали всего лишь привычкой, а потому утратили свою первоначальную возвышенность. Они стали всего лишь бессодержательными формулами, которые не могли ничего дать людям. Они стали условностью, с которой еще можно было как-то смириться в мире, который не испытывает людей на прочность. Но когда однажды в случае крайней необходимости этим принципам самим пришлось пройти испытание, то немецкий народ в роли нации его не прошел.

Так монархический принцип покинул наш мир. Он пропал в личностях, которые восседали на тронах. По сути, он исчез задолго до того, как крушение монархии показало, что это были не князья, а самые банальные люди. Именно по этой причине народ дозволил низвергнуть их. Это стало возможно, так как народ и не собирался мешать их свержению, ибо не верил в их символы и не вознамерился их оберегать. Это стало возможно потому, что сами представители монархии проявили себя как тривиальные бюргеры, в чьей трагедии не было трагики, чьи мистерии трансформировались в частную жизнь.

В христианстве шли схожие процессы. Несмотря на то что они были не настолько катастрофическими, но все равно церковь утратила связь с общинами, подобно тому как князья утратили связь с народом. Следствием этого стало неуклонно растущее отчуждение от церкви, которое поначалу не имело ничего общего с атеизмом, равно как и отстранение народа от монархии не имело антипатриотических признаков. Но если уж престол не мог поддерживать государство, то алтарь не мог его спасти и подавно. Государство рухнуло само по себе.

Оно рухнуло вместе с его основой, двумя столпами, так как ошибочно полагало, что могло сделать «патриотизм», на который всегда опиралось государство, достойной заменой «национализму», которого оно всегда избегало.

Однако время и история сами подготовили конец этого государства. Осталась только нация. И именно она может породить новую мистерию любви к Отечеству.

Рухнувшее государство в конце концов превратило патриотизм в обязательный для прохождения учебный предмет. Но по мере того как в целом в XIX веке разваливалась система образования (что стало особенно заметно в вильгельмовскую эпоху), оно все больше и больше ориентировалось на делание учащимися карьеры, на достижение социального положения и на извлечение экономической прибыли. На фоне этого крах патриотического воспитания был неизбежен.

Но из развалин, которые грозили похоронить под собой вместе с государством и нацию, сейчас пробиваются ростки протестного движения. Движения, которым станет консервативно-революционный национализм. Он желает, чтобы нация продолжала жить. Он хочет того же, что и старое государство, впрочем, как и любое государство. Но консервативно-революционный национализм исходит не из отвлеченных понятий, а из переживания. Он хочет наверстать то, что было упущено — сопричастность нации к ее собственному предназначению.

Мы восхваляем демократию не как жалкое явление, присущее общественным народам, но как великолепие народа государственного, что предполагает участие нации в своей судьбе — активное, энергичное и ответственное политическое участие. И мы узрели в пролетариате, в новом четвертом сословии, тяготение к ценностям, которые ранее были достоянием прочих сословий. Демократическое участие и пролетарская заинтересованность составляют ту сопричастность, которую национализм привил нации во имя нации.

Националистическое движение отличается от самовосприятия формальной демократии и классово сознательного пролетариата прежде всего тем, что оно является движением сверху, а не движением снизу. Сопричастность предполагает сознательность, а именно постижение тех ценностей, которым нация должна быть сопричастна. Эта осмысленность никогда не будет достигнута, если ей будет противостоять движение снизу. В этом смысле национализм сам намеревается проникнуть в низы. Передать национальное сознание можно только сверху вниз.

Только сознание в состоянии постичь, что предопределено нации. Только сознанию ведомы взаимосвязи национальных ценностей. Лишь сознание способно передать нации, что принадлежность к ней озна-

чает прямое касательство к сообществу, разделяющее данные ценности. Демократ, все еще расположенный к космополитической точке зрения, и тем более пролетарий, все еще приверженный интернациональному мышлению, охотно играют с представлением о том, что над языковым и пространственным уровнем якобы должна существовать некая универсальная сфера, в которой стираются все различия между ценностями различных народов. Националист, наоборот, отталкивается от этих ценностей как некой самобытности. В этих ценностях он видит дух нации, который именно через него приобретает свой образ. Эти ценности, как и все значимые явления, базируются на авторитете, который не переносит вариаций.

Ни в одной стране мира ценности не являются настолько загадочными и непостижимыми, насколько фрагментарными и незавершенными, но с другой стороны, вполне цельными, как в Германии. Здесь они подобны то внутреннему откровению, то неистовой битве миров, то чуткие, то могущественные, то приземленные, то возвышенные, то приближенные к действительности, то и вовсе нереальные. Именно в Германии они находят свое выражение в несовместимых на первый взгляд вещах. Ни в одной стране мира эти ценности не связаны настолько судьбоносно с национальной историей. Они являются и зеркалом, и обликом, и трагической исповедью немецкого человека, который творит среди противоречий эту историю. И он создает историю не для себя, но ради нации.

Ни в одной стране мира эти ценности не стремятся так к единству, как в Германии. К тому самому единству, которого мы больше так и не обретали со времен Первой империи, и которого мы так и не смогли достигнуть во времена Второй империи, и которое мы поручаем Третьей империи, которая, хотя и будет пребывать в противоречиях нашей истории, но воплотит в жизнь эти ценности.

III

Мы должны иметь силы жить среди противоречий.

Немецкая история знает множество починов, которые затем оказались окольной дорогой. Именно эти начинания приводили к нашим противоречиям. И будут приводить еще в будущем.

Мы никогда не следовали назначенной цели. Если же мы обозначали себе цель, то всегда нервозно достигали ее временного подобия. А если когда-то нам посчастливилось приблизиться к намеченному пункту, то, совершая шаг вперед, мы делали два шага назад, еще более удаляясь от заветной цели. И тогда мы устремлялись к новой, следующей цели, которая включала в себя и старую цель. Но для достижения новой цели требовались новые силы.

Мы были варварами, воспринявшими наследие средиземноморской культуры. Мы были язычниками, но стали истовыми поборниками христианства. Мы были племенами, но образовали из них народ. Мы отступились от наших богов и последовали за Спасителем. У нас были собственные герцоги, но мы выбрали себе короля. Мы начинали свою историю с партикуляризма, но затем стали претендовать на универсальную монархию. Мы поставили во главе нее императора, который разделил свое земное могущество с Римом. Мы были демократией свободных людей и в то же время аристократией, обладавшей феодальными наделами. Мы присягнули на верность Риму, мы признавали и поддерживали его, но в то же время мы оберегали земную власть от его духовных притязаний. Наши епископы ссорились с Папой Римским, а наши князья противились своему повелителю. Нашими добродетелями были преданность и строптивость. Мы отстаивали и политику гибеллинов, и политику гвельфов. Мы были и южными немцами, и нордическими германцами. Мы были мистиками на Западе и пионерами на колонизируемом Востоке. Мы изменили Штауффенам, когда те находились в зените своей славы. Мы ссорились из-за их короны, которую в конце концов передали инородцам. Мы пересилили распад империи через суверенитет земель. Разрушив великое, мы сплотились в малом. Мы проводили династическую политику и разрослись до уровня габсбургско-испанской империи, на которой никогда не садилось солнце. Мы не основали собственной столицы, но создали великую городскую культуру. У венских рубежей мы защищали Запад от Востока, но наши границы прорвали именно на западе, у Рейна. Мы противились расколу церкви, но на тридцать лет превратили нашу страну в арену религиозных войн, которую вели разные вероисповедания. Наши протестанты в лице кальвинистов и Лютера боролись друг с другом, позволяя распространяться контрреформации. Вестфальский мир поставил крест на попытках императора установить абсолютную монархию, но сделал Францию гарантом нашей немецкой империи. Князья раздирали страну на кусочки в то время, как императорский дом изматывал себя войнами за наследство. Пруссия заняла господствующее положение в Германии, но двадцать лет спустя после смерти Фридриха Великого Наполеон продолжил антигерманскую политику, начатую еще Ришелье.

Национальное сознание постепенно пробуждалось в стихах и научных теориях, но империя неуклонно распадалась. Немецкий идеализм вознес дух человечества на высший уровень, но народ идеалистов оказался под иноземным игом. Мы вновь обрели свободу и тотчас стихли. Мы были народом гениев, но начинали мы новую жизнь с манкирования Штейна, с непризнания Гумбольдта и недооценки Клейста. Мы позволили, чтобы другие народы догнали нас в том духовном превос-

ходстве, которое было у немцев в 1800 году. И целое столетие мы провели в улаживании внутренних немецких конфликтов, пока наконец не основали Вторую империю. «Доминирование Пруссии» и «объединение Германии» стали целями, которые дополняли друг друга, пока Бисмарку, наконец, не удалось укрепить прусскую идею для того, что подчинить немецкой идее любые другие. Но в конце своей величественной жизни Бисмарк был обеспокоен судьбами Германии.

Эти тревоги оказались оправданными. Империя, основанная Бисмарком, дала трещину в самом ее династическом основании. Но творение Бисмарка пережило это потрясение, коль скоро Вторая империя была всего лишь окольным путем, ведущим к единению нации. Сейчас надо напомнить о том, что Бисмарк заблуждался в своих выводах относительно нации, которую он водружал на династический фундамент. Будучи консерватором, он был заинтересован в долговечности своего творения, а потому постоянно соотносил между собой внешние угрозы и внутренние возможности. Он не исключал, что «немецкие династии могут быть неожиданно ликвидированы». Но при этом он дополнял: «Маловероятно, что сердца немцев будут биться в такт европейской политике, ориентированной на права народов».

Сейчас это маловероятное предположение стало реальностью. Но последствия пока еще не стали явными. Империя формально сохранилась[18]. Если Германия сейчас в чем-то и уверена, то только в чувстве сплоченности, которое объединяет всех немцев. Племена, в которых Бисмарк видел угрозу для национального единства, отныне стремятся другу к другу, а не размежевываются. Возможно, они стремятся за рамки внутренних границ, которые со времен раздробленности произвольно пролегли по немецкому ландшафту. Они стремятся к собственным племенным границам, в которых они смогут обрести свою взаимную привязанность. Но люди сейчас ощущают в первую очередь лишь то общее, что объединяет их как немцев, вне зависимости от того, являются ли они южными или северными немцами, западными или восточными немцами. Проблемы унитаризма и федерализма оказались преодоленными. Баварцы, на сепаратизм которых перед войной беспочвенно возлагали большие надежды наши враги, сегодня являются тем самым племенем, которое истово следует за идеей национального обновления. С другой стороны, рабочие на окраинах страны противятся посулам наших врагов и крепко держатся за империю. И ни полякам, ни французам не сломить этого сопротивления. Эти рабочие на собственной шкуре испытали, что не существует ника-

---

[18] Даже во времена Веймарской республики практиковалась приставка «рейхс» — «имперский». Канцлер республики именовался рейхсканцлером. Президент Германии назывался рейхспрезидентом. Денежная единица Германии, как и прежде, звалась рейхсмаркой.

кого обещанного им Интернационала, но есть только нация, к которой они принадлежат. Все приграничные районы в одночасье ощутили себя марками[19]. И не спеша от национальных границ внутрь страны проникает понимание того, что сейчас сама Германия превратилась в одну единую пограничную заставу, которой предстоит справиться с врожденной ненавистью народов, которые через Версальский диктат пытаются застопорить наше немецкое существование. И это превращает нас из народа в нацию.

Противоречия, которые всегда сопутствовали нашей истории, вновь и вновь дают знать о себе. Сегодня оживают даже самые древние противоречия, которые мы уже давно считали умершими. Политический смысл есть даже в том, что сегодня имеются немцы, которые сознательно возвращаются в далекое прошлое, дабы почерпнуть там принципы, положенные в основу Первой империи. Есть свой смысл в том, что имеются немцы, которые погружаются в средневековое, сословное, мистическое состояние. Или даже еще глубже — в архаичное и мифическое состояние, в котором они ищут начала, каковые мы могли бы снова использовать. Есть свой смысл в том, что имеются немцы, которые предпочитают западничеству, прогрессу и цивилизации доисторические культы. Есть свой смысл в том, что среди нас имеются первохристиане и полоняющие Донару, что они отдают предпочтение именно романтичному варварству, а не каким-то иным формам.

С противоречиями более позднего времени происходит что-то необычное. В первую очередь это касается политических противоречий. Их прекращают воспринимать в качестве противоречий. Они исчезают. Мы уже смогли однажды преодолеть противоречие, которое раскололо нацию, когда Первая империя находилась на вершине своего могущества. Этот конфликт выражался в кличе: «Бей Гвельфов! Бей Вайблинга!» Однако прошли те времена, когда эти призывы привели к братоубийственной войне, и сейчас могилы в Палермо мы чтим так же, как и могилу Льва Брауншвейгского. Именно так мы должны поступить со всеми противоречиями, вынесенными из нашего прошлого. Мы должны их не таить, а превозносить. Сразу же после крушения Второй империи, антагонизм, подспудно существовавший между Пруссией и остальной Германией, ушел в прошлое, сменившись осознанием народного единства. Племена сильнее, чем когда-либо, ощутили свою самобытность, но в то же время люди многократно сильнее стали ощущать себя немцами, которыми они и являются. Сегодня все немцы, несмотря на все преграды, границы и таможни, так или иначе являются великогерманцами.

---

[19] Марка — в немецкой традиции приграничный район, в котором соблюдаются особые меры предосторожности, так как он потенциально является объектом нападения неприятеля.

В наши дни исчерпало себя еще одно противоречие, а именно религиозное противостояние.

Повсюду находятся люди, которые воспринимают свое вероисповедание не как разъединяющую людей конфессиональность, но как религию, которая призвана сплачивать. Повсеместно католики и протестанты преодолевают свои конфессиональные различия и сближаются уже как немцы. Протестанты все больше и больше проникаются католической идеей единой церкви, а католики в свою очередь не воспринимают Лютера как зачинателя Просвещения, рационализма и либерализма, видя в нем последнего великого немецкого мистика. Нам потребуются силы, чтобы не отрицать и не отвергать имеющиеся в нашей истории противоречия, но признавать их и сводить в единое целое.

Мы должны будем иметь волю для того, что быть одновременно и «гвельфами», преисполненными племенным сознанием, и «гибеллинами», отстаивающими имперскую идею. Мы должны иметь в себе силы для того, чтобы одновременно являться и варварами, и христианами, и католиками, и протестантами, и южными немцами, и северными германцами. Мы должны иметь силы, чтобы быть русаками, австрийцами, баварцами, швабами, франками, гессенцами, саксонцами, фризами, но при этом оставаться для всех и для самих себя немцами.

IV

Именно подобный способ мышления и восприятия должен быть заложен в мировоззренческий фундамент Третьей империи. Однако и в ней останется еще достаточное количество противоречий. Ему достанутся проблема взаимоотношений федерализма и унитаризма, социалистическая тема и, конечно, вопрос о пацифизме.

Из перечисленного выше в принципе ложно трактовалась Веймарской конституцией в первую очередь проблема федерализма и унитаризма. Это был документ, который свидетельствовал о неисправимой глупости либералов, так как они заложили в его основу принципы, которые позволили ввести немецкий народ в заблуждение. Либералы пытались увековечить принципы, которые наши враги используют себе во благо, нам во вред. Либералы полагали, что, подражая западной государственности, они «содействуют» «общественному прогрессу», о чем было даже записано в конституции. В действительности эта конституция настолько же отставала от актуальных перемен, насколько чувства людей опережали их. Конституция была совершенно чужда тем изменениям, которые происходили в немецком народе, становящемся нацией. Конституция намеревалась при помощи буквы закона создать искусственно сплоченную республику, но заметила,

что внутреннее единство может быть присуще только национальному организму. Она взяла за основу революционную интермедию, отгородилась абстрактными документами от глубинных сил, которые, укоренившись в нашей истории, вновь пробиваются сквозь руины и обломки. Это был сугубо негативный документ. Конституция не скрывала этого. А потому декларировала: «Имперские законы являются приоритетными, они могут отменять законы германских земель».

Нет! Законы не должны отменять чего-то. Законы должны созидать. А из этого должно следовать, что имперское право должно быть тождественно праву германских земель. А сами германские земли должны принимать законы в соответствии с имперским законодательством. У права не может быть иной целей, кроме государственной. Надо не преобразовывать федеративное государство в федерацию государств, а трансформировать его в империю, которая одновременно будет и тем и этим. В империи эти противоречия исчезнут, так как решение проблем будет поднято на принципиально новый уровень. Лишь в подобном государстве место парламентаризма сможет занять народное представительство нации. Только в таком государстве жизненная сила нации станет целенаправленной волей.

О взаимосвязи социалистического вопроса с нашими историческими проблемами говорил еще Родбертус, который видел «перст судьбы» в том, что немецкое государство, как он выражался, «обратило внимание на социальную проблему после того, как оно решит национальный вопрос». В социалистическом лагере об этих взаимосвязях не догадывался только Энгельс. Он требовал: «Мы не должны воспроизводить революции сверху, произошедшие в 1866 и 1870 годах, но обязаны дополнить и улучшить их через движение снизу». Революция поначалу извратила суть социализма. Но однажды в порожденном ею «движении снизу» станет развиваться то, что мы привыкли называть сопричастностью нации. Если эта сопричастность до сих пор присуща людям, то она в любом случае реализована в Третьей империи. В данной ситуации речь идет не о материальной причастности, как того до сих пор требует коммунизм, перепутавший класс и нацию. Социализм не может быть осуществлен снизу, как предполагает марксизм. Но социализм не может осуществиться и сверху, из чего исходила социальная политика Бисмарка и Вильгельма II. Социализм может быть воплощен в жизнь только через сотрудничество низов и верхов. Но не посредством социализации прибылей, что предполагал Маркс, не проводивший различий между производством и торгашеским бизнесом. Социализм может осуществиться лишь на самом предприятии, где будет установлено взаимодействие между экономическим наставлением и результатами труда, что должно стать залогом уравновешенного соотношения между доходами и потребностями.

Однако Интернационал в своем коммунистическом стиле предвещал, что подобного производственного социализма не может быть в пролетарском мире. Но мы говорим: напротив, такой социализм всегда возможен лишь в обусловленной экономической, политической, а самое главное, национальной сфере. Социализм вероятен как хозяйственная форма, присущая только определенному народу. И только затем он может стать образцом для других народов. После немецкой катастрофы германская экономика в своем духовном самовосприятии непроизвольно приблизилась именно к такому социализму. Все отчетливее прослеживается различие между производством и бизнесом. Будучи экономикой поверженной нации, у немецкой экономики не было ни времени, ни пространства, ни свободы действия, дабы реализовать эти представления в виде хозяйственной системы. Деловые люди в Германии делают все возможное, чтобы сохранить производство как хозяйственное предприятие. Но переход от довоенного капитализма к послевоенной капиталистической стадии был уже подготовлен. Эти изменения поначалу начнутся в виде духовных процессов — тогда изменится отношения предпринимателя к предприятию. Затем будет провозглашен новый взгляд на экономику, согласно которому естественная дистанция между предпринимателем и рабочим будет не враждебным, но дружественным фактором, не разрушительным, но созидательным обстоятельством.

Проблема немецкого пацифизма очень тесно переплетена с нашей наднациональной миссией. Это предназначение, все всякого сомнения, является самой сложной, самой давней и самой важной проблемой немецкой истории. Жить не только для себя, но для всего человечества, воздвигнуть нерукотворный памятник, который бы на долгие времена увековечил наше сегодняшнее бытие, всегда было заветным мотивом всех немецких событий. Это желание предопределяло немецкую историю. Оно увлекало за собой и будет увлекать в будущем все великие народы. Это отличает их от малых народностей, которые думают исключительно о себе.

Величие человека заключается в стремлении быть чем-то большим, чем он является на самом деле.

Величие народа заключается не только в стремлении быть чем-то большим и заявить о себе, но и обладать тем, о чем можно было бы возвестить миру.

Осознавая свою причастность к вечности, все великие немцы каждодневно трудились и оставляли после себя плоды своих трудов. Нередко они не нуждалась в том, чтобы заявлять о своей немецкой национальности, так как она, как нечто само собой разумеющееся, была заключена в их творениях. Эти великие немцы могли быть уверены, что немецкий дух будет заложен во всех плодах их трудов. Но когда

их спрашивали о силе, которой они были обязаны, то они не скрывали своего немецкого происхождения. Когда же их народ находился в опасности, то они выступали на его стороне.

Однако наряду с этим у народа постоянно наличествовала странная склонность не отдавать, но поступаться. Влечение, за которым немцы следуют с фатальной безропотностью. Тяга неизвестных, но отнюдь не безопасных идеологов перенимать иностранный образ мышления, пренебрегать собственными идеями, отдавая предпочтение инородным теориям, стремиться туда, где взметнулось знамя чуждого мировоззрения. Это те немцы и те идеологи, которые сегодня говорят о наднациональной миссии Германии, но подразумевают под этим отречение от своей нации. Это те, которые превозносят подобное отрешение как типично немецкий поступок. Это те самые, которые, являясь революционерами, перепутали идею политического мира и идеологического примирения. Даже сегодня, после событий в Руре, Рейнской области и Сааре, все еще имеются немецкие коммунисты, которые призывают к мировой революции. Они упорно не хотят признавать, что идея классовой борьбы является национальной не только «по форме» (это признавал даже Маркс), но и «по содержанию». Последнее утверждение всегда отвергалось марксизмом как буржуазное.

Фридрих Энгельс говорил о лакейском духе, укоренившемся в нашем народном характере, начиная со времен феодальной раздробленности, и который дожидался революции, чтобы быть изгнанным из немцев. Но он трактовал это лакейство с внутриполитической точки зрения как дух поразительной покорности, которую свободный народ не был обязан являть своим князьям, утратившим свое аристократическое предназначение. Однако самым желанным итогом немецкой революции для нас должен стать переворот, который заставит истолковывать лакейский дух с внешнеполитических позиций. Как дух ошибочного восхищения, которое мы более не обязаны выражать ни одному народу. Мы не будем показывать упоения иностранными вещами после того, как десятки народов ополчились на нас, а двадцать семь — обманули. И если этот опыт сделает нас смиренными по отношению к самим себе, то в общении с врагами мы будем надменными и высокомерными.

Теперь мы стали предупрежденным народом, который извлек из своей истории один-единственный урок. А именно мы сможем жить нашей наднациональной миссией только тогда, когда мы как нация будем находиться в безопасности. Все наши ценности возникли в упорной борьбе за духовное самосохранение немецкой нации. И если бы мы не утвердились в политическом смысле как нация, то мы не были бы в состоянии обладать чем-то, что могли бы передать другим народам. Мы были бы разбиты и рассеяны, как того хотели другие народы.

Если мы впредь будем бесхитростно верить в европейское добродушие наших врагов, то в конце концов эти печальные прогнозы станут нашей участью.

Бесспорно, идея вечного мира является идей Третьей империи.

Но за ее реализацию надо еще побороться, а империю еще требуется утвердить.

V

Вторая империя была промежуточной. Она рухнула, так как у нее не было времени превратиться в традицию.

Тем не менее немецкий консерватизм намеревался сохранить эту империю. И он не хотел большего. В этом была его вина. Но он не хотел меньшего. Это было его заслугой. Он хотел сохранить форму, в которой заполучил империю Бисмарка. Но эта форма была слишком молодой, чтобы оправдать консерватизм. Это была внешне и внутренне незрелая форма.

Вторая империя была несовершенной. Он не смог присоединить к себе Австрию, которая со времен Первой империи существовала бок о бок с Германией. Это была малогерманская империя, которую мы можем понимать лишь как окольный путь, ведший к Великогерманской империи.

Первая империя потеряла контроль над иноязычными странами — Ломбардией и Бургундией. Мы же в итоге лишились германоязычных стран — Швейцарии, Голландии, балтийских поселений. По мере того как мы становились все слабее и слабее, мы все сильнее и сильнее сплачивали остатки империи.

Всю нашу новую историю мы убирали границы, ничтожные рубежи, ненужные внутренние препоны, которые в Средневековье Первая империя оставила на немецкой земле. Мы снесли мелкие княжества-государства, которые являлись выражением нашего общего бессилия. Мы заменили их на великую державу, которую вновь обрели во Второй империи. Мы создали империю из крупных племен и крупных княжеств-государств, которым удалось пережить распад прошлой империи, а также из небольших земель, которые с каждым годом становились все меньше и меньше.

Исход мировой войны подорвал положение Второй империи как великой державы.

Революция же разрушила ее. Она не смогла помешать ни нашему обнищанию, ни разгрому наших четырех пограничных районов. Она оставила нам скелет, который мы не намерены признавать империей немецкого народа. Она упустила шанс реализовать великогерманский проект, когда за разгромом центральноевропейских держав

последовало объединение Германии и Австрии. Но революция не нашла в себе ни мужества, ни воли, ни гордости, чтобы поставить мир перед свершившимся фактом. Она была малогерманским мятежом. В Веймаре она сама себе назначила конституцию. Эта федерально-централистская компиляция не создавала условий ни для империи, как она должна была пониматься, ни для земель и племен, которые были лишены причитающегося им.

Но в то же время революция очень многое упростила. Она устранила внутренние немецкие пережитки, которые являлись обузой для народа, становящегося нацией. Кроме этого она стала немецким событием, которое обретает свой смысл, когда наступают последствия. Революция произвела побочный эффект, который со временем станет ее основным предназначением — она насильственным путем решила все тяжелейшие немецкие проблемы, для разрешения которых мы даже не могли найти подходящего повода.

Революция устранила мелкие династии, которые давным-давно выполнили свое культурное предназначение. Она подготовила племенную структуру империи, которой мы сможем воспользоваться в тот же самый момент, когда вновь станем свободной нацией. Совершенно не важно, в каком месте, обозначенном на карте нашей страны, случились бы эти вещи. Куда более значимо, что эти вещи свершаются благодаря чувствам людей. Мы потеряли свою страну. Но мы сплотились как немцы. И как немцы мы признаем только империю, которая должна достаться нам.

Впрочем, это не заслуга революции. Она действовала, не осознавая того, что она ответственна не перед партий, а перед нацией. Мы пребываем в неуверенности. У нас нет никаких гарантий того, что, если революция окажется предоставлена сама себе, являясь, по сути, мятежным движением аполитичных людей, это не станет началом конца немецкого народа. Но мы полагаем, что она окажется очередной немецкой бессмыслицей, которая впоследствии обретет свой смысл. Оберегание смысла революцией зависит от того, удастся ли ей политизировать немецкий народ, который больше не может существовать в условиях, порожденных поражением в мировой войне. В данной ситуации дух политики предполагает сопричастность к своей национальной судьбе.

Скорее мы верим в то, что революция воспринимается нами как процесс национальной истории. Это не могут признать классово сознательные пролетарии. Но она станет национальным событием в силу своей природы, непосредственно связанной со страной и народом. Мы верим в то, что революция была окольным путем, который был необходим нашей истории, чтобы мы вырвались из типично немецкого оцепенения, которое стало обыденным явлением во време-



на Второй империи. Мы верим, что Вторая империя была всего лишь переходным этапом к Третьей, новой и в то же время последней империи, которая была предсказана нам. Мы должны жить во имя ее, если намереваемся вообще жить.

Имеются немцы, которые после нашего поражения находят утешение в мысли, что за крушением государства последует закат нации, но ее ценности останутся непреходящими. Это страшнейший самообман, на который только способны немцы. Насколько неохотно мы отстаивали нашу культуру, настолько сильно наши враги сражались за свою. И эти враги не хотят сохранения нашей культуры. Эти народы вообще не понимают наших ценностей. Каждые на свой лад, они полагают собственную культуру совершенной. Для них невыносима сама мысль, что они будут вынуждены признать равнозначность немецкой культуры. Они никогда не признают наши ценности.

И мы сами не знаем собственных ценностей. Наша история показывала, что мы повсеместно отступались от одних ценностей, чтобы породить другие. Это не только обогащало немецкую культуру, но и делало ее сумбурной и смутной. Национализм должен сплотить нацию. Он должен открыть ей глаза на то, что неразрывно связано с ней, является немецким и обладает абсолютной ценностью: история немецких людей.

Это является одновременно и духовной целью, и политической задачей. Если погибнет нация, то, как подсказывает нам опыт общения с другими народами, погибнет и сама Германия. А вслед за ней погибнет все, что когда-либо было сотворено немцами. Нет такого народа, который мог бы воспринять наше наследие.

Народы Запада отвергают нас. Они оценивают все иначе, нежели мы, а потому отказываются от наших ценностей. Французский генеральный штаб умудрился даже в работах у Клаузевица найти только один «немецкий туман». Хотя нередко этот туман обращался в немецкую явственность, которая ужасала наших врагов. Когда Антанта советовала нам оставить Потсдам и вновь перебраться в Веймар, то она прибегла к величайшей в мире лжи. В принципе народы Запада должны ненавидеть Веймар не в пример сильнее, нежели они ненавидят Потсдам. В Потсдаме их робкий взгляд видел лишь выражение немецкого милитаризма. Но если в то же время они признали бы Веймар выражением культуры, то тут же бы возник вопрос о соотношении культур. А уровень немецкой классики неизменно выше классицизма, подобно тому, как Гёте возвышеннее Расина. Но при этом немецкая культура зиждется не только на этих двух городах, но на каждом немецком городе. Она простирается от страсбургского кафедрального собора, мест, где Христос Грюневальда распят на кресте немецкой судьбы, до далеких восточных территорий.

Народы Востока воспринимают из Германии те ценности, которые могут оказаться им полезны. Но немецкий язык стал лишь языком международного общения на просторах Евразии и Центральной Европы. Он превратился в делового посредника, но не смог затронуть то, что кроется в душе. Если немецкий стал языком переговоров в Третьем Интернационале, то он передает лишь соответствующий интернационализм. Он передает лишь марксистские идеи, но не бескрайний космос немецкой духовности, который находится перед Марксом, за Марксом, сбоку от Маркса, опровергает его и все равно остается непостижимым. Даже те русские, которые вслед за Толстым не отвергают всю Европу, в силу их национальной специфики могут и способны лишь отчасти воспринимать наши ценности: систематичность, философский идеализм, Гегеля, не исключено, что и Шиллера. Но немецкая Вселенная, которая не ограничена несколькими именами, затворена и для них, так как они обладают собственной духовной безграничностью, которая простирается прочь от Европы в Азию, а потому не предназначена для нас.

VI

Немецкий национализм ратует за последнюю империю. Эта империя всегда предрекалась нам. Но никогда не была исполнена. Она — это Абсолют, который может быть постигнут только через несовершенство.

Эта империя — пророчество, предназначенное для немцев, но которое оспаривается всеми остальными народами. В годы мировой войны они хотели сражаться против самодостаточной империи, империи ради империи. Они хотели обрести мировое господство, от которого мы намеревались урвать свой материальный кусок. Они проявляли империалистические притязания. Каждый из этих народов сам хотел стать империей, которая бы являлась воплощением латинской, англосаксонской или панславистской идеи. Эти народы смели нашу материальную империю. Но даже ее политический призрак нагоняет на них дикий ужас.

Но империя осталась несломленной ими. Может быть, только одна Империя, подобно тому, как может быть только одна Церковь. Все остальное, что стремится получить это имя, может быть государством, общиной, сектой. Есть только Империя.

Немецкий национализм борется за возможную империю. Немецкий националист нашего времени, будучи немецким человеком, навсегда останется мистиком. Но, как политический человек, он стал скептиком.

Он знает, что исполнение идеи всегда откладывается, что в действительности духовность является чересчур человеческой, а значит,

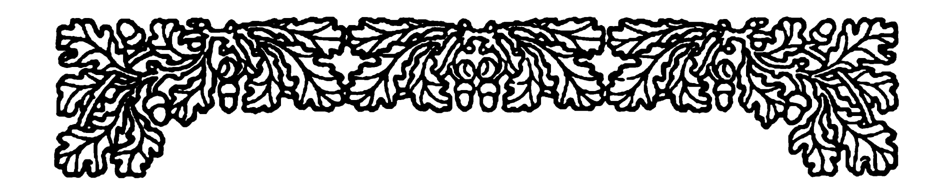
слишком политической, что нации воплощают в жизнь возложенные на них идеи только в той мере, насколько они утвердились и смогли реализоваться в истории.

Немецкий националист невосприимчив к идеологии, существующей во имя себя. Он разгадал лживость громких фраз, при помощи которых победившие нас народы объясняют свою мировую миссию. Он познал, что в окружении цивилизации этих народов, которые самодовольно называют себе западными, человек не возвышается, но нисходит.

В этом деградирующем мире, справляющем сегодня победу, он пытается спасти все немецкое. И он стремится сохранить высшее проявление этого немецкого в ценностях, которые остались непобежденными, так как они непобедимы сами по себе. Он стремится сохранить их в мире, для чего сражается за них, возводит их на тот уровень, который они должны занимать по праву. Отметим, что в момент, когда ни одно понятие не кажется более сомнительным, чем понятие европейского, немецкий националист борется за все то, что, родившись в Германии, получало общеевропейское звучание.

Мы размышляем не о нынешней Европе, которая настолько презренна, что едва ли может иметь хоть какую-то ценность. Мы думаем о вчерашней Европе, но также и о том, что в один момент она может быть спасена для завтрашнего дня. Мы мыслим о Германии всех времен. Мы думаем о Германии с ее двухтысячелетним прошлым и о Германии вечного настоящего. Мы думаем о Германии, которая живет духовностью, но хочет быть защищенной в суровой действительности. Она может защитить себя политически.

В человеке просыпается зверь. Тень Африки нависает над Европой. Мы становимся часовыми у врат, ведущих к ценностям.



СОДЕРЖАНИЕ

А. Васильченко

МЁЛЛЕР ВАН ДЕН БРУК И НЕМЕЦКИЙ РЕВОЛЮЦИОННЫЙ НАЦИОНАЛИЗМ

Научно-популярное издание

Ariana Mystica

Мёллер ван ден Брук Артур
Васильченко Андрей Вячеславович

МИФ О ВЕЧНОЙ ИМПЕРИИ И ТРЕТИЙ РЕЙХ

Выпускающий редактор *Е.С. Лазарев*
Корректор *О.Н. Богачева*
Дизайн обложки *Е.А. Забелина*
Верстка *Н.В. Гришина*

ООО «Издательский дом «Вече»
129348, Москва, ул. Красной Сосны, 24.

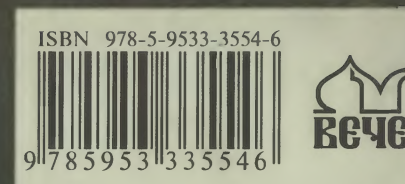
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 77.99.60.953.Д.000129.01.08 от 16.01.2008 г.

E-mail: veche@veche.ru
http://www.veche.ru

Подписано в печать 29.10.2008. Формат $60 \times 90^1/_{16}$.
Гарнитура «MyslC». Печать офсетная. Бумага офсетная.
Печ. л. 23. Тираж 3000 экз. Заказ Т-1490.

Отпечатано в полном соответствии с качеством
предоставленного электронного оригинал-макета
в типографии ОАО ПИК «Идел-Пресс».
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2.
E-mail: idelpress@mail.ru

Эта книга отвечает на экзотичный, но закономерный вопрос: почему Третий Рейх был назван именно так, а не иначе? Программный труд немецкого философа Мёллера ван ден Брука, который вы держите в руках, как раз и произвел на свет имя самого зловещего режима XX века! И тем не менее, автор, покончивший с собой в 1925 г., не был ни идеологом фашизма, ни его предшественником. Крайне правая политика и мистический национализм, плюс мечта об истинно народном социализме, — вот что определяет суть этой необычной книги, по-своему истолкованной в свое время как нацистами, так и теми, кто им противостоял.



ISBN 978-5-9533-3554-6
9 785953 335546